ИНОСТРАННАЯ *литература*

10
1957

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ПРИЗВАНЫ СЛУЖИТЬ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА (Зарубежные отклики на выступления Н. С. Хрущева) 3

ХРИСТО РАДЕВСКИЙ — Партия всегда помогает 5

САДЖАД ЗАХИР — Благородная задача советской литературы 8

СИБИЛЛА АЛЕРАМО — Прошлое и настоящее 10

ХАН СЕР Я — Ради обогащения сокровищницы мировой культуры 11

ДАШЦЭВГИЙН СЭНГЭЭ — Высокий долг писателей МНР 13

ЯН КОСТРА — Слово благодарности (Стихотворение) 15

ГРЭХЕМ ГРИН — Рассказы 17

АЙРОНБАК — Моя родословная (Стихотворение) 49

СЮЙ ХУАЙ-ЧЖУН — Мы сеем любовь (Роман. Продолжение) 51

ЭЙВИН БОЛСТАД — О том, как Рейнерт Мусебергет захотел прыгнуть выше головы (Рассказ) 86

АРМАН ЛАНУ — Майор Ватрен (Роман. Окончание) 95

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ — Рассказы с Мексиканского залива 171

ОТТО ГЕЛЬСТЕД — Умные гномы (Стихотворение) 187

10

1957

ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

А. ЕЛИСТРАТОВА — Поэт и его время . . . 189
С. МАРШАК — Из Вильяма Блейка. 193

КРИТИКА

Т. БАЛАШОВА — Герои реального мира . . 207
М. МЕНДЕЛЬСОН — Как доказывают недоказуемое 216
А. ЛЕБЕДЕВ — Ненужное сердце 223

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

А. ЧАКОВСКИЙ — Что же дальше?.. (Польские литературные впечатления) 226

ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ

ХИРОСИ НОМА — Книга, которая помогает нам в борьбе 236
ДЗЮНИТИ ИВАКАМИ — Писатель-революционер 238
КАРЛО ЛИДЗАНИ, МАССИМО МИДА — Чему учит Довженко 240
ГЭ БАО-ЦЮАНЬ — Поэт, которого хорошо знают в Китае 242
ОРЛИН ВАСИЛЕВ — Корнейчук и болгарский зритель 244

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

СТЕФАН ЦВЕЙГ — Франс Мазереель . . . 248

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

В. Девекин — Интересная пьеса. ◇ Г. Шнеерсон — Книга Мариан Андерсон. ◇ И. Шкунаева — «Странная женщина» Жюля Ромена. ◇ Г. Злобин — Справочник по американскому театру. ◇ И. Кулаковская — «Красный священник». ◇ Н. Крымова — «Волшебный свет». ◇ В. Карпов — Вьетнамские ка зао. ◇ В. Борисов — Книги о детстве. ◇ Ант. Ладинский — Двадцать пять лет парижской литературной жизни. ◇ М. Косов — «Зверобои из бухты Мелвилл». 261

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 272

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . 288

На обложке рисунок Франса Мазереля «Демонстрация»

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ПРИЗВАНЫ СЛУЖИТЬ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА

(Зарубежные отклики на выступления Н. С. ХРУЩЕВА)

Советский народ вместе с трудящимися всего мира встречает всенародный праздник сорокалетия Великой Октябрьской социалистической революции.

В первый день революции В. И. Ленин произнес пророческие слова: «Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма».

В героической борьбе за построение социализма невозможно переоценить значение советской литературы и искусства, творческую работу тех писателей и деятелей культуры, которые на протяжении сорока лет стремились воспитывать трудящиеся массы, воодушевлять народ в его великой борьбе за построение коммунистического общества. Коммунистическая партия всегда придавала и придает первостепенное значение работе писателей, художников, скульпторов, композиторов, заботится о расцвете многонациональной советской социалистической культуры.

Недавние выступления Н. С. Хрущева перед советскими писателями и деятелями искусства, сокращенный текст которых был опубликован в печати, ясно и четко излагают основы политики партии в области литературы и искусства, вновь подтверждают ленинские принципы отношения Коммунистической партии к делу развития литературы и искусства.

«За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» — так озаглавлен опубликованный недавно документ, обращенный к советской творческой интеллигенции.

Этот документ говорит о том, какие требования ставит перед творческой интеллигенцией Коммунистическая партия, советский народ, какие произведения он ждет от наших писателей и деятелей искусства.

Выступления Н. С. Хрущева состоялись в то время, когда темные силы реакции вновь подняли злобную кампанию против социалистических стран, против демократических и прогрессивных идей, в то время, когда усилилась идеологическая борьба за рубежом. И поэтому еще более возрастает воинствующее значение этого партийного документа, его организующая роль для дела не только советской, но и всей прогрессивной литературы мира.

Народы социалистических стран были заняты созидательным трудом, когда в октябре—ноябре 1956 года враги мира и демократии осуществили вооруженные диверсии против лагеря социализма. Подстрекаемые империалистическими кругами, получив прямую их поддержку, контрреволюционеры подняли мятеж в Венгрии, их целью было свержение народной власти. Они потерпели позорное поражение, однако международная реакция не оставляла попыток расколоть социалистический лагерь, вселить неуверенность, внести разброд в прогрессивное движение, растущее и окрепшее особенно в послевоенные годы. Для того чтобы остановить могучее движение современности, борьбу народов за мир и демократию,— силы империалистической реакции стремятся использовать нашу критику

и самокритику, направленную на искоренение недостатков, которые мешают построению коммунизма в нашей стране. Враждебные советской стране силы пытаются опорочить советский строй, утверждая, что вскрытые нами же недостатки, частные ошибки свойственны социалистическому обществу.

В этой сложной обстановке некоторые писатели, плохо знающие жизнь, подпавшие под влияние буржуазного понимания «свободы творчества», выступили с произведениями, поддерживающими враждебные советской литературе тенденции, перекликающиеся с империалистической пропагандой. Этих поборников «свободы творчества», оказывается, тяготит руководство партии и государства.

Именно по этой причине обретают особое, актуальное значение выступления Н. С. Хрущева, проникнутые ленинским пониманием задач нашей литературы.

Говоря о главной линии развития литературы и искусства, товарищ Н. С. Хрущев отмечает, что она «состоит в том, чтобы литература и искусство были всегда неразрывно связаны с жизнью народа, правдиво отображали богатство и многообразие нашей социалистической действительности, ярко и убедительно показывали великую преобразовательную деятельность советского народа, благородство его стремлений и целей, высокие моральные качества. Высшее общественное назначение литературы и искусства — поднимать народ на борьбу за новые успехи в строительстве коммунизма».

Партия решительно вскрывает и критикует недостатки и ошибки в произведениях писателей, не понимающих или не желающих понять высокую задачу советской литературы. Партия непримиримо выступала и будет выступать против одностороннего, недобросовестного, неверного освещения действительности. В выступлениях Н. С. Хрущева указывается на конкретные примеры таких ошибочных произведений и литературных органов, опубликовавших их. Мы против тех, кто выискивает в жизни только отрицательные факты, пытается охаять, очернить наши советские порядки, а заодно и опорочить тех литераторов, которые пишут о наших успехах.

Выступления товарища Н. С. Хрущева нашли широкую поддержку в среде творческой интеллигенции, они явились выражением торжества ленинской линии в политике партии по отношению к литературе и искусству. В этом их неоценимая роль не только для нашей советской культуры, но и для всей прогрессивной культуры мира.

В эти дни, когда советский народ, трудящиеся всего мира встречают сороковую годовщину Октябрьской социалистической революции, мы видим воочию, как с каждым годом возрастает международное значение нашей революции, открывшей новые светлые горизонты перед человечеством, революции, которая высоко подняла знамя борьбы за социальное и национальное освобождение, знамя коммунизма.

Передовая творческая интеллигенция всего мира отлично понимает международное значение Октябрьской революции. Для этой интеллигенции, для зарубежных передовых, прогрессивных писателей и художников выступления Н. С. Хрущева—документ высокого идейного значения, близкий и понятный каждому честному писателю, деятелю искусства, всем, кто хочет творить для своего народа, а не для кучки избранных, для буржуазии.

Люди, место которых в авангарде современной культуры, с глубоким вниманием и сочувствием встретили выступления товарища Н. С. Хрущева. Подтверждением этого факта служат отклики зарубежных писателей, полученные редакцией «Иностранной литературы» и печатаемые в этом номере нашего журнала.

Христо Радевский
Болгария

ПАРТИЯ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ

С огромным удовлетворением я прочитал изложение выступлений товарища Н. С. Хрущева перед советскими писателями, художниками, скульпторами и композиторами о характере и задачах литературы и искусства.

Эти выступления имеют огромное значение не только для советской, но и для мировой прогрессивной культуры. Их значение усиливается тем, что они состоялись в тот момент, когда перед лицом империалистической пропаганды среди некоторых деятелей культуры нашего социалистического лагеря произошло известное замешательство.

Партия, которая уже полстолетия мудро и мужественно стоит во главе прогрессивного человечества, должна была выступить и авторитетно, устами своего первого секретаря, напомнить еще раз деятелям культуры о их обязанностях перед народом, еще раз указать путь, по которому они должны идти, если хотят быть верными слугами народа и его воспитателями.

Эти выступления были необходимы именно сейчас, когда в дискуссию, ведущуюся по основным проблемам нашей социалистической культуры, подчас проникает влияние буржуазной идеологии, ревизионизма.

Когда после XX съезда КПСС в наших социалистических странах началось восстановление ленинских норм партийной и общественной жизни — там, где эти нормы были нарушены, — некоторые идейно и политически неустойчивые люди решили, что наступает время буржуазной демократии и что пролетарская диктатура отменяется. Глашатаи империалистической пропаганды в капиталистическом мире воспользовались этим для утверждения, что социалистический строй якобы расшатан и наступил момент для решительной атаки против него. Произошло объективное согласование колебаний внутри нашего лагеря и вражеских нападок извне. Больше того. В некоторых социалистических странах, как Польша и Венгрия, враг выступил открыто против народной власти и против учения социализма. Бешеная идеологическая атака сопровождалась военными выступлениями международной реакции: контрреволюционный бунт в Венгрии и англо-франко-израильская агрессия против Египта.

Эти события стали уже историей. Их организаторы позорно провалились. Но «холодная война» продолжается, продолжается и борьба на идеологическом фронте. Она особенно сложна и трудна в области литературы и искусства. И совершенно понятна забота ЦК КПСС об идейно-политической чистоте социалистической культуры.

Еще в 1905 году, то есть более полувека назад, В. И. Ленин сказал, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Этому ленинскому принципу и следовала советская литература, которой великий Горький положил такое прекрасное и могучее начало.

По пути советской литературы идут литературы в других социалистических странах и прогрессивная литература в капиталистическом мире. Это огромное, неотразимое влияние и руководящая роль советской литературы завоеваны силой тех законов общественного развития, которые поставили Советский Союз во главе прогрессивного человечества, силой марксистско-ленинской теории социализма.

Товарищ Хрущев в своих выступлениях убедительно доказал, что небывалый расцвет экономики и культуры советских народов — результат

руководящей роли Коммунистической партии, которая умело претворяет это учение в жизнь. Нет и не может быть прогрессивной литературы и искусства ни в капиталистическом, ни в социалистическом мире, если они ведут борьбу против марксистско-ленинского учения, борьбу против политики Коммунистической партии. Напротив, чем ближе литература и искусство к политике партии, чем лучше они вооружены учением Маркса и Ленина, тем более глубоко их содержание и сила художественного воздействия. Художник, добросовестно и последовательно изучающий жизнь народа, неминуемо приблизится к политике партии, потому что в ней правда жизни.

Все это как будто элементарно и хорошо известно. Но вот недавно мы явились свидетелями явлений, вызывающих основательную тревогу за судьбу нашей социалистической литературы и заставляющих нас быть постоянно начеку. Наряду с обоснованной и серьезной критикой случаев неправильного понимания и применения метода социалистического реализма появились люди, отрицающие вообще этот метод. Их можно разделить на две категории. К первой относятся те, кто благодаря личной творческой судьбе или неправильному пониманию задач литературы и искусства считают, что социалистический реализм не может быть даже в наших социалистических условиях единственно правильным методом. Эти люди искренне заблуждаются и в процессе творческих споров могут разобраться в своих ошибках. К другой — относятся люди, для которых отрицание социалистического реализма является прикрытием для нападок и на социалистическое искусство, и на социалистический строй, и на теорию научного социализма. Это глашатаи империализма, вооруженные пером разбойники, мечтающие повернуть вспять колесо истории. Они не останавливаются ни перед какими подлостями, используя ошибки нашей литературы и искусства, хватаясь за них, раздувая их, представляя их как генеральную линию развития нашей культуры для того, чтобы доказать, насколько несостоятелен социализм и насколько вредно руководство партии в области литературы и искусства. Их излюбленный метод — спекуляция на «творческой свободе» деятелей искусства. Они пытаются доказать, что под руководством партии не может быть творческой свободы, а пропагандирование социалистического реализма, как единственно правильного в наших условиях творческого метода, служит ограничению этой свободы. Им следует напомнить знаменитую статью Ленина «Партийная организация и партийная литература», в которой он высмеял фиктивную свободу художника, писателя в капиталистическом обществе.

Что касается советской литературы, то тот, кто внимательно и серьезно следил за ее развитием, не может не знать, сквозь какие горячие творческие и свободные дискуссии шла она на протяжении сорокалетнего своего существования. Именно эта свобода творчества и мнений под руководством партии и обеспечила ей достижение тех успехов, которые поставили ее в авангард мировой культуры. Именно этой творческой свободой, обусловленной самой философией марксизма-ленинизма, пролагается тот широкий и прямой путь, по которому движется не только советская, но и мировая прогрессивная литература. В нашем социалистическом мире вопрос о творческой свободе писателя связан прежде всего с вопросом его мировоззрения. Чем более четкое мировоззрение и широкий взгляд у писателя, тем более глубоко, объективно и правильно отражает он общественную жизнь, тем большее понимание встречает он со стороны читателей. Напротив, чем более писатель ограничен в понимании жизни, тем уже он отражает ее в своих произведениях, тем бо́льшие претензии вызывает он у читателей. Подобный писатель может сколько угодно жаловаться на ограничение его творческой свободы — он не встретит сочув-

ствия. Да и на что, кроме нездоровых настроений, может он рассчитывать? Можно ли такого человека назвать воспитателем народа?

Читатель социалистической страны — строитель нового общества проявляет чудеса трудового героизма и невиданного творческого размаха в своей работе. Достаточно сравнить, какой была Россия сорок лет назад и какими были десять лет назад страны народной демократии и что представляют собой сейчас Советский Союз и эти страны, — чтобы оценить творческую силу народного гения, направляемого Коммунистической партией. Наш читатель хочет видеть в художественных произведениях картину своего труда, отражение своего непобедимого оптимизма и ясной перспективы будущего. Для того чтобы писатель смог удовлетворить это читательское требование, он должен обладать высоким стремлением, уметь широко охватить жизнь, а не изображать лишь то, что случайно увидит из окна своей комнаты. Он должен уметь видеть жизнь и анализировать ее явления с позиций активного борца за построение социалистического общества. Только в этом случае в его творчестве будет чувствоваться пафос нового, созидания, в том числе и тогда, когда писатель обрисовывает теневые стороны нашего общества или создает сатирические произведения без положительных действующих лиц. Но для этого писатель должен иметь правильное представление о путях общественного развития. Вот тогда-то он и будет обладать той внутренней творческой свободой, которая — как птица с могучими крыльями — обеспечит ему вольный полет в любом направлении.

В выступлениях товарища Хрущева содержится хороший ответ на шумиху вражеской пропаганды о так называемом ограничении творческой свободы. Товарищ Хрущев подверг критике и В. Дудинцева, и М. Алигер, но критиковал не ради критики, а с желанием поправить их. В его словах нет ни малейшего намека на какое-либо ограничение их творческой свободы. Да и сами писатели выступали с более острой критикой в адрес этих товарищей. Н. С. Хрущев только подтвердил правильность их критики.

Почему же, спрашивается, Коммунистическая партия, которая до сих пор направляла на верный путь развитие литературы, не имеет права руководить ею и сейчас, когда имеют место попытки — сознательно или несознательно — свернуть литературу и искусство с их плодотворного пути? Партия не только имеет на это право, она должна это сделать. Партия несет историческую ответственность за развитие советского общества и его культуры и ни в коем случае не может остаться равнодушной перед лицом сил, тормозящих это развитие.

К сожалению, находятся на Западе (да и в некоторых народно-демократических странах) среди писателей и работников искусства, утверждающих о своей приверженности делу прогресса, люди, которые слушали — недослушали, смотрели — недосмотрели, какой стала советская литература. Теперь они выступают и выносят оценки, вызывающие — мягко выражаясь — недоумение. Эти политически непродуманные оценки с особым усердием подхватываются реакционной пропагандой, пытающейся, как говорится, нашими камнями бить по нашей же голове.

В прошлом году многим ответственным товарищам и во многие учреждения в Болгарии была прислана из Соединенных Штатов статья Фаста. В ней содержались клеветнические нападки на Советский Союз, хотя автор при этом и пытался оговориться, что остается его другом. Статья сопровождалась заметкой отправителя. «Вот, — хотели сказать эти господа,— что́ ваш человек говорит о вас». Позднее выяснилось, что Фаст совсем сошел с того пути, по которому он шел до сих пор.

Недавно империалистической пропагандой на Западе была поднята кампания в защиту осужденных народным судом венгерских писателей —

активных участников контрреволюционного движения. При этом ею были использованы выступления писателей некоторых стран, в том числе и тех, кто говорит, что они борются за дело прогресса. Эти писатели должны понять, что борьба реакционных кругов на Западе направлена отнюдь не на защиту венгерских писателей, а на компрометацию народно-демократического строя Венгрии.

Реакционеры всегда берут под защиту всех критикуемых в наших рядах, поднимают их на щит, используя их в качестве орудия достижения своих целей. Думаю, что подвергшиеся критике товарищи, особенно тов. Дудинцев, должны вспомнить старого Бебеля, говорившего, что если тебя хвалит враг — ты не на правильном пути.

И мы, болгарские писатели, спорим между собой по вопросам, волнующим наших советских товарищей. Выступления Н. С. Хрущева помогут нам решить этот спор.

Всюду в наших социалистических странах ведутся творческие дискуссии. Это очень хорошо и очень полезно. Мы стремимся освободиться от всех идейных и методологических пороков, которые мешают нам правильно, во всем многообразии, истолковывать и применять на деле социалистическое учение. В наших спорах, разумеется, бывают крайности. Иначе и не может быть. Но мы всегда должны помнить, что враг не отказался от попыток сбить нас с нашего правильного пути. Он еще находит много скрытых путей для проникновения в нашу среду. Нам необходимо всегда чутко прислушиваться к мнению партии, следовать ее руководству. Партия никогда не обманывает нас. Партия всегда помогала нам и всегда будет помогать. Яркое доказательство этому — статья товарища Хрущева.

Саджад Захир
Индия

БЛАГОРОДНАЯ ЗАДАЧА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В течение последних трех месяцев я путешествовал по Европе, и меня поразил один знаменательный факт — тот глубокий интерес, который проявляет интеллигенция всех стран к культурным достижениям Советского Союза. В Париже и Лондоне, в Берлине, в Варшаве и Праге, так же как и на моей родине, в Индии, писатели хотят знать, о чем думают писатели Советского Союза, каково их отношение к проблемам литературы и, особенно, как они представляют себе дальнейшее развитие советской литературы и искусства после XX съезда КПСС. Большинство писателей, с которыми я встречался и которых я знаю, в целом положительно оценивают советскую литературу; некоторые относятся к ней критически, а кое-кто предубежденно или враждебно. Но характерно одно — все они с интересом следят за советской литературой. Она превратилась в явление международного значения, чего не смеют отрицать даже враги Советского Союза. Ее действие можно сравнить с межконтинентальной баллистической ракетой — в мире нет уголка, который был бы вне пределов ее досягаемости.

Все человечество знакомится с жизнью Советского Союза по литературе, которая говорит нам о надеждах и чаяниях советского народа, которая яркими красками рисует жизнь общества, строящего коммунизм. Литература страны социализма показывает и те трудности, с которыми стал-

кивается советский народ, его успехи и его ошибки; она наглядно демонстрирует и те изменения в сознании как отдельных людей, так и всего общества, которые происходят в процессе созидания нового.

Этот глубокий интерес к советской литературе обусловлен тем, что, несмотря на все попытки капиталистов, империалистов и простаков, одураченных ими, повернуть вспять колесо истории, оно безжалостно и неумолимо движется вперед — от примитивного варварства частной собственности — к коллективизму, от эксплуатации человеческого труда, от превращения человека во врага всего человеческого — к дружбе между людьми, к миру без войн, к блистательному расцвету человеческого ума и духа. Для трудящихся и прогрессивной интеллигенции всего мира поразительные достижения социалистического общества в Советском Союзе являются той действительностью, которая доказывает историческую правду благороднейшего из всех идеалов, которые современное человечество когда-либо ставило перед собой, — идеала коммунизма.

Советская литература дает картину этой социалистической действительности во всей ее красочности и многообразии, и это превращает ее в могучую положительную силу не только внутри Советского Союза — эта сила укрепляет прогрессивное движение во всем мире. Именно поэтому даже враги СССР не могут не замечать советскую литературу, именно поэтому они не перестают вести пропаганду против нее. Они не могут помешать росту и развитию советской литературы, но они могут постараться умалить ее влияние, могут неправильно истолковать и представить ее и, наконец, крича на весь мир о том, что они защищают свободу слова, делать все от них зависящее, чтобы ограничить продажу и издание советских книг в своих «свободных» странах.

Когда я недавно прочитал на английском языке сокращенное изложение выступлений товарища Хрущева, напечатанное в двенадцатом номере журнала «Коммунист» под названием «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», я обратил особое внимание на два положения. Первое — товарищ Хрущев прямо заявил, что советская литература должна служить интересам построения коммунистического общества и, в качестве таковой, должна быть тесно связана с партией, всегда оберегавшей ее и создавшей ей все условия для роста и развития. Второе — Н. С. Хрущев подчеркнул, что лучше всего литература может служить этой цели, изображая действительность такой, какова она есть. Литература не должна быть однобокой и рисовать только светлую сторону жизни, но в то же время она не должна изображать только отрицательные явления, что может создать неправильное впечатление о советской действительности.

Товарищ Хрущев в присущей ему ясной и четкой манере указал, что главная и наиболее важная черта советской действительности — в тех огромных успехах в области промышленности, сельского хозяйства и культуры, которых достиг советский народ после Великой Октябрьской социалистической революции. Под руководством Коммунистической партии советский народ добился того, что его страна стала второй в мире индустриальной державой, и построил социалистическое общество. Это — материальная основа советской культуры.

Советские писатели призваны писать о важнейших чертах социалистической действительности: о том, каким образом советский народ под руководством партии сумел построить новое общество; о том, какие трудности приходится ему преодолевать; о том, как в борьбе за новую жизнь постепенно формировалось новое сознание; о том, как улучшается материальное благосостояние советского народа.

Несмотря на недостатки и ошибки, вскрытые на XX съезде КПСС, на которые указывает товарищ Хрущев и которые отмечались в резолюции

пленума Союза писателей СССР, советская литература успешно справляется с поставленными перед ней задачами.

Среди критиков советской литературы на Западе стало модой говорить о том, что за последние годы она превратилась в «бесплодное поле». Даже мне, человеку, читающему произведения советской литературы только в переводе на английский язык, это утверждение представляется неправдоподобным. Замечательный роман Алексея Толстого «Петр I» был написан в те годы жизни Сталина, когда было совершено немало серьезных политических ошибок.

Здесь я хотел бы сделать отступление личного характера. Несколько лет назад я сидел в тюрьме в Пакистане. Меня судили закрытым судом, предъявив мне уйму самых фантастических обвинений, которые могли повлечь за собой даже смертную казнь. Нас, четырнадцать политзаключенных, содержали в очень плохих условиях, и над нашими головами висел смертный приговор. По моей просьбе наши друзья на свободе прислали нам два томика избранных произведений Горького. Имя Горького было известно даже начальнику тюрьмы, и он не пропустил к нам книги, так как «они призывали к ниспровержению основ». Тогда наши друзья решили попытаться передать нам последние произведения советской художественной литературы: «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Далеко от Москвы» Ажаева, «Счастье» Павленко и «Необыкновенное лето» Федина. Тюремное начальство пропустило книги, и мы с жадностью набросились на них. Мне трудно сейчас выразить то чувство, которое охватило нас при чтении этих книг, чувство моральной силы и веры в величие свободы человека и социализма, чувство надежды и решимости бороться до окончательной победы, которая неизбежно должна наступить, хотя отдельные люди могут и не дожить до нее. Я не хочу сказать, что эти книги являются великими произведениями искусства,— если бы меня попросили критически их проанализировать, я бы мог отметить в каждой из них немало слабых мест. Но это хорошие книги, книги, утверждающие жизнь, а не тлен, книги, пронизанные солнечным светом жизни, а не мраком и тенями смерти и гниения, что так характерно для многих произведений буржуазной литературы.

У меня нет сомнений относительно того, что теперь, после XX съезда КПСС, перед советской литературой и искусством открылись еще более солнечные и широкие пути, что деятели культуры еще отчетливей стали понимать свою ответственность перед народом, выполняющим героическую задачу — построение коммунизма, воплощающим в жизнь самую благородную из идей, которую человечество когда-либо ставило перед собой. На этом пути советская литература и искусство достигнут новых успехов.

Выступления товарища Хрущева являются огромной помощью деятелям советской культуры. Выполняя долг перед своим народом, советская литература окажет неоценимую услугу всему прогрессивному человечеству.

Сибилла Алерамо
Италия

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В предпоследнее утро моего пребывания в советском санатории, где меня месяц лечили с восхитительной заботливостью, я совершила прогулку и прошла около двух километров по берегу реки, у которой растет сосновый лес. Я дошла до места, где стоит старая церковь XVII века. Ее

теперь реставрируют, а раньше она, должно быть, принадлежала большому поместью. Теперь же церковь стоит одиноко, как память о прошлом. Я любовалась прекрасными очертаниями здания и великолепными колоннами, а затем оглянулась вокруг. В нескольких десятках метров были видны одноэтажные деревянные домики, окруженные небольшими садами. Над каждым из них высилась телевизионная антенна.

— Это колхоз, — сказала мне моя милая спутница.

Был воскресный день. На поросшей травой лужайке молодежь играла в волейбол. Люди постарше покуривали, читали газеты. Да, это были колхозники, таких крестьян в Советском Союзе сотни тысяч. Но ни разу за все время моего пребывания в вашей стране, которую я в своих стихах еще пять лет назад назвала «славной», ни разу за все это время не испытывала я с такой очевидностью всю глубину происшедших в советской действительности перемен. Здесь действительность сегодняшнего дня предстала передо мной рядом с похороненным прошлым. И я испытала чувство глубокого волнения и гордости. Да, гордости, потому что никогда до сих пор моя вера в строительство нового общества не была столь полна гордости и в то же время нежности, как в эти минуты, проведенные среди больших сосен на берегу Москвы-реки, среди сосен, ветви которых шумели, как приглушенная музыка.

Как человек, пишущий уже более полувека, я знаю всю важность таких волнующих минут для художественного творчества. С тех пор, как я— а это произошло сразу после окончания войны — стала членом Итальянской коммунистической партии, моя связь с трудящимися классами окрепла и нашла отражение в стихах; я писала их по велению сердца.

Недавно товарищ Н. С. Хрущев сказал, что важнейшая социальная задача литературы и искусства состоит в том, чтобы призывать народ ко все новым успехам в строительстве коммунизма. До чего же бедны те художники, до чего же бедны те интеллигенты, которые далеки от того, что я назвала бы родством с будущим и со всеми теми, кто это будущее строит. Эти люди не осознают своей бедности, но никогда им не удастся ощутить то биение сердца, которое ощутила я в сентябрьское воскресное утро, когда неожиданно увидела живой колхоз рядом с памятником прошлого.

Хан Сер Я
Корейская Народно-Демократическая Республика

РАДИ ОБОГАЩЕНИЯ СОКРОВИЩНИЦЫ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Я прочитал в газете сокращенное изложение выступлений товарища Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», опубликованное в журнале «Коммунист».

Товарищ Н. С. Хрущев четко изложил важнейшие вопросы советской государственной и партийной работы в отношении литературы и искусства, анализируя эту работу также с точки зрения международного положения. Его выступления открывают перед советскими деятелями литературы и искусства новые горизонты. Одновременно они служат вдохновляющей силой для корейских писателей и деятелей искусства, идущих в одном ряду со своими советскими товарищами.

Наши противники, умышленно связывая проблемы социалистического реализма с культом личности, выступают с огульной клеветой и отрицанием советской литературы и искусства. Эти нападки врагов являются в действительности попытками опорочить исторические успехи, достигнутые реалистической литературой и искусством стран социалистического лагеря, и вместе с тем попытками внушить нашим писателям и деятелям искусства неприязнь к социалистическому реализму, являющемуся единственно действенным творческим методом, подменить его буржуазным модернизмом.

Однако все эти нападки не ограничиваются рамками эстетических проблем. По существу, за отрицанием принципов социалистического реализма скрывается политическая цель: поставить под удар социалистическую действительность, а стало быть — сам общественный строй наших государств.

Следует отметить, что среди корейских писателей и деятелей культуры нет людей, которые бы ставили под сомнение правильность хода развития советской литературы и искусства. Об этом ясно свидетельствует недавно прошедший II съезд корейских писателей.

Наш съезд нашел конкретные пути для осуществления исторических решений III съезда Трудовой партии Кореи. Он прошел в деловой обстановке, обсудив вопросы развития и отставания корейской литературы. Исходя из ленинских принципов в литературе, наши писатели единодушно подтвердили, что только социалистический реализм является единственно правильным и самым эффективным творческим методом нашей литературы. В рядах наших писателей социалистический реализм никем не подвергался сомнению. Так было и так будет всегда, потому что мы не только оценили творческую силу метода социалистического реализма, но сумели под руководством Трудовой партии Кореи развернуть непримиримую борьбу против всяких враждебных тенденций. Конечно, это не может означать, что у нас уже не существует никаких противоречий и борьбы. Но наша борьба заключается именно в том, чтобы как можно ярче раскрыть и применить в творчестве богатые и разнообразные возможности социалистического реализма, что связано с практическим вопросом о преодолении неверных тенденций, рождаемых догматическим пониманием этого метода. Таким образом, речь идет о борьбе против схематизма, который является главной причиной отставания литературы социалистического реализма в КНДР.

Достигнутые нами за последние годы успехи высоко оценены нашими зарубежными друзьями. Это свидетельствует о том, что политика, проводимая Трудовой партией Кореи под руководством товарища Ким Ир Сена, является правильной. Наши сегодняшние успехи были бы немыслимы в отрыве от руководства партии в области литературы и искусства, о чем помнят писатели и все деятели искусства КНДР.

Однако в некоторых странах народной демократии среди писателей имеются отдельные неустойчивые элементы, отрицающие партийное руководство литературой. Они настаивают на некоей «абсолютной свободе творчества» или же доказывают, будто любая болтовня, преподнесенная под видом критики литературы и искусства, якобы способствует их развитию.

В этих обстоятельствах снова и снова становится очевидным необходимость ленинских принципов партийного руководства социалистической литературой и искусством в целях еще большего их процветания.

Товарищ Н. С. Хрущев выступил в защиту принципов партийности и народности в литературе и искусстве. Он настойчиво потребовал изживать явления, допускающие искажение нашей действительности. Для нас очень поучительны замечания товарища Хрущева о необходимости твердо стоять

на партийных позициях, требуя от писателей честно и искренне отображать жизнь в исторически конкретной и революционной перспективе, создавать живые образы строителей коммунизма, воспевать их героические подвиги.

Мы будем трудиться над созданием произведений литературы и искусства, постоянно опираясь на живую действительность. Мы будем, как и прежде, учиться у советской литературы и искусства, ибо нас ведут вперед образы коммунистов — людей нового поколения, созданных советской литературой и искусством.

Вдохновленные выступлениями товарища Н. С. Хрущева, мы приложим все силы, чтобы творчески воспринять опыт КПСС, чтобы вместе с советскими друзьями сделать свой вклад в дело расцвета социалистической литературы и искусства. Под руководством Трудовой партии Кореи мы постараемся сделать все, чтобы обогатить сокровищницу мировой культуры.

Дашцэвгийн Сэнгээ
Монгольская Народная Республика

ВЫСОКИЙ ДОЛГ ПИСАТЕЛЕЙ МНР

В программном документе «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» мы, монгольские писатели, с большим интересом прочли слова, адресованные нашим друзьям — литераторам и деятелям искусства Советского Союза, слова, которые явились ответом на многие волновавшие всех нас, писателей социалистического лагеря, вопросы.

«Кто хочет быть с народом, тот всегда будет с партией, — говорит товарищ Хрущев. — Кто прочно стоит на позициях партии, тот всегда будет с народом».

Да, лучшими книгами монгольских писателей оказались те произведения, которые отражали борьбу, чаяния и жизнь народа.

Монгольский народ под мудрым руководством своей Народно-революционной партии, добившись большого подъема трудовой активности в процессе продвижения нашей страны к экономическому и культурному прогрессу, одерживает из года в год все новые и новые успехи. Значительное развитие получило животноводство нашей страны при одновременном росте социалистического сектора в этой области сельского хозяйства.

Наша промышленность, с успехом выполнив план второй пятилетки, из года в год повышает выпуск продукции.

При помощи Советского Союза в нашей стране построена железная дорога, создана горнорудная промышленность, намного увеличена производительность труда во всех отраслях производства.

Вместе с успехами промышленности и сельского хозяйства неуклонно растет благосостояние нашего народа.

В результате этих экономических успехов и повышения уровня материального благосостояния естественно, что значительно возросли и культурные запросы трудящихся. Расширился круг читателей, повысился уровень их знаний, возросли их законные требования, предъявляемые к нам, писателям. Мы отлично сознаем, что для того, чтобы оправдать доверие народа, нужно создавать честные, правдиво написанные произведения,

хорошие книги. И наша отечественная литература, следуя развитию страны, создает героические образы сынов своего народа, правдиво отражает труд и борьбу за построение новой жизни.

Читатель и писатель социалистической страны вместе создают историю, у них одно, единое дыхание, одна жизнь. Я помню, как на одной из встреч на Промкомбинате города Улан-Батора один из рабочих обратился к писателям с таким наказом: «Мы будем хорошо работать, ваш же долг создать образ положительного героя нашего времени. Присмотритесь внимательно к жизни труженика Монголии, опишите его правдиво — и вы выполните свой долг».

Можно сказать, что в этих словах выражено общее требование наших читателей. И если мы, писатели, сумеем раскрыть безмерное богатство жизни, найдем типичные образы, достойные внимания нашего народа, то, без сомнения, читатели узнают в них себя и своих товарищей. Известно, что положительные герои литературы быстро становятся гордостью людей нашего времени, а отрицательные — помогают избавиться от недостатков. Так жизнь дает пищу литературе, а литература, в свою очередь, помогает строить новую жизнь.

Мы, писатели МНР, с глубокой признательностью отмечаем, что развитию нашей революционной литературы оказал огромную услугу великий русский писатель Алексей Максимович Горький — основоположник социалистического реализма.

Активные строители новой жизни — главные герои нашей литературы. Выполняя решения апрельского пленума ЦК МНРП и II съезда писателей МНР, мы, монгольские писатели, стремимся показывать в своих произведениях активных борцов за дело социализма — передовиков промышленности, лучших скотоводов, представителей народной интеллигенции.

Современная монгольская литература — новая, недавно родившаяся литература. Наши писатели благодаря народной власти получили право свободно творить, получили доступ к изучению замечательных творений мировой литературы. Высокий долг писателя — проникать в глубь жизни народа, вносить свой вклад в созидательный труд народа, принимать активное участие в деле развития культуры и искусства своей Родины.

Ян Костра

СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ

Перевод со словацкого Р. Сефа.

За возрожденной вновь свободы
Расцветшие сады,
За хлынувшие ливнем воды,
Растопленные льды.

За славных сыновей, которых
Вы в жертву принесли.
За семена, что брошены в просторах
Моей родной земли.

За очищающее пламя ружей,
С которыми шли в бой.
За русского, который дружен
С моей страной.

За поезда с зерном, что режут дали,
Ночами мчась.
За руку помощи, что вы нам дали
В тяжелый час.

За молот ваш, который искру высек
В костер друзей.
За заводские трубы в синих высях,
Моря огней.

За чувства, что живут тысячелетья,
Но молоды всегда.
И за повисшие тяжелой сетью
Стальные провода.

И за огни электростанций новых,
Плывущие на глади рек, —
Мы вспоминаем вас хорошим словом...
Спасибо вам навек!

«КОМНАТА В ПОДВАЛЕ» *Рис П. Бунина*

Грэхем Грин

Рассказы

Комната в подвале

Перевод с английского Н. Волжиной.

1

Когда парадная дверь захлопнулась за ними и лакей Бейнз вернулся в давящий сумраком холл, Филип почувствовал, что теперь начинается жизнь. Он стоял у двери в детскую и прислушивался к такси, рокочущему все глуше и глуше. Его родители уехали в двухнедельное путешествие; в детской было «междуцарствие» — одну няньку рассчитали, другая еще не появилась; в большом особняке на Белгравиа он остался один с Бейнзом и миссис Бейнз.

Можно было пойти куда угодно — отворить дверь, обитую зеленым сукном, и спуститься хоть в кладовую, хоть еще ниже, в подвальное помещение.

Он чувствовал себя чужим в своем собственном доме, потому что в любую комнату разрешалось заглянуть и всюду было пусто.

О том, чьи они — эти комнаты, можно было только догадываться: в курительной — трубки на полочке рядом со слоновыми бивнями, резной деревянный ящичек для табака; в спальной — розовые шторы, флаконы с бесцветными духами и на три четверти опорожненные баночки с кремом, которые миссис Бейнз еще не успела убрать; блестящая поверхность всегда немого рояля в гостиной, фарфоровые часы, смешные маленькие столики и серебряные безделушки,— но здесь миссис Бейнз уже хозяйничала: опускала шторы, надевала чехлы на стулья.

— Уходите отсюда, мистер Филип, — и она посмотрела на него противными, злющими глазами, не переставая наводить порядок в гостиной — старательная, черствая, неукоснительная в исполнении своих служебных обязанностей.

Филип Лейн спустился в первый этаж и отворил обитую зеленым сукном дверь; он заглянул в кладовую, но Бейнза там не было; тогда его ноги впервые ступили на лестницу в подвал. И тут он снова почувствовал: я живу. Семилетняя жизнь, знавшая только детскую, трепетала от каких-то новых, странных ощущений. Его мозг был точно город, ощутивший, как дрогнула под ним почва в ответ на далекое землетрясение. Он держался настороженно, но ему никогда еще не было так хорошо. Все вокруг приобретало какую-то особенную значительность.

Бейнз сидел в одной жилетке и читал газету. Он сказал:

— Входи, Фил, не стесняйся. Подожди, сейчас я выставлю угощение, — и подойдя к сияющему белизной шкафчику, он достал оттуда бутылку лимонада и половину кекса. — Скоро полдень, сынок, — сказал Бейнз. — В это время открываются бары, — и он отрезал ломтик кекса и налил лимонада в один стакан. Филип еще никогда не видел его таким приветливым, спокойным — таким, каким бывает человек у себя дома.

— Позвать миссис Бейнз? — спросил Филип и обрадовался, услышав: «Нет, не надо. Она занята. Она любит работать. Зачем лишать ее удовольствия?»

— Пропустить стаканчик в половине двенадцатого самое хорошее дело, — сказал Бейнз, наливая себе лимонада. — Здоровью не повредит, а жаркое покажется еще вкуснее.

— Жаркое? — спросил Филип.

— У нас, на Золотом береге, — сказал Бейнз, — всякую еду называли «жаркое».

— Но ведь это не жаркое?

— А у нас там было бы жаркое на пальмовом масле. И на сладкое папайя.

Филип посмотрел в подвальное окно и увидел высушенный солнцем мощеный двор, мусорный ящик и ноги, мелькавшие за оградой.

— А на Золотом береге было жарко?

— Ну-у, ты такой жары даже представить себе не можешь. Это тебе не как у нас в парке, вот, например, сегодня — жара, но приятная. Там влажная, — сказал Бейнз, — гнилая. — Он отрезал себе кусок кекса. — Там все пахнет плесенью, — сказал Бейнз, — переводя взгляд с одного шкафчика на другой, осматривая тесную подвальную комнату — пустыню, в которой человеку негде спрятать свои секреты. Точно сожалея о чем-то навсегда утраченном, он долго не отнимал стакан от губ.

— А почему папа там жил?

— Служба была такая, — сказал Бейнз, — вот как у меня здесь. А тогда я тоже там служил. Вот это была настоящая мужская работа. Веришь ли, сорок негров, и я ими командовал, и все они слушались каждого моего слова.

— А почему вы оттуда уехали?

— Женился на миссис Бейнз.

Филип взял кусок кекса и, жуя его, обошел с ним всю комнату. Он чувствовал себя совсем взрослым, независимым и умным; он понимал, что Бейнз говорит с ним как мужчина с мужчиной. Бейнз никогда не называл его мистер Филип, а миссис Бейнз называла, потому что она знала только одно — лебезить или командовать.

Бейнз успел повидать мир; он успел повидать не только ограду, не только усталые ноги машинисток, совершающих ежедневно один и тот же путь по Пимлико — с Виктория-стрит и обратно. Сейчас он сидел за стаканом лимонада с видом изгнанника, достойно принимавшего свое изгнание; Бейнз не жаловался; он сам избрал свою судьбу, и если его судьбой стала миссис Бейнз, в этом ему следовало винить только самого себя.

Но сегодня, когда в доме почти никого не осталось и миссис Бейнз убирала комнаты наверху, а у него дел никаких не было, он мог позволить себе побрюзжать немножко.

— Если бы можно, я бы завтра же туда уехал.

— А вы когда-нибудь убивали негров?

— В этом никакой надобности не было, — сказал Бейнз. — Конечно, с оружием я не расставался. Но плохо обращаться с ними вовсе не обязательно. Они от этого только дуреют. Знаешь,— сказал Бейнз, смущенно склоняя над стаканом голову с седыми редеющими волосами, — кое-кого из этих проклятых негров я даже любил. Их нельзя было не любить. Смеются, ходят, взявшись за руки; им нравится дотрагиваться друг до друга — приятно чувствовать, что с тобой рядом кто-то есть. Нам это непонятно — взрослые люди, весь день ходят по двое, взявшись за руки. Но это не любовь, а что-то другое, чего мы не понимаем.

— Мистер Филип! Кушаете не вовремя? — сказала миссис Бейнз. — Знала бы мама!

Она спускалась в подвал по крутым ступенькам, с полными руками баночек из-под крема, ночного и дневного, тюбиков с притираниями и мазями.

— Напрасно ты ему потакаешь, Бейнз. — Она села в плетеное кресло и, прищурив свои маленькие недобрые глазки, стала разглядывать губную помаду «Коти», крем «Понд», румяна «Лейхнер», пудру «Сайклекс» и лосьон «Элизабет Арден».

Она побросала все это в корзину для бумаги. Оставила себе только кольдкрем.

— Рассказываешь ребенку бог знает что, — сказала она. — Ступайте в детскую, мистер Филип, и побудьте там, пока я приготовлю завтрак.

Филип поднялся по лестнице к зеленой двери. Он слышал голос миссис Бейнз, и ему казалось, будто это как ночью, когда свечка оплывает в подставку с водой и занавески шевелятся в темноте; голос был резкий, скрипучий, злобный и слишком громкий, будто голый.

— Противно смотреть, Бейнз, как ты балуешь ребенка. Хоть бы занялся чем-нибудь по дому,— но ответа Бейнза ему не удалось услышать. Он толкнул зеленую дверь — маленький, в серых фланелевых штанишках, и точно земляной зверек выполз на залитый солнцем паркет, в сверкание зеркал, обметенных тряпкой, блестящих, похорошевших под руками миссис Бейнз.

Внизу что-то разбилось, и Филип грустно поднялся по лестнице на второй этаж, в детскую. Ему стало жалко Бейнза; он подумал, как бы им хорошо жилось вдвоем в пустом доме, если бы миссис Бейнз куда-нибудь уехала. Возиться с «Конструктором» не хотелось; доставать железную дорогу или солдатиков тоже не хотелось; он сел за стол и подпер подбородок руками: вот она, жизнь; и вдруг почувствовал, что несет ответственность за Бейнза, будто он, Филип, хозяин в доме, а Бейнз — стареющий слуга, который заслужил, чтобы о нем заботились. А что можно сделать? Ничего особенного — надо постараться хотя бы вести себя как следует.

Он не удивился, когда за завтраком миссис Бейнз вдруг подобрела; такие перемены в ней были привычны ему. Теперь то и дело слышалось: «Подложить вам мяса, мистер Филип?», «Мистер Филип, скушайте еще пудинга, ведь вкусно!» Это был его любимый пудинг — со взбитыми сливками, но он отказался от второго куска, чтобы миссис Бейнз не вообразила себя победительницей. Она принадлежала к тому числу женщин, которые думают, что любую несправедливость можно загладить чем-нибудь вкусным.

Она была едкая, а любила готовить сладкие блюда; никто не мог пожаловаться на недостаток джема или изюма в ее стряпне; сама она ела много и за столом всегда добавляла сахарную пудру, клубничный джем и взбитые сливки. В неярком свете, проникавшем сквозь подвальное окно, мельчайшие частицы пудры окружали ее белесые волосы пыльным ореолом, а Бейнз сидел, низко нагнувшись над тарелкой, и молчал.

Филип снова почувствовал ответственность за Бейнза. Бейнз ждал этого дня и обманулся в своих ожиданиях; все шло не так, как надо. Разочарование было хорошо знакомо Филипу; не зная, что такое любовь, ревность, страсть, он лучше кого-нибудь другого понимал, как бывает грустно, когда то́, на что ты надеялся, не сбылось, то́, что тебе было обещано, не исполнилось, то́, от чего ты ждал радости, обернулось скукой.

— Бейнз, — спросил он,— вы пойдете со мной гулять после завтрака?

— Нет, — сказала миссис Бейнз, — нет. Никуда он не пойдет. Серебро надо чистить.

— Успеется, впереди целых две недели.

— Кончил дело — гуляй смело. — Миссис Бейнз подложила себе еще взбитых сливок.

Бейнз вдруг бросил на стол вилку и нож и отодвинул от себя тарелку.

— К черту! — крикнул он.

— Спокойно, — негромко сказала миссис Бейнз. — Спокойно. Ни бить посуду, Бейнз, ни браниться при ребенке я тебе больше не позволю. Мистер Филип, вы кончили? Тогда ступайте. — Она соскоблила остатки взбитых сливок с пудинга себе на тарелку.

— Я хочу гулять, — сказал Филип.

— Идите к себе и отдохните.

— Нет, я пойду гулять.

— Мистер Филип, — сказала миссис Бейнз. Она встала из-за стола, не доев взбитые сливки, и подошла к нему, худая, страшная, тусклая в полутьме подвала. — Мистер Филип, делайте, как вам велено. — Она взяла его за руку и чуть сжала повыше локтя; она следила за ним с безрадостным, страстным блеском в глазах, а поверх ее головы мелькали ноги машинисток, возвращавшихся после завтрака в конторы на Виктория-стрит.

— Почему мне нельзя гулять? — Но на большее его не хватило; ему стало страшно и стыдно своего страха. Вот она, жизнь; в подвальной комнате бушевали непонятные ему страсти. Он увидел в углу осколки, сметенные к корзине для бумаги. Он посмотрел на Бейнза, ища в нем подспорья, но перехватил его взгляд, полный ненависти — тоскливой, безнадежной ненависти загнанного за решетку существа.— Почему нельзя? — повторил он.

— Мистер Филип,— сказала миссис Бейнз,— делайте, как вам велено. Вы думаете, что если ваш папа уехал, вас некому будет...

— Вы не посмеете! — крикнул Филип и вздрогнул, услышав негромкий голос Бейнза:

— Нет такого, чего она не посмеет.

— Ненавижу! — сказал Филип миссис Бейнз. Он вырвался у нее из рук и побежал к двери, но она опередила его, она была хоть и старая, а проворная.

— Мистер Филип, — сказала она, — сию же минуту извинитесь. — Она стояла у порога, вся дрожа. — Если бы ваш папа слышал это, что бы он с вами сделал?

Она протянула руку — сухую, белую от соды, ногти срезаны чуть ли не до мяса, но он отскочил назад, так что теперь между ними был стол, и вдруг, к его удивлению, она улыбнулась; ее злоба мгновенно сменилась подобострастностью.

— Да ну вас, мистер Филип! — теперь она говорила весело. — Я вижу, хлебну я с вами горя, пока мама с папой не приедут.

Она отступила от двери, и когда он прошел мимо, шутливо шлепнула его.

— Некогда мне сегодня вас учить, и без того хлопот полон рот. Еще половина мебели стоит без чехлов, — и даже о верхнем этаже он не мог подумать без отвращения, когда представил себе, как миссис Бейнз будет шнырять там, надевая чехлы на стулья.

И он не пошел наверх за кепкой, а выбежал из холла прямо на улицу и, посмотрев направо, потом налево, снова почувствовал: вот она, жизнь, и я в самой гуще ее.

2

Розовые бисквитные пирожные на кружевных бумажных салфеточках, окорок, батон розоватой колбасы, осы, маленькими торпедами носившиеся за стеклом витрины,— вот что заинтересовало Филипа. Его ноги устали шагать по тротуарам; пересекать улицу он боялся и поэтому

пошел сначала в одном направлении, потом в другом. До дома оставалось совсем немного; площадь была в конце улицы: тут начиналась самая неприглядная часть Пимлико. Он приплюснул нос к стеклу витрины, разглядывая сладости, и между пирожными и окороком увидел совсем другого Бейнза. Он не сразу узнал его выпуклые глаза, лысеющий лоб. Это был счастливый, смелый, бесшабашный Бейнз, хотя, если вглядеться, это был Бейнз, дошедший до последней степени отчаяния.

Девушку Филип видел впервые. Он вспомнил, что у Бейнза есть племянница, и решил, что, вероятно, это она. Девушка была в белом макинтоше, худенькая, бледная. Таких Филип никогда не встречал; она была из другого мира, о котором он не имел ни малейшего понятия. Он не мог бы придумывать о ней разные истории, как, например, о высохшем старичке сэре Хьюберте Риде, или о миссис Уинс-Дадли, которая приезжала к ним раз в год из Пенстэнли с зеленым зонтиком и огромной черной сумкой, или о лакеях и горничных в тех домах, куда его приглашали к чаю либо поиграть с детьми. Она была ниоткуда; ему пришли на память русалки и Ундина, но среди них места ей тоже не находилось, ни среди них, ни в «Приключениях Эмиля и сыщиков», ни в «Семье Бастейблей». Она сидела загадочная, отрешенная от всего своей предельной сиротливостью и смотрела на розовое пирожное, на неполные коробочки с пудрой, которые Бейнз выставил на мраморном столике, отделявшем их друг от друга.

Бейнз требовал, просил, убеждал, приказывал, а девушка смотрела на свой чай и на коробочки с пудрой и плакала. Бейнз протянул ей платок через стол, но она стала мять его в руке, не вытирая слез; она ничего не хотела делать, не хотела говорить и отчаянно, молча боролась с тем, что ужасало, влекло ее и о чем она и слышать не могла. Две воли, любя одна другую, вели битву за чайным столиком, и туда, где стоял Филип, сквозь пыльную витрину с окороком и осами, проникали отрывочные приметы их битвы.

Ему было интересно, но непонятно, а понять хотелось. Он стал в дверях, чтобы лучше все разглядеть; никогда в жизни не был он так беззащитен; чужая жизнь впервые касалась его, давила, обминала. Эта сцена навсегда останется с ним. Через неделю он забыл ее, но она определила весь его дальнейший путь, всю его долгую отшельническую жизнь; умирая, он спросил: кто она?

Бейнз выиграл битву; вид у него был победоносный, а у девушки — счастливый. Она вытерла слезы, она открыла коробочку с пудрой, и пальцы их сомкнулись над столом. Филип подумал: вот будет забавно, если передразнить миссис Бейнз и крикнуть: «Бейнз!»

Они словно сжались — другого слова не подберешь; они стали меньше и уже не такие счастливые, не такие смелые. Бейнз первый пришел в себя и догадался, чей это голос, но возврата к прежнему уже не было. Опилки высыпались из их радостного дня; починить его было нельзя, и Филип испугался.

— Я не нарочно...

Он хотел сказать, что любит Бейнза, что он думал высмеять миссис Бейнз. Но ему вдруг стало ясно, что миссис Бейнз не из тех, над кем можно смеяться. Миссис Бейнз это не сэр Хьюберт Рид, который пишет стальными перьями и всегда носит с собой перочистку; миссис Бейнз это не миссис Уинс-Дадли; она — тьма, когда ночник гаснет от сквозняка; она — мерзлые комья земли, он видел их однажды зимой на кладбище и слышал, как было сказано: «Тут нужен пневматический молоток»; она — сгнившие вонючие цветы в чуланчике в Пенстэнли. В ней нет ничего смешного. Когда она рядом, терпи ее, а как только ушла — забудь немедленно, подави, загони вглубь самую мысль о ней.

Бейнз сказал:

— Да это Филип! — поманил его к столику и пододвинул ему розовое пирожное, которое девушка так и не съела, но радостный день надломился, и пирожное, точно черствый хлеб, застревало у Филипа в горле. Девушка ушла сразу, даже забыв взять пудру; точно маленькая, обломанная с узкого конца сосулька, она встала в своем белом макинтоше на пороге, спиной к ним, и растаяла за дверью.

— Кто она? — спросил Филип. — Ваша племянница?

— Да, да, — сказал Бейнз. — Племянница. Она самая, — и вылил остатки кипятка на крупные черные чаинки в чайнике.

— Выпить что ли еще одну? — сказал Бейнз. — В чаше радость и веселье, — упавшим голосом проговорил он, глядя, как темная горьковатая жидкость льется из носика.— Может, хочешь лимонаду, Фил?

— Простите меня, Бейнз, не сердитесь.

— Ты не виноват, Фил. Я подумал, что это ее голос. Она всюду пролезет. — Он выловил из чашки две чаинки и положил их себе на левую руку с тыльной стороны — одна была тонкая, размокшая, другая — твердый черенок. Он хлопнул по ним правой рукой: — Нынче, — и черенок пристал к ладони,— завтра, в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье,— но чаинка не сходила с руки и, подсыхая под его шлепками, держалась с упорством, которое трудно было ожидать от нее. — Она сильнее — победила, — сказал Бейнз.

Он встал, заплатил по счету, и они вышли на улицу. Бейнз сказал:

— Я не прошу тебя говорить неправду. Но ты не рассказывай миссис Бейнз, что встретил нас здесь.

— Конечно, не скажу, — ответил Филип и добавил тоном сэра Хьюберта Рида: — Я понимаю, Бейнз. — Но он ничего не понимал; он плутал в темноте, окружающей взрослых людей.

— Я, конечно, сглупил, — сказал Бейнз, — слишком близко от дома, но мне и подумать об этом было некогда. Я не мог не повидать ее.

— Конечно, Бейнз.

— Времени у меня впереди мало, — сказал Бейнз. — Я ведь не молод. Должен я был узнать, как она там — жива ли, здорова.

— Конечно, Бейнз.

— Миссис Бейнз все у тебя выведает, если сможет.

— Положитесь на меня, Бейнз, — сказал Филип голосом Рида — сухим, солидным, и вдруг: — Тише! Она смотрит в окно. — И действительно, она выглядывала из-за кружевных занавесок в подвальном окне, соображая, где они были. — Мы не пойдем домой, Бейнз? — спросил Филип, чувствуя холодную тяжесть в желудке, как бывает, когда объешься пудинга; он вцепился в Бейнза.

— Тише, — вполголоса сказал Бейнз. — Тише.

— Но мы не пойдем домой, Бейнз? Еще рано. Погуляем в парке.

— Нет, не стоит.

— Я боюсь, Бейнз.

— Нечего тебе бояться, — сказал Бейнз. — Никто тебя не тронет. Беги прямо в детскую. А я пойду со двора и поговорю с миссис Бейнз. — Но он сам остановился в нерешительности у каменных ступенек, ведущих вниз, во двор, притворяясь, будто не видит, как она выглядывает из-за кружевных занавесок. — Быстрее, Фил, через парадную дверь и наверх.

Филип не задержался в холле; он побежал к лестнице, скользя с разбегу по паркету, натертому миссис Бейнз. В открытую дверь гостиной на втором этаже он увидел стулья в чехлах; фарфоровые часы на камине и те были прикрыты чем-то, точно клетка с канарейкой; когда он пробегал мимо них, они вдруг стали бить, таинственно, приглушенно. На столе в

детской был накрыт ужин: стакан молока, бутерброд с маслом, сладкое печенье и маленький кусок пудинга без взбитых сливок. Есть ему не хотелось; он прислушивался, не идет ли миссис Бейнз, не донесутся ли сюда голоса, но комната в подвале держала свои секреты при себе; зеленая дверь выключала тот мир. Он выпил молока с печеньем, не притронувшись к остальному, и вскоре услышал на лестнице тихие, но твердые шаги миссис Бейнз: она была хорошая прислуга и ступала тихо; она была решительная женщина, и поступь у нее была твердая.

Но она вошла не злая; она отворила дверь в его спальню и подобострастно заговорила:

— Ну как, приятно погуляли, мистер Филип? — Потом опустила занавески, положила ему на кровать пижаму и вернулась убрать посуду со стола. — Хорошо, что Бейнз нашел вас. Ваша мама была бы недовольна, что вы гуляете один. — Она оглядела поднос. — Что-то вы плохо покушали, мистер Филип. Аппетита не было? Съели бы пудинг, он вкусный. Сейчас я принесу к нему джема.

— Нет, нет, спасибо, миссис Бейнз, — сказал Филип.

— Вам надо побольше кушать, — сказала миссис Бейнз. Она повела носом, принюхиваясь к чему-то, как собака. — Мистер Филип, это не вы взяли у меня коробочки из корзинки?

— Нет , — сказал Филип.

— Ну конечно, зачем они вам. Я просто хотела проверить. — Она положила руку ему на плечо, и вдруг ее пальцы метнулись к лацкану его куртки, она сняла оттуда крошку розовой глазури. — Ай-яй-яй, мистер Филип, — сказала она. — Вот почему у вас плохой аппетит. Пирожные покупаете? Разве вам на это дают карманные деньги?

— Я не покупал пирожных,— сказал Филип.— Ничего я не покупал.

Она лизнула крошку кончиком языка.

— Не лгите, мистер Филип. Ваш папа этого не терпит, и я не потерплю.

— Не покупал я, не покупал! — сказал Филип.— Они меня сами угостили. То есть, Бейнз угостил, — но она так и ухватилась за слово «они». Вот и достигла, чего хотела; это стало ясно ему, хоть он и не знал, что ей было надо. Филипа охватила злоба, тоска и разочарование в самом себе, потому что он не смог сохранить секрет Бейнза. Бейнз не имел права полагаться на него; взрослые должны сами хранить свои секреты. И вот надо же! Миссис Бейнз немедленно доверила ему еще один:

— Ну-ка, дайте я пощекочу вам ладонь, посмотрим, сможете ли вы сохранить секрет. — Но он спрятал руки за спину; он не позволит ей дотронуться до себя.— Я все про них знаю, мистер Филип, вот это и есть секрет — мой и ваш. Она, верно, пила с ним чай?

— А что тут такого? — сказал он, чувствуя всю тяжесть ответственности за Бейнза, чувствуя, как это несправедливо, что жизнь навязала ему и секрет миссис Бейнз, когда он не мог сохранить секрет Бейнза.— Она славная.

— Славная? — повторила миссис Бейнз голосом, полным горькой обиды, необычным для нее голосом.

— И она его племянница.

— Ах, вот он что сказал! — Это прозвучало глухо, как тот неожиданный бой часов под чехлом. Но миссис Бейнз тут же перешла на шутливый тон.— Вот старый греховодник. Не говорите ему, что я все знаю, мистер Филип.— Она замерла между столом и дверью, напряженно думая о чем-то, замышляя что-то. — Обещаете, мистер Филип? Я подарю вам «Конструктор»...

Он повернулся к ней спиной; обещать он ничего не будет, но и не

скажет. Не нужны ему их секреты, не нужна ему ответственность, которую они взваливают на него. Поскорее бы забыть все это. Он и без того получил такую порцию жизни, о какой и уговора не было, и ему страшно. — «Конструктор 2А», мистер Филип! — С тех пор он так и не дотронулся до своего «Конструктора», он так ничего и не построил, так ничего и не создал и умер дилетантом шестьдесят лет спустя, ничего в жизни не совершив, из боязни вызвать в памяти злобный голос миссис Бейнз, пожелавшей ему спокойной ночи, ее тихие, решительные шаги, отсчитывающие на лестнице в подвал ступеньку за ступенькой, ступеньку за ступенькой.

3

Солнце лилось в комнату сквозь щель между занавесками, а Бейнз отбивал барабанную дробь на ведерке для горячей воды.

— Ликуем, ликуем! — приговаривал Бейнз. Он сел к нему на край кровати и сказал: — Разрешите доложить, что миссис Бейнз уехала. У нее умирает мать. Она вернется только завтра.

— Почему вы так рано меня разбудили? — спросил Филип. Он смотрел на Бейнза недоверчиво; не вовлекут ли они его в свои дела; он и так уже получил хороший урок. Бейнз старый, а веселится — это ему не пристало. Тогда он становится таким же человеком, как и ты, потому что, если взрослые способны так ребячиться, тебе ничего не стоит перешагнуть в их мир. Довольно и того, что этот мир преследует тебя в тяжелых снах: колдунья, выглядывающая из-за угла, человек с ножом. — Рано! — заныл он, все еще любя Бейнза, радуясь, что Бейнзу весело. Страх перед жизнью и ее манящая сила разрывали его на части.

— Я хочу, чтобы этот день был длинный-длинный, — сказал Бейнз.— Сейчас самое хорошее время.— Он отдернул занавески.— Небольшой туман. Кошка всю ночь гуляла. Вон она, вынюхивает что-то во дворе. В пятьдесят девятом номере молока не взяли. Эмма из шестьдесят третьего вытряхивает половики.— Он сказал: — Вот об этом я и мечтал на Золотом береге: чтобы кто-нибудь вытряхивал половики и чтобы кошка возвращалась домой утром. А сегодня я все это вижу,— сказал Бейнз.— И будто я снова в Африке. Живешь, и большей частью ничего не замечаешь вокруг себя. Жизнь хороша, только не надо падать духом. — Он положил на умывальник пенни. — Оденешься, Фил, сбегай на угол за «Дейли мейл». А я пойду варить сосиски.

— Сосиски?

— Сосиски,— сказал Бейнз.— Отпразднуем сегодняшний день. Закатим пир горой. — Он праздновал его за завтраком, суетился, отпускал шутки, смеялся ни с того ни с сего, нервничал и то и дело повторял, что день этот будет длинный-длинный. Сколько лет он мечтал о таком дне, обливался потом во влажном африканском зное, менял промокшие рубашки по десять раз на дню, болел лихорадкой, лежал, закутанный в одеяла, и исходил потом — и все это в ожидании вот такого длинного дня, кошки, которая будет вынюхивать что-то во дворе, легкого тумана и чтобы в шестьдесят третьем выбивали половики. Он приткнул «Дейли» к кофейнику и время от времени читал что-нибудь вслух. Он сказал: — Кора Даун вышла замуж в четвертый раз. — Ему было весело, но все-таки разве в этом прелесть длинного дня? Длинный день — значит, надо поехать в Гайд-парк, полюбоваться всадниками на Роу, увидеть за оградой сэра Артура Стиллуотера· («Он обедал у нас в Боле; был тогда губернатором Фритауна»), позавтракать в Корнер-хаус — из-за Филипа (сам-то он предпочел бы стакан портера с устрицами в баре «Йорк»), побывать в Зоологическом саду, а потом летними сумерками долгий путь на омнибусе домой; листья в Грин-парке начали желтеть, машины

шустро выбегали с Беркли-стрит, и низкое солнце мягко поблескивало на их ветровых стеклах. Бейнз никому не завидовал, ни Коре Даун, ни сэру Артуру Стиллуотеру, ни лорду Сэндейку, который вышел на ступеньки клуба «Армия и флот» и тут же повернул обратно, потому что дел у него никаких не было, и он вполне мог прочитать еще одну газету.

— Я сказал: «Чтобы ты не смел больше трогать этого негра!» — Вот тогда у Бейнза была настоящая жизнь! На империале омнибуса все навострили уши, прислушиваясь к тому, что он рассказывал Филипу.

— А вы бы его застрелили? — спросил Филип, и Бейнз откинул назад голову, надел поудобнее свою темную строгую шляпу, и омнибус круто обогнул памятник артиллеристам.

— И не задумался бы — прямо наповал,— хвастливо сказал он, когда мимо них проплыла фигура со склоненной головой — стальной шлем, тяжелый плащ, винтовка дулом вниз и молитвенно сложенные на груди руки.

— А револьвер у вас сохранился?

— Ну, еще бы! — сказал Бейнз.— Как же можно без револьвера, когда кругом только и слышишь о грабежах? — Такого Бейнза Филип любил — не того Бейнза, который беззаботно напевал что-то, а Бейнза независимого, Бейнза надежного — Бейнза, который жил настоящей жизнью.

Омнибусы вылетели с Виктория-стрит, точно почетная эскадрилья, сопровождающая Бейнза домой.— Сорок негров под моим началом! — а у ступенек во двор его ждала непременная в таких случаях награда — любовь, венчающая славный день.

— Вон ваша племянница,— сказал Филип, узнав не лицо — сонное, счастливое, а белый макинтош. Она испугала его, как число «13»; он чуть не проговорился Бейнзу о том, что сказала ему миссис Бейнз, но решил не вмешиваться в это — пусть все обойдется без него.

— Да, это она,— сказал Бейнз.— Не иначе как хочет поужинать вместе с нами.— И тут же придумал подшутить над ней: сделать вид, будто они ее не узнали, войти в дом через двор и «раз-два!» накрыть на стол, подать холодные сосиски, бутылку пива, бутылку лимонада, графин разливного красного вина. — Каждому по вкусу, — сказал Бейнз. — Сбегай наверх, Фил, посмотри, нет ли писем.

Филипу было не по себе в пустом, одетом в чехлы доме. Он торопился. Ему хотелось поскорее вернуться к Бейнзу. Холл, окутанный тишиной и сумерками, готовился показать ему что-то такое, чего он не хотел видеть. В дверную прорезь с шорохом скользнули письма, кто-то постучался.— Именем Республики, откройте! — По улице катились двухколесные повозки, на одной подскакивала окровавленная корзина с человеческой головой. Стук-стук, и удаляющиеся шаги почтальона. Филип взял письма. Дверная прорезь была похожа на окошечко в ювелирной лавке. Ему вспомнилось, как однажды в это окошечко заглянул полисмен. Он спросил няньку: — Зачем это? — и когда она ответила: — Проверяет, все ли там тихо, спокойно,— в мозгу у него немедленно пронеслись страшные картины — а что если там не тихо и не спокойно? Он распахнул зеленую дверь и сбежал по ступенькам в подвал. Девушка была там, и Бейнз целовал ее. Она прислонилась к кухонному шкафчику, еле переводя дыхание.

— Познакомься, Фил, это Эмми.

— Вам письмо, Бейнз.

— Эмми,— сказал Бейнз,— это от нее.— Но он не распечатал конверта.— Наверно, скоро приедет.

— Все равно, давайте поужинаем,— сказала Эмми.— Ничего она нам за это не сделает.

— Ты ее не знаешь,— ответил Бейнз.— С ней берегись. А, пропади все пропадом! — сказал он. — Был же я когда-то человеком, — и распечатал конверт.

— Можно начинать? — спросил Филип, но Бейнз будто и не услышал; неподвижный, сосредоточенный, он всем своим видом показывал, какое значение придают взрослые словам не произнесенным, а написанным: если надо поблагодарить кого-нибудь, садись и пиши, не дожидаясь, когда благодарность можно будет высказать вслух; точно в письмах не лгут. Филип-то знал, лгут или не лгут, потому что ему пришлось исписать вкривь и вкось целую страницу с благодарностями тете Элис, которая прислала ему куклу в подарок, хотя он давно вышел из этого возраста. Письма лгут вовсю, и к тому же написанная ложь остается надолго; письма становятся твоими обвинителями и выставляют тебя в худшем свете, чем слова, произнесенные вслух.

— Она приедет только завтра к вечеру.— Бейнз откупорил бутылки, он придвинул стулья к столу, он поцеловал Эмми, прижав ее к шкафчику.

— Ну, что ты! — сказала Эмми.— При мальчике!

— Пусть учится, — сказал Бейнз. — Все мы так начинали, — и положил Филипу три сосиски. Себе он взял только одну, заявив, что ему не хочется есть, но когда Эмми сказала, что ей тоже не хочется, он стал рядом с ней и заставил ее поесть. Он держался с Эмми и робко и грубовато; насильно, не слушая отказов, заставил ее выпить красного вина, говоря, что ей надо поправиться; но когда он дотрагивался до нее, прикосновения его рук были и нежные и неловкие, точно он боялся сломать какую-то хрупкую, легкую вещь и не знал, как с ней обращаться.

— Вкуснее, чем молоко с печеньем, а?

— Да,— сказал Филип, но ему было страшно — страшно за Бейнза не меньше, чем за самого себя. С каждым кусочком, с каждым глотком лимонада он думал о том, что скажет миссис Бейнз, если узнает когда-нибудь об их ужине; представить себе это было невозможно, так как в глубину злобы и ярости миссис Бейнз никто не мог проникнуть. Он спросил: — Она сегодня не приедет? — Они поняли его сразу, и получилось так, будто миссис Бейнз вовсе и не уезжала; она сидела здесь, вместе с ними и заставляла их больше пить, громче говорить, а сама выжидала случая, чтобы вставить свое разящее слово. Бейнз не был счастлив; теперь он только глядел на свое счастье с двух шагов, а не откуда-то издали.

— Нет,— сказал Бейнз.— Она вернется завтра поздно вечером.— Он не мог отвести глаз от своего счастья. Да, он повесничал в молодости, как все повесничают, говорил Бейнз, все время возвращаясь к своей жизни в Африке и словно оправдывая этим свою неопытность; не был бы он таким неопытным, когда бы жил в Лондоне — неопытным во всем, что касается ласки и нежности. — Если бы здесь жила ты, Эмми, — сказал он, глядя на белый кухонный шкафчик, на выскобленные стулья, — это действительно был бы мой дом. — А комната уже успела стать немного уютнее; по углам скопилась пыль, ножам и вилкам не хватало блеска, утренняя газета, растрепанная, валялась на стуле. — Шел бы ты спать, Фил; день-то был какой длинный.

Они не отпустили его одного в пустые темные комнаты; они пошли вместе с ним, включали по пути электричество, и пальцы их соприкасались на штепселях. Ночь отступала этаж за этажом; они негромко переговаривались среди одетых в чехлы диванов и стульев; они дождались, когда он разденется, не заставили его ни умыться, ни почистить зубы, уложили в постель, зажгли ночник и оставили дверь в детскую приоткрытой. Их голоса послышались на лестнице — дружеские, будто это

гости прощались в холле после обеда. Они были как у себя дома: где они вместе, там их дом. Он услышал, как отворилась дверь, как пробили часы; он долго слышал их голоса и решил: значит, они недалеко, и ему ничто не грозит. Голоса затихли не постепенно, а сразу, и он знал, что они все еще где-то близко, они молчат в одной из пустых комнат, и глаза у них слипаются, как и у него, после такого длинного дня.

Он только успел вздохнуть — тихо, удовлетворенно, потому что это, вероятно, тоже была жизнь,— и сразу заснул, и неизбежные ночные страхи тут же окружили его: человек в трехцветной каскетке стучал в дверь по повелению его величества короля, на кухонном столе, в корзине, лежала окровавленная голова, а сибирские волки подбирались к нему все ближе и ближе. Он был скован по рукам и ногам и не мог шевельнуться; волки метались вокруг него, хрипло дыша; он открыл глаза, и миссис Бейнз была тут, рядом — растрепанные седые волосы свисали ей на лицо, шляпа съехала набок. Из прически, прямо ему на подушку, выпала шпилька, сальная прядь коснулась его губ.

— Где они? — прошептала миссис Бейнз. — Где они?

4

Филип с ужасом смотрел на нее. Миссис Бейнз дышала прерывисто, точно она только что обыскивала одну за другой все пустые комнаты, заглядывала под чехлы.

Растрепанные седые волосы, черное платье с глухим, застегнутым на все пуговицы воротником, черные нитяные перчатки — она была так похожа на колдуний из его снов, что он онемел. Изо рта у нее дурно пахло.

— Она здесь,— сказала миссис Бейнз.— Мистер Филип, вы же знаете, что она здесь! — Лицо у нее было жестокое и страдальческое, ей хотелось «растерзать их», но она мучилась. Крик облегчил бы ее страдания, а кричать было нельзя — услышат. Она с заискивающим видом снова подошла к кровати, к неподвижно лежавшему на спине Филипу и сказала шепотом: — Я не забыла про «Конструктор». Завтра вы его получите, мистер Филип. Ведь у нас с вами есть секрет, помните? Вы только скажите мне, где они.

Он не мог говорить. Страх сковал его, точно кошмар. Она прошептала:

— Скажите миссис Бейнз, мистер Филип. Ведь вы любите свою миссис Бейнз, да? — Это было непереносимо; говорить он не мог, но он мог шевельнуть губами в отчаянном беззвучном «нет» и зажмуриться, чтобы не видеть ее тусклого лица.

Она зашептала, нагибаясь к нему еще ниже.

— Обманщик! Я все расскажу папе. И сама с вами расправлюсь, дайте только найти их. Вы у меня поплачете! — И вдруг замолчала, прислушиваясь. Где-то скрипнула половица, и минуту спустя, пока она еще стояла, нагнувшись над его кроватью, внизу послышались негромкие голоса — голоса людей, которым было так хорошо вдвоем и так дремотно после длинного дня. Ночник стоял около зеркала, и миссис Бейнз с горечью увидела там свое отражение: жестокость и мука туманились в зеркале, там туманилась старость, тусклость и безнадежность. Она всхлипнула без слез, сухо, чуть слышно; но жестокость — та же гордость, не позволяла ей уступать; это было лучшее ее качество, и без него она казалась бы просто жалкой. Она вышла на цыпочках за дверь, ощупью пробралась по лестничной площадке и стала тихо, чтобы никто не услышал, спускаться по ступенькам. Снова полная тишина; теперь можно было шевельнуться; Филип согнул ноги в коленях; ему хотелось умереть. Это нечестно — стена между его миром и миром взрослых снова рухну-

ла, но теперь они вовлекали его в нечто худшее, чем веселье; по дому бродили человеческие страсти, и он чувствовал их, а понять не мог.

Это нечестно, но он обязан Бейнзу всем: Зоологический сад, бутылка лимонада, поездка домой на омнибусе. Даже ужин требовал верности Бейнзу. Но ему было страшно; он касался чего-то, такого же мучительного, как кошмар: окровавленная голова, волки, стук-стук-стук. Жизнь нещадно наваливалась на него; не ставьте же ему в вину, что дальнейшие шестьдесят лет он отворачивался от нее. Он встал с кровати, надел ночные туфли, по привычке старательно оправил их на ноге и, крадучись, подошел к двери; на нижней площадке было не так темно, потому что тяжелые шторы отдали в чистку и сквозь высокие окна падал свет с улицы. Миссис Бейнз осторожно нажимала на стеклянную дверную ручку; он крикнул пронзительным голосом:

— Бейнз, Бейнз!

Миссис Бейнз повернулась и увидела его; он стоял в одной пижаме, прижавшись к перилам — беспомощный, беспомощнее самого Бейнза, и это зрелище еще сильнее разожгло в ней жестокость и погнало ее вверх по лестнице. Он снова был во власти кошмара, снова не мог двинуться. Мужество навсегда оставило его; он исчерпал свое мужество до конца и не успел больше накопить его, не успел хотя бы постепенно закалиться; сейчас он не мог даже крикнуть.

Но Бейнз выбежал из лучшей гостевой комнаты, услышав его крик, и опередил миссис Бейнз. Едва только она ступила на площадку, как он схватил ее поперек туловища. Она замахнулась на него руками в черных нитяных перчатках, и он укусил ее за палец. Она застигла его врасплох, не дав ему опомниться, он боролся с ней яростно, как с чужой, а она отбивалась, зная, на кого направлена ее ненависть. Она покажет им всем, не безразлично ли, с кого начать; они обманули ее; но отражение в зеркале все еще стояло перед ней и говорило, что надо соблюдать достоинство, что она не так молода, чтобы забывать о чувстве собственного достоинства: осыпай его градом пощечин, но не кусайся, толкай его, но не бей ногами.

Старость, тусклость и безнадежность предали ее. Она перелетела через перила, пузырясь черным платьем, и упала в холл; она лежала у парадной двери, точно мешок с углем, который следовало бы внести в подвал через двор. Филип видел это; Эмми видела это; она вдруг села с широко открытыми глазами на пороге лучшей гостевой комнаты, будто у нее не было сил стоять. Бейнз медленно спустился в холл.

Убежать из дому Филипу было не трудно; о нем забыли; он сошел во двор по лестнице для прислуги, потому что у парадной двери лежала миссис Бейнз; он не понимал, зачем ей там лежать; все непонятное ужасало его, как странные картинки в книгах, которых ему еще не читали. Мир взрослых целиком завладел домом; в спальне тоже было опасно; их страсти хлынули и туда. Оставалось одно — бежать, по лестнице для прислуги, через двор, и никогда больше не возвращаться сюда. В таких случаях не думают о том, что озябнешь, что захочется есть, спать; в течение часа ему будет казаться, будто от людей можно убежать навсегда.

В одной пижаме и в ночных туфлях он вышел на площадь, но там его никто не мог увидеть. Это был тот час, когда обитатели особняков разъезжаются по театрам или сидят дома. Он перелез через чугунную ограду в маленький садик; платаны простерли свои бледные лапы между ним и небом. Будто лес, которому нет ни конца ни края. Он притаился за деревом, и волки отступили; ему казалось, что здесь, в уголке между маленькой чугунной скамейкой и деревом, его никогда не найдут. Он заплакал от горького счастья, от жалости к самому себе; он один, совсем один; не надо больше хранить чужие секреты; он отказался от чувства ответствен-

ности раз и навсегда. Пусть взрослые живут в своем мире и оставят его одного в этом надежном уголке среди платанов. «Не будь Иуда одинок в детстве, он не предал бы Христа». Можно было проследить, как мягкое детское личико черствеет в скороспелом эгоизме взрослого человека.

Вскоре дверь номера сорок восемь приоткрылась, и, выглянув из-за нее, Бейнз посмотрел направо, налево; потом он подал знак рукой, и на пороге появилась Эмми; они будто в последнюю минуту попали на вокзал и даже не простились друг с другом; она быстро зашагала прочь, бледная, несчастная, оттого что приходится уходить, и лицо ее мелькнуло, точно в окне вагона, когда поезд набирает скорость. Бейнз закрыл за собой дверь; в подвальной комнате горел огонь, полисмен обходил площадь, заглядывая в каждый дворик. По тому, светились ли занавешенные окна вторых этажей, можно было судить, дома хозяева или нет.

Филип обследовал садик; времени на это потребовалось немного: двадцать ярдов на двадцать — кусты, платаны, две чугунные скамьи и песчаная дорожка, по обе стороны калитки на замках, ворох сухих листьев. Но он не мог оставаться здесь: в кустах что-то зашуршало, два глаза, горящих, как у сибирского волка, сверкнули оттуда, и он с ужасом подумал: а вдруг миссис Бейнз найдет его здесь! Он не успеет перелезть через ограду; она вцепится в него сзади.

Он вышел из садика с другой стороны — не фешенебельной, и сразу же очутился среди дешевых ресторанов, маленьких писчебумажных магазинов, где можно было купить и китайский бильярд, среди объявлений о сдаче сомнительных меблированных пристанищ, среди убогих гостиниц, державших свои двери настежь. Прохожие на улице попадались редко, потому что пивные были еще открыты, но все же какая-то неряшливо одетая женщина со свертком под мышкой крикнула ему с противоположного тротуара, и швейцар из кино хотел остановить его, но он перебежал на другую сторону. Он уходил все дальше и дальше; на улицах легче было затеряться, чем среди платанов. У площади его еще могли задержать и вернуть домой: слишком было ясно, откуда этот мальчик; но чем дальше он уходил от тех мест, тем больше стирались в нем отличительные черты. Вечер был теплый, в этом районе, где люди не стесняли себя строгими правилами, любой ребенок мог слоняться по улицам, вместо того чтобы спать. Здесь ему было не одиноко даже среди взрослых; он смог сойти за здешнего ребенка откуда-нибудь по соседству, взрослые не нажалуются на него — сами когда-то были такими же малышами. Уличная пыль, сажа, вылетавшая вместе с искрами из паровозов, которые пробегали невдалеке,— одели его защитным покровом. Ему повстречалась ватага ребят, с хохотом удиравших от чего-то или от кого-то; он добежал вместе с ними до угла и там остался один, с липкой конфетой, зажатой в руке.

Вот теперь он окончательно затерялся, но на то, чтобы идти дальше и дальше, его не хватало. Сначала ему было страшно — а вдруг задержат; прошел час, и он уже мечтал об этом. Дорогу домой не найдешь, да и нельзя возвращаться одному: он боялся миссис Бейнз так, как никогда в жизни. Бейнз был его другом, но теперь случилось что-то такое, после чего вся власть перешла к миссис Бейнз. Он намеренно замедлял шаги, стараясь попасться кому-нибудь на глаза, но его никто не замечал. Люди семьями сидели на порогах своих домов, дыша вечерней прохладой перед сном; ящики с мусором были выставлены на тротуар, и он испачкал туфли о гнилые капустные листья. Повсюду звучали голоса, но он чувствовал себя отрезанным от них; эти люди были чужие ему и с того дня чужими и остались; между ними и миссис Бейнз было что-то общее, и он отгородился от них рамками своего класса. Еще час назад он боялся полисменов, но теперь ему хотелось, чтобы кто-нибудь из них от-

вел его домой; с полисменом даже миссис Бейнз не страшна. Он прошелся в двух шагах от констебля, регулирующего уличное движение, но тот был слишком занят и не обратил на него внимания. Филип сел на тротуар у стены и заплакал.

Ему не приходило в голову, что это самое простое, что от него требуется только одно — сдаться, показать, что ты побежден и готов принять людское участие... И две женщины, и хозяин ссудной кассы отмерили ему этого участия полной мерой. Подошел полисмен — молодой человек с настороженным, недоверчивым выражением лица. У него был такой вид, точно он заносил каждую мелочь в записную книжку и потом делал выводы из своих записей. Одна из женщин предложила проводить Филипа, но он не доверился ей: разве такая устоит перед миссис Бейнз, неподвижно лежащей в холле? Он не сказал, где живет; признался, что боится идти домой. И добился своего: получил защитника.

— Я отведу его в участок, — сказал полисмен и, неловко взяв Филипа за руку (он был холостяк, потому что с семьей карьеры не сделаешь), провел за угол и вместе с ним поднялся по каменным ступенькам в маленькую, голую, жарко натопленную комнату, где восседало Правосудие.

5

Правосудие восседало на высоком табурете за деревянным барьером; у него были густые усы; оно было доброе и имело шестерых детей («трое — малыши, вроде тебя»); оно не так уж заинтересовалось Филипом, но притворилось, будто интересуется, записало его адрес и велело принести ему стакан молока. Но молодой полисмен заинтересовался Филипом; у него был хорошо развит профессиональный нюх.

— Телефон у вас, наверно, есть? — спросило Правосудие.— Сейчас мы позвоним и скажем, что ты жив и здоров. За тобой кто-нибудь придет. Как тебя зовут, сынок?

— Филип.

— А фамилия?

— У меня нет фамилии.— Он не хотел, чтобы за ним приходили из дому; пусть его отведет кто-нибудь такой, с кем даже миссис Бейнз посчитается. Полисмен не сводил с него глаз, наблюдал, как он пьет молоко, заметил, как он неохотно отвечает.

— Почему ты убежал из дому? Спать не хотелось?

— Я не знаю.

— Так нельзя, дружок. Папа с мамой, наверно, волнуются.

— Они уехали.

— Ну так няня.

— У меня нет няни.

— Кто же за тобой смотрит? — Этот вопрос попал в цель. Филип увидел, как миссис Бейнз кинулась к нему вверх по лестнице, увидел черный ворох одежды в холле. Он заплакал.

— Ну, будет, будет! — сказал сержант. Он не знал, что делать; если бы его жена была здесь; женщина-полисмен и та помогла бы.

— А все-таки странно,— сказал молодой полисмен.— Никто о нем не справлялся.

— Наверно, думают, что он спит крепким сном.

— Ты чего-то боишься? — спросил полисмен.— Кто тебя напугал?

— Я не знаю.

— Может, тебя обидели?

— Нет.

— Приснилось что-нибудь,— сказал сержант.— Наверно, решил,

что пожар в доме. Я шестерых вырастил. Роза скоро вернется. С ней его и отправим.

— Я хочу с вами,— сказал Филип; он через силу улыбнулся полисмену; но эта уловка не удалась ему и не возымела действия.

— Пожалуй, я сам пойду,— сказал полисмен.— Может, там что случилось.

— Не выдумывай,— сказал сержант.— Это женское дело. Тут нужен такт. А вот и Роза. Подтяни чулки, Роза. Позоришь своим видом полицию. Для тебя есть дело.

Роза вошла в комнату, лениво волоча ноги; черные нитяные чулки гармошкой сползали ей на ботинки, манеры у нее были угловатые, как и полагается девице из скаутской организации, голос хриплый, неприветливый.

— Опять, наверно, какие-нибудь шлюхи?

— Нет, проводишь домой вот этого молодого человека.— Она уставилась на него совиным взглядом.

— Я не пойду с ней, — сказал Филип. Он снова заплакал. — Она нехорошая.

— Побольше женского обаяния, Роза,— сказал сержант. На столе зазвонил телефон. Он снял трубку.— Что? Что такое? — сказал он.— В номере сорок восемь? Врача вызвали? — Он прикрыл микрофон рукой.— Ничего удивительного, что этого малыша никто не хватился,— сказал он.— Им не до него. Несчастный случай. Женщина упала с лестницы.

— Разбилась? — спросил полисмен. Сержант беззвучно задвигал губами; произносить слово «смерть» при детях нельзя (ему ли не знать этого — у него их шестеро), надо хмыкать, гримасничать, производить чересчур сложную шифрованную сигнализацию взамен одного короткого слова.

— Да, сходи туда сам,— сказал он,— составь протокол. Врач уже на месте.

Роза, все так же волоча ноги, отошла от печки; щеки румяные, с ямочками, чулки гармошкой. Она заложила руки за спину. Ее большой рот, похожий на склеп, был полон гнилых зубов.

— Вы велели мне отвести его, а как только выяснилось, что там что-то интересное... От мужчины дождешься справедливости...

— Кто в доме? — спросил полисмен.

— Лакей.

— Может быть,— сказал полисмен,— он видел...

— Положись на меня, — сказал сержант. — Я шестерых вырастил. Знаю их, как облупленных. Что касается детей, меня учить нечему.

— Он чего-то боится.

— Дурные сны,— сказал сержант.

— Фамилия лакея?

— Бейнз.

— А этого мистера Бейнза,— спросил полисмен Филипа,— ты любишь, а? Он добрый? — Они пытались что-то выведать у него; он никому из них не доверял; он сказал «да» нетвердо, потому что боялся, как бы ему вдруг не навязали новых секретов, новой ответственности. — А миссис Бейнз?

— Да.

Они посовещались между собой, не отходя от стола; Роза негодовала хриплым голосом. Она, будто мужчина в женской роли, чрезмерно подчеркивала в себе женщину и в то же время унижала свою женственность спущенными чулками и обветренной кожей. В печке осыпалась

горка угля; для теплого вечера в конце лета комната была слишком жарко натоплена. На стене висело описание трупа, обнаруженного в Темзе,— вернее, описание того, во что труп был одет: шерстяная нательная фуфайка, шерстяные кальсоны, шерстяная рубашка в голубую полоску, башмаки десятый номер, синий костюм с продранными локтями, целлулоидный воротничок — размер пятнадцать с половиной. О самом трупе ничего не нашли нужным сказать, кроме размеров его одежды,— труп как труп.

— Пойдем,— позвал полисмен Филипа. Ему было интересно, он радовался, что послали его, и в то же время стеснялся своего спутника — маленького мальчика в одной пижаме. Он чуял что-то, сам не зная, что именно, но подсмеиванье встречных задевало его самолюбие. Пивные уже закрылись, на улицах было много людей, старавшихся как можно дольше растянуть длинный день. Он быстро шел по менее людным улицам, выбирал, где потемнее, не хотел убавлять шага, а Филип старался идти как можно медленнее, повисал у него на руке, еле переступал ногами. Он не мог без ужаса думать о миссис Бейнз, ожидавшей их в холле: теперь он знал, что она умерла. Он понял это по гримасничанью сержанта; но ее не похоронили, она все еще лежит там; парадная дверь откроется, и он сразу увидит мертвеца.

В окнах подвального этажа горел огонь, и, к его радости, полисмен свернул прямо к ступенькам во дворе. Может быть, ему и не придется увидеть миссис Бейнз. Полисмен постучал, не найдя звонка в темноте, и Бейнз сразу открыл им. Он стал в дверях чистой светлой комнаты, и заранее заготовленные, грустные, правдоподобные, все объясняющие слова высохли у него на губах при виде Филипа; он не ожидал, что Филип вернется в сопровождении полисмена. Приходилось обдумывать все заново; он не любил лгать; не будь Эмми, он рассказал бы всю правду, чем бы это ни грозило ему.

— Мистер Бейнз? — спросил полисмен.

Он кивнул; он не находил нужных слов; острый, проницательный взгляд, внезапное появление Филипа выбили у него почву из-под ног.

— Этот мальчик из вашего дома?

— Да, — ответил Бейнз. Филип почувствовал, что Бейнз пытается что-то сказать ему, и он закрыл этому призыву доступ в свое сознание. Он любил Бейнза, но Бейнз сделал его причастным своим секретам, чему-то страшному, непонятному. Слепящая утренняя мысль: «Вот она жизнь» превратилась после того, как он прошел выучку у Бейнза, в отвратительное воспоминание: «Вот она какая, жизнь»: сальная прядь волос у его губ, чуть слышный, полный жестокости и муки вопрос: «Где они?», ворох черной одежды, сброшенной в холл. Вот что случается, когда любишь кого-нибудь: становишься причастным всему. И Филип с безжалостным эгоизмом отъял себя от жизни, от любви, от Бейнза.

Между ними было столько хорошего, но он снес все это до основания, подобно тому, как отступающая армия перерезает провода, уничтожает мосты. В оставленной местности покидаешь многое милое сердцу — утро в парке, мороженое в кондитерской на углу, сосиски к ужину. Но с отступлением связаны не только временные потери — его отягощают старики, которые просятся на последнюю уходящую машину, тогда как подвергать из-за них опасности тыловые части нельзя. Отступая, надолго порываешь связь с жизнью, с заботами о людях, с теплом человеческих отношений.

— Врач здесь.— Бейнз кивнул на дверь, провел языком по губам, не сводя глаз с Фила, прося его о чем-то, как собака, которая не может сказать, что ей нужно.— Все кончено. Она поскользнулась на каменных ступеньках в подвал. Я был здесь. Слышал, как она упала.— Он ста-

рался не видеть записной книжки, не видеть, сколько полисмен ухитрился всего написать бисерным почерком на одной страничке.

— Мальчик был при этом?

— Нет, нет. Я думал, он спит. Может, отвести его наверх? Это так страшно! О-о! — сказал Бейнз, теряя власть над собой.— Ребенку не годится такое видеть!

— Она там? — спросил полисмен.

— Я оставил ее так, как есть,— сказал Бейнз.

— Тогда пусть он...

— Идите с парадного хода, — сказал Бейнз и снова, как собака, стал молить его: еще один секрет, сохрани мой секрет, сделай это ради старика Бейнза, он ни о чем тебя больше не попросит.

— Пойдем, — сказал полисмен. — Я провожу тебя в спальню. Ты джентльмен, тебе надо войти в дом с парадного хода, как полагается хозяину. Или вы его отведете, мистер Бейнз, а я поговорю с врачом?

— Хорошо,— сказал Бейнз,— отведу.— Он подходил к Филипу, моля о чем-то с мягким, растерянным выражением лица: я Бейнз, старый солдат; угостить тебя жарким на пальмовом масле, а? Настоящая жизнь; сорок негров; никогда не пускал в ход револьвер; знаешь, к ним нельзя плохо относиться; у них это не любовь, а что-то другое, чего мы не понимаем. Призывы еще кое-как доходили с последних пограничных постов, они упрашивали, молили, напоминали: я твой старый друг Бейнз; хочешь, пойдем на футбол? Стаканчик лимонада не повредит; сосиски; длинный день. Но провода перерезаны, призывы угасли в бескрайней пустоте вымытой, выскобленной комнаты, в которой человеку негде спрятать свои секреты.

— Пойдем, Фил, пора спать. Вот сюда, по ступенькам...— Телеграф — тук-тук-тук; что, если еще можно прорваться, вдруг кто-нибудь соединил оборванный провод? — и через парадный вход.

— Нет,— сказал Филип,— нет. Я не пойду. Вы меня не заставите. Я буду драться. Я не хочу ее видеть.

Полисмен быстро повернулся к нему.

— Что с тобой? Почему ты упираешься?

— Она в холле,— сказал Филип.— Я знаю, что она в холле. И она мертвая. Я не хочу ее видеть.

— Так вы ее перенесли? — сказал полисмен Бейнзу.— Оттуда — сюда? Значит, вы лгали? Выходит, пришлось заметать следы?.. Кто с вами был?

— Эмми,— сказал Филип.— Эмми.— Он не желает больше хранить чужие секреты; он раз и навсегда покончит со всем этим — с Бейнзом, с миссис Бейнз и с жизнью взрослых, которая непостижима; его это не касается, и никогда, никогда больше он не примет от них ни доверия, ни дружбы.— Эмми во всем виновата,— крикнул Филип, и его дрогнувший голос напомнил Бейнзу, что ведь это ребенок; разве можно надеяться на его помощь; это же ребенок; где ему понять, где ему прочесть зашифрованные сигналы об ужасе; день был такой длинный, и он устал. Вон— прислонился к шкафу и засыпает стоя, погружается в уютный покой детской. Нельзя его винить. Проснется утром, и вряд ли вспомнит вчерашнее.

— Признавайтесь, — с профессиональной жестокостью сказал полисмен Бейнзу: — кто эта женщина? — И шестьдесят лет спустя старик поразил своего секретаря — единственного, кто был при нем, таким же вопросом: — Кто она? Кто эта женщина? — И все глубже и глубже погружаясь в смерть, он, может быть, встретил на своем пути образ Бейнза: Бейнза отчаявшегося, Бейнза опустившего голову, Бейнза приносящего повинную.

Особые обязанности

Перевод с английского М. Лорие.

Уильям Ферраро, совладелец фирмы «Ферраро и Смит», жил в большом доме на Монтегю-сквер. Одно крыло дома отведено было его жене, считавшей себя безнадежно больной и строго следовавшей завету: жить так, будто каждый день — последний день вашей жизни. По этой причине в ее крыле дома последние десять лет постоянно обитал какой-нибудь иезуит или доминиканец, понимающий толк в хорошем вине и виски, и в спальню его был проведен звонок на случай срочного вызова. Мистер Ферраро спасал свою душу более самостоятельно. Он унаследовал крепкую деловую хватку своего деда, благодаря которой тот, удалившись в изгнание вместе с Мадзини, мог основать в чужой стране солидную фирму «Ферраро и Смит». Бог сотворил человека по образу и подобию своему, и со стороны мистера Ферраро было вполне естественно в виде ответного комплимента относиться к богу как к директору некоей небесной фирмы, которая, однако, не может без помощи «Ферраро и Смит» осуществлять иные из своих операций. Прочность цепи проверяется по самым слабым ее звеньям, и мистер Ферраро хорошо помнил о том, какая на нем лежит ответственность.

В 9.30 утра, перед тем как уезжать в контору, мистер Ферраро из вежливости звонил по телефону в апартаменты жены. «У телефона патер Дьюз»,— слышалось в трубке.

— Как чувствует себя моя жена?

— Ночь прошла хорошо.

К этому обычно и сводился разговор. Было время, когда предшественник патера Дьюза пробовал добиться некоторого сближения между супругами, но он скоро отступился, поняв, что предприятие это безнадежное, и заметив, что в тех редких случаях, когда мистер Ферраро обедал с ним и с миссис Ферраро на ее половине, кларет подавался не высшего сорта, а виски перед обедом не пили вовсе.

Позвонив жене из своей спальни, где он обычно и завтракал, мистер Ферраро, подобно господу богу, шествующему по Эдемскому саду, проходил через свою библиотеку, уставленную сочинениями всех, какие полагается, классиков, и через гостиную, где висели картины, составлявшие одно из самых ценных частных собраний в Англии. Иные дорожат и гордятся одним Ренуаром, одним Сезанном, одним Дега, но мистер Ферраро покупал оптом: у него было пять Сезаннов, четыре Дега, шесть Ренуаров. Созерцание их никогда ему не надоедало, они воплощали в себе существенную скидку с налога на наследство.

Было утро понедельника, и к тому же первое мая. Ощущение весны явилось в Лондон точно, без опоздания, и воробьи, громко чирикая, возились в пыли. Мистер Ферраро тоже никогда не опаздывал, а к тому же еще, в отличие от времен года, был надежен, как время по Гринвичу. Вместе со своим доверенным секретарем — человеком по фамилии Гопкинсон — он просмотрел список дел, предстоящих ему на сегодня. Список был не очень обременительный — мистер Ферраро обладал редкостным умением поручать работу другим. Делал он это тем спокойнее, что взял за правило время от времени неожиданно устраивать своим подчиненным проверку, и плохо приходилось тому, кто вздумал бы провести его. Даже его врач был вынужден мириться с тем, что иногда его мнение вдруг проверялось консультацией с каким-нибудь конкурентом.

— Сегодня,— сказал мистер Ферраро Гопкинсону,— я, пожалуй, загляну к Кристи*, посмотрю, как идут дела у Мэврика. — (Мэврик был его агентом по приобретению картин.) Да, для такого чудесного майского дня не придумать более подходящего дела, чем проверка Мэврика.— Попросите мисс Сондерс зайти сюда,— добавил он и придвинул к себе папку с личными делами, которую даже Гопкинсону не разрешалось трогать.

В кабинет бесшумно скользнула мисс Сондерс. Казалось, что она стелется по земле. Ей было на вид лет тридцать, волосы неопределенного цвета и совершенно незаметное лицо, на котором выделялись только ярко-синие глаза, придававшие ей сходство с деревянной скульптурой какой-то святой. В ведомостях фирмы она числилась «заместителем доверенного секретаря», и обязанности у нее были «особые». Даже квалификация у нее была особая. Она окончила школу при монастыре св. Латитудинарии в Уокинге, где была первой ученицей и три года подряд получала особую награду за благочестие — маленький триптих с изображением богородицы на фоне из голубого шелка, оклеенный флорентинской кожей и всегда имеющийся в продаже в магазине Бернс Оутс и Уошборн. Кроме того, было известно, что она долгое время безвозмездно пела в церковном хоре.

— Мисс Сондерс,— сказал мистер Ферраро,— я что-то не нахожу июньского плана сбора отпущений.

— Вот он, сэр, у меня. Вчера я поздно освободилась, потому что общее отпущение в церкви св. Этельреды давали только после страстей господних.

Она положила перед мистером Ферраро отпечатанный на машинке список: в первой графе — дата, во второй — церковь или иное место паломничества, где надлежало получить отпущение, а в третьей — красными чернилами — количество дней, на которое сокращались временные муки чистилища. Мистер Ферраро внимательно все прочел.

— На мой взгляд, мисс Сондерс,— сказал он,— вы уделяете слишком много внимания мелким объектам. Тут шестьдесят дней, там пятьдесят. Не кажется ли вам, что это бесполезная трата времени? Одно трехсотдневное отпущение стоит десятка таких. Я замечаю, что ваша смета на май меньше, чем цифры за апрель, а смета на июнь сокращена почти до уровня мартовской. В апреле было пять общих отпущений и тысяча пятьсот шестьдесят пять дней — отличная работа. Мне бы не хотелось, чтобы вы снижали темп.

— Апрель — лучший месяц для отпущений, сэр. Ведь в апреле была пасха. Май хорош только тем, что это — месяц богородицы. Июнь тоже не сулит особенно много, если не считать праздника тела господня. Вы видели, у меня намечен небольшой храм в Кембриджшире...

— Помните одно, мисс Сондерс, все мы не молодеем. Я вполне доверяю вам, мисс Сондерс. Будь у меня время, некоторыми из этих отпущений я бы занялся сам. Вы, надеюсь, неуклонно соблюдаете все условия?

— Разумеется, мистер Ферраро.

— Вы помните о том, чтобы пребывать в состоянии благодати?

Мисс Сондерс опустила глаза.

— Для меня это не так уж трудно, мистер Ферраро.

— Какая у вас программа на сегодня?

— Она у вас перед глазами, мистер Ферраро.

— Ах да, простите. Церковь св. Пракстеда, Кэнон-Вуд. Конец не близкий. Значит, вам придется потратить полдня ради отпущения на каких-то шестьдесят дней?

---

* Известный аукционный зал в Лондоне.

— На сегодня я ничего другого не нашла. Конечно, в соборе всегда бывают общие отпущения, но вы ведь не любите, чтобы я дублировала в одном и том же месяце.

— Это единственное мое суеверие,— сказал мистер Феррaро.— Конечно, учение церкви не дает для него никаких оснований.

— А что, если изредка дублировать для кого-нибудь из вашей семьи, мистер Феррaро? Ваша жена...

— Мисс Сондерс, церковь предписывает нам в первую очередь печься о собственной душе. Жена моя, надо полагать, сумеет сама добыть себе отпущения — при ней состоит отличный советчик — иезуит,— а вы получаете жалование за то, чтобы заботиться обо мне.

— Так вы не против того, чтобы я поехала в Кэнон-Вуд?

— Что ж, если действительно нет ничего лучшего... И чтобы у вас не получилось сверхурочной работы.

— О нет, мистер Феррaро. Десять дней по десять Ave Maria, вот и все.

Позавтракав второй раз пораньше — без затей, в дешевом ресторанчике в Сити — и закончив сыром и стаканом превосходного портвейна, мистер Феррaро отправился к Кристи. Мэврика он нашел при исполнении обязанностей и не стал дожидаться, пока дойдет очередь до двух картин — Моне и Боннара, которые агент советовал ему купить. Погода оставалась теплой и солнечной, но со стороны Трафальгарской площади доносились неясные звуки, напомнившие мистеру Феррaро, что сегодня — рабочий праздник. Было что-то оскорбительное для солнца и первых цветов под деревьями парка в этих колоннах мужчин без галстуков, несущих унылые знамена, исписанные кривыми буквами. Мистеру Феррaро ужасно захотелось по-настоящему отдохнуть, и он уже готов был приказать своему шоферу ехать в Ричмонд-парк. Однако он привык по возможности совмещать приятное с полезным, и ему пришло в голову, что, если проехаться сейчас в Кэнон-Вуд, он может увидеть мисс Сондерс,— как раз в это время, после перерыва на завтрак, она должна приступить там к работе.

Кэнон-Вуд — один из новых пригородов, выросших вокруг старинных поместий. Парк был теперь открыт для публики, в доме, некогда знаменитом, потому что в эпоху восстания американских колоний в нем жил второстепенный член правительства лорда Норта, теперь помещался музей, а по гребню невысокого, открытого всем ветрам холма, на котором когда-то росла пшеница, построили улицу: отделение угольного склада Чаррингтона, где в витрине красовался огромный кусок угля в металлической корзинке; универсальный магазин; кино «Одеон»; большая англиканская церковь. Мистер Феррaро велел шоферу спросить, как проехать к римско-католической церкви.

— Тут такой нет,— сказал полисмен.

— А св. Пракстеда?

— Нет такой,— сказал полисмен.

Мистер Феррaро, подобно некоему библейскому персонажу, почувствовал «слабость в кишках своих».

— Церковь св. Пракстеда, Кэнон-Вуд.

— Такой не имеется, сэр,— сказал полисмен.

Мистер Феррaро медленно поехал обратно в город. Это он впервые решил проверить мисс Сондерс, — до сих пор три награды за благочестие казались ему достаточной гарантией. Теперь, на пути домой, он вспомнил, что Гитлера воспитывали иезуиты, и все же, вопреки очевидности, на что-то еще надеялся.

Уединившись в своем служебном кабинете, он достал особую папку. Может быть, он ошибся,— не Кэнон-Вуд, а Кэнонбери? Но нет, ошибки не

было, и вдруг в уме его возник страшный вопрос: сколько же раз за последние три года мисс Сондерс обманула его доверие? (Он нанял ее три года назад, после того как серьезно болел пневмонией,— самая мысль эта возникла у него в долгие ночи выздоровления, когда его мучила бессонница). Возможно ли, что ни одно из отпущений не было заработано? Этому он не мог поверить. Конечно же, хоть какая-то часть этого огромного количества дней — 36 892! — все же действительна. Но сколько именно дней — это могла ему сказать только мисс Сондерс. И что она делала в свое рабочее время — в эти долгие часы паломничеств? Один раз она провела в Уолсингеме целых два дня, с субботы до понедельника.

Вызванный звонком мистер Гопкинсон сразу заметил необычную бледность своего патрона и спросил:

— Вам нездоровится, мистер Феррaро?

— На меня свалилась серьезная неприятность. Можете вы мне сказать, где живет мисс Сондерс?

— Она живет с больной матерью в районе Вестборн-гроув.

— Будьте добры, точный адрес.

Мистер Феррaро въехал в унылую пустыню Бэйсуотера: вместительные особняки, перестроенные в гостиницы либо весьма кстати разрушенные бомбами, так что освободилось место для автомобильных стоянок. На террасах позади домов прохлаждались, облокотившись на перила, девицы сомнительного вида, за углом надрывался уличный духовой оркестр. Мистер Феррaро нашел нужный дом, но не решался позвонить. Он сидел, съежившись, в своем «даймлере» и ждал, чтобы что-нибудь случилось. Почему мисс Сондерс подошла к одному из окон верхнего этажа? Может быть, она повиновалась силе его взгляда? Или то была случайность? Или возмездие? Когда она открыла окно чуть пошире, мистер Феррaро сперва подумал, что скудость ее туалета вызвана жарой. Но тут вокруг ее талии обвилась чья-то рука, на улицу выглянуло лицо молодого мужчины, и вторая его рука привычным движением задернула занавеску. Мистеру Феррaро стало ясно, что даже условия для сбора отпущений никогда не соблюдались надлежащим образом.

Если бы в тот вечер какой-нибудь знакомый мистера Феррaро увидел, как он поднимался по ступеням своего дома на Монтегю-сквере, его поразило бы, до чего этот человек постарел. Впору было подумать, что за эти томительные часы к его жизни прибавились все 36 892 дня, которые, как он воображал, ему удалось за последние три года урвать у чистилища. Портьеры были затянуты, в окнах виднелся свет, и, наверно, патер Дьюз на другой половине дома уже наливал себе первый стаканчик ежевечернего виски. Мистер Феррaро не стал звонить, а отпер дверь своим ключом. Ноги его тонули в толстом ковре, как в зыбучих песках. Он не стал поворачивать выключатель: в каждой комнате горело по лампе, затененной красным колпаком, они давали достаточно света. В гостиной картины напомнили ему о налоге на наследство; огромный зад женщины на картине Дега грибом вздымался над ванной, как атомный взрыв; мистер Феррaро прошел в библиотеку; сочинения классиков в кожаных переплетах напомнили ему об умерших писателях. Он сел в кресло, и легкая боль в груди напомнила ему о перенесенной двусторонней пневмонии. С тех пор как была принята на работу мисс Сондерс, он на три года приблизился к смерти.

Прошло много времени, и наконец мистер Феррaро переплел пальцы, как делают некоторые люди, когда молятся. Но у мистера Феррaро этот жест означал принятое решение. Кризис миновал: время снова протянулось вперед, в будущее. Он думал: «Завтра же начну приискивать человека, на которого действительно можно положиться».

Нашла коса на камень

Перевод с английского О. Холмской.

I

Аптекарь запер свое помещение на ночь, вышел через заднюю дверь в холл, общий для аптеки и верхних квартир, и поднялся по лестнице на два с половиной марша. В руках он держал подношение — маленькую коробочку с пилюлями; на ней был напечатан адрес аптеки и фамилия владельца: Прискет, д. 14, Нью Энд-стрит, Оксфорд. Аптекарь был человек средних лет, с жидкими усиками и бегающими испуганными глазками. Он и после работы не снимал свой белый халат, как будто это одеяние могло защитить его от врагов, как короля его королевские регалии. Пока на нем был халат, его нельзя было повлечь в суд и предать казни.

На верхней площадке было окно; оттуда в мягком свете весеннего вечера виднелся Оксфорд: газовый завод, тюрьма, булочная, кондитерская и в отдалении серые шпили, словно вырезанная из бумаги бахромка. С улицы доносились назойливые звонки бесчисленных велосипедистов. На двери, выходившей на площадку, была прибита визитная карточка с надписью: «М-р Никлас Фенник, бакалавр искусств». Аптекарь дал три коротких звонка.

Дверь отворил человек лет шестидесяти, если не больше, со снежно-белыми волосами и розовой, как у младенца, кожей. На нем был смокинг из темно-красного вельвета, на широкой черной ленте болталось пенсне.

— А, Прискет,— воскликнул он с преувеличенным радушием.— Входите, Прискет. Я только что было заперся...

— Я принес вам еще моих пилюль.

— Отлично, Прискет. Великолепное средство. Имей вы хоть какое-нибудь ученое звание — ну, хотя бы фармацевта — я бы назначил вас заведующим медицинской частью в колледже св. Амвросия.

— А как подвигается дело с колледжем?

Мистер Фенник двинулся в глубь квартиры по тесному темному коридору, где стены были увешаны макинтошами. Мистер Прискет, ощупью перебираясь от одного макинтоша к другому, споткнулся о пару дамских туфель.

— Когда-нибудь мы все это совсем иначе отстроим, — произнес Фенник и сделал широкий жест своим пенсне, как бы раздвигая стены крохотной канцелярии, вмещавшей круглый стол, покрытый клеенкой, три или четыре просиженных кресла и застекленный книжный шкаф, в котором ютилась одна-единственная книга — справочник под названием «Каждый сам себе юрист».

— Разрешите вас познакомить,— сказал мистер Фенник. — Моя племянница Элизабет. Мой медицинский консультант. — Очень юная, худенькая и хорошенькая девушка, сидевшая за пишущей машинкой, небрежно кивнула.— Я готовлю Элизабет на должность казначея,— продолжал мистер Фенник.— Необходимость совмещать обязанности ректора и казначея вредно отзывается на моем пищеварении. Вы говорите, принесли пилюли... Ага, благодарю вас.

— Что вы думаете о нашем колледже, мисс Фенник?— подобострастно спросил мистер Прискет.

— Моя фамилия Кросс,— ответила девушка.— Считаю, что это блестящая идея. Удивляюсь, как дядя до нее додумался.

— Отчасти это была моя идея...

— Это меня удивляет еще больше,— с твердостью заявила девушка.

Мистер Прискет сложил руки на груди поверх своего белого халата и заговорил виноватым голосом, словно оправдываясь перед судом:

— Я только указал вашему дяде, что сейчас, когда все колледжи заняты под военные нужды и преподаватели остались не у дел, было бы вполне уместно перейти на заочное обучение.

— Стаканчик академического пива, Прискет?— предложил мистер Фенник, доставая из шкафчика темную бутылку и наливая два стакана, тотчас украсившиеся шапками пены.

— Но все дальнейшее оформление,— продолжал мистер Прискет свою оправдательную речь,— ну там, канцелярия и весь план колледжа св. Амвросия — все это принадлежит уже не мне.

— Моя племянница,— сказал мистер Фенник,— очень мало знает о наших планах. — Он стал беспокойно кружить по комнате, трогая рукой то один, то другой предмет. Больше всего в эту минуту он походил на старого ястреба, разглядывающего мрачное содержимое своего гнезда.

— Насколько я понимаю,— с живостью сказала девушка,— мой дядя затеял крупное мошенничество под названием оксфордский колледж св. Амвросия.

— Мошенничество? О нет, дорогая. Наш проспект составлен в самых осторожных выражениях.—Он помнил этот проспект слово в слово; любая фраза была тщательно взвешена, и во время этих трудов справочник «Каждый сам себе юрист» все время лежал раскрытый возле его локтя. Теперь он стал читать проспект наизусть, громко и раздельно, слегка осипшим после крепкого пива голосом: «Военная обстановка мешает вам учиться в Оксфорде. Старинный колледж св. Амвросия, воспитанником которого был Том Браун, решает на время войны отступить от традиций. Пока длится война — и только пока она длится,— вы имеете возможность получить университетское образование заочно, где бы вы сами ни находились, защищаете ли вы Империю на ледяных скалах Исландии или в знойных песках Ливии, на главной улице американского городка или в коттедже в Девоншире».

— Вы перестарались,— сказала девушка.—Вы, уж известно, всегда перестараетесь. Это звучит недостаточно академично. Никого не поймаете, кроме простофиль.

— Простофиль на свете много,— возразил мистер Фенник.

— Ну, дальше.

— Ладно, я это вычеркну. А дальше так: «Дипломы выдаются по окончании трех триместров вместо положенных трех лет». — Он пояснил: — Это чтобы ускорить оборот. Сейчас такое время, нельзя долго дожидаться денег. «Получайте настоящее оксфордское образование в старом колледже Тома Брауна. Для справок о плате за обучение и содержание обращайтесь письменно к казначею колледжа».

— И по-вашему, университет не может этому воспрепятствовать?

Мистер Фенник ответил с достоинством:

— Любой человек имеет право открыть колледж. Всякий, кто хочет и где хочет. В моем проспекте ни слова не сказано о том, что наш колледж составляет часть университета.

— Но содержание?.. Ведь это значит стол и квартира.

— В данном случае, — сказал мистер Фенник, — это чисто условное обозначение. Просто небольшая сумма за право числиться на вечные времена в списках старинной фирмы, я хочу сказать, старинного колледжа.

— Ну, а обучение?.. Преподаватели?

— Прискет будет преподавать естественные науки. Я возьму на себя историю и античную литературу. А ты, моя дорогая, может быть, возьмешь экономические науки?

— Я в них ничего не смыслю.

— Экзамены, конечно, будут очень несложные — в пределах компетенции преподавателей. (Тут, кстати, есть прекрасная публичная библиотека.) Да, и еще один пункт: в случае провала на экзаменах и неполучения диплома плата возвращается.

— Но это...

— Никто не провалится, — испуганно ликующим голосом возгласил мистер Прискет.

— И у вас в самом деле уже есть желающие?

— Дорогая, я послал тебе телеграмму лишь после того, как установил, что мы можем твердо рассчитывать на шестьсот фунтов в год на нас троих. А сегодня, сверх всяких ожиданий, я получил письмо от лорда Драйвера. Он желает, чтобы его сын поступил в колледж св. Амвросия.

— Но разве сын может приехать?

— Он, разумеется, поступит заочно. Отец запишет. Молодой человек сейчас сражается за родину. Род Драйверов всегда был военным родом. Я посмотрел их родословную.

— Ну, что вы теперь скажете? — осведомился мистер Прискет с тревогой, но и с торжеством.

— Скажу, что это здорово. А вы подумали о том, чтобы устроить лодочные гонки?

— Вот видите! Говорил я вам, Прискет! — с гордостью произнес мистер Фенник, поднимая свой стакан академического пива. — У этой девочки голова работает.

2

Услышав шаги хозяйки на лестнице, пожилой седой человек с обритой головой немедленно принялся укладывать влажный спитой чай вокруг ствола аспидистры. Когда дверь распахнулась, он заботливо вминал чай пальцами в землю.

— Прелестное растение, дорогая моя, — промолвил он, но тотчас понял, что на этот раз хозяйку не так-то легко будет умаслить. Она помахала перед ним конвертом.

— Послушайте, — сказала она. — Что это еще за штучки? Почему тут написано — лорду Драйверу?

— Это мое имя, дорогая, — ответил он. — Данное мне родителями. Лорд — имя, Драйвер — фамилия. Весьма употребительное имя. Например, Лорд Джордж Сэнгер.

— А почему же они не написали: мистеру Лорду Драйверу?

— По невежеству. Просто по невежеству.

— Не желаю, чтобы у меня в доме обстряпывались какие-то темные делишки. У меня всегда все было честно.

— Может быть, они не знали, как ко мне обращаться, — эсквайр или просто мистер, ну и оставили пустое место.

— Это письмо из колледжа св. Амвросия в Оксфорде. Такие люди должны бы знать.

— Это все из-за того, дорогая, что у вас такой шикарный адрес. Западный Лондон, 1. Тут сплошь аристократы живут. — Он сделал слабую попытку завладеть письмом, но она отвела руку в сторону.

— О чем это такие, как вы, могут переписываться с Оксфордским колледжем?

— Дорогая моя,— произнес он с видом оскорбленного достоинства, — допустим, я испытал в жизни кое-какие превратности, допустим даже, что я несколько лет просидел за решеткой, но теперь я свободный человек. У меня есть все права.

— И сын в тюрьме.

— Вовсе не в тюрьме, моя дорогая. Борстал * — это учреждение совсем другого рода. Тоже нечто вроде колледжа.

— Вроде св. Амвросия?

— Ну, может быть, не совсем того же ранга.

Хозяйка сложила оружие. В стычках с ним она всегда в конце концов складывала оружие. До своего первого ареста он несколько лет служил камердинером в хороших домах, один раз даже дворецким. Свою манеру поднимать брови он заимствовал у лорда Чарлза Мэнвила; свой дешевый костюм он носил с непринужденностью эксцентричного пэра; и даже можно сказать, что своей профессии мошенника он научился от старого лорда Беллина, который питал пристрастие к серебряным ложкам.

— А теперь, дорогая моя, вы, может быть, разрешите мне получить мое письмо? — Он опасливо протянул руку — он столь же боялся хозяйки, как и она его. Они непрерывно сражались друг с другом и всегда терпели поражение. В этой нескончаемой битве никто не выигрывал: обе стороны отступали под давлением страха. На этот раз победа была на его стороне. Хозяйка вышла, хлопнув дверью. Едва дверь закрылась, как Драйвер повернулся и с искаженным от ярости лицом издал негромкий и неприличный звук в направлении аспидистры. Потом надел очки и стал читать.

Его сын принят в оксфордский колледж св. Амвросия. Несколько строк и размашистая с росчерками подпись ректора оповещала Драйвера об этом замечательном событии. Как это удачно вышло — такое совпадение фамилий! «Я с особым удовольствием, — писал ректор, — буду лично следить за успехами вашего сына в колледже св. Амвросия. Это большая честь для нас — иметь возможность в дни войны приветствовать в нашей среде отпрыска столь знаменитого военного рода». Драйвер ухмыльнулся, чувствуя вместе с тем прилив неподдельной гордости. Конечно, он их объегорил, ну, а все-таки — и грудь мистера Драйвера гордо выпятилась под жилетом, — все-таки теперь он может сказать, что его сын учится в Оксфорде!

Были тут, правда, еще две небольшие трудности, небольшие по сравнению с тем, чего он уже достиг. Во-первых, плата: по оксфордским обычаям ее, видимо, полагалось вносить вперед; во-вторых, экзамены. Сдавать их собственными усилиями сын не сможет: в Борстале ему не позволят, а выйдет он еще только через полгода. Кроме того, вся прелесть этой идеи в том и заключалась, чтобы в виде неожиданного сюрприза поднести сыну оксфордский диплом при его возвращении домой. И мистер Драйвер, как шахматный игрок, всегда видящий вперед на два-три хода, уже прикидывал в уме, как обойти эти трудности.

Плата это пустяки, нужно только не выходить из роли; пэру Англии, конечно, поверят в долг. А если будут приставать после того как сын получит диплом, так он им скажет: «Ну, подавайте в суд, за чем дело стало?» Вряд ли этим господам из Оксфорда приятно будет сознаться, что их провел за нос старый жулик. Но вот экзамены... Хитрая улыбка шевельнулась в уголках его рта: он вспомнил об одном человечке, с которым познакомился в тюрьме лет пять назад. Его преподобие Саймон Майлан,

* Исправительное заведение для несовершеннолетних преступников.

а в тюрьме все его звали Папаша. Он отбывал небольшой срок — там все были краткосрочные, не больше чем на три года. Драйвер видел его сейчас как живого: высокий, худой, с аристократической внешностью, и лицо узкое, сухое, как у адвоката — только нос малость поразмяк от слишком веселой жизни. Тюрьма, если подумать, вмещает в себе не меньше учености, чем университет; кого там только нет — доктора, финансисты, священники. А где найти мистера Майлана, это Драйверу было хорошо известно: он служит сейчас в меблирашках возле Юстон-сквер; если поставить ему стаканчик-другой, он сделает все, что хочешь, и уж, конечно, напишет отличные экзаменационные работы.

— Я его как будто сейчас слышу,— восхищенно припомнил Драйвер: — шпарит и шпарит себе по-латыни на удивление надзирателям!

3

Наступила осень. В Оксфорде люди стояли в длинных очередях за конфетами и булками; туман с реки заползал в кинотеатры, обманывая бдительность караульщиков из добровольных дружин, занятых уловлением граждан, не имеющих при себе противогаза. Немногочисленные студенты пробирались сквозь толпы эвакуированных; они вечно куда-то спешили: так много надо было сделать за то короткое время, пока их еще не призвали в армию. Для жуликов тут сколько угодно поживы, размышляла Элизабет Кросс, но очень мало шансов для девушки найти себе мужа. Самое старинное оксфордское жульничество — его академический рэкет был совсем вытеснен черным рынком в Будбайнсе и спекуляцией леденцами и томатами.

Тогда, весной, Элизабет сначала восприняла всю эту затею с колледжем св. Амвросия как веселую шутку, но когда в самом деле начали притекать деньги, это уже показалось ей не таким забавным. Месяц или два она терзалась и чувствовала себя очень несчастной, пока не поняла, что из всех жульничеств военного времени это — самое безобидное. Организаторы колледжа св. Амвросия не морили людей голодом, как министерство продовольствия, и не подрывали в людях доверия, как министерство информации; дядя Элизабет исправно платил подоходный налог, и все они втроем даже внедряли в чьи-то головы некоторые начатки образования. Когда эти простофили получат свои дипломы, они будут знать много такого, чего не знали раньше.

Но все это не помогает девушке найти себе мужа.

Элизабет предавалась этим грустным размышлениям, идя по улице после дневного концерта, который ей вздумалось посетить, вместо того чтобы исправлять присланные работы — пачка их была зажата у нее под мышкой. Из всех «студентов» только один выказывал кое-какие умственные способности — этот самый сын лорда Драйвера. Его работы приходили из Лондона через посредство отца, который брал на себя труд пересылать их в Оксфорд из «некоей точки в Англии», где находился сын. В переписке с этим молодым человеком Элизабет несколько раз чуть не попадала впросак по разным вопросам истории, да и дядюшка вынужден был частенько освежать свою заржавелую латынь.

Придя домой, она сразу поняла, что случилась какая-то неприятность: мистер Прискет в своем белом халате сидел на самом кончике стула, а дядюшка допивал выдохшуюся бутылку пива. Он никогда не починал новой, если случались неприятности, считая, что для того, чтобы получить полное удовольствие от выпивки, нужно быть в соответствующем настроении. Когда Элизабет вошла, оба молча оглядели ее. Мистер Прискет молчал мрачно, мистер Фенник озабоченно. Ну ясно, кто-то подложил им свинью, только вряд ли университетские власти, те давно уже мах-

нули рукой: было письмо от юриста, был бурный разговор, и после этого всякие попытки «сохранить свою монополию на образование», как выразился мистер Фенник, со стороны университета прекратились.

— Добрый вечер, — сказала Элизабет. Мистер Прискет посмотрел на мистера Фенника. Мистер Фенник нахмурился.

— Что случилось? У мистера Прискета вышли все пилюли?

Мистер Прискет заерзал на стуле.

— Я вот о чем думала, — продолжала Элизабет. — Сейчас у нас идет уже третий триместр академического года. Не мешало бы прибавить мне жалованья.

Мистер Прискет коротко передохнул, не сводя глаз с мистера Фенника.

— Я получаю три фунта в неделю. А хочу еще три.

Мистер Фенник встал из-за стола. Он свирепо заглянул в свой стакан с темным пивом. Брови его еще больше сдвинулись. И наконец мистер Фенник заговорил.

— Из той же ткани мы созданы, что призраки и грезы...— сказал он и легонько икнул.

— Это у вас от почек, — вставила Элизабет.

— Рождаемые сном. И эти башни наши в венцах из туч...

— Неправильно цитируете.

— Рассеются как дым. Как дым...

— Вы читали экзаменационные работы по литературе?

— Если ты будешь мешать мне думать — а думать нам надо быстро и глубоко, — скоро не будет никаких экзаменационных работ...

— Неприятности?

— В душе я всегда был республиканцем. Не понимаю, зачем нам нужна наследственная аристократия?..

— A la lanterne! * — сказала Элизабет.

— Например, этот лорд Драйвер. Почему такое случайное обстоятельство, как его происхождение...

— Он отказывается платить?

— Не в том дело. Такой человек, конечно, ожидает, что ему поверят в долг; и вполне естественно, чтобы ему верили. Но он написал, что завтра сам сюда приедет — он, видите ли, желает осмотреть колледж, в котором учится его сын. Сентиментальный старый осел!

— Я так и знала, что рано или поздно будут неприятности.

— Спасибо, утешила. Конечно, чего и ждать от девчонки. Вместо того чтобы помочь в трудную минуту...

— Ничего тут нет трудного, надо только иметь голову на плечах.

Мистер Фенник схватил со стола бронзовую пепельницу и... осторожно поставил ее обратно.

— И если чуточку пошевелить мозгами, то все это решается очень просто.

— Мозгами?..

Мистер Прискет поскреб ногтем ножку своего стула.

— Я встречу его на вокзале, усажу в такси и привезу его — ну скажем, в Боллиол **. Проведу его прямо во внутренний дворик, а тут вы нам встретитесь, как будто только что вышли из ректорской квартиры.

— Но он же увидит, что это Боллиол...

— Нет, не увидит. Если бы он хоть капельку знал Оксфорд, то не по-

---

* Les aristocrates à la lanterne! — Аристократов на фонарь! — строка из французской революционной песни.

** Один из самых старинных колледжей в Оксфорде.

пался бы на такую дурацкую приманку, как этот ваш колледж св. Амвросия.

— Пожалуй, правда. Эти родовитые военные не слишком образованы...

— Вы будете очень спешить. На заседание правления университета или что-нибудь в этом роде. Быстренько заглянете с ним в столовую, в часовню, в библиотеку и на пороге ректорской квартиры передадите его опять мне. А я повезу его завтракать и оттуда прямо на поезд. Очень просто.

— Иногда мне кажется,— сказал мистер Фенник, в раздумье глядя на Элизабет,— что ты просто страшная особа. Есть ли на свете хитрость, до которой бы ты не додумалась?

— Я считаю,— ответила Элизабет,— что раз уж ты взялся вести нечистую игру, то надо делать это как следует. Можно, конечно, вести игру иначе — тогда ты идешь в монастырь или тебя ставят к стенке, и многим, говорят, это даже нравится. Но у меня только одна дорога.

4

Все сошло как нельзя более гладко. Драйвер сам подошел к Элизабет у барьера; она его не узнала, потому что ожидала увидать человека с несколько другой внешностью. Что-то в нем показалось ей странным — не костюм и не монокль, которым он почему-то совсем не пользовался, но нечто менее уловимое. Он как будто побаивался ее и слишком уж охотно соглашался со всеми ее предложениями.

— Только, ради бога, не беспокойтесь из-за меня. Прошу вас. Я понимаю, что ректор очень занят.— Когда Элизабет сказала, что они будут завтракать в городе, он, видимо, почувствовал облегчение.— Мне бы только взглянуть разок на добрый старый колледж. На самые кирпичики. Вы уж простите мою сентиментальность.

— Вы учились в Оксфорде?

— О нет, нет. Боюсь, что Драйверы слишком пренебрегали умственными интересами.

— А военному разве ум не нужен?

Он бросил на нее пронзительный взгляд и сказал уже другим голосом:

— В нашей семье традиция — идти в уланы.— Затем прошествовал рядом с ней к такси, вертя монокль вокруг пальца, и всю дорогу с вокзала больше помалкивал, искоса бросая на Элизабет пытливые взгляды, как бы оценивая ее и одобряя.

— Так вот он, св. Амвросий,— задушевным тоном начал он, останавливаясь перед домиком привратника. Элизабет быстро повлекла его дальше, через внутренний двор к ректорской квартире, где на пороге с перекинутой через руку мантией давно уже возвышался мистер Фенник, являя собой подобие тех статуй, коими украшают сады.

— Мой дядя, ректор колледжа св. Амвросия,— сказала Элизабет.

— Прелестная девушка — ваша племянница,— заметил Драйвер, когда они с ректором остались наедине. Он сказал это, просто чтобы поддержать разговор, но едва эти слова вылетели из его уст, как мысли обоих мошенников устремились по одному руслу.

— И какая семьянинка, если бы вы знали,— с жаром откликнулся мистер Фенник.— Наши знаменитые вязы,— продолжал он, указывая куда-то в небо.— Грачи св. Амвросия.

— Рвачи? — удивленно переспросил Драйвер.

— Грачи. Там, на вязах. Один из крупнейших современных поэтов написал о них целую поэму. «О вязы святого Амвросия, вязы святого Амвросия» — и дальше в ней о грачах, как они «над башнями криком встречают рассвет».

— Мила, очень мила.

— Да, очень изящная вещица.

— Я имел в виду вашу племянницу.

— А!.. Здесь ход в столовую. По этим ступенькам. По ним, как вы помните, часто ступала нога Тома Брауна.

— Кто такой Том Браун?

— Ну... известный Том Браун, один из прославленных питомцев Регби.— Он добавил:— Из нее выйдет прекрасная жена и мать.

— Да, теперь молодые люди уж поняли, что подругу жизни надо искать не среди ветреных кокеток.

Оба, словно по взаимному уговору, остановились на верхней ступеньке. Они примеривались друг к другу, как две слепые акулы, из которых каждая думает, что под носом у нее вьется вкусная и беззащитная рыбешка.

— Мы с сыном,— сказал Драйвер,— часто ведем серьезные беседы о браке. Он придерживается старомодных взглядов. Из него выйдет хороший муж.

Они вошли в зал, и мистер Фенник повел гостя осматривать портреты на стенах.

— Основатель нашего колледжа,— произнес он, указывая на господина в пышном парике. Он выбрал этот портрет с особым расчетом — ему казалось, что господин в парике несколько похож на него самого. Перед портретом Суинберна он секунду помедлил, но гордость своим колледжем св. Амвросия заглушила голос благоразумия.— Великий поэт Суинберн,— сказал он.— Мы вынуждены были с ним расстаться.

— Исключили?

— Да. За дурную нравственность.

— Очень хорошо, что у вас так строго на этот счет.

— О, ваш сын здесь в надежных руках.

— Радуюсь этому от всего сердца,— сказал Драйвер. Он воззрился на изображение какого-то духовного лица XIX века.— Превосходный портрет,— сказал он.— Да, вот, например, религия. Я считаю, что религия необходима. Это основа семьи.— Голос его исполнился сердечной теплоты.— По-моему, молодым людям следует познакомиться.

По лицу мистера Фенника разлилось сияние.

— Вполне с вами согласен.

— Если сын выдержит экзамены...

— Он безусловно их выдержит!

— Недели через две он приедет в отпуск. Почему бы ему лично не получить диплом?

— Гм! Видите ли, тут есть препятствия...

— Но ведь это, кажется, обычный порядок?

— Только не для заочников. Помощник ректора считает нужным делать некоторое различие... Но для такого выдающегося студента, как ваш сын, лорд Драйвер... Я предложу, чтобы меня уполномочили вручить ему диплом в Лондоне.

— Мне бы хотелось, чтобы он повидал свой колледж.

— И повидает, конечно повидает, когда опять настанут мирные дни. Сейчас бо́льшая часть колледжа закрыта. Пусть уж он лучше увидит его в полном блеске. Вы разрешите мне с племянницей посетить вас?

— Мы сейчас живем очень скромно...

— Надеюсь, не по причине каких-либо серьезных финансовых затруднений?

— О, нет, нет.

— Очень рад. А теперь присоединимся опять к нашей милой девице.

5

Лорд Драйвер тоже нашел более удобным для себя встретить гостей на вокзале. Это совпадение не поразило мистера Фенника, потому что он подкрепился перед отъездом солидной порцией академического пива, но оно поразило Элизабет. Колледж в последнее время не оправдывал возлагаемых на него надежд, и это отчасти зависело от того, что мистер Фенник стал полениваться: из его разговоров за последние дни можно было понять, что он рассматривает колледж лишь как первый шаг к чему-то другому — к чему именно Элизабет еще себе не уяснила. Мистер Фенник то и дело заговаривал о лорде Драйвере и его сыне Фредерике и об ответственности, которую возлагает на человека высокое происхождение. Республиканские его тенденции совершенно угасли. Фредерика он называл — «наш милый мальчик» и его работы по античной литературе оценил наивысшим баллом в сто пунктов.

— Не часто можно встретить,— говорил он,— такое сочетание способностей к древним языкам и военного таланта. Это замечательный юноша.

— В экономических науках он что-то не блещет,— заметила Элизабет.

— Нельзя же требовать от воина, чтобы он превратился в книжного червя.

На Паддингтонском вокзале они увидели в толпе лорда Драйвера, махавшего им рукой. На нем был новенький с иголочки костюм — страшно подумать, сколько продовольственных талонов перешло в руки спекулянтов для того, чтобы это приобретение стало возможным.

Позади лорда Драйвера стоял молодой человек — совсем еще юнец — с угрюмой складкой рта и шрамом на щеке. Мистер Фенник поспешил им навстречу. Черный дождевой плащ облекал его плечи, как мантия; шляпу он держал в руках, и его снежно-белая шевелюра сияла над спинами носильщиков, придавая ему весьма почтенный вид.

— Мой сын Фредерик,— сказал лорд Драйвер. Юноша нехотя снял шляпу и тотчас опять ее надел — в армии очень коротко стригли волосы.

— Колледж св. Амвросия приветствует своего бывшего питомца,— провозгласил мистер Фенник.

Фредерик хмыкнул.

Церемония вручения диплома происходила в номере отеля «Маунт ройял». Лорд Драйвер объяснил, что их дом пострадал от бомбежки — бомба замедленного действия, добавил он, каковой комментарий был нелишним, ибо в последнее время воздушных налетов не было. Но если такое место встречи устраивало лорда Драйвера, то и мистер Фенник не имел возражений; он привез с собой в чемодане мантию, шапочку с квадратным верхом и библию и в уголке между столиком для газет, диваном и радиатором провел весьма внушительную церемонию: произнес речь по-латыни, легонько похлопал Фредерика библией по макушке и вручил ему печатный диплом, изготовленный по его специальному заказу за немалую плату в англо-католической типографии. Из всех присутствующих только одной Элизабет было как-то не по себе. Возможно ли, думала она, что на свете нашлось целых двое таких простофиль? В ней все больше нарастало мучительное подозрение, что простофиль в этой комнате, пожалуй, не двое, а целых четверо.

После легкого завтрака, запитого темным пивом в бутылках, о котором мистер Фенник с приятной улыбкой заметил, что «оно по качеству почти не уступает нашему академическому», ректор колледжа св. Амвросия и лорд Драйвер постарались путем тонких намеков выпроводить молодежь на прогулку.

— Нам нужно поговорить о делах,— сказал мистер Фенник, а лорд Драйвер добавил:

— Ты ведь уже год как не был в кино, Фредерик.— Таким образом, молодежь была изгнана на разбомбленную и всячески запущенную Оксфорд-стрит, а старики позвонили официанту и бодро принялись за виски.

— Что это они затевают? — спросила Элизабет.

Молодой Драйвер был недурен собой; ей понравилась и его угрюмость, и шрам на щеке; а в глазах у него читалась, пожалуй, даже чересчур острая сообразительность и упрямая воля. Он снял шляпу и почесал себе затылок, и Элизабет опять отметила, что голова у него острижена почти наголо. Нет, он нисколько не походил на военного. И костюм на нем, как и у отца, новехонький, и явно куплен в магазине готового платья. Что ему, нечего было надеть, что ли, когда он приехал в отпуск?

— По-моему,— сказала она,— они хотят нас поженить.

Его глаза весело блеснули.

— Что ж, я не против,— сказал он.

— Но вам ведь на это нужно разрешение вашего командира?

— Командира? — удивленно повторил он и замялся, как напроказивший школьник, которому учиняют допрос, а он не успел заранее придумать ответы. Элизабет внимательно следила за ним, припоминая все, что с самого начала показалось ей странным.

— Так вы, значит, целый год не были в кино,— протянула она.

— Да, знаете ли... служба.

— А выездные бригады разве к вам не приезжают?

— Ну, это я не считаю.

— Скучно же там у вас — все равно что в тюрьме сидеть.

Он смущенно ухмыльнулся. Во время этого разговора он все убыстрял шаги, и теперь со стороны могло показаться, что она гонится за ним. Они вбежали в ворота Гайд-парка.

— Ну, — сказала она, — давайте начистоту. Никакой ваш отец не лорд Драйвер.

— Да нет, он правда Лорд Драйвер.

— Не больше, чем мой дядя ректор колледжа.

— Что? — Он вдруг засмеялся — и это был приятный смех, не внушающий, быть может, доверия, но такой, что хотелось засмеяться в ответ и согласиться, что в этом сумасшедшем мире ничто не имеет значения.— Я только что вышел из Борстала,— сказал он.— А вы?

— Нет, я пока еще не сидела за решеткой.

— Знаете, — сказал он, — я уже и сам что-то заметил... Вы, может, подумаете, я вру, но вся эта церемония... что-то мне чудно показалось. Ну, а папаша, тот, конечно, всему поверил.

— А дядюшка вам поверил... А я вот не совсем.

— Так. Значит, свадьбе теперь не бывать. Знаете, это даже жалко.

— Что же, я пока еще никому другому не обещала.

— А!.. Ну давайте обсудим.

И они обсудили это со всех сторон, сидя в парке под бледным осенним солнцем. Кругом сновали жулики покрупнее масштабом: министерские чиновники с изящными портфелями спешили мимо; разные инспектора проносились в блестящих машинах; рослые мужчины с красными штабными нашивками на воротниках и большими, лишенными всякого выражения лицами, словно взятыми напрокат с рекламных щитов, дело-

вито шествовали по Парк-лейн из Дорчестер-хаус *. Если той же меркой мерить этих двух — юнца, у которого в прошлом был Борстал, и девчонку, у которой в прошлом ничего не было, кроме томительной скуки за прилавком мануфактурного магазина и за стенами пригородного «особняка» на две квартиры,— то пришлось бы признать их очень мелкими жуликами, и измышленное ими жульничество почти безвредным.

— У папаши наверняка припрятано несколько сотен, — говорил Фред.— И ручаюсь, он раскошелится, если будет думать, что заполучил в невестки племянницу ректора.

— Думаю, что и у дяди найдется фунтов пятьсот. И он ничего не пожалеет, лишь бы породниться с лордом Драйвером.

— Мы этот колледж не бросим. Если иметь небольшой капитал, можно развернуть дело как следует. А сейчас это еще так — мелочь.

Они влюбились друг в друга без всякой видимой причины, тут же в парке, пока сидели на простой скамейке, чтобы не платить двух пенсов за складные кресла, и строили планы, как обжулить двух старых жуликов. Они знали наперед, что им это удастся. Потом пошли обратно, и, едва переступив порог, Элизабет заявила:

— Мы с Фредом хотим пожениться.— Ей даже стало чуточку жалко этих старых дураков, когда она увидела, как разом осветились их лица — еще бы, так легко все устроилось! — и как потом они, предостерегающе подмигнув друг другу, снова приняли серьезный вид.

— Это в высшей степени неожиданно,— процедил лорд Драйвер, а ректор сказал:

— Да уж, нынешняя молодежь времени не теряет!

Весь вечер старики улаживали финансовый вопрос, а счастливая юная пара сидела в уголке и забавлялась, наблюдая их сложные ходы, сильная своим знанием, что мир всегда открыт для молодых.

* Роскошный особняк, во время войны занятый под военные учреждения.

Айронбак

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

(Из книги „Церемониальный марш". Избранные стихотворения.)

Перевод с английского М. Кудинова.

В анналах истории нет их имен,
Но мне мои предки известны;
Основой их жизни с давних времен
Был труд упорный и честный.

Я рылся не раз в родословной моей,
Добрался до самых истоков,
И что же? Там не было ни королей,
Ни рыцарей, ни пророков.

Там не было тех, кто в былые года
Себя почитал всесильным —
Такие плоды не росли никогда
На древе моем фамильном.

Зато я нашел среди предков моих,
Листая страницы веков,
Шахтеров отважных, матросов лихих,
Землепашцев и рыбаков.

Гибли при взрывах они под землей,
Пот проливали в полях,
Сражались с разгневанной бездной морской
На тонущих кораблях.

И хотя их кости в шахтах гниют
Или скрыты в глубинах морей,
Я горжусь, что только трудящийся люд
В родословной записан моей.

Трудящийся люд! Он сеет и жнет,
Но впроголодь он живет.
Трудящийся люд шагает вперед
С пути он врагов сметет.

«УРОЖАЙ» *Вырезка из бумаги (Китай)*

Сюй Хуай-чжун

Мы сеем любовь

РОМАН

Перевод с китайского А. Клышко, Ю. Луговского и А. Файнгара.

6

Ни выписалась из больницы раньше, чем Цючжи. Вернувшись на агростанцию и забыв о наставлениях врача, она немедленно отправилась к своим овцам. Хотя им на новом месте жилось привольно и они были такими же тучными, как раньше, Ни все же казалось, что в ее отсутствие за ними ухаживали не так, как нужно. Она гладила их здоровой рукой — раненая была еще на перевязи,— запускала пальцы в их густую шелковистую шерсть, и овцы отзывались на ее ласку.

Ни очень хотелось приступить к работе. Она завидовала всем, кто выходил в поле. Утром Лэй сказал, что сегодня обязательно закончат разброску удобрений под люцерну. И это еще больше ее взволновало. Подумать только! Другие уже все закончили: вспахали, разбросали удобрения, отсеялись и берутся за ее люцерну. А она сама? Ей не разрешили ничего делать. Когда зазеленеют всходы люцерны, ей и смотреть на них будет тяжело — всего этого добьются без ее участия и помощи!

— Ничего не выйдет! — в ответ на ее просьбы непреклонно заявил начальник агростанции. — Что бы ты ни говорила, я тебе ничем не позволю заниматься. Сейчас у тебя одно занятие — выздоравливать!

Но ему не удалось так легко от нее отделаться, и в конце концов он послал Ни к жене Сылавэньдуя. «Поможешь по хозяйству! — сказал Цзы-хуан. — Цючжи еще в больнице, а старухе надо не только помочь, ее надо утешить и приободрить...»

Ни рада была и такому поручению. Она сразу же отправилась в дом Сылавэньдуя, но, завернув за угол конюшни, увидела Мяо Кана. Он шел к реке с длинной жердью в руках. Шел он сутулясь, повесив голову и казался очень печальным и одиноким. Ни стало даже немножко жаль его.

Несколько дней назад, в больнице, когда Ни увидела возле своей кровати товарищей, пришедших ее навестить, она была растрогана до слез. Но среди посетителей не оказалось Мяо Кана, и это очень обидело Ни. Что бы ни было, как можно не навестить раненого товарища?! Как можно?

Однако Мяо Кан пришел. Дождавшись, когда сестра выпроводила всех из палаты, Ни задремала и вдруг почувствовала, что кто-то на нее

Продолжение. Начало см. № 9.

пристально смотрит. Их взоры встретились. Оба покраснели от внезапно нахлынувшего волнения и молчали. Наконец он догадался спросить:

— Ну как ты себя чувствуешь?

— Ничего, кость не задета. Вот извлекут пулю, и все заживет.

Мяо Кан снял синее холщевое пальто и присел на край кровати. Он погладил горячий лоб Ни, и это напомнило ей то время, когда они оба еще учились. Она заболела, и Мяо Кан не отходил от ее кровати, ухаживал за ней и вот так же, как и сейчас, часто гладил ее горячий лоб...

— Мяо Кан, ты помнишь, как я тогда простудилась?

— Конечно, помню. Ты еще все время гнала меня на лекции! До сих пор не понимаю, почему? Ведь у меня был отпуск, и ты знала об этом.

Ни опять покраснела.

— Но я же лежала в общежитии, и болезнь была пустяковая, а ты не отходил ни на минуту, и всем было видно, что в этом нет необходимости... К чему мы об этом заговорили? — Ни опустила глаза. — Скажи лучше, как табун? Все в порядке?

— Ну что могло случиться? — самоуверенно возразил Мяо Кан. — Как только табун вернулся, мы поставили лошадей по номерам в стойла. Я каждый день произвожу осмотр. У меня, пора тебе знать, лошади не болеют! Так что все в порядке, тебе нечего тревожиться...

Вошла палатная сестра и позвала Ни в операционную: будут извлекать пулю. Мяо Кан остался ждать в палате.

Обратно Ни принесли на носилках. Действие наркоза уже прошло, и было видно, что она с трудом превозмогает боль. Ни закусила губу, на лбу выступили капельки холодного пота. Неуверенной, дрожащей рукой она передала Мяо Кану комочек смятой бумаги и торжественно, тихо произнесла: «Сохрани это на память!» В бумагу была завернута ржавая пуля. Мяо Кан не очень-то понял, зачем ее нужно беречь, но пулю взял.

— Больно? — тихо спросил он.

— Больно!

— Вот ведь несчастье. И во всем я, я один виноват! — вдруг воскликнул Мяо Кан. Ни удивленно поглядела на него.

— Конечно, я виноват и так раскаиваюсь! — настойчиво повторил Мяо Кан. — Я не должен был разрешать тебе ехать сюда. Пусть мы были бы не вместе, но зато не случилось бы этого несчастья! Ведь подумать только, пуля могла попасть чуть правее. Чуть правее!.. Всю жизнь пришлось бы раскаиваться!..

Ни пристально посмотрела на Мяо Кана и вдруг зажмурилась. Мяо Кан заговорил опять:

— Я считаю, что за всю эту историю должно нести ответственность руководство. Как можно подвергать риску жизнь людей?! Если не могут обеспечить элементарную безопасность, то пусть отвечают за это...

Слова и тон, которым они были произнесены, поразили Ни. Так мог бы рассуждать чужой человек, не знающий обстановки на агростанции, незнакомый ни с секретарем Су И, ни с начальником Цзы-хуаном. Но Мяо Кан, её товарищ, который все знал,— как мог он болтать о какой-то ответственности руководства, о том, что безопасность людей не обеспечена?

Стараясь до конца вникнуть в смысл его слов, Ни вдруг почувствовала, как из глубины души у нее поднимается и растет неприязнь к Мяо Кану. Ее поразило это чувство, но она ничего не могла с собой поделать.

Конечно, Мяо Кан не подозревал, что брошенные им слова вызовут такую реакцию, иначе он был бы осмотрительнее. Но занятый, как всегда, только самим собой, он с подчеркнутым раскаянием повторил, что никогда бы не добивался назначения Ни сюда, если б мог предположить, какие опасности и невзгоды подстерегают ее тут.

— Ладно, довольно! — не сдержалась в конце концов Ни. — Что ты

все твердишь: «раскаиваюсь, раскаиваюсь»? Я, например, ни о чем не жалею! Разве только о том, что, отправляясь в горы, не взяла с собой оружия! А ты тут вообще ни при чем... Что же касается руководства, то...

— Ты не так меня поняла, — спохватился Мяо Кан, — я только хотел сказать, что...

Ни не захотела слушать.

— Я приехала сюда потому, что здесь нужен был зоотехник, пойми это наконец! — резко сказала она.

Мяо Кан вспомнил, что Ни говорила именно эти слова, когда они впервые встретились после разлуки. Повторенные сейчас, они как бы отрезвили его. Ведь так на самом деле и было...

— Я знаю, Ни, ты кое о чем слыхала? — Мяо Кан старался держаться спокойно.— Но я думаю, что тебе сказали неправду...

Ни вспыхнула:

— Я не понимаю, о чем ты говоришь!

Конечно, она понимала превосходно, о чем шла речь, но ей казалось предательством обсуждать этот вопрос за спиной Линь Юань. Предостерегающе вскинув здоровую руку, она прошептала: «Не смей!..»

Но Мяо Кан твердо решил воспользоваться тем, что они одни, и высказаться до конца.

— Все это чистое недоразумение. Ты только послушай...

Ни закрыла глаза.

— Мне надо отдохнуть. Извини меня, пожалуйста, уходи!

— Я хочу, наконец, чтоб ты поняла...

— Иди! У тебя разве нет работы?

— ...Ты опять меня прогоняешь?!

— Иди на работу! Ступай!

— Нет! Выслушай меня... — Мяо Кан застегнул воротник рубашки, словно с этой минуты начиналась официальная часть визита.

— Каждый из нас еще не избавился от пережитков прошлого. Но к чему терзаться понапрасну?! Ты сама подумай: если люди работают вместе, связаны делом, то они поневоле неизбежно встречаются. Неужели это ущемляет кого-нибудь? Неужели есть основания обвинять их только за то, что они не уклоняются от таких встреч?! Неужели...

«Пережитки», «кого-нибудь», «ущемляет» — все это вдруг страшно надоело Ни. Она резко приподнялась на кровати и потянулась к стоявшему на столике колокольчику... На звонок прибежала испуганная сестра.

— Этот товарищ, — сухо сказала Ни, — хочет уйти, но боится, что не найдет выходной двери,— проводите его!

И Мяо Кан, не успев даже надеть пальто, вышел в сопровождении сестры, которая так и не поняла, что случилось.

Сейчас, увидев понурого и одинокого Мяо Кана, Ни подумала, что, пожалуй, обошлась с ним тогда слишком круто. В конце концов, не было ли в его словах доли правды? Может быть, действительно в нашем сознании еще коренятся пережитки прошлого? Может быть, действительно мы иногда терзаемся понапрасну? В самом деле, какими доказательствами она располагает, если не считать нескольких туманных фраз, сказанных самой Линь Юань в первый вечер на метеопункте. И что в конце концов сообщила Линь Юань, кроме того, что она частенько разговаривала с Мяо Каном? И что... ну да, может быть, Линь Юань и нравился Мяо Кан, но разве сам он виноват в этом? И что же тут противоречит словам Мяо Кана, утверждавшего, что они не могли не встречаться, работая вместе?! И, пожалуй, самым постыдным во всей этой истории является то, что она, Ни, поддалась самому низкому чувству — чувству ревности!

Мяо Кан уходил все дальше, к реке, и скоро скрылся из виду. Ни тяжко вздохнула: как же теперь поправить дело? Дать ему понять, что

она сожалеет о случившемся?! Или просто выждать, чтобы дурное впечатление изгладилось, и тогда, как ни в чем не бывало, заговорить с ним? Неразрешимые вопросы! Ни тряхнула головой и тут только сообразила, что все еще стоит у конюшни. «Сколько же я здесь проторчала!»— она поспешно оглянулась, желая убедиться, что за ней никто не наблюдает, и, поправив повязку, пошла к дому Сылавэньдуя.

7

Двери дома Сылавэньдуя были открыты, хотя в доме никого не оказалось. От соседей Ни узнала, что старик находится в поле. Он давно бы уже закончил пахоту на своем участке, но все последнее время помогал другим осваивать плуги. А за старухой, сказали соседи, пришла девушка из больницы в белом халате и увела ее. Это озадачило Ни: уж не стало ли хуже Цючжи?

Прождав немного старуху, Ни решила сходить в больницу, но в это время хозяйка вернулась.

— Цючжи поправляется! — радостно сообщила она. — Даже чуть не убежала из больницы... Меня вызывали, знаешь, зачем? Никогда не угадаешь! Водили в деревню Сиба смотреть роды, принимаемые по-новому, по-научному. Там одна молоденькая двойню родила. И, право, если бы не послали в больницу за врачом, то... туго, ох как туго бы ей пришлось!

Ни ликовала. Услышав в свое время от старухи печальное повествование о том, как она сама рожала в хлеву, Ни рассказала об этом в больнице, и там решили при первом удобном случае показать этой замороченной всякими бреднями старухе, что представляет собою работа акушера.

А старуха, полная впечатлений, продолжала рассказывать о враче, о роженице и о новорожденных. Затем, словно подводя итог, она сказала:

— Все хорошо, лучше и не придумаешь! Одно плохо — на верхнем этаже родила. Слабенькие будут дети! А у нас, чаба, дети обязательно должны быть сильными, иначе нельзя. Я им говорила, говорила, а они только улыбаются...

— Я слышала, в больнице хотят организовать акушерские курсы. Они сказали тебе об этом? — спросила Ни.

— Как же, сказали. Хотели, чтобы я потолковала с женщинами в деревне...

— Да? Вот хорошо, мама! Ты уж помоги, — попросила Ни, — уговори женщин, если не захотят сразу...

— Захотят, почему не захотеть? — старуха вздохнула, — только смогут ли? Ведь ничего наши женщины не знают, слепые они.

— Смогут! — твердо сказала Ни. — Это так же, как с плугами. Вспомни, сначала тоже казалось, что понять ничего не смогут, а сейчас все прекрасно управляются и пашут.

— А ведь правда! — оживилась старуха. — Нет, я со всеми поговорю. Сегодня же вечером пойду. И пусть только не согласятся, я их так отругаю!

— А ты, мама? Ты ведь первая должна пойти на курсы.

— Я? Что ж, и попробую, если у них хватит терпения учить такую старуху... Может, кому-нибудь пригожусь.

Разговор прервался с приходом Сылавэньдуя. Нахмуренный и молчаливый, он, едва войдя в комнату, стал сразу искать что-то в шкафу.

— Ты что ищешь? — рассердилась старуха, глядя, как он перерывает все в шкафу и разбрасывает вещи.— Что хочешь найти?

Старик, не отвечая, продолжал поиски. Грязная одежда, стоптанная

обувь, обрывки льняных веревок — все это извлекалось из шкафа и складывалось в корзину.

— Что случилось? Что ты надумал? Что собираешься делать с этим хламом?

Вспахивая последний участок земли, Сылавэньдуй заметил, что буланая лошадка, которую он одолжил на агростанции, еле-еле тащится. Он с трудом заставил ее закончить вспашку на участке, и когда привел на конюшню, то увидел, что лошадь не ест, не пьет. Потом она повалилась наземь и больше не вставала. Все думали — простудилась, но Сылавэньдуй упорно твердил, что в нее вселилась нечистая сила. Он припомнил, как вчера, когда проезжал мимо священной пирамиды Мани, лошадь потерлась мордой о камни с высеченными на них письменами. Теперь спасти лошадь от нечистой силы можно было только при помощи одного, унаследованного от предков, надежного средства, — нужно было вдувать едкий дым в ноздри лошади до тех пор, пока она не заржет и не вскочит на ноги. Сваленная в корзину рухлядь как раз и предназначалась на топливо.

Ни, как только узнала о случившемся, побежала на конюшню, оставив далеко позади тащившегося со своей корзиной Сылавэньдуя. Вечерело, и народ, возвращавшийся с полей, почти весь собрался у конюшни. Всех беспокоила внезапная болезнь «пятнадцатого номера» (это тавро поставил Мяо Кан, когда нумеровали весь табун). Но больше всех беспокоился Е Хай, потому что это был его собственный конь из кавалерийского полка.

— А ветеринар где? — раздавались голоса. — Почему ветеринар не идет?

— Пошлите за ним скорее.

— Но где он? Кто знает, где он?

— Я, я знаю! — громко сказала только что подошедшая Ни. — Он к реке пошел, ступайте быстрее, там его наверно и найдете!

Е Хай выбрался из толпы и побежал к реке...

8

Цзы-хуан, узнав, что́ сказал ветеринар, вместе с другими спокойно ушел из конюшни. Но едва он вернулся домой, как появился Мяо Кан и еще с порога спросил:

— Как быть с «пятнадцатым номером»? — Цзы-хуан удивился. На конюшне, осмотрев лошадь, Мяо Кан сказал: «Ничего страшного, завтра будет здорова!», а сейчас спрашивает, как быть!

— Ты же сказал...

— Мало ли что говорят на людях? Я не хотел сеять паники, но дело серьезное, у лошади сап.

Цзы-хуан побелел:

— Ты уверен?

— Совершенно уверен! — угрюмо подтвердил Мяо Кан.

Цзы-хуан нахмурился и, ничего больше не сказав, пошел умываться. Известие сразило его.

— Начальник, завтра опять собираешься ехать на пастбище? — спросил Мяо Кан. — Стоило бы попутно захватить «пятнадцатого». Если кому-нибудь лошадь приглянется, то... можно взять за нее и подешевле...

Мяо Кан говорил, не поднимая головы. Как ветеринар, он понимал, что поступить так — преступно. Но боялся, что, если агростанция понесет убытки, авторитет и репутация ветеринара будут подорваны.

Цзы-хуан вспылил. Резко выпрямившись, он стоял напротив Мяо Кана с намыленным лицом и от возмущения не мог даже говорить. Еще

вчера Мяо Кан вывел его из себя, а сегодня... Да что же это за человек, в самом деле?

Вчера, возвратившись с пастбища, Цзы-хуан приказал ветеринару на следующее утро выехать на пастбище: у скотоводов обнаружено несколько больных животных, и агростанция должна на месте оказать немедленную медицинскую помощь. Но, выслушав приказ, Мяо Кан стал спорить. Цзы-хуан, привыкший к воинской дисциплине, был возмущен поведением ветеринара. Но еще более возмутительными показались ему его доводы.

Ничего, кроме страха за самого себя, в этих доводах не ощущалось. И в самом деле, после нападения бандитов на Ни и Цючжи Мяо Кан втайне твердо решил, что больше в горы не поедет. Случись что-нибудь, и пропадешь запросто! Конечно, теперь там есть отряды общественной безопасности, да и обозники вооружены, но не могут же они все время оберегать тебя! К тому же, если произойдет стычка, то ведь пули не разбирают, куда летят. Угодишь под пулю — и поминай как звали! Даже если ранят, как Ни, и то страшно. Кому хочется, тот пусть и ездит, а я ветеринар, я лечить приехал, а не воевать, и не хочу лезть во всякие авантюры... Так мысленно рассуждал Мяо Кан.

А между тем Цзы-хуан уже обещал скотоводам, что завтра обязательно пришлет ветеринара. Теперь выходит, что он обманщик. Но, несмотря на это, Мяо Кан так и не поехал.

И вот теперь этот наглец предлагает сбыть с рук, продать заболевшую сапом лошадь!

У Цзы-хуана чесались руки. Надавать бы оплеух этому мерзавцу, и дело с концом. Но, вспомнив о секретаре Су И, который всегда требовал выдержки и терпения, Цзы-хуан сдержался.

Зато Юэ-сян, возившаяся у очага и никогда не вмешивавшаяся в дела мужа, вдруг запротестовала.

— Продавать! С ума ты сошел — продавать, ведь у нее сап! Хочешь всех погубить?!

— Чему ты учишь? Что предлагаешь? — не сдержавшись, заорал вконец рассвирепевший Цзы-хуан. — Это же преступление, за которое повесить мало! Слышишь ты, — преступление!

Мяо Кан еще никогда не видел Цзы-хуана таким разъяренным. Впрочем, он и сам понимал, что все обернулось очень скверно.

Он спросил неуверенно:

— Так как же быть с «пятнадцатым»?

— Ты это знаешь лучше меня! Есть инструкция, и нечего долго раздумывать, — отрезал Цзы-хуан.

— По-твоему выходит, что надо решаться на последнее средство? — сказал Мяо Кан, еще больше мрачнея.

— Да! И обойдись, пожалуйста, без болтовни. Надо отвести ее в ущелье и забить!

Е Хай позже всех узнал об этом решении. Даже не вытерев испачканных в мазуте рук, он опрометью побежал к ущелью. У него перед глазами все время стояла эта низенькая, но выносливая, покрытая ровной густой шерсткой, смелая лошадь цинхайской породы. Она была его неразлучным другом на протяжении многих лет, да и не только другом, но и боевым соратником. Став кавалеристом, он никогда с ней не расставался. Верхом на Буланчике он преодолевал горные кручи и широкие реки; в незабываемые годы освободительной войны Буланчик пронес его по необозримым просторам Великой равнины. Сколько раз, пригнувшись к холке Буланчика, Е Хай мчался с криком «ура!» в атаку и словно с неба обрушивался на головы врагов, разя их своим смертоносным клинком! А однажды — это было три года назад — Е Хая послали в конную разведку. По дороге разведчики неожиданно наткнулись на большой отряд противника. Командир приказал Е Хаю спешиться и прикрыть

огнем отступление товарищей. Он точно выполнил приказ, но был дважды ранен; одна из этих ран пришлась в бедро, и он уже не мог подняться, не мог сесть на лошадь. Оставался один выход: подпустить поближе вражеских солдат и последней гранатой уничтожить их и себя. Но в этот момент его умный бессловесный боевой друг улегся рядом и стал тыкаться мордой, как бы желая помочь ему встать. Е Хай напряг все силы и вполз на спину лошади. Несмотря на преследование и сильный огонь автоматчиков, Буланчик вынес его к своим...

И вот сейчас его хотят убить! Убить и даже труп собираются сжечь.

Е Хай прибежал к ущелью в тот момент, когда Мяо Кан привычным жестом нащупал место сплетения вен на шее лошади. Не разбирая ничего, он кинулся через разложенный вокруг лошади и облитый бензином хворост. Буланчик радостно заржал и потянулся навстречу другу. Е Хай обнял его за шею и оттолкнул Мяо Кана:

— Ты что это собираешься делать?!

Мяо Кан попятился, заслоняя шприц рукой, и пробормотал что-то, но плотная марлевая повязка, закрывавшая рот, не давала возможности разобрать что-либо.

Цзы-хуан попробовал оттащить Е Хая. Сочувственно и вместе с тем настойчиво повторял он:

— Отойди, все уже решено!

— Кем решено? Кем?

— Я так решил! — твердо произнес Цзы-хуан. — Я — начальник.

Для Е Хая слово «начальник» еще с армейских времен было символом непререкаемой власти. Он ничего не ответил, но лицо его побагровело, на шее вздулись вены, и, помедлив минуту, он круто повернулся, закрыл лицо руками и повалился на груду хвороста. Е Хай был потрясен и убит горем, он рыдал, и плечи его вздрагивали.

В эту минуту Мяо Кан подошел к лошади и ловким движением всадил ей шприц в шею. По мере того как количество мутной жидкости в стеклянной трубке уменьшалось, «пятнадцатый» все больше слабел, и, наконец, колени у него медленно подогнулись, и он сник к земле. Люди молча поджигали хворост. Ни, наблюдавшая за всем происходящим, посмотрела на Мяо Кана; его профессиональное спокойствие и сноровка сейчас вызывали в ней отвращение.

9

Обычно на собраниях ячейки Союза молодежи председательствовал Мяо Кан, но сегодня он сидел в сторонке, а собрание вел Лэй.

Оно было открытым; помимо членов Союза, здесь присутствовала вся молодежь агростанции. Цючжи, которая только что выписалась из больницы, тоже пришла.

Многое для нее здесь было непонятным. Почему, например, перед началом собрания все платили деньги одному пареньку? Может быть, ему поручалось сделать какие-нибудь покупки? Но, внося деньги, никто не давал никаких поручений! Цючжи не знала, что это секретарь ячейки собирает членские взносы. Или вот еще: почему все под руководством Линь Юань пели песню? Может быть, все чему-то радовались? Но тогда отчего во время пения они замерли так неподвижно? Цючжи не знала, что это исполняется гимн Союза молодежи. Потом, увидав, что все подняли руки, она сделала то же. Но сидевшие рядом шепнули ей: «Цючжи, милая, тебе не полагается поднимать руку!» Почему это — все поднимают, а ей не полагается? Она не знала, что шло голосование о переводе одного из кандидатов в члены Союза. Многого не знала Цючжи, но

основное, что обсуждалось на собрании, она поняла — «мынба», который лечит животных, в чем-то провинился.

Все сердились на него и требовали, чтоб он честно признал свою вину. Цючжи тоже думала: уж повинился бы лучше! Но Мяо Кан, к сожалению, не признал себя виноватым. Хотя говорил он много и выглядел очень озабоченным, все его пространные рассуждения сводились к одному: вовсе не из-за его халатности и небрежности был причинен ущерб агростанции. И даже наоборот, агростанция в неоплатном долгу перед Мяо Каном.

Как брошенный камень нарушает спокойную гладь воды, так и выступление Мяо Кана взволновало собрание. Почти все просили слова. Одни говорили о том, что Мяо Кан много берет на себя — конюшня действительно выстроена хорошо, но строила ее вся молодежь, а вовсе не один Мяо Кан. Другие возмущались тем, что Мяо Кан почему-то считает введение твердого порядка при кормлении животных своей личной заслугой. Тут гораздо бóльшая заслуга зоотехника Ни. Потом заговорили о номерах для лошадей — этим Мяо Кан тоже очень кичился. Поднялся совсем юный паренек и сказал:

— Шел я как-то мимо конюшни, вижу — два жеребца дерутся у кормушки, кусаются, брыкаются... Спрашиваю старого конюха: почему ты их не разведешь по разным стойлам? А он отвечает: «Посмотри, у одного номер восемь, а у другого девять, а ветеринар ни за что не разрешает менять номера!» Вот уж непонятно: неужели лучше, чтоб лошади дрались? По-моему, такая нумерация просто вредна. Чем же тут хвастать?

Мяо Кан собрался было ответить, но сидевший напротив него Е Хай задал вопрос:

— Товарищ Мяо Кан, не можешь ли сообщить собранию, чем ты занимался тогда, у излучины реки?

Мяо Кан снисходительно усмехнулся, как бы давая понять, что вопрос вообще не заслуживает ответа.

— Говори! — сурово настаивал Е Хай. — Я спрашиваю, что ты делал у излучины реки, когда я прибежал за тобой?

— Ты говоришь таким тоном, словно я преступление совершил! Но, право, каждый в свободное время развлекается, как ему нравится...

— Ладно! — оборвал плавную речь ветеринара Е Хай. — С такими развлечениями весь скот на агростанции загубить можно! В тот день, — продолжал Е Хай, — Буланчик работал у Сылавэньдуя совсем больной. Я побежал к реке искать Мяо Кана. И чем, вы думаете, он там занимался среди бела дня? Рыбу удил! Вот так-то, товарищи. За рыбной ловлей и Буланчика проворонил...

Собрание встретило этот рассказ с возмущением. Да и как было не возмутиться? Осенью, когда день так короток и согласно поговорке — солнце хоть к деревьям привязывай, чтобы оно не закатывалось, Мяо Кан умудрился найти «свободное от работы время»! У всех минуты рассчитаны, а он сидит себе на бережку и удит рыбу...

В помещении поднялся страшный шум, каждый кричал, упрекая Мяо Кана. Сам Мяо Кан тоже кричал в ответ, пытаясь оправдаться. Восстановив порядок, Лэй предоставил ему слово.

— Конечно, — начал Мяо Кан, — я ветеринар и должен был бы первым отвечать за гибель «пятнадцатого». Но, товарищи, все знают, какое у нас на станции медицинское оборудование! — Мяо Кан безнадежно махнул рукой. — Не только каких-нибудь важных приборов, но и обыкновенных медикаментов, вроде камфары и скипидара, у нас нет. Дезинфицирующих средств тоже не хватает. А если говорить о сапе, то эту болезнь — товарищи, вероятно, знают — трудно обнаружить на начальной,

скрытой стадии развития. Ее можно заблаговременно обнаружить только с помощью малеина *. Это, конечно, не какое-нибудь ценное лекарство, но и его у нас нет, ни одной капельки...

Ни сидела в укромном уголке, красная от возмущения. Лишь несколько дней назад в больнице Мяо Кан хвастал перед ней тем, что заболеваний среди животных опасаться нечего, так как он регулярно и часто производит осмотр; если же паче чаяния появятся какие-нибудь тревожные симптомы, он сразу примет нужные меры.

Но вот, когда действительно случилось несчастье, он, и глазом не моргнув, утверждает нечто прямо противоположное. Этот человек способен лишь на слова да на рисовку. Если бы он в самом деле ежедневно тщательно осматривал животных, то сумел бы и без малеина обнаружить признаки заболевания!

Не вслушиваясь больше в то, что говорил Мяо Кан, Ни с неприязнью следила за выражением его лица, за каждым его движением. Как же она раньше не замечала этого позерства и фальши?

Линь Юань вела протокол собрания и все время возилась со свечой, которая шипела и угрожала погаснуть. Наконец зажгли керосиновую лампу, в помещении сразу стало светлее.

— ...Что же касается того случая, о котором говорил товарищ Е Хай, то... — Мяо Кан вдруг сделал шаг назад, будто яркий свет лампы мешал ему, — то я не отрицаю — в тот день я действительно ловил рыбу. Но мне не рыба была нужна, просто хотел тогда побыть один, у меня были личные неприятности, и я не совсем хорошо себя чувствовал...

Линь Юань выступать не собиралась, но вдруг неожиданно для всех она швырнула ручку на стол и заговорила:

— Вопрос не в том, какое у тебя было самочувствие, а в том, как ты относишься к своим обязанностям! Факты говорят о том, что ты обманываешь не только других, но и самого себя. От тебя только и слышишь: того нет, этого не хватает, трудности такие, что хоть ложись и помирай. К чему подобные разговоры?! И без того каждый знает про трудности!— Линь Юань говорила страстно и убежденно. — Из трудностей надо выбираться за счет смекалки. А ты умеешь только пыль в глаза пускать. Ты уж извини, я тебе сегодня говорю не совсем приятные вещи, но ведь ты считаешь себя настолько безупречным, что стань ты на солнечной стороне, от тебя и тень падать не будет!

— Так не критикуют! — раздраженно крикнул Мяо Кан.

Лэй поднял руку, чтобы несколько утихомирить страсти.

— Хорошо! — сказала Линь Юань.— У меня есть предложение, пусть собрание обсудит.

И она передала председателю записку. Лэй поднялся и строгим, бесстрастным голосом прочитал: «Предлагаю, чтобы собрание рассмотрело вопрос о поведении члена комитета Мяо Кана».

10

Собрание кончилось поздно. Линь Юань вернулась на метеопункт в совершенном изнеможении, как солдат после боя. Она повалилась на кровать и закрыла глаза, думая, что сразу сможет заснуть, но сделать это не удалось. Нервы были напряжены, и волнение еще не улеглось. Она встала, зажгла свет и, раскрыв старую ученическую тетрадку, сделала по привычке запись в дневнике:

«Сегодня вечером было собрание, настоящее собрание, достойное нашего Союза. Почему я раньше была так наивна? Он любит только самого

* Лекарство, которое впускают в глаза животным, чтобы установить, не больны ли они сапом.

себя и никого, кроме себя. Пусть все, что было раньше, никогда не повторится!»

Записав эти несколько фраз, Линь Юань почти успокоилась, но заснуть все равно не смогла. Она вспомнила, что на столе у нее лежат школьные тетрадки для рисования. Позавчера она раздала ученикам эти тетрадки и «чудесные карандаши», как они их называли. Карандаши были двухцветные — с одного конца красные, с другого синие. Они настолько заинтересовали ребят, что за получением этого «подарка» пришли даже те, кто не хотел учиться рисованию.

Все двадцать три ученика нарисовали по картинке. Было видно, что делают они это куда охотнее и прилежнее, чем учатся писать. Почти никто из них не мог написать своего имени и фамилии — ни по-китайски, ни по-тибетски. Поэтому Линь Юань не могла разобраться, кому принадлежит та или иная тетрадь, и при раздаче каждую из них приходилось показывать всему классу, чтобы владелец узнал ее.

В первой тетради была нарисована рука с растопыренными пальцами. Линь Юань подумала: «Ох, лентяй!» Сразу было видно, что парнишка, не утруждая себя творческими поисками, положил на тетрадку собственную пятерню и обвел ее карандашом.

Но и под этим рисунком Линь Юань поставила красный кружок. Во второй тетради было нарисовано какое-то четвероногое животное. На голове — рога, туловище покрыто шерстью. Судя по хвосту, это был баран, а не як. Третий рисунок очень понравился Линь Юань. Хотя автору и не удалось придать колесам круглую форму, а гусеницы он и вовсе забыл нарисовать, но все-таки это был «лев». Из трубы густо валил дым. На «льве» восседал человек. Правда, голова у него составляла почти половину тела, а руки-палки росли прямо из шеи, но все-таки это был человек, тракторист, обеими руками державший руль. Линь Юань забыла обо всем и радостно разглядывала рисунок.

Не задумываясь, она поставила под рисунком три кружочка. Она уже объяснила своим ученикам, что если нарисован один красный кружок — это значит рисунок хороший, два кружка — еще лучше, а три — самый хороший. Тут же она решила, что этот ученик станет отличным трактористом: рядом с человеком красовался написанный с ошибками иероглиф «я». Автор старался, чтобы все поняли: трактором управляет именно он.

В дверь постучали. «Войдите!» — крикнула Линь Юань и увидела Ни. С тех пор, как Ни переселилась на склад, она никогда не заходила на метеопункт, и ее ночной визит был полной неожиданностью для Линь Юань. Да и сама Ни выглядела смущенной.

— Не спишь? — спросила Ни.

— Нет, просматриваю рисунки своих учеников. Садись!

— Они уже научились рисовать?

— Самоучки они, в том-то все и дело. Смотри!

И обе стали рассматривать детские рисунки, но делали это рассеянно. Обмениваясь время от времени взглядами выразительнее всяких слов, они хорошо понимали, что творится на душе у каждой. Так и велась эта безмолвная беседа двух девушек, до этой минуты упорно избегавших встречи. Обе были растроганы.

— Линь Юань, — прервала наконец молчание Ни, — я пришла посоветоваться с тобой по одному делу. На складе жить не очень удобно. Ключ всегда у Юэ-сян, и мне по нескольку раз в день приходится искать ее...

— Так переселяйся снова ко мне!

— Можно?

— Почему же нет?!—Линь Юань искренне обрадовалась.—Посмот-

ри, вон и постель твоя сохранилась. Я часто думала, что все-таки ты вернешься сюда! Одной так тоскливо!

Они вдруг обнялись и засмеялись.

— Хорошо, я завтра же перееду, — сказала Ни.

— Зачем же завтра?! Прямо сейчас! — Линь Юань уже не терпелось осуществить задуманное.

И они тут же отправились на склад за вещами и приборами Ни, разбудив при этом всех соседей, которые недоуменно высовывались из окон и переговаривались между собой:

— Сумасшедшие девчонки! Таскают по ночам взад-вперед какие-то вещи! Угомона на них нет, честное слово!

Глава шестая

1

Многие века каждый, вступивший на Тибетское плоскогорье, испытывал странное и горькое ощущение оторванности от всего мира. Спокойный, голубовато-зеленый небосвод, такой неведомый и такой беспредельный, лишь усиливал это чувство. День за днем шел человек, а вокруг только горы, врезающиеся в облака; горы, смыкающиеся за тобой, отрезающие тебя от всего того, без чего человек перестает быть человеком.

Вот почему о дороге здесь, в Гэнде, мечтали как о чуде.

На агростанции за строительством дороги следили, как за пульсом больного на операционном столе. Стоило кому-либо приехать «оттуда», и его засыпали вопросами, суть которых сводилась к одному: когда дорогу дотянут до Гэнды?

И вот дотянули. Дорожники дошли до Гэнды. Дошли наконец! Вчерашняя тропинка превратилась в шумную трассу.

Местное население с восторгом встречало строителей, пришедших сюда, пожалуй, со всех уголков страны. Это были крепкие люди, проделавшие вместе с Народно-освободительной армией тысячи ли пути, вчерашние солдаты-саперы — правда, им было полегче сейчас, без винтовок и патронташей; старые и молодые, но все равно вечно озабоченные инженеры; командиры, привыкшие к полевым пятидесятитысячным картам; девушки-геодезистки с дочерна загоревшими лицами... Всех их тибетцы называли одним, так много говорившим словом — дорожники.

Эти люди умели работать на высокогорных перевалах, покрытых вечными снегами, под ураганным ветром, они умели долбить камень и вечную мерзлоту, оттаивавшую разве лишь под каплями крови с разбитых человеческих рук, они могли трудиться в разреженном воздухе, где не всякий может свободно дышать, потому что каждое движение вызывает удушье у человека незакаленного. Они привыкли к постоянным опасностям — к ледяной воде, в которой они забивали сваи для мостов; к ядовитым испарениям диких лесов, где они выкапывали каждый корешок на пути будущей трассы; к диким зверям и к слепням, которые оказывались страшнее всякого зверя. Все эти невзгоды они считали неизбежными спутниками своей профессии. И поэтому работа здесь, на равнине Гэнды, казалась этим людям отдыхом.

Дорогу предполагали проложить за пятнадцать дней. Но уже на седьмой армия дорожников прошла весь участок и подступила к горам, потянув широкую ленту большого пути дальше, к самой Лхассе.

Грузовики пришли только вчера. Их еще разгружали в приемнике двухэтажного здания торговой компании, но Су И категорически требовал, чтобы торговлю начинали завтра же.

В распоряжении управляющего компанией было несколько служащих, еще менее, чем он, сведущих в торговле. И все же товар был принят, и рядом со зданием компании, прямо на просторе будущей улицы, под широким тентом, колыхавшимся на ветерке, как гигантский бумажный змей, раскинулся огромный «торговый зал». Когда, наконец, все было разложено и расфасовано, управляющий с торжественным видом прибил на ближайшем тополе еще не просохшую от красок вывеску. На двух языках, тибетском и китайском, было написано: «Отделение розничных операций торговой компании Гэнды».

Весть о том, что правительство цзуна открыло огромный «лоток» (слова «магазин» в обиходе местных жителей пока не существовало), молниеносно облетела окружающие селения. Уверяли, что лоток торгует «всем на свете», и с утра сюда нескончаемой вереницей потянулись люди с гор и пастбищ, пробираясь по засыпанным снегом, им одним известным, горным тропинкам. Шли за покупками и просто посмотреть — так ли уж все можно купить, что хочешь. Никто не обращал внимания на Су И. А он давно уже стоял под тополем, на котором была прибита первая в этих краях вывеска государственной торговой фирмы, и внимательно разглядывал каждого покупателя, стараясь не упустить из виду ни одной подробности первого дня торговли.

Девушки-продавщицы едва успевали справляться. Плиточный чай, пачки соли, галантерея, мыло, трикотажные изделия, вино, обувь, скобяные товары — все находило спрос. Тем временем служащие компании скупали у горцев продукцию местных промыслов — оленьи панты, мускус, ценные лекарственные травы, сафлор красильный, маслины, лисьи шкурки. Получив и пересчитав вырученные серебряные юани, тибетцы переходили к прилавкам с товарами и становились уже покупателями. Отдел тканей, как и везде на свете, принадлежал женщинам. Мысленно примерив все, что имелось в продаже, вдоволь насоветовавшись, покупательница смущенно опять начинала все сначала и только после решительных протестов очереди делала выбор; но через минуту, когда облюбованный кусок уже был отрезан, лицо покупательницы вновь выражало раскаяние и досаду.

У прилавка, где продавались карманные фонарики, лампочки и батарейки к ним, царствовали дети. Завороженные глаза детворы блестели ярче лампочек, проверяемых продавцом на батареечном пульте. А в другом углу старик, судя по одежде — скотовод, купив коробку спичек, чиркал их одну за другой... пять, шесть... Наконец продавец остановил его:

— Что вы проверяете, дедушка?! Все они качественные. Брака мы не продаем.

— Что же, и внизу там такие, как наверху? — недоверчиво спросил старик.

— Такие же. Раз головка цела,— продавец взял спичку,— вот эта, черненькая, значит спичка загорится.

— Ну, может быть... — Старик закрыл коробку, но тотчас снова открыл ее и стал считать спички, вытаскивая их по одной и складывая на прилавок.

— Зря время теряете, дедушка, — ухмыльнулся продавец. — В коробке, как ни считай, сто штук. Шесть вы сожгли, значит осталось девяносто четыре. Нечего и считать.

— Ну нечего, так не будем,— смутился старик.— Девяносто четыре... Значит,— задумался он,— если по три в день расходовать, то больше чем на месяц хватит? А то у нас на пастбище нету этого. Нету у нас, знаете?

Мы так — уголек поддерживаем. А когда кочуем — в котелок его, уголек, — и отправились. А то где его найдешь там, огонь?

Вокруг сочувственно кивали.

Услыхав, как продавец шепнул кому-то, что вот, мол, старик, который впервые видит спички, старик вдруг хитро улыбнулся:

— Видел! Пользоваться не пользовался, а видел. К нам купец привозил эти штучки, как же... Мало кто покупал их — за такую коробку купец меньше пяти овчин не брал. А вы их по четыре медяка за коробку цените. Сто штук. Значит, если по три в день... да, больше чем на месяц хватит...— и старик аккуратно запрятал коробку за пазуху.

Могло показаться, что ничего здесь примечательного не происходит. Обычный шум, обычная сутолока, как в любом магазине, где соберется десяток-другой покупателей. А секретарь Су И смотрел, смотрел и думал. Как будто ничего особенного нет. Разве только то, что все это происходит в Гэнде, в государственном универмаге Гэнды!

Он протиснулся вперед, к самому прилавку.

— Что прикажете? — лихо вытянулся продавец.

Су И полез за деньгами, оглядывая полки. На самом деле, что бы купить? А не все ли равно: Су И просто очень хотелось что-нибудь купить в «Отделении розничных операций торговой компании Гэнды».

— Сигареты? — подсказал продавец.

Су И кивнул, отсчитал деньги и осторожно взял из рук продавца пачку «Дачжунхуа». Взял и улыбнулся. Ему пришло в голову, что он сейчас очень похож на того старика-скотовода, который так же бережно, как и он, как драгоценность, принимал из рук продавца свою грошовую, по сути дела, покупку.

В этот момент его и нашел запыхавшийся управляющий компанией.

— Товарищ секретарь! А я вас обыскался!

— А, управляющий! — Су И протянул руку. — Ну, что скажешь? Небось, умыться сегодня не успел? Ну ничего. Наладится дело! Наладится!

— Да вот не знаю, как оно наладится. Тут одно за другим...— они вышли из толпы покупателей. — Эмадэндэн за товарами приехал. Так я хотел проинструктироваться насчет... — управляющий поднял глаза на Су И.

— А какие тут инструкции могут быть? — перебил его Су И.— Продавайте, что попросит, — вот и вся инструкция...

— Да понимаете, чай и соль его интересуют. Он говорит: «Сколько есть у вас — столько и куплю».

Су И нахмурился.

— Ну, а ты что ответил?

— Ничего определенного пока.

— А что собираешься ответить?

— Что вы посоветуете, то и отвечу.

— А сам как думаешь?

— Лично я думаю — продать! — управляющий отчаянно махнул рукой. — Мы же объявляли: любому покупателю в любом количестве...

— Но не оптом,— резко сказал Су И.— Не оптом же отдавать самый ходовой товар в лапы одного спекулянта?

— Так я и искал вас, посоветоваться, — задумчиво проговорил управляющий. — А Эмадэндэну как ответить?

— Вот так и ответить. Пусть уж извинит, но оптом пока не торгуем.

— Значит, не продавать! — управляющий, не прощаясь, быстро пошел к зданию компании, где его ждал Эмадэндэн.

Но с половины дороги Су И вдруг вернул его.

— Знаешь что, — решительно сказал секретарь, — пожалуй, я плохо тебе посоветовал. Ты прав! Продавай! Продавай все, не пропадем!

Су И хитро улыбнулся изумленному управляющему и подбадривающе похлопал его по плечу.

2

Эмадэндэн возвращался, торжествуя. Едва переступив порог дома, он выпроводил на двор жен и слуг, а затем поспешно, лихорадочными движениями вытащил откуда-то из-под одежды связку ключей и открыл дверь своей комнаты. Здесь царил полный мрак, но он не стал зажигать огня. В темноте он отпер окованный жестью старинный сундук, где был спрятан ящик-сейф. Привычным движением, нащупав отверстие в замке сейфа, Эмадэндэн вставил и повернул ключ. Крышка сейфа тотчас поддалась, и серебряные юани замерцали в темноте, отражая скупые лучи света, пробивавшиеся сквозь узкую щель неплотно прикрытой двери. На этот раз Эмадэндэну было некогда наслаждаться слабым мерцанием и мелодичным позвякиванием юаней. Эмадэндэн торопился. Только проводив нескольких всадников, помчавшихся во весь опор по дороге к торговой компании, он вернулся к себе и приказал подать вина. С улыбкой человека, которому выпала большая удача, Эмадэндэн взял в руки принесенный кувшин.

Итак, отныне все желающие купить соль и чай будут вынуждены обращаться к Эмадэндэну. Пусть государственная компания торгует электрическими фонариками! А он по «сходной цене» будет продавать первосортный чай, первосортную соль. Конечно, не так дешево, как компания... Но если больше негде купить — заплатишь и втридорога! Он торжествующе засмеялся, потирая руки. Нашли кого поставить во главе государственной компании! Мальчишка какой-то. Эмадэндэну ничего не стоило уговорить его...

Однако ни вчера, ни сегодня покупатели чая и соли почему-то не пришли к Эмадэндэну. И только к вечеру Эмадэндэн узнал, что компания по-прежнему в неограниченном количестве торгует этими продуктами. Но он не знал, что Су И, так неожиданно после продажи Эмадэндэну всего наличного запаса чая и соли переменивший свое суждение о розничной и оптовой торговле, не ограничился обыкновенной телеграммой с требованием срочной доставки новой партии этих товаров. Нет, далекой водой, как говорят, не напьешься, а полки компании не должны были пустовать ни одного часа. И поэтому, одновременно с телеграммой в управление, работники компании, вооружившись личными письмами Су И, помчались во все строительные и дорожные части, расположенные поблизости. В этих письмах секретарь Су И просил одолжить ему на несколько дней все наличные запасы чая и соли. А у кого достало бы духу отказать в личной просьбе Су И? Той же ночью продукты были доставлены в Гэнду, и наутро огромное объявление снова доводило до сведения покупателей, что соль и чай отпускаются в неограниченном количестве.

Четки прыгали в руках неистующего Эмадэндэна. В первую минуту он кинулся было к сейфу, готовый снова закупать и закупать... Но рисковать, так рисковать ему еще не приходилось. Для чего закупать, если резервы компании неиссякаемы? И как быть с уже сделанными запасами? Удастся ли вообще продать их? Мысли Эмадэндэна обратились к Чакэдоцзи. Пусть Чакэдоцзи заберет товары в горы. Там нет торговых компаний. Там, только там удастся разделаться с этими продуктами.

Он направился на половину Цыдуньичжэн, надеясь отыскать там сянцзы. Но дверь оказалась запертой, хотя в комнатах горел свет и оттуда доносились громкие голоса. Эмадэндэн не решился быть назойливым и, видя, что на стук никто не откликается, решил терпеливо ждать.

Чакэдоцзи давно перестал быть для Цыдуньичжэн «гостем» в обычном смысле этого слова. И все-таки его неизменно встречали здесь согласно этикету, установленному для дочерей знатного нибы при посещении мужчин, не состоящих в семейном родстве. Но сегодня на половине Цыдуньичжэн бушевала гроза.

С порога Чакэдоцзи услышал разъяренный крик:

— Кто разрешил тебе приходить сюда? Убирайся!

Сянцзы попятился, ничего не понимая.

— Ты что, не слышишь? — вопила, между тем, хозяйка.— Я приказываю тебе убираться отсюда!

— Да в чем дело? Я что-нибудь не так... — окончательно растерялся Чакэдоцзи.

— Нечего притворяться! Отлично все понимаешь! Уходи!

Но сегодня Чакэдоцзи действительно не чувствовал за собой вины.

— Да скажи же, наконец, в чем дело?

— Сказать? Хорошо. — И она показала на лес, темневший невдалеке, за домом Эмадэндэна. — Был ты сегодня в лесу или нет? Говори!

— В лесу? Был. Вернее, проходил лесом.

— Проходил? — передразнила Цыдуньичжэн. — И с кем же ты там проходил? — Чакэдоцзи удивленно поднял брови.

— Что-то не помню...

— Ах, не помнишь? — снова закричала Цыдуньичжэн. — Может быть, ты не встречался там с юбкой?

Да, об этом Чакэдоцзи не подумал. А между тем Цыдуньичжэн, проскучавшая весь день на крыше, случайно увидела его, когда он приближался к лесу, откуда навстречу ему вышла женщина. Они остановились в тени деревьев и, судя по жестикуляции, торопливо обсуждали что-то очень серьезное. Затем Чакэдоцзи пошел дальше, а женщина вернулась обратно; когда она поравнялась с домом Эмадэндэна, Цыдуньичжэн узнала в ней ту самую женщину из компании конокрадов, чудом спасшуюся в прошлом месяце...

Чакэдоцзи мысленно выругался. Вот не повезло! Встречи с Чжумой следовало во что бы то ни стало сохранить в тайне. И прежде всего надо успокоить ревность Цыдуньичжэн.

— Ну, как тебе не стыдно ревновать к каждой чумичке? — неискренне рассмеялся он. — Верно, встретил я в лесу эту девицу, поинтересовался, что она делает. А она, оказывается, на агростанцию пристроилась. Ей там нору вырыли. Нет, серьезно! Отвели старую землянку. Она там прачкой у них работает. Говорит, ни разу не ела досыта, бедняжка...

— Бедняжка? — ехидно переспросила Цыдуньичжэн. — Ну, так пожалей ее, добрый сянцзы!

— Брось ты! Я вообще безжалостен... — пошутил Чакэдоцзи и, многозначительно усмехнувшись, взял Цыдуньичжэн за подбородок.

Но она не хотела ни шуток, ни примирения. Ненавидящими глазами взглянув на сянцзы, она резко отбросила его руку и снова закричала, стараясь не расплакаться:

— Уйди! Не смей на меня смотреть. Иди, догони ее, эту воровку...

Чакэдоцзи испугался. Не хватало, чтоб его имя действительно связали с именем Чжумы! Надо принимать срочные меры...

— Не кричи,—в голосе его вдруг явственно прозвучали угрожающие нотки.— Я ведь и в самом деле могу уйти.

Цыдуньичжэн на мгновение почувствовала неприятный холодок в пальцах, но, избалованная и капризная, она совсем не умела сдерживаться. К тому же ей уже давно не нравилась эта «прачка». Слишком жадно смотрели на нее мужчины, слишком красивой выглядела она даже в своем рубище. И мало того, что ускользнула от расправы, а теперь еще и поселилась здесь. Для чего? Для кого?

Ох, неспроста останавливался сегодня с этой девкой Чакэдоцзи. Цыдуньичжэн хорошо знала, к чему сводятся его разговоры с женщинами...

А Эмадэндэн все ждал и ждал. Наконец, слыша, что шум не прекращается, он постучал еще раз, сильнее. Чакэдоцзи распахнул дверь и тотчас же, вытолкнутый Цыдуньичжэн, вылетел и угодил прямо в объятия Эмадэндэна.

Тяжело дыша, сянцзы спросил:

— Меня кто-нибудь ищет?

— Да, понимаешь, это я, — Эмадэндэн присел на тахту. — Все с этими товарами из компании...

— Вечно ты какую-нибудь ерунду придумаешь! — Чакэдоцзи подкрепил свое замечание отборным ругательством. — Ну, для чего было делать эти запасы? Не знаешь разве: по такой дороге они сюда навезут чего хочешь и сколько хочешь. А ты скупай, скупай у них побольше! — с издевкой продолжал он. — Посмотрим, надолго ли хватит твоих юаней!

Эмадэндэн и не пытался оправдываться. Он виновато махнул рукой и начал торопливо говорить о своих надеждах на караван Чакэдоцзи. Чакэдоцзи, казалось, слушал кое-как и, вволю поиздевавшись над глупой жадностью старика, дал, наконец, обещание половину запасов чая и соли захватить в горы.

3

Утренняя молитва кончилась раньше обычного. Воплощенный Будда Сяса получил приглашение принять участие в торжествах по случаю открытия шоссейной дороги в Гэнде; и хотя сам он по состоянию здоровья присутствовать на празднике не собирался, но ламам приказал подготовиться к традиционному представлению. Каждый тибетский праздник отмечался такими представлениями на площади за храмом, и продолжались они несколько дней подряд. Сюда собирались не только жители из окрестностей. Скотоводы с дальних пастбищ совершали настоящие путешествия, чтобы посмотреть и послушать эти знаменитые представления лам из Гэнды.

Су И приехал навестить больного. Сяса принял его в большом молитвенном зале, церемонно взял подарки и, после взаимных расспросов о здоровье, пригласил гостя присесть. Выразив бесконечное сожаление по поводу своего недомогания, не позволяющего ему участвовать в знаменательном событии, Сяса слушал теперь вежливые слова сожаления и участия: очень, очень печально, что Воплощенный Будда не сможет лично почтить торжества своим присутствием. Гость напомнил, что нельзя запускать болезнь и что надо внимательно относиться к своему здоровью, а затем пообещал вскоре снова навестить хозяина. Тогда он подробно расскажет, как прошел праздник, и привезет памятные фотографии.

Сяса внезапно вспомнил, что числится директором школы — так это, кажется, называется? — и что по просьбе правительства цзуна он сам выделил для школы преподавателя тибетского языка.

— Как вам нравится этот лама? Подходит он для роли учителя?

— У нас впечатление, что это человек знающий. Вот если бы он мог еще отказаться от воспитания с помощью рукоприкладства... — Су И добродушно улыбался.

— Как можно отказаться? — Воплощенный Будда снизошел до объяснений: — Читать и писать можно научиться не вдруг. Из детей приходится сначала изгонять лень... Приходится!

Су И вынул из кармана свернутые в трубочку листы бумаги и протянул их хозяину. Это были упражнения по чистописанию и рисунки учеников школы. Линь Юань сама хотела продемонстрировать ламе успехи детей, но кто-то вовремя напомнил, что женщина не вправе переступить порог храма.

Сяса внимательно разглядывал свитки, подолгу останавливаясь то на каком-нибудь рисунке, то на упражнениях по чистописанию. Откладывал и брался за следующий. Потом вдруг снова возвращался к какому-нибудь, уже просмотренному, и снова долго изучал его, недоверчиво покачивая головой.

— Это работы учеников, вы говорите?

— Да, это работы учеников.

Сяса надел очки и снова взялся за листки. Он был поражен и теперь уже даже не пытался скрывать своего интереса к увиденному. Он помнил несколько поколений лам, выучившихся здесь в храме. Их учили не только каноническим текстам, зазубриваемым наизусть. Нет! Детей учили и письму. Но все это требовало времени. Через год они обычно уже читали, но никто не овладевал через год письмом. Никто, даже самые старательные. Разве в этой светской школе особые методы? Сяса решил при первой же возможности побывать в школе.

— Где вы устроили школу? — спросил он, отложив, наконец, работы в сторону.

— Там, где была стоянка Чжао Эр-фына.

— Помнится, от стоянки этой сохранились одни развалины?

— Мы построили новый дом.

— Новый? Кто же дал деньги?

— Правительство отпустило деньги.

— А... — Сяса снял очки, внимательнее прежнего посмотрел на Су И и снова потянулся к ученическим свиткам.

Подождав минуту, Су И перевел разговор на завтрашнее празднество. Не случится ли так, что на празднике вообще не будет лам? Это, конечно, очень неблагоприятно сказалось бы на настроении тибетцев.

— Все подготовлено, — успокоил Сяса. — Я давно распорядился.

— Кажется, будет представление? Там тоже... все в порядке? Репетировали?

— Как вы говорите? Репетировали? — Сяса улыбнулся. — Это лишнее. Они на всю жизнь выучили. Им надо только сказать: «Отсюда и досюда»...

— А что за представление состоится завтра?—поинтересовался Су И.

— Вот... — Сяса взял со столика старинную книгу, бережно перевернул несколько страниц и, невольно оживляясь, протянул ее гостю. — Вот эта старинная пьеса. Ее нелегко играть. Многие знают пьесу наизусть и уж, конечно, вы не найдете тибетца, по крайней мере не слышавшего о ней. Она собирает самое большое число зрителей. Правда, немного длинновата, но можно выбрать самые главные сцены.

Су И рассматривал текст; пьеса была написана на древне-тибетском языке, и он ничего не понимал. Сяса с удовольствием начал рассказывать.

— Очень давно, трудно даже теперь сказать, сколько лет назад, правил в Тибете князь Сунцзаньганьбу. Свое правление он начал с вещей необычных — послал дары китайскому императору и получил ответные подарки. А потом женился на дочери великого богдыхана. Вот о нем и рассказывает это предание... В столицу Небесной Империи был послан княжеский посол по имени Луцзунцзань, повезший императору и его дочери свадебные подарки. Но случилось так, что Суньцзаньганьбу оказался далеко не единственным претендентом на руку китайской принцессы. При дворе императора собрались со всех концов земли послы многих царствующих дворов. Богдыхан оказался в затруднении, разрешить которое решили с помощью жемчужного зернышка. Жемчужина была с извилистой, как лабиринт, червоточиной. Сквозь эту червоточину и предложили послам продеть шелковую нить: пусть восторжествует победитель! И восторжествовал посол тибетского князя. Луцзунцзань привязал шел-

ковинку к ножке муравья, пустил его в червоточину, после чего поднес жемчужину к губам, дунул, и муравей прошел сквозь отверстие, волоча за собой нить, связавшую братскими узами два царствующих дома.

Су И слыхал эту легенду, хотя в изложении старого Сясы она несколько отличалась от того варианта, какой читал когда-то Су И.

Он поблагодарил хозяина и стал прощаться.

Визит гостя взбудоражил Сясу. Давно уже не было ему так интересно разговаривать с кем-нибудь. Следовало забыть об этом посещении, успокоиться, сосредоточиться совсем на другом, предаться молитве. Но Сяса не стал молиться. Он позвал служку, велел привести эконома.

— Ты возьмешь пять фынов серебром... Нет, девять фынов, — начал он, не обращая внимания на пылающие гневом, как после сильной ссоры, лицо эконома. — Ты возьмешь девять фынов и отвезешь их от моего имени правительству цзуна. Эти деньги, скажешь ты, Воплощенный Будда жертвует на школу в Гэнде. Иди!

Приказание было крайне неожиданным. Эконом поспешно вышел, не понимая, какое отношение к Воплощенному Будде может иметь школа и для чего понадобилось жертвовать на нее такие деньги. А главное, теперь — школа, утром — чай и соль... Немыслимо!

— Вы говорили, что надо закупить чай и соль? — тихо спросил эконом, внезапно возвратившийся почти от самой двери.

— Нет! Я не давал таких распоряжений, — Сяса быстро отвернулся, давая понять, что хочет остаться один.

Эконом чуть не задохнулся от возмущения.

А случилось вот что: еще утром Эмадэндэн приходил к Воплощенному Будде справиться о его здоровье. Перед уходом, как бы между прочим, сообщил, что сейчас было бы выгодно закупить чай и соль — так и сказал: надо воспользоваться пока еще низкими ценами и закупить побольше чая и соли. Прекрасно зная, что Воплощенный Будда никогда не занимается хозяйственными делами, он все-таки заговорил об этом. Сяса вежливо, но холодно отослал его к эконому. Эмадэндэн вышел и, отыскав эконома, озабоченно передал повеление Сясы закупить побольше чая и соли. Побольше и поскорее — время не ждет! Воплощенный Будда, по словам Эмадэндэна, велел передать деньги ему, нибе. А он уж постарается услужить храму и тотчас пошлет людей за товарами. Удивленный эконом стал возражать против закупки таких запасов, уверяя, что чая и соли в храме хватит на десять лет. Но нибе упрекнул его в непослушании Воплощенному Будде, и деньги были выданы. А теперь, оказывается, что все это жульничество Эмадэндэна. И, послав человека с серебром для передачи правительству цзуна, разгневанный эконом бросился искать нибу Эмадэндэна.

4

Пора было просыпаться — утреннее солнце сквозь тяжелые суконные портьеры пробивалось в спальню Гэсанламы. «Надо вставать!» Вот именно вставать, а не просыпаться — она так и не сомкнула глаз всю ночь. Гэсанлама протянула руку, нащупала на столике бумагу, присланную вчера, поднесла ее поближе к свету. Она уже знала наизусть пять строчек, написанных на этом небольшом листке:

«Глава цзуна приглашается на торжественную церемонию открытия движения по шоссейной дороге на участке Гэнды, имеющую быть завтра в десять часов утра.

Просим почтить церемонию своим присутствием точно в установленное время».

Дальше шла программа праздника.

Су И не мог пригласить Гэсанламу лично, так, как он приглашал, например, Сясу и все местное духовенство. Гэсанламе, как главе цзуна, было послано особое письменное приглашение. Что ж делать? Должна ли она, действительно, явиться в точно установленный срок? Она понимала, что на этой церемонии обязана сохранять спокойное достоинство уверенной и невозмутимой главы цзуна. А это было совсем непривычным для нее делом. Она никогда еще не появлялась на людях в качестве главы цзуна. Даже в день создания правительства цзуна, возглавлять которое она имела высокую честь, она оставалась в своей личной резиденции.

Собственно, принимая на себя обязанности главы цзуна, она настолько растерялась, что сразу передала всю фактическую власть в руки крупнейших землевладельцев. Они — нибы и духовенство — отнеслись к этому правительству по-разному: кое-кто с явным одобрением, большинство — более чем сдержанно.

— Китайцы в Гэнде долго не задержатся, — уверяли они. — Пришли и уйдут. Китайцы уже и раньше заглядывали в Тибет, но корней так и не пустили...

Среди различных доводов самым убедительным Гэсанламе показался следующий: китайцев пришло много, а продовольствия навсегда с собой не захватишь. Что же они будут есть, когда запасы истощатся? У тибетцев нет зерна, чтобы кормить чужих. Проголодаются и поймут,— здесь не приживешься, надо уходить.

А получилось все совсем не так, как предполагали ее наивные советчики. Гэнду наводнили люди. С некоторых пор Гэсанлама с крыши своего дома следила за каждым их шагом. Чаба и девушки с пастбищ работали вместе с этими людьми, пели с ними песни, смеялись. А потом вся эта неспокойная, напоминавшая потревоженный муравейник, толпа исчезла, и вместо нее осталась дорога, прямая, словно прочерченная, широкая, невиданная в этих местах дорога! По дороге помчались караваны груженых машин и на них снова люди, люди...

Тогда, сидя на крыше своего дома, Гэсанлама невольно задумалась обо всех переменах и о новой жизни, которая началась в Тибете, но не проникла только в собственный дом родоправительницы. А между тем, ни одного шага, даже самого маленького, эти люди не делали здесь, не посоветовавшись предварительно с ней, с главой цзуна. Случалось, они меняли решения после того, как она делала свои замечания. Ее поразила простая мысль: здесь, в этой гостиной, она собственной рукой скрепляла все перемены, происходящие в Гэнде. Здесь, в этой гостиной... Значит, затворничество ни к чему не привело? Значит, уйти от жизни все равно не удалось, и все это замкнутое существование, вся эта отрешенность от человеческих интересов, все отшельничество — одна лишь видимость? Но тогда...

Гэсанлама поднялась с постели, подошла к шкафу, не спеша, раздумывая, открыла дверцы, за которыми висели ее наряды. Она выбрала длинный шелковый халат, сшитый за два дня до свадьбы, и, скинув ночную сорочку, надела его. Халат плотно облегал фигуру, но выцвел и поблек... Она снова подошла к шкафу, вынула другой, зеленый. Этот купили в год смерти Сянцзэгунбу... Да, в тот самый год. Гэсанлама отодвинула его подальше, в глубь шкафа. Она перебрала весь свой гардероб, все наряды, сшитые когда-то, чтобы подчеркнуть красоту, величие и богатство жены могущественного родоправителя. Одевшись, она подсела к туалетному столику. Привычными, хотя ни разу не повторенными за многие годы, движениями убрала волосы и, уже готовая к выходу, снова подошла к зеркалу. Стекло отразило совсем еще молодую и очень привлекательную женщину.

— Вас спрашивают, госпожа. Просили передать, что привезли жалова... — служанка застыла у порога, пораженная внешним видом Гэсан-

ламы. — Вы собираетесь... уезжать, госпожа?

Гэсанлама вздрогнула от этого голоса, полного изумленной радости. Кивнула:

— Иди. Вели приготовить лошадей.

Служанка оставила мешочек с деньгами, и все еще улыбаясь, побежала вниз.

5

День праздника, прошедший под звук гудящих моторов, в облаках дорожной пыли, в обрамлении флагов, цветов и песен, оказался чрезвычайно утомительным для Су И. Он выступал на торжественном собрании, потом несколько часов просидел на представлении, по-настоящему захватившем его, а затем председательствовал на банкете в честь строителей. Произносились здравицы за тех, кто руководил дорожниками, за главу цзуна Гэсанламу, за самого Су И. Он смертельно устал и мечтал только об одном: выспаться! Но уже собираясь ложиться, взглянул на календарь и вспомнил: сегодня день рождения дочери. Он вызвал курьера.

— Сейчас позвать? — удивился тот.

— Сейчас.

Су И выдвинул ящик стола и стал выкладывать подарки: коробку конфет, печенье, вышитый шелковый платочек.

Вбежала испуганная, запыхавшаяся Линь Юань.

— Забыла? Эх, ты... — Су И показал на календарь и, укоризненно улыбаясь, посмотрел на дочь.

— А действительно из головы вылетело,— Линь Юань с облегчением вздохнула: подумаешь, день рождения!

— Садись! — Су И подвинул ей стул. — Садись, дочка.

Только теперь Линь Юань посмотрела на стол. И сразу помрачнела. Отвела глаза, стала серьезной.

Так отмечала Линь И-нань день рождения дочери — на большее у нее не было средств. И в память покойной жены Су И ежегодно дарил Линь Юань печенье, конфеты и шелковый платочек. Сегодня он вовсе не старался оживить эти воспоминания. Ему просто хотелось побыть с дочерью. Молча посидеть. Почувствовать, что она с ним и никогда его не покинет. Увидев, однако, как дочь огорчена нахлынувшими воспоминаниями о детстве, Су И постарался отвлечь ее и заговорил о только что закончившемся празднике. Но разговора не получилось. Линь Юань молчала, пока он не упомянул в связи с чем-то школу.

— А с посещаемостью по-прежнему туго?

— Да нет, что ты! Последние дни даже тесно стало. Меня теперь совсем другое беспокоит: некоторые родители мудрят со стипендией — одни копят эти деньги, другие тратят их на хозяйство, а ученикам ничего не достается.

— Ну, и что ты надумала? — поинтересовался Су И.

— Да вот, предложила у нас на комитете стипендию на руки не давать, а купить, скажем, материал, вату и сшить детям теплую одежду. Ведь на некоторых смотреть страшно — одни лохмотья. Зима наступит, а им в школу ходить не в чем. И хотим мы еще устроить для них в школе двухразовое питание: утром и вечером. Подольше вместе будут, разве это плохо?

— Да, да. А с родителями вы беседовали на этот счет?

— Беседовали. Некоторые одобряют. Кое-кто против.

— А почему?

— Я сама, наверно, виновата. На родительском совещании довольно путано объяснила, что такое стипендии. В общем, они решили, что

раз дочь или сын ходит в школу, то правительство должно родителям за это платить. И теперь возражают против школьной столовой. Дома, говорят, есть расходы поважнее!

Су И покачал головой.

— Да, придется теперь объяснять, что это «жалование» детям, а не родителям. А откуда же вы думаете взять средства на содержание повара? Из тех же стипендий?

— Зачем? Пока я сама справлюсь, я уже и передник себе сшила,— улыбнулась она.— Пусть агростанция закупит для нас топленого масла, дзамбы. Котел надо купить и посуду...

Су И опять покачал головой.

— Много на себя берешь, дочка, можешь надорваться.

Линь Юань молчала, будто и не слышала слов отца.

— Папа, — через некоторое время начала она как-то нерешительно, изменившимся голосом.— У меня к тебе просьба. Если хочешь, это даже не совсем просьба. Скорее, просто мои соображения...

— Да? — спросил Су И настороженно.

Тревога вдруг охватила его.

У Линь Юань мелькнула мысль: не отложить ли еще раз давно задуманный серьезный разговор с отцом? Но свойственное молодости нетерпение мучило ее.

— Папа,— повторила она,— сегодня мне исполнилось двадцать лет, а ты все еще считаешь меня ребенком, все еще держишь меня при себе. Мне кажется... это неправильно и даже... эгоистично с твоей стороны!

Провожая Су И в Тибет, друзья убеждали его оставить дочь в Китае, не брать ее с собой. Он понимал, что в ее возрасте самое главное — учиться. И, конечно, она вполне могла остаться в Китае без него. Но он все-таки забрал ее. Увез с собой. Не смог побороть себя.

— Ты хочешь сказать, что тебе надоело здесь, со мной? — Су И произнес эти слова голосом, не знакомым Линь Юань,— дрогнувшим от обиды и тихим.

Ей стало жаль отца, но она решила не сдаваться.

— Не могу же я всегда быть с тобой. Подумай, папа! Ну, что из меня получится?

— И куда же ты собралась? Далеко?

— Хочу поступить в институт.

— В какой? — Су И старался не смотреть дочери в лицо.

— Педагогический.

Наступила тишина. Линь Юань, опустив голову, комкала шелковый платочек, подаренный сегодня отцом. Су И сидел строгий, сосредоточенный, с полузакрытыми глазами.

— Как ты непостоянна в своих стремлениях, Линь Юань,— тихо проговорил он наконец.— Мечтала о балетной студии, а потом всей душой стремилась в метеорологическую школу. А теперь... проработав так недолго в школе, хочешь...

— Нет! Нет! И нет! — горячо запротестовала Линь Юань, перебивая отца.— Все это было просто увлечением. Балет и метеорология... А теперь я нашла свое призвание. Не увлечение, а настоящее призвание. Понимаешь, мне кажется... я уверена, что из меня выйдет очень неплохой педагог!

— И все-таки не надо спешить. Не торопись, Линь Юань. Разберись как следует. Ведь определить истинное призвание — дело нелегкое.

— Сколько же можно думать?! Ведь я не сразу тебе все это сказала. Я столько уже передумала и со столькими уже советовалась.

— А ты подумала, что оставляешь здесь? — Су И строго посмотрел

на дочь.— И как это можно вдруг оставить... не метеопункт, нет, а школу. Дети только начинают привыкать к тебе...

— Я и не собираюсь уезжать немедленно. Я понимаю, что сразу этого сделать нельзя...

Отец с облегчением откинулся на спинку стула.

— Ну вот, и подумаем не спеша обо всем!

— Что значит «не спеша»? — тотчас вспыхнула Линь Юань. — Надо срочно искать человека на мое место. Так, не спеша, я могу просидеть здесь годы!

Су И встал, прошелся по комнате. Категорический тон дочери, ее волнение, ее упорство — свидетелем всего этого он стал впервые. Последние слова Линь Юань, тон, каким они были сказаны, заставили Су И вздрогнуть.

— Ты говоришь все это мне, как отцу?

— Нет! Как секретарю.

— Хорошо! Я займусь твоими делами.

6

— Вот, видите, молодежь решила заготовить овощи для ваших строителей. Знакомьтесь, пожалуйста, товарищи. Это — инженер Ван из штаба дорожников.— Цзы-хуан представил гостя.— А это — наша молодежь!

Инженер кивнул, протянув руку сначала Лэю, потом Ни, и застенчиво улыбнулся.

— Ну, если говорить о дорогах, то меня действительно называют инженером. Но в ирригации... А все-таки попробуем,— серьезно закончил он.

Разговор о строительстве плотины на этот раз возник по инициативе Цзы-хуана. Лэй поставил вопрос перед партийным комитетом, как он и обещал после их горячего спора. Вовсе не считая свою докладную жалобой, он, однако, надеялся, что «наверху» поддержат именно его, но «наверху» не поддержали. Во-первых, сказали ему, идея не разработана с технической точки зрения; во-вторых, если бы даже идея была приемлемой, нельзя вести строительство без инженерного проекта; в-третьих, нет рабочих рук: местное население занято на полях, а других источников рабочей силы просто нет.

Цзы-хуану эта «победа» не доставила никакой радости. Наоборот, спор у реки оставил самый тяжелый осадок. Впервые он взглянул на дело как бы со стороны и сам себе очень не понравился. «Вот моя логика,— ругал он себя. — Человек несет мне свой труд, волнуется, а я накладываю бездушную резолюцию «Отложить!» и затем от него все время отмахиваюсь: «После, после поговорим». Что же, выходит, я и в самом деле, словно камень преткновения для агростанции?»

К этим размышлениям многое добавил разговор с Су И.

— У тебя есть авторитет, необходимый каждому руководителю, — сказал ему секретарь, — но чего-то, не менее важного, у тебя, старина, маловато! Мечты не хватает в твоей работе, страсти. Конечно, с заданием ты справляешься, этого я отрицать не могу. Но ты никогда не выходил за рамки своих прямых обязанностей! Вспомни, вложил ли ты в дело хоть что-нибудь свое, такое, чего от тебя ни бюро, ни начальство не требовали?

На празднике открытия дороги, уже после банкета, Цзы-хуан отвел в сторонку одного из руководителей дорожного строительства. Ему пришла в голову мысль о том, что, закончив дорогу в Гэнде, дорожники поневоле останутся здесь еще на некоторое время: дальше местность

гористая, и, значит, придется ремонтировать машинный парк. Не смогут ли они,— думал Цзы-хуан,— выделить на это время хоть какую-то группу людей для строительства дамбы? Времени, правда, будет очень мало и вывести дамбу, конечно, не успеют. Но, во-первых, инженеры могут составить технически грамотный проект. А во-вторых, с помощью машин можно вырыть котлован...

Мысль Цзы-хуана понравилась и комитету, и дорожникам. Было решено: если осмотр местности даст благоприятные результаты,— сразу же начать работы.

Лэй, наконец сообразив, кто этот инженер и зачем он сюда приехал, бросился к нему и еще раз крепко пожал руку.

— Спасибо тебе! — Он повернулся к Цзы-хуану.— Спасибо!

«Пожалуй, это я должен тебя благодарить»,— подумал начальник станции, посмотрев сначала на Лэя, а затем на Ни.

— А вообще-то — лишь бы построить дамбу!

С реки Лэй возвращался в самом радужном настроении. Осмотр местности подтвердил правоту Ни, и его собственные наметки тоже были одобрены. Лэй шел, чувствуя себя влюбленным в весь мир.

— Как вам наш начальник понравился? — Лэй повернулся к инженеру.

Тот слегка улыбнулся:

— Но я и пяти минут не говорил с ним.

— Разве? — Лэю необходимо было высказаться.— Хочу вас предупредить: весь этот его холодок к людям, к делу — только кажущееся, внешнее. А на самом деле он у нас, как чайник с кипятком,— и, торопясь пояснить свою мысль инженеру, явно потрясенному таким сравнением, добавил: — Вот именно, знаете, сверху гладкий, холодный, а внутри — все так и кипит...

Глава седьмая

1

Медлить с севом озимых нельзя было ни одного дня. В небе висели тяжелые тучи, готовые вот-вот разразиться долгим осенним дождем. Два поля ждали озими, и чтобы закончить сев хотя бы к середине октября, надо было начинать его немедленно. Но люди устали, и начальник агростанции решил дать им выходной день. Погода выдалась действительно праздничная, ясный солнечный день, и очень подходящий для того, чтобы искупаться... Но купаться так никто и не пошел. По предложению Ни созвали комсомольскую летучку, и день отдыха было решено превратить в рабочий день, чтобы успеть внести удобрения; тогда сев озимых можно начать первого октября, в день великого праздника. Это и будет трудовым подарком молодежи. В поле, однако, вышла не только молодежь.

Собственно, тучная земля Гэнды дала бы отличный урожай и без всяких удобрений, но речь шла о первом урожае, и здесь следовало действовать наверняка. К тому же агротехник хотел доказать горцам пользу удобрений. Правда, вносить их вручную — дело очень трудоемкое, и горцы в знак благодарности старались помогать агростанции как могли. Каждое утро являлись они со своими корзинками на поле и очень обиделись, когда им хотели заплатить за работу: платят тому, кого

считают человеком чужим, чью помощь просто так, по-дружески, принять нельзя.

Пришли горцы и сегодня — целая группа юношей и девушек, во главе с Цючжи. Вчера им сказали, что нынче работы не будет, но они со своих крыш увидели, как молодежь агростанции шла в поле.

— Ну, вы-то зачем явились? — Ни замахала руками.— Ведь я же говорила, что сегодня не надо...

— Почему же не надо?

— Сегодня выходной. Обычный выходной. Только поэтому.

— Выходной?! — девушки зашептались, нерешительно поглядывая на Ни.

Наконец, самая младшая из них, прятавшаяся за спиной подруг, спросила, покраснев от своей смелости: «А кто такой этот выходной? Почему он не велел нам приходить?»

Ни метнула строгий взгляд на дружно захохотавших комсомольцев.

— Выходной — не человек. Это просто день отдыха. Каждый седьмой день люди отдыхают. Понятно?

— В этот день не делают никакой работы,— подхватила Линь Юань.— Седьмой день все проводят как кто хочет. Можно весь день отдыхать, развлекаться. Понимаете?

Тибетцы согласно кивали, но чувствовалось, однако, что они ничего не поняли. В самом деле, почему именно седьмой день, а не восьмой, не десятый?

— Но вы все-таки не отправляйте нас назад, — перебивая друг друга, заговорили тибетцы и окружили Ни.— Если вы не боитесь работать, то и мы — тоже.

— А чего тут вообще бояться? — Ни сообразила, что тибетцы поняли все это как-то по-своему.— Выходной вовсе не страшный день, наоборот...

— Начальник станции сказал, чтобы сегодня все отдыхали,— вставил Е Хай,— но мы сами захотели поработать.

— Так ведь мы тоже сами хотим! Мы сами...

Видя, что горцы не уйдут, Ни быстро перестроила свой «отряд»; надо было расставить людей так, чтобы комсомольцы с агростанции чередовались с тибетской молодежью. Комсомольцы, кстати говоря, должны были следить и за тем, чтобы тибетцы не срывали с себя марлевых повязок. Из марли, полученной с медпункта, были сделаны несколько дней назад повязки специально для тех, кто занимается внесением удобрений. Но кое-кто из тибетцев предпочитал держать повязки в кармане — марля была такая чистая, что пачкать ее на работе казалось немыслимым...

Чжу, разделавшись с отчетом о расходе горюче-смазочных материалов, тоже отправился в поле. Он разыскал Е Хая, возившегося у самой большой корзины. Цючжи наполняла корзину навозом, Е Хай и Чжу разбрасывали удобрения по своему участку. После первого рейса с корзиной они разделись, сняли форменные, оставшиеся после демобилизации гимнастерки и обувь. День прошел в работе.

Под вечер, закончив все и одеваясь, они с удивлением обнаружили, что шнурки от их ботинок исчезли. Поиски и расспросы ни к чему не привели — никто шнурков не видел.

— Их вон обыщите,— смеясь, посоветовал кто-то из тибетских парней, показывая на столпившихся невдалеке девушек.— У них шнурки — дело ясное.

Он сейчас же был вынужден броситься наутек под градом пущенных в него комков земли. Девушки, однако, действительно сердились,

словно их обвинили не в шутку, а всерьез. И в этот момент появилась Цючжи.

Густо покраснев под многозначительным взглядом всей компании, она направилась прямо к трактористам.

— Что, шнурки ищете? Вот у меня есть, берите! — Приподняв передник, она сняла со своих сапожек завязки и протянула их трактористам. Чжу и Е Хай смотрели на эти оранжево-желтые завязки, не смея шевельнуть руками — ни один, ни другой.

— Чего задумались, берите скорей! — зашумели, заулыбались вокруг девушки.— Берите да завязывайте поскорее, пока Цючжи не раздумала... Жалеть не будете.— Подталкиваемые девушками, трактористы смущенно взяли яркие шнурки и, не поднимая глаз, принялись вдевать их в свои башмаки. Краем уха и они кое-что уже слышали о местном обычае меняться шнурками...

2

Ни с озабоченным видом ходила из угла в угол в маленькой землянке метеопункта. Иногда она внезапно останавливалась, хмурилась, решительно брала кисть для письма, но через секунду откладывала ее, испытывая недовольство собою. Ни хотелось учесть все. Хотелось, чтобы ее докладная записка была составлена образцово. А получилась длинная бумага — прямо доклад по обследованию посевных площадей, пастбищ и так далее. Ни пыталась даже предусмотреть переход скотоводов к оседлому образу жизни.

Она была так захвачена своими мыслями, что не заметила, как в комнату вошла Цючжи. Только потянувшись к бумаге с тушью, Ни увидела свою подружку, молча стоявшую у стола и мокрыми от слез глазами смотревшую на огонь лампы.

— Что случилось, Цючжи? — Ни отложила кисть в сторону.— Ты что?.. Обидел тебя кто-нибудь?

Цюжчи молчала. Ни подошла, взяла девушку за плечи, подняла ее голову.

— Ну-ка, посмотри на меня! — Она даже встряхнула слегка Цючжи.— Да расшевелись же, наконец! Что-нибудь случилось?

— Скажи мне, почему они...— Цючжи задрожала и, прижавшись лицом к груди Ни, заплакала навзрыд.

— Перестань же, Цючжи...— Ни гладила девушку по волосам.— Перестань плакать и расскажи толком, что у тебя произошло.

Всхлипывая, сморкаясь и поминутно снова принимаясь плакать, Цючжи начала свой печальный рассказ.

...После обеда кончили разбрасывать удобрения, и все направились к горячему источнику умываться. И хотя местная молодежь особой необходимости в этом не испытывала, многие тоже пошли, за компанию, как говорится. У ключа Цючжи скинула свой передник, чтобы Чжу и Е Хаю после купания было чем обтереться, а потом разулась сама и стала мыть ноги. Пока она купалась, все уже собрались уходить, и Цючжи попросила трактористов подождать ее. Она надела свои сапожки и вытащила те самые шнурки, которые полчаса назад никто не мог найти, а вытащив, обвязала ими голенища своих сапожек, как это делают обычно тибетские девушки. Чжу и Е Хай разом взглянули на свои «обновки». Всю дорогу они шли молча, а когда поравнялись с домом Сылавэньдуя, Цючжи, не дождавшись ни слова от трактористов, спросила их:

— Так что же, папе и маме говорить или нет? Все равно ведь, они узнают, — голос Цючжи дрожал, лицо разрумянилось, но было счастливое и очень гордое.— Я скажу, хорошо?

И тут ей показалось, что оба парня испуганно смотрят на нее. Еще не веря своим глазам, она сказала почти шутливо:

— Что, раскаиваетесь? Не хотите уже, чтобы я была вашей женой? Уже раздумали?

Но и на этот откровенный вопрос Чжу и Е Хай ничего не ответили.

Могла ли Цючжи понять, какие мысли теснились в головах у двух простых китайских парней, когда хорошая, милая Цючжи сделала им невероятное для китайцев предложение — обоим жениться на одной и той же девушке? Разве могли они знать, что это не сумасбродная выходка и, тем более,— не насмешка со стороны Цючжи, а древний, веками освященный обычай самых бедных горцев Тибета, где братья часто женятся на одной девушке, чтобы не пришлось делить между собой и без того скудное наследство...

А Цючжи, бесхитростно спросив их об этом, стояла, не смея поднять глаз.

— Ну, что же вы молчите? Скажите хоть что-нибудь...— Голос Цючжи стал тихим, последние слова она произнесла еле слышно, к горлу подступили слезы.

— Ну... что ты такое городишь, Цючжи? — начал, наконец, степенный Чжу.— Это же неслыханно,— он старался говорить мягким, но назидательным тоном, как и подобает старшему.— Давай договоримся, чтобы этого больше не было.

— Вот так,— Е Хай закивал, как всегда безоговорочно соглашаясь с Чжу.— Чтобы больше мы не слышали ничего такого...

— ...И больше они не разговаривают со мной! — говорила сквозь слезы Цючжи, прижимаясь к Ни.

3

Вечерами Чжу занимался со своим помощником изучением материально-технической части трактора. Управлять машиной Е Хай учился, так сказать, на практике, благо единственный на агростанции трактор никогда не простаивал. Но материально-техническая часть... Хотя Е Хай, по собственному признанию, был совершенно неспособен овладеть «техникой», он все же кое-чего достиг благодаря своей усидчивости, а главное, в результате упорства и талантливости преподавателя. Чжу и в самом деле знал свою машину в совершенстве. В ней попросту не нашлось бы винтика, назначение которого он не определил бы даже с закрытыми глазами. Свой опыт он умел передавать другим, так что даже неуверенный в себе Е Хай стал понемножку разбираться в двигателе трактора.

Но сегодня он ничего не понимал в том, что ему объяснял Чжу. Ровным счетом ничего. То ли речь шла о сложных вещах, то ли Чжу не находил ясных слов, но «урок» явно не удавался. И по правде говоря, Е Хаю было сегодня вовсе не до занятий, хотя весь вечер он старательно кивал головой и даже понимающе поддакивал... У него перед глазами все время стояла Цючжи, в ушах звучал ее тонкий голосок, а больше ничего он в этот вечер не слышал и не видел.

Е Хай и сам не помнил, как и когда все это началось, но о Цючжи он думал уже давно. И давно уже, куда бы он ни отправлялся, обязательно норовил пройти мимо дома Сылавэньдуя в надежде увидеть Цючжи и очень огорчался, когда не видел ее...

При всем том Е Хай был уверен, что никак не может соперничать с Чжу. Он просто не понимал, почему Цючжи сразу не выбрала Чжу. Ну что он, Е Хай, значит по сравнению с Чжу? Ровным счетом ничего. Пустышка. Наверное, Цючжи из деликатности с ними обоими поменялась шнурками.

Была уже поздняя ночь, луна кончила свою ленивую прогулку и давно ушла из окошка, а Е Хай все еще бодрствовал. Он думал о Цючжи, о себе, о Чжу и еще о том, что утром им придется работать перед «делегацией» — накануне вечером на станцию прибыла действительно целая делегация землепашцев с гор. Они пришли издалека, чтобы своими глазами увидеть «льва» и рассказать всем своим правду о волшебном чудовище, о котором среди жителей гор уже ходили самые фантастические легенды. Начальник сказал, что они привезли деньги, собранные всем селением на покупку плуга. Не зная точно, сколько плуг стоит, горцы прихватили на всякий случай в придачу несколько баранов.

...Пока трактор разогревался, Чжу и Е Хай направились к реке, за водой. Было чистое, холодное утро. По тропинке — от деревни к реке — двигались девушки с узкими и высокими ведрами. Эти ведра, связанные сыромятными ремешками, носили на спине. Ремешок обхватывал грудь, и девушки шли, немного подавшись вперед, чтобы сохранить равновесие. Привычная ноша не мешала им переговариваться между собой, и в это раннее, еще туманное утро над тропинкой порхал веселый смех. Почти у самой реки трактористы встретили Цючжи. Она быстро прошла мимо, не подымая головы.

— Слушай, Е Хай,— тихо окликнул товарища Чжу,— что же ты думаешь? Я говорю о Цючжи. Как она тебе?..

Е Хай вздрогнул — так неожиданно прозвучал для него этот вопрос, о котором он и сам думал.

— Только честно, по совести! — Чжу подтолкнул Е Хая локтем и ободряюще улыбнулся.

— Честно? Но меня это не касается...

— Не касается? Глуп ты, Е Хай, все-таки... Посмотри, посмотри на девушек, вот они все тут. Как на параде. А какая из них сравнится с дочкой Сылавэньдуя? Да будь я на твоем месте... Самостоятельный человек, сам себе хозяин на целом свете! — Он опять задорно подтолкнул Е Хая и, поймав взгляд своего помощника, торопливо докончил: — Честное слово, я в твои годы другим был. Помню, я тогда сразу сказал ей...

— Так ты?.. А где же твоя сейчас?

— Дома. У себя дома, где же еще?

— Письма присылает?

— Я писем не храню.

— А карточка у тебя есть?

— Есть.

— Дай поглядеть. Если можно, конечно...

— Отчего же? — Чжу полез в грудной карман. Из записной книжки он вынул фотографию девушки. Видно было, что она — северянка. Коротко остриженные волосы, серьезное и вместе с тем миловидное лицо смотрело на Е Хая с помятой, местами потрескавшейся карточки.

— Красива!

— Ничего,— Чжу спрятал фотокарточку.

— Идем, пора начинать... Там нас ждут.

Чжу очень хорошо знал своего помощника. Ему было известно все, что скажет Е Хай и чего он не скажет. Знал его мысли. Вот и теперь он отчетливо понимал, какое большое, прочное место в сердце Е Хая заняла Цючжи. Но так же хорошо понимал он и то, как скромен и деликатен Е Хай, как необходимо ему раз и навсегда убедиться, что, женившись на Цючжи, он не обидит Чжу. Ему хотелось помочь другу, и ради этого Чжу и выдумал всю эту историю с невестой. Фотография у Чжу была, а невесты... Нет, невесты у него не было.

...В годы антияпонской войны в одном из пограничных районов существовало коммунистическое подполье. В доме у Чжу поселилась девушка — «тетя по отцовской линии» (все знали, что близких родственников у семьи Чжу не было); она была старше Чжу всего на два года и прибыла в район с партийным поручением. Вместе с Чжу она переносила все опасности, вместе с ним делила радость в дни побед Народной армии. И в кандидаты партии Чжу вступил благодаря этой девушке. Затем он ушел в Восьмую армию. Она провожала его тогда, долго шли они вместе. И девушка в день проводов все наставляла его, как маленького. А он хотел сказать ей совсем другое, но она, может быть, и не ждала от него этих слов... Так они и расстались. Ее вскоре перевели в другой район, и только спустя два года, уже после капитуляции Японии, они нашли друг друга по объявлению в газете. Тогда многие через газеты разыскивали родственников и знакомых. Она прислала письмо и вот эту карточку. Да, письмо. Лучше бы уж не находить друг друга. Она писала, что уже месяц, как вышла замуж и очень счастлива. И письмо ее и карточку, смятые в порыве отчаяния, Чжу спрятал в нагрудный карман, стараясь не вспоминать о чувстве, которому не довелось расцвести. Зачем он берег эту карточку? Трудно сказать... Но вот она и пригодилась. Пригодилась, чтобы помочь другу. Что ж, и это — дело. Даже очень важное дело.

4

Последние два-три дня работники агростанции ощущали на себе странно-неодобрительные взгляды тибетцев. Открыто никто ни о чем не говорил, но при встречах на работе тибетцы почему-то отворачивались, а между собой обменивались нелестными замечаниями о неискренности некоторых китайцев. Разве так поступают? Обменялись с девушкой шнурками, а теперь хотят все превратить в шутку.

Но ведь каждый знает, что обмен шнурками заменяет торжественную церемонию помолвки, да и сами шнурки — не простой подарок. Шнурки вручают, чтобы все время жених и невеста помнили друг о друге. Китайцы высокомерно обращаются с тибетскими девушками — и это очень нехорошо. А главное, с кем? С Цючжи! С самой красивой девушкой во всей округе!

Положение становилось весьма серьезным, и начальник агростанции поручил комсомольской организации разобраться во всей этой истории. Ни решила лично взяться за дело. Прежде всего надо было выяснить, что думают «женихи»; тщательно обсудив с Линь Юань предстоящий разговор, Ни уже направилась к выходу из своей землянки и вдруг увидела, как из дверей напротив выходит Мяо Кан с чемоданом в руках.

Мяо Кан уезжал с агростанции. Ни знала об этом и была намерена отнестись к его отъезду с полным безразличием. Но сейчас, когда Мяо Кан предстал пред ней с чемоданом в руке, сердце ее дрогнуло, как будто все это было для нее полной неожиданностью. Ощущение пустоты и утраты овладело ею. Она бессильно прислонилась к стене.

Прошло несколько минут. Ей показалось, что она превозмогла волнение. Вдруг ей пришло в голову: надо хоть проводить его! Но что сказать на прощанье? И что он может сказать ей в ответ? В эту минуту Ни померещилось, что вся ее жизнь зависит от этих прощальных слов...

Линь Юань тоже заметила Мяо Кана. Увидев, что Ни как потерянная стоит у дверей, она с грустью спросила:

— Разве ты не идешь узнать насчет Цючжи?

— Сейчас пойду. Я подумала...— Ни, отвернувшись, нахмурилась.—

Слушай, мне очень не хочется отправляться одной. Пойдем со мной, ладно?

Линь Юань не подала вида, что понимает притворство подруги.

— Пойдем,— согласилась она,— только подожди минутку, я должна заполнить сводку погоды.

И Ни, как пригвожденная, осталась у своих дверей, не смея броситься за Мяо Каном, хотя ей больше всего хотелось сделать именно это.

Мяо Кан приложил немало усилий, чтобы расстаться с агростанцией. За недобросовестное, халатное отношение к работе на него наложили взыскания и по административной, и по комсомольской линии. Многие находили эти взыскания очень мягкими, но сам Мяо Кан придерживался другого мнения и сразу же подал начальнику станции заявление с просьбой освободить его от работы. Он больше не собирался оставаться в Тибете; он желал вернуться в Китай. В заявлении приводились очень веские причины, вроде «недостатка знаний», «нехватки опыта», а главное — «слабого здоровья»: «Больное сердце и плохое зрение не позволяют мне работать в трудных условиях, на высоте трех-четырех тысяч метров над уровнем моря»,— твердой рукой писал Мяо Кан.

Начальник станции еще не успел дочитать это пространное заявление, как к нему явился сам Мяо Кан. Цзы-хуан долго говорил с ним, то твердо, то смягчая тон. Он советовал молодому ветеринару взять заявление обратно. Но Мяо Кан упорно стоял на своем. Оставалось передать заявление секретарю комитета Су И.

Не успел еще Цзы-хуан сообщить Су И об этом, как секретарь получил такое же точно заявление. А едва он принялся за чтение — появился сам Мяо Кан.

Разговор был длинный, Су И со свойственной ему прямотой, без нажима и строгости объяснил молодому человеку всю неправильность его поведения, но это привело только к тому, что Мяо Кан подал новое заявление. Теперь он нагло обвинял администрацию цзуна, которая якобы насильно заставляет человека работать на неподходящем для него месте, в условиях, угрожающих его здоровью.

Прочитав эту кляузу Мяо Кана, секретарь комитета написал на ней крупным почерком:

«Согласен направить в управление земледелия и лесоводства на перераспределение».

Мяо Кан начал укладывать вещи. Но взявшись за ручку чемодана, он вдруг заколебался: «Значит, я все-таки уезжаю? Уезжаю в Китай?» А что же подумают товарищи по техникуму, учителя, друзья и просто знакомые? Конечно, узнают, что, не сделав ничего полезного, он вернулся из далеких мест почти как дезертир...

Впрочем, эти мысли тревожили Мяо Кана недолго. К чему сомнения? Он быстро подавил их. Надо начать все сначала! А здесь ему просто завидовали — член комитета, специалист, девочки вокруг него так и вьются. К черту! И он решительно раскрыл чемодан.

Вся агростанция в это время была на полевых работах и никто, конечно, не пришел проводить его. Но это нисколько не расстроило Мяо Кана; наоборот, ему не хотелось, чтобы кто-нибудь присутствовал при его отъезде.

Агротехник Лэй в это время проверял на складе качество семян. Через открытую дверь он увидел, что конюх пристегивает к седлу чемодан, а рядом стоит Мяо Кан, указывая на что-то рукой. Лэй передал семена заведующей складом Юэ-сян и, вытирая на ходу руки, быстро направился к Мяо Кану.

Багаж был привязан, Мяо Кан похлопал лошадь по крупу, собираясь в путь. Лэй подбежал и произнес, задыхаясь:

— Так ты действительно решил ехать, Мяо Кан?

— Уезжаю, до свидания! — крикнул Мяо Кан, протягивая Лэю руку.

— Подожди, не торопись,— Лэй сделал шаг вперед и схватил коня за уздечку.— Хочу еще раз поговорить с тобой...

— А! — Мяо Кан усмехнулся.— Разве мы уже не наговорились досыта? И, пожалуйста, не думай, что мне легко было решиться на это.

— Тогда оставайся,— Лэй взял Мяо Кана за руку.— Погоди, вот закончим сев, создадим передвижную ветеринарную станцию, нам без нее не обойтись. Вокруг десятки пастбищ, скоту постоянно грозят эпидемии, без ветеринарной станции совсем зарез. Кто же будет на ней работать? Ты-то знаешь, как здесь нужны люди.

Мяо Кан высвободил свою руку.

— Знаю, но какая вам от меня польза? Я же не справляюсь с работой!

— Справишься! — Лэй так разволновался, что почти умолял Мяо Кана: — Оставайся, дружище. Прошу тебя от имени всех скотоводов!

— Послушать тебя, так я и в самом деле нужный человек,— с усмешкой ответил Мяо Кан,— но разве с нужными людьми обращаются так, как вы обращались со мной? Ну, ладно. Давай прощаться!

Лэй отпустил уздечку. Потом вдруг, глядя прямо в глаза ветеринару, сказал:

— На прощанье принято быть вежливым. Боюсь, что у меня нет повода сказать тебе что-нибудь вежливое. Видишь ли, лично я давно хотел, чтоб ты уехал. Но ты уезжаешь с агростанции в самый трудный для нее момент. И настанет день, когда тебе будет очень стыдно вспомнить об этом.

— А я постараюсь не вспоминать! — Мяо Кан издевательски расхохотался.— Впрочем, благодарю за поучение!

Он легко взобрался в седло, потянул уздечку и, низко склонив голову, поскакал.

Возвращаясь к складу, Лэй столкнулся с зоотехником Ни и метеорологом Линь Юань. Решив, что они идут провожать Мяо Кана, он сказал:

— Опоздали, девушки!

Обе поняли, что́ он имеет в виду, но притворились непонимающими.

— Вовсе нет,— сказала Ни, опустив глаза.— И ты еще увидишь, какую свадьбу мы устроим для нашей Цючжи!

5

В цзуне Гэнда готовилось первое собрание народных представителей, и в связи с этим секретарь Су И несколько дней провел в разъездах. Он объезжал правителей крупнейших родов, монастыри, деревни и пастбища. Сейчас, возвращаясь из своей поездки в сопровождении выделенного для его охраны товарища, Су И решил сделать крюк, чтобы побывать на агростанции, а главное, заглянуть в школу к дочери. Но еще не доезжая до агростанции, Су И со своим спутником увидели в лесу Линь Юань с группой ребятишек.

Со стороны могло показаться, что учительница просто гуляет со своими учениками. Но это был урок, очень серьезный урок.

Заметив двух всадников, Линь Юань вгляделась и, узнав отца, поспешила ему навстречу. Спрыгнув с коня, Су И весело окликнул дочь.

— Учительница, как идут занятия?

— Отлично, товарищ секретарь! — в тон отцу отозвалась Линь Юань.— Приглашаю присутствовать на уроке.

Они подошли к ребятишкам, сбившимся вокруг только что срубленного ствола красного клена. Ребята постарше очищали топорами кору дерева, обнажая белую, как корни лотоса, древесину. Младшие, у которых не было инструмента, возбужденно болтая, обламывали маленькие, нежные сучья.

— Вы чем это занимаетесь? — с напускной строгостью спросил Су И.— Зачем срубили такое хорошее деревцо?

Линь Юань, улыбаясь, смотрела на учеников — ей хотелось, чтобы они ответили сами. Вперед вышла маленькая девочка. Запрокинув голову и глядя прямо в глаза Су И, она по-взрослому серьезно пояснила:

— Это не деревцо, а флагшток.

— Флагшток?

— Да, флагшток. Для государственного флага.

Маленький мальчик, высунувшись из-за спины других, спросил:

— Вы видели когда-нибудь государственный флаг? Он лежит дома у нашей учительницы. Мы все его видели.

Девочка степенно подтвердила:

— Наш государственный флаг самый красивый. Он такой красный, такой яркий! Даже заря в небе не такая красная, как наш флаг.

— Вот оно что! — сказал Су И.— Так вы хотите в вашей школе...

— Хотим водрузить флаг! — и, перебивая друг друга, дети начали объяснять:

— Разве вы не знаете? Скоро будет праздник! Большой праздник!

— Когда будет праздник?

— В октябре. Праздник будет в первый день октября!

Мальчишка, сидевший верхом на бревне, вставил:

— В день праздника, ранним утром, мы поднимем флаг.

— А! Я, наконец, понял! Так вы поднимете флаг в день праздника! А что вы должны делать при поднятии флага? — продолжал допытываться секретарь.

— Мы должны построиться,— хором ответили ребята.— Будем соблюдать порядок, не будем шуметь, не будем шевелиться.

Мальчишка на бревне поправил с важным видом:

— Мы будем стоять смирно — вот так!

— А еще мы будем петь гимн! — сказала первая девочка.

— Будто вы умеете петь гимн? — с нарочитым сомнением в голосе спросил Су И.

— Умеем! Почему же нет?!

— Тогда спойте мне.

— Нет! — девочка покачала головой и вскинула свои длинные, слегка изогнутые кверху ресницы.— Я не буду петь.

— Почему же?

— Это не какая-нибудь там песня, ее нельзя петь, когда вздумается!

Су И был глубоко растроган серьезным тоном этой девочки. Он притянул ее к себе, погладил рукой ее вьющиеся волосы, посмотрел на ее чисто вымытое загорелое личико, на длинные реснички, слегка затенявшие глаза.

— Как зовут тебя?

— Чжаси.

Чжаси была гордостью школы и пользовалась особой любовью учительницы. Линь Юань беспрерывно, при каждом удобном случае, рассказывала всем «о своей маленькой Чжаси». И секретарь Су И, конечно, уже не раз слышал о ней. Теперь Линь Юань торжествовала: отец мог воочию убедиться, что в ее восхищенных отзывах о девочке не было

никакого преувеличения. Чтобы доставить удовольствие дочери, Су И попросил Чжаси написать несколько иероглифов. Девочка сначала застеснялась, но увидев, как учительница кивнула ей, обломала веточку и уверенно написала на земле несколько больших иероглифов. Секретарь Су И в недоумении смотрел на написанное; наконец, он понял. Чжаси близко-близко соединила два слова «Тибет» и «Китай». А затем, вглядевшись, он увидел еще одно слово, написанное по-тибетски и по-китайски: «Мао Цзэ-дун».

6

Настало первое октября.

Во всех домах шли последние приготовления к празднику. Молодые женщины тщательно смывали слой древесного клея, которым покрывали свое лицо в обычные дни, чтобы предохранить его от яркого солнца и ледяного ветра, и заново заплетали бесчисленные косички, вплетая в волосы праздничные красные широкие ленты, на которые нанизывались ракушки или серебряные монеты, издававшие звон при каждом движении. Нужно было натянуть еще сапоги с высокими голенищами, надеть пестрые юбки, серьги из слоновой кости, кольца и ожерелья. Но главное все-таки заключалось в прическе, украшению которой горцы больше всего уделяют внимания. Всем хотелось перещеголять друг друга, и Цючжи, конечно, не отставала от других. Девушки собрали на склоне горы последние полевые цветы и сделали себе из них огромные разноцветные и пахучие шапки.

На востоке показалось солнце. Утренняя заря как бы воспламенила густые облака в небе. В этот ранний час все население цзуна Гэнда вышло в поле.

Проходя мимо только что отстроенной школы, люди невольно задерживались: ученики водружали на высоком флагштоке государственный флаг. Алое полотнище, играя на ветру, медленно и торжественно поднималось вверх.

Неожиданно возникла величавая песня. Ее гордые звуки понеслись по лесам и полям, устремляясь ввысь, раскатываясь в долинах и в излучинах реки. Казалось, сама природа подхватила эту радостную песню людей.

Когда все приготовления в поле были закончены, песня смолкла. Всем хотелось, чтобы секретарь комитета своими руками засеял первый ряд. Су И понимал это и, хотя никогда не работал в поле, взялся за ручки сеялки. Он ведь и приехал сюда, на агростанцию, не для того, чтобы оставаться зрителем; наравне со всеми ему хотелось опустить семена в эту плодородную, долгие годы пустовавшую, землю.

Начальник агростанции Цзы-хуан повел лошадь за удила. Су И шел за сеялкой. Остальные безмолвно следовали за ними, словно для управления этой маленькой сеялкой нужны были все люди агростанции. У всех блестели глаза при виде того, как сеялка бросает семена в нетронутую землю Тибета. Любовь, мир и дружбу сеяли здесь.

Понимали ли это горцы? Кто знает!

Во всяком случае, сейчас они были охвачены сомнениями. Сея старым ручным способом, они всегда отчетливо видели каждое зернышко, падающее из их рук в глинистую почву. А тут, на агростанции, сеют с помощью маленькой тележки! Конечно, на этой тележке есть деревянный ящик с семенами, но как может ящик бросать семена в землю? Горцам казалось, что семена остаются в ящичке. И они ползли за сеялкой на четвереньках, вглядываясь в борозду. Ползли, обнаруживали в земле маленькие золотистые зерна и, все-таки не веря собственным глазам, ползли дальше.

Начальник агростанции Цзы-хуан, как истый крестьянин, хотел бы бросить все свои дела и провести весь этот день в поле. Вот уже более двенадцати лет прошло с того времени, как он ушел от земли — в армию. И сейчас, вернувшись к земле, он испытывал такое же глубокое чувство, какое переполняет человека, который встретился со своими близкими после долгой разлуки.

Но ему не дали поработать так, как он хотел бы. Подходили люди из деревень, задавали вопросы, и он должен был каждому ответить.

Озимую пшеницу здесь сеяли впервые.

Многие сначала соглашались сеять ее у себя лишь из уважения к начальнику агростанции. Теперь же вдруг решили под озимые занять всю свою землю, а не малюсенький клочок, как намеревались раньше. Если это глупо или рискованно, рассуждали люди, то агростанция не стала бы сеять озимые на большей части своих земель! И они шли теперь к начальнику станции с просьбой дать им взаймы семена.

Агростанция, собственно говоря, предполагала раздать семена озимой пшеницы безвозмездно. Но это, несомненно, вызвало бы подозрения горцев. Что за озимая пшеница, семена которой дают даром? Только поэтому решено было давать семена в долг.

Все были заняты, и Цзы-хуану пришлось самому идти на склад помогать Юэ-сян в раздаче семян. Сначала он терпеливо записывал в маленькой тетрадке имена «должников» и сумму «долга», а Юэ-сян отвешивала семена. Но очередь росла. Тогда они вдвоем стали отвешивать и раздавать семена, говоря горцам:

— Записывайте сами. Сколько взяли, столько на будущий год и вернете!

Получив семена, горцы не отходили от Цзы-хуана.

— Бэньбу, я хочу попробовать тележку...

— Бэньбу, у меня мало земли, я задержу твою тележку совсем недолго...

— Бэньбу...

На агростанции было всего три сеялки. Цзы-хуан решил две из них отдать горцам.

Это очень понравилось людям. Пока сеялка работала на участке одного, другие с нетерпением ждали своей очереди.

Но старый Сылавэньдуй недаром слыл упрямцем. Он всегда и во всем хотел поступать только по-своему. Поэтому он выбрал для озимой пшеницы узенький и крутой участок земли на склоне горы, где сеялку с гужевой тягой нельзя было использовать. Работа велась по старинке, Сылавэньдуй шел впереди и разрыхлял землю, а за ним Цючжи, с зерном в подоле, разбрасывала семена.

Сылавэньдуй уже много раз делал замечания дочери, чтобы она не глазела по сторонам, иначе семена падают неравномерно или просыпаются мимо. Но сеялка занимала воображение Цючжи до такой степени, что она ничего не соображала, пока отец не прикрикнул:

— Что ты делаешь? Заснула, что ли?

Цючжи виновато ахнула: семена тоненькой, как у горного источника, струйкой сыпались из ее подола на землю. Согнувшись в три погибели, она стала быстро их собирать.

— Сколько раз я говорил тебе, что сеять — это не шерсть сучить. Надо глядеть в оба, а то пропадут все семена. Ты же знаешь, что каждое зернышко...

— Аба! — не вытерпела и Цючжи, хотя раньше никогда не смела прерывать отца,— я думаю, нам тоже нужно посеять озимую пшеницу! Ты посмотри, что делают другие!

— Другие? А разве у тебя в подоле не семена озимой пшеницы?

— Но какую ты выбрал землю?! Я говорю, что мы должны засеять озимой тот ровный участок, что у реки...

Сылавэньдуй рассердился.

— Двигайся! И поменьше разговаривай. Я сею хлеб вот уже сорок лет, и никто мне еще не указывал, как это делать...

Но в Цючжи вселился бес противоречия.

— Неужели ты думаешь, аба, что люди с агростанции просто морочат всем голову?

— Я знаю, что нет, но...— Сылавэньдуй задумчиво почесал переносицу: — у агростанции семена из Пекина. Поняла? А привьются ли здесь, на тибетской земле, пекинские семена — это еще вопрос!

7

Чтобы сэкономить время, Цзы-хуан распорядился привезти обед в поле. Бригады сменяли одна другую и по очереди шли обедать и отдыхать.

Привезти обед в поле поручили старику Лочжу.

Су И и Цзы-хуан уже собрались обедать, когда к ним подошел Лочжу и сказал очень серьезным тоном:

— Бэньбу, кто-то захватил наше поле!

— Как так захватил?

— Да, да. Захватил! Захватил наше поле.— Старик показал рукой за холмы.— Я видел, когда вез обед.

За холмами расположилась горная деревушка из трех-четырех дворов. Перед ней было небольшое поле, которое, как узенький полуостров, вдавалось в огромный массив целины. Теперь, когда «лев» вспахал целину, получилось одно безбрежное общее поле, в котором почти потерялись прежние ясные границы. Воспользовавшись этим, горцы тотчас расширили свой участок примерно в два раза и окружили его камнями и даже вырыли рвы, полагая доказать этим, что так было спокон веков.

Когда Су И и Цзы-хуан подоспели, горцы уже заканчивали работу.

Цзы-хуан страшно возмутился. Первым его движением было повалить каменные столбы, засыпать рвы и вообще начисто уничтожить эту незаконную межу. Но он не успел и рта раскрыть, как секретарь Су И со своим обычным спокойствием обратился к горцам:

— Эй, приятели!

Горцы не ответили. Они стояли у только что возведенной границы и с пристальным вниманием следили за двумя «бэньбу», ожидая дальнейшего развития событий.

— Что вы собираетесь сеять на этой земле? — спросил Су И.

Старик-горец с воинственным видом ответил:

— На этой земле мы сеем уже много лет!

— Знаю, это мне известно.— Су И говорил с миролюбивой ленцой. — Я спрашиваю, что́ именно вы собираетесь здесь сеять? Рожь?

— Нет. Мы будем сеять пшеницу. Озимую пшеницу!

— Озимую пшеницу? Это хорошо! А семена взяли в долг?

— Да, взяли!

— Это правильно. Нужно сеять озимую пшеницу. Земля у вас плодородная, озимая пшеница должна хорошо уродиться.

Су И растер в руке комочек земли. Затем он веско добавил:

— Ладно, не теряйте времени!

И Цзы-хуан увидел, что секретарь уходит, как будто они оба пришли сюда просто поболтать с горцами. Все кипело в сердце Цзы-хуана, но Су И мягко позвал его:

— Идем, дружище, нас ждут дела.

Отойдя настолько, чтобы горцы не могли его услышать, Цзы-хуан дал себе волю:

— Почему ты позволяешь им смеяться над нами, секретарь? Ведь эти горцы самым наглым образом забрали нашу землю.

— Ты так считаешь? — спросил секретарь.

— Да! — запальчиво сказал Цзы-хуан.— И это возмутительно. Они не имеют права действовать самовольно. Сколько раз мы бегали к ним! Советовали, упрашивали, чтобы они подняли для себя эту землю. А они водили нас за нос и так ничего и не сделали. Потом, когда мы устроили курсы по изучению плугов, пришли все, кроме жителей этой деревушки, хотя мы опять ходили к ним и упрашивали. А сейчас, пожалуйста! Мы подняли землю, мы проборонили ее, мы внесли удобрения, а они пришли на все готовенькое и стали на нашем поле устанавливать каменные столбы...

— А помнишь,— прервал начальника станции Су И,— как несколько месяцев назад ты утверждал, что тибетцы не испытывают никакого интереса к земле? Но если бы ты был прав, то им и в голову не пришло бы расширять свои поля! Конечно то, что эти горцы не прислушались к советам агростанции,— плохо! Но, может быть, им мешал страх? Страх перед тем новым, что внесли в их жизнь мы — пришельцы из Китая? Подумай сам, почему они должны были верить нам на слово?

Цзы-хуан досадливо передернул плечами.

— Другие же верили?

— Это только говорит о большей или меньшей доверчивости разных людей. А теперь, когда «недоверчивые» убедились в своей ошибке, они опять испугались...— Су И вздохнул, скрывая озорную усмешку.— Испугались, что не успеют засеять озимую пшеницу вместе со всеми... Ну и взяли ту землю, которую вы сами им столько раз навязывали... Я не прав?

— Так все можно оправдать,— буркнул Цзы-хуан.

— Конечно, правильнее поступили те,— согласился секретарь,— которые верили тебе сразу. Но если уж так вышло, разве надо отнимать у них надежду?! По-моему, ты должен поговорить с товарищами, чтобы не было никаких кривотолков и чтобы этим горцам тоже помогли провести сев.

Цзы-хуан не возражал и молча следовал за секретарем.

— Ну как, товарищ начальник станции,— через некоторое время спросил Су И,— ты согласен?

— Согласен — не согласен, дело сделано,— сердито ответил Цзы-хуан.— Только придется предупредить Лэя, чтобы он изменил свою карту. Он уже составил карту посевных площадей будущего государственного сельскохозяйственного кооператива, и этот участок, естественно, был помечен в его плане.

— Если есть необходимость, то надо изменить! И прошу тебя передать агротехнику мое мнение: карту посевных площадей пусть делает карандашом, так будет удобней исправлять. Сейчас ему придется уменьшить площадь посевов, но подожди, создадим кооператив, и тогда только успевай расширять план. Веришь ты в это?

(Окончание следует)

Эйвин Болстад

О том, как Рейнерт Мусебергет захотел прыгнуть выше головы

РАССКАЗ

Перевод с норвежского А. Мамоновой.

— Опрокинулся воз — ехал вкось,
— говорят жители фиордов.

О стране тысячи озер многое известно. А вот о морском королевстве тысячи островов никто ничего не знает. Это удивительно. Ведь Полуночное Солнце, по правде говоря, ничто по сравнению с этим шедевром всевышнего. Или, может, вернее сказать — капризом. Если лететь высоко над морским королевством — внизу сплошная каменная безжизненность, а если низко, над самыми островами, то среди серого-пресерого проглядывает вдруг зеленое-презеленое. Да, они знали толк в красках, эти бедняки, что жили здесь полвека назад. Я думаю, черт возьми, что они и сейчас разбираются в этом нисколько не хуже. Тем более, что и с деньгами стало посвободнее, можно покупать краски у лавочника.

Да... Так вот о лавочнике... Примерно в начале века на острове Наббане, прямо посреди хаоса чудес, созданного по прихоти творца небесного, приютилась маленькая лавчонка. Никто толком не знал, какое по счету поколение в ней торговало — то ли третье, то ли четвертое. Здесь мало заботились о чистоте своей родословной. Все это совсем не походило на магазин или даже на обыкновенную лавочку с подвешенным к потолку жестяным ведром и всякого рода мелким бакалейным товаром. Покупатели не ходили сюда ежедневно, не рылись на полках и не стояли у прилавка, ожидая, пока им свешают купленное. Нет, когда им было что-нибудь нужно, они шли прямо в заднюю комнату — и там все мерилось мешками, бочками и тюками. Как на складе. Да так оно, собственно, и было. Здесь рыбак закупал мешок того и полмешка этого и расплачивался потом на протяжении месяцев, а не каких-нибудь недель или дней.

Исак с Наббане доверял своим покупателям. Если кто-нибудь удирал или попадал на дно морское, то все долги брала на себя родня. Но доходы на Наббане были не бог весть какие. Хотя Исак старался вовсю, никто наверное не позавидовал бы его заработкам. Или его жизни. Это был маленький человек, один из многих ему подобных, и вряд ли он мог внушить кому-нибудь ненависть к капиталистам; но бог знает, каким бы он стал, если бы в один прекрасный день у него в руках очутилось побольше власти. А сейчас, что это была за жизнь? Приходилось выстаивать на ногах чуть ли не круглые сутки — и зимой, и летом. В лавку к нему забегали рыбаки, которым всегда было некогда. И ночью-то они обычно с трудом урывали часочек для покупок, подымая Исака с постели даже в четы-

ре утра. Однако Исак не гнушался этим. Он не был развращен бойкой торговлей. В здешних местах он стал чем-то вроде посредника рыбаков и агента тех или иных важных персон. О независимости он и не мечтал, но зато у него было кое-что другое: он был уверен в том, что жизнь его в этом старом доме на Наббане надежна и устроена раз и навсегда. Так казалось и всем прочим здешним маленьким дельцам, кормившимся милостями больших.

Но вот все переменилось.

Могущественному Рейнерту Мусебергету с мыса Хаммернессет, здешнему оптовику, который снабжал товаром мелких торговцев, в один прекрасный день пришла в голову блестящая идея: он вдруг представил себе всю эту мелочь в одном лице. Долгими ночами он подсчитывал и прикидывал, чего стоят все эти мелкие торговцы вместе взятые, и ему мерещился торговый дом побольше его теперешнего склада, некая солидная организация, что-то вроде треста, хоть он и не знал толком, что это за штука. Он воображал, что первый до этого додумался. Начать он решил с Исака, которого считал самым подходящим и самым несообразительным.

И Мусебергет, не откладывая, взялся за дело. Без предупреждения.

Ну, а Единорог как раз арендовал у Исака участок для ловли омаров. Иначе он никогда не влип бы в эту историю, о которой потом еще долго рассказывали всякие легенды.

Исак, бедняга, так и сел, когда ему пришло извещение об оплате краткосрочного кредита (он выплачивал его вот уже десять лет и с высокими процентами) и когда он взглянул на испещренную цифрами бумажку, по которой, как ни вертись, выходило, что он, Исак, увяз в долгах по уши. А ведь он, как и все здешние мелкие торговцы, всегда аккуратно платил все, что полагалось. Единорог утверждал, что Исак уже вдвойне выплатил весь свой долг. Пожалуй, так оно и было. Мусебергет мог быть вполне доволен. Да, но что поделаешь, если человек набрел на такую великолепную идею! Вся местная торговля берется в одни руки, и множество маленьких доходиков превращается в один огромный, головокружительно огромный доход, до сих пор проплывавший мимо его носа. Испробовать лучше всего на Исаке. Нет, дело наверняка должно выгореть. От таких мыслей голова шла кругом. Мусебергет не принял только, да и не мог принять в расчет своего злейшего врага. Единорог! Теперь он тоже участвовал в игре, этот независимый рыбак, сам себе господин, всем вожакам вожак, этот герой из саги, умевший заманивать сельдь оттуда, где ее сроду не бывало,— все равно как крысолов из Хамельна в старом журнале «Детское чтение», который этот безбожник Бьёрнстьерне Бьёрнсон, говорят, издавал только для того, чтобы позлить взрослых.

Исак с Наббане теперь ночами корпел над книгами и бумагами и все старался найти выход. Как-то к нему заглянул Единорог. Он пришел узнать кое-что насчет своих омаров, о которых уже договорился с пароходной компанией Берген-Гулль. И вот они сидели и путались в бумагах, счетах, цифрах и штемпелях, пока наконец Единорог не смахнул все это с прилавка и со стола и не поддал всю груду ногой так, что бумажки разлетелись во все стороны, словно гагачий пух.

— Черта с два во всем этом разберешься! Чтобы воевать с Мусебергетом, надо, чтобы он сам попал в такой же мертвый штиль, как и мы, и не знал, как ему выбраться. Увидишь, тогда он окажется не умнее нас с тобой! Вот и давай сейчас попробуем разгадать, что он задумал, а потом и сами будем действовать!

И Единорог принялся размышлять. Исак сидел как бы в оцепенении, тупо уставившись на какой-то сучок в скамейке.

Единорог добрый час жевал свой табак. Потом заговорил. Осторожно, будто нащупывая дорогу и прислушиваясь к эху в дальних закоулках своего мозга:

— Хилой курице легче всего свернуть шею, но если держаться всем вместе, то и самые слабые могут победить. Слушай-ка, что я тебе скажу. Да не сиди ты так и перестань глазеть на эту скамейку! Если говорить боишься, то хоть мозгами пошевели!

Исак уныло покачал головой. Мусебергет захватит все. И думать нечего идти против него.

— Э! — сказал Единорог весело. — Не облизывайся, пока не поел, — говорят в Едерене. Да будь ты, дьявол тебя побери, мужчиной, гляди мне в глаза!

Исак перестал смотреть на сучок и столь же уныло уставился на Единорога. Единорог проговорил до самого рассвета. А на рассвете встал и ушел разгневанный, даже не попрощавшись. Не стоит бросать слова на ветер! Но теперь уж его самого взяло за живое, и он хотел один все хорошенько обдумать. Исака он от всей души презирал.

Ночи для Исака слились в одну сплошную бессонную ночь. Рядом с ним лежала Сири, такая же тощая и серая, как и скалы вокруг. А была она сияющая, как многоцветная радуга, когда пришла сюда из долины у горы Рондане, где заполучила мальчишку от одного лавочника, который допоздна засиживался с девушками над священным писанием. Сири почувствовала себя плохо, едва только поселилась здесь, в этой «самой глухой дыре во всей преисподней», как она выражалась. Сири не видела здесь ничего красивого. Она не слышала, как у свай пристани тихо разговаривает море. Она ни разу не почувствовала, что такое здешняя весна, когда пахнет и свежей смолой, и соленой водой, и гниющими водорослями, и морскими растениями. Она не ощущала, как пахнет только что политая дождем земля, земля вереска, багульника и маленьких коренастых сосен. Пожалуй, о Сири можно было сказать, что она научилась рыбачить, хотя удача ее сторонилась. Она была трудолюбива и делала что могла. Но ее существом владели те места, откуда сама она была родом. Она была вся в плену своих собственных представлений о жизни. Впрочем, то же было у Исака, только на свой манер. Жизнь для нее измерялась корзинками с брусникой и морошкой, а в свободные часы — заготовкой материала для бочек. А здесь, в шхерах, все для нее было совсем чужое, точно она попала по меньшей мере в Африку. И сейчас она не могла служить для Исака ни опорой, ни утешением. Словом, что называется, куда ни кинь — всюду клин, и от Мусебергета Исаку деваться некуда.

Но Мусебергет вовсе не подозревал, что в игру вступил Единорог. Если бы он это знал, то, быть может, и отступил бы. А может быть, и нет.

— Где шагаешь, не глядя, там как раз и поскользнешься, — любил он говорить. Все свои присловья он заимствовал, естественно, из неисчерпаемых запасов Единорога.

И вот пока Исак сидел на месте как пришибленный, черная лодка отчалила вниз по течению и завернула к первому же мелкому торговцу. Такому же, как Исак. Только этот был, пожалуй, пообороти стее: разъезжал по всей округе в качестве страхового агента и продавал библию с картинками, которая расходилась бойко, совсем как горячая похлебка. Они были фаталистами, эти жители шхер, хоть и не забывали уповать на милость божью; случалось, однако, что растяпы-мужчины принимались вопить о пощаде, петь псалмы и бросали лодки на произвол судьбы и шторма. И тогда старшой раздавал направо и налево такие затрещины, что полгода звон стоял в ушах. И орал:

— Сам себе не поможешь — и бог тебе не поможет, черт! У бога и без тебя дел хватает!

Ханс Хансен, сын Давида с залива Грютвикен, тоже находился всецело в руках у Мусебергета, как и прочая мелюзга.

Ханс Хансен, Торговля колониальными товарами, принял Единорога радушно. Все, что было в доме лучшего, сразу же подали на стол, и Ханс заранее предвкушал веселую ночную попойку. Но он понял, как сильно ошибся, когда услышал, что Единорог объявил войну могущественному человеку с Хаммернессета. Войну из-за Исака. Но супруга владельца Торговли колониальными товарами, роскошная пышнотелая и быстроногая Элиза с яркими губами и живыми глазами, все сильнее задумывалась по мере того, как Единорог постепенно отодвигал завесу и приоткрывал, правда, может быть и не очень ясные, но зато какие фантастические и заманчивые картины будущего!

Никогда прежде в здешних шхерах, от Хальдена и до самого мыса Бюггенессет, у русской границы, не происходило ничего подобного. Но одно они знали: Единорог обычно не врет, а в большинстве случаев даже говорит правду. — Да понимают ли они, что за Исаком обязательно последует новая жертва? А за ней — другая? А потом еще и еще — и так по всему побережью, повсюду, где, словно паук в центре паутины, сидит этот Мусебергет!

Сегодня Исак с Наббане — завтра все остальные!

Ханс Хансен смотрел прямо на солнце, забыв, что может ослепнуть. Все, что он с таким трудом построил, в один прекрасный день полетит вверх тормашками — стоит только ленсману* прислать бумажку по почте! И если подумать хорошенько, то разговорчики этого надушенного городского хлыща — законника Адольфа М. Клингенберга нисколько не были похожи на мягкий весенний бриз, вовсе нет!

Тут Ханс Хансен стукнул кулаком по столу и выругался, хотя в дверях стояла теща, заправлявшая всеми делами в местной молельне Бетесда. Она задумчиво вытирала голубое узорчатое блюдо, с которым всегда обращалась крайне осторожно. Рассеянно захлопнув молитвенник, теща небрежно ткнула куда-то свое блюдо и объявила:

— А я думаю — Единорог прав, вот!

И она произнесла ругательство, одно из старых крепких проклятий, почерпнутых в былые годы у легкомысленной молодежи с соседней мансарды. С тех пор, как она обратилась к богу, такое приключилось с ней впервые!

Тогда Ханс Хансен решил, что все, о чем говорил тут Единорог, — штука серьезная. Он второй раз стукнул кулаком по столу, а затем поотрывал ящики и шкафы и выгреб оттуда банковские книжки и звонкую монету. После долгих размышлений теща тоже отправилась за своими сбережениями, отложенными на похороны.

Ханс Хансен вынул флягу и протянул Единорогу большую стопку. Себе он налил две.

Теперь можно было приступить к настоящему разговору.

На следующий день лодка Единорога отправилась дальше Эту черную рыбачью лодку видели то тут, то там, на ночь она причаливала к берегу, а наутро снова отправлялась в путь. Бедняки, чьи имена значились в долговых книгах Мусебергета, выкладывали на стол все свои сбережения. Но были и такие, которые трусили, хоть им и хотелось бы принять во всем этом участие. Да, да, были.

А в доме на Наббане Исак и Сири по ночам лежали рядом без сна, и на них обрушивались грозные извещения о продаже имущества с молотка — первое, второе и третье. И вот день аукциона настал. С молотком и списком всего наббановского добра явился ленсман, а за ним целая

* В странах Скандинавии — представитель полицейских и податных властей в пригородах и сельских местностях.

свита. Уже давно говорили: что-то должно произойти. Мусебергет прислал своего самого доверенного человека, снабженного всеми полномочиями! Адольфа М. Клингенберга! У него с собой была папка, набитая всякими претензиями к Наббане. Дело было нехитрое. Ну, кто будет особенно торговаться? Но Мусебергет сказал угрожающе:

— Это должно быть сделано! Не купишь Наббане — назад не возвращайся.

На старом мосту полно народу. Все одеты по-праздничному. Исак прогуливался в толпе, пожимал всем руки, а самым богатым и самым уважаемым подносил стаканчик. Сири стояла в комнате над открытым сундуком. В сундук капали слезы. Клингенберг с пухлым портфелем под мышкой важно расхаживал вокруг и обозревал имущество. Время от времени он вытаскивал из этого туго набитого портфеля какую-нибудь бумагу, и у всех на виду, самым бессовестным образом рассматривал вещь, заглядывая в список и оценивая ее наглым и хищным взглядом. После этого он строго смотрел на Исака, который сразу весь как-то съеживался. Отвратительное зрелище! Многие рыбаки кусали губы, сдерживая себя, хотя и им кое-что из всей этой утвари пригодилось бы не меньше, чем Мусебергету.

Но Адольф М. Клингенберг не видел перед собой ничего, кроме омаров, которых этот Исак до сих пор так безобразно плохо использовал. Он представлял себе, как омары по бешеным ценам экспортируются в Англию, и их везут краснотрубые пароходы, курсирующие по новой линии Берген-Гулль. Омар наверняка станет важным продуктом экспорта в Англию. А таких омаров, как у Исака, нигде не сыщешь.

Наконец началась лотерея и игра в кости, которая называется аукционом. Ленсман был не в духе. Вот он явился со списком — длинным, как вечность. Если бы сюда заглянул какой-нибудь директор музея, он был бы сражен наповал. Да обычно так оно и бывает — все, что есть ценного в деревнях и на побережье, у доверчивых крестьян и рыбаков просто выкрадывают, если можно так выразиться, да и все тут. Адольф М. Клингенберг, хотя он вовсе не был знатоком антикварных ценностей, и тот онемел, когда увидел все эти чудесные лари, которые шли по три кроны, и пряжки кустарной работы — теперь таких вовсе не сыщешь. Он так и застыл над жемчужиной в грубой оправе. Черт, неужели настоящая? Ах ты, господи боже мой, если бы он сам мог ее купить. А это покрывало! Ничего подобного он в жизни своей не видывал.

Но вот раздалось легкое постукивание молотка и прозвучал громовой голос ленсмана.

Пожалуй, не успеешь оглянуться, как этот злобный тип уже разделается со всем. Но нет! На этот раз ленсман взялся за дело основательно. Он посмотрел на Исака. И на Сири, прятавшую под фартуком свои большие, усталые, натруженные руки. Он был и без того зол, а сейчас и вовсе рассвирепел. Поднял высоко молоток, будто собирался с размаху опустить его на голову первому попавшемуся, и ударил по столу так, что молоток раскололся надвое. Тогда он схватил свою трость, с которой никогда не расставался, — и вместо стука молотка все услышали резкие, свистящие удары. После этого ленсман произнес вступительную речь, чего он, порядочный лодырь, обычно не делал. Он расхвалил омаров, указал на то, что линия Берген-Гулль поглотит все, абсолютно все без остатка, и упомянул мимоходом, что Исак — это же бог омарьего лова! Затем он подробно остановился на омарах, как товаре для отелей, а ведь они вырастали, как грибы, и молили о присылке омаров, свежих омаров. А разве Наббане не был расположен в самом центре всей этой благодати? Ленсман ударился в лирику и забыл про экономику. Он говорил о том, как удобно расположены владения Исака в смысле скупки омаров у рыбаков,

и о праве на ловлю омаров в различных местах, которые были собственностью Исака или им арендовались. Но те из рыбаков, кто слушал внимательно, заметили, что о самой лучшей бухточке на севере острова не было сказано ни слова.

Ленсман, не долго думая, назначил цену в 500 крон. Исак ушам своим не поверил. Только раз, в молодости, у него были такие деньги. Он хотел построить на них дом, но тогда по острову прокатилась волна «увлечения религией», все устремили свои взоры и карманы ввысь, и ничего из этого так и не получилось.

— Пятьсот! — сказал ленсман.

— Шестьсот! — почти перебил Ханс Хансен. И рыбаки один за другим стали вытягивать шеи и заросшие щетиной подбородки.

— И пятьдесят! — сказал Клингенберг, строго посмотрев вокруг.

— Семьсот! — пропищал кто-то издалека.

— Восемьсот! — быстро проговорил Клингенберг и начал искать нужные документы. Он победил.

Наступила долгая пауза. Ленсман ударил по столу своей тростью.

— Раз восемьсот! Два восемьсот! — И добавил сурово: — Умный глупит — сам за это и расплачивается. — После чего поднял трость.

— Девятьсот! — победоносно прозвучало в самом углу.

— Это Ханс Хансен, — сказал кто-то.

Клингенберг подскочил.

— Тысяча! — крикнул он.

Для того времени это было целое состояние. Вот когда Мусебергет мог убедиться, что он поручил дело не какому-нибудь слюнтяю, а настоящему мужчине, умеющему держать свое слово.

Напряжение достигло высшей точки.

Предлагали все больше. Толпу охватил экстаз. Блаженное это чувство пронизало всех, словно они собрались в молельне и над ними гремели мощные раскаты голоса проповедника, который заставлял их каяться, грозя всеми ужасами ада и приоткрывая слегка царствие небесное. Они были участниками неповторимого!

Рыбаки и прочий люд прохаживались взад и вперед, болтали. В воздухе носились названия стран... Англия, Голландия... Какой-то разговорчивый тип вспомнил даже о миссионерской станции на Мадагаскаре. Его голос потонул во взрыве хохота. Какой-то дурень заявил, что вовсе незачем ездить в Берген к этому оптовику Григу, если можно прямо сюда. И ближе, и цены выше.

Между тем, предложения так и сыпались одно за другим. Ленсман уже заранее предвкушал, как он преподнесет эту великолепную историйку за партией в вист. И он не жалел своего поистине проповеднического голоса для восхваления этих богатств, принесенных морем, которыми все хотели завладеть и за которые так дорого платили. На мгновение ему показалось странным, как это Ханс Хансен отважился пуститься в такое большое плавание. А Ханс Хансен стоял среди мрачных личностей — один рядом с ним, один подальше, и потом еще один в стороне, и еще, и еще... А некая одинокая фигура, равнодушная ко всему происходящему, и вовсе маячила где-то далеко на пригорке, у черта на рогах. Но все это были мелкие торговцы, так или иначе зависевшие от Мусебергета. Всякий раз, когда слышалось: «Кто больше?», они кивали как бы своим собственным мыслям. И Ханс Хансен давал больше.

Но когда цена за омаров достигла совершенно невероятной цифры, никто не кивнул. Омары достались Адольфу М. Клингенбергу, уполномоченному Рейнерта Мусебергета!

Это подействовало на красноречие ленсмана. Старые постройки на Наббане превратились у него в прочные, солидные дома, способные простоять вечность. Доля правды в этом была. Они ведь были построены из мачтовой сосны, что растет на острове Таральд, в фиорде Хардангер, из той самой сосны, которая пошла на старый дом в Ага-Тюнет, а он стоит там с четырнадцатого века. Ленсман сказал и о сараях для лодок, и о спокойной, защищенной от ветра бухте, и не забыл, конечно, упомянуть о причале и о выгодах, какие с этим связаны, о твердом жалованье агента, и наконец о пенсии, которую получат за него жена и дети.

Итак, Наббане шел с молотка — одна вещь за другой. Борьба между Хансом Хансеном и Клингенбергом продолжалась. Нервное напряжение пробегало, словно электрическая искра, по этой плотной массе людей. Соперники забирались все выше и выше. С одной только разницей. Когда Ханс Хансен называл очередную цифру, он все время оглядывался по сторонам — даже на равнодушную фигуру на пригорке. А Клингенберг... Клингенберг выполнял приказ.

Так один могущественный вступил в единоборство с ничтожными, которые стольким рисковали, но чувствовали себя спокойно и независимо, и знали лучше, чем кто-нибудь другой, где надо остановиться. На ступеньках лестницы сидел Единорог, разрезая ножом плитку табака, и даже не давал себе труда повернуть голову, хотя цифры назывались столь головокружительные, что рыбаки удивленно переглядывались.

Клингенберг каждый раз выходил победителем. Но все обходилось ему ужасно дорого! Ленсман быстро прикинул в уме, сколько же всего получается, и решил, что шуму здесь много, а толку мало. Но это уже его не касалось. Его дело было позаботиться о том, чтобы Клингенберг подписал все бумаги, гарантию и внес аванс. Уже одно это составляло порядочную сумму.

Затем он отправился в дом, чтобы освежиться кружечкой пива. Но увидев Единорога, так и замер, подозрительно глядя на него. В глазах у ленсмана мелькнула догадка.

— Так это твоя черная лодка в последнее время все шныряла взад и вперед, точно привидение! А ты ведь не любишь тратить время попусту, нет, не любишь! Недаром старые люди говорят: «Где многие прошли, там много посеяно, а посеяно, так и вырастет». Кажется, это здорово подходит ко всей этой жульнической истории. Если Мусебергет выстоит, значит он крепче, чем я думал!

Единорог, сидя, сполз на нижнюю ступеньку, встал на ноги и сказал с невинным видом:

— Одно дурное слово другое родит, а третье само бежит. Только глупец сеет сплетни, и то, что досталось дешево, может обойтись дорого. Кто тихонько проходит через дверь, того она не стукнет по затылку.

Ленсман повернулся, не проронив ни звука, и, разозленный, направился за выпивкой. Здорово его осадили, да и неприятностей от Мусебергета теперь не оберешься. Но когда Исак устроил пир на весь мир и ленсман увидел дно бутылки, он уже был всем на свете доволен. За столом многие удивлялись, как это так могло получиться, что северную бухточку, где омары плодились не по дням, а по часам, отдали прямо-таки задаром первому же, кто назначил цену, потому что в списке у Клингенберга ее даже и не было.

Вот вам и вся история об аукционе на Наббане и о том, как Исак стал богатым человеком. После этого он переселился в местечко получше.

Но Адольф М. Клингенберг исчез из Хаммернессета, и все владения Исака на Наббане, купленные по столь дорогой цене, так и остались без

хозяйского присмотра. Да, был только один человек, который смог прижиться на Наббане и вести это хозяйство! В конце концов Мусебергет вычеркнул Наббане из своих книг и продал его одному молодому рыбаку, а тот стал потом зятем Исака.

Но самое удивительное, что омаров в бухте на севере, проданных за бесценок, купил Единорог. Он заработал на них большие деньги, прежде чем как-то под веселую руку перепродал весь участок одному бедняку — и с убытком.

Сдается, что Мусебергет кое-что понял во всей этой истории. Во всяком случае, когда теперь в лавку заходил Единорог, глаза у Мусебергета наливались кровью еще больше, чем раньше.

Однако это не помешало ему сделать все возможное, чтобы снова заполучить Единорога в десятники к себе на промыслы.

«МАЙОР ВАТРЕН» *Рис. П. Караченцова*

Арман Лану

МАЙОР ВАТРЕН

РОМАН

Перевод с французского Р. Ралова и Н. Столяровой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НОЧЬ В ТЕМПЕЛЬГОФЕ

I

— Вот наши чемоданы! Я голодна, как волк! Жерар уверяет, что здесь поблизости есть превосходный кабачок, который славится утками с лимонным соком. Он нас приглашает всех четверых...»

— Нет,— перебил Франсуа Субейрак.— Нет, нет и нет!

— Что, не так? — спросил Камилл.

— Никуда не годится! Ты безбожно ломаешься, когда произносишь: «Он нас приглашает всех четверых...» Адэ ведь не уличная девка, она гораздо опаснее! Ей нужно вкрасться в доверие, восхитить, очаровать! А ты ведешь себя просто как девка с улицы Шарбоньер. Очень плохо! Единица. Да, и вот еще то, что мы сегодня вечером будем есть баланду, вовсе не означает, что ты должен публично облизываться, когда говоришь об утке с лимонным соком.

— А ты когда-нибудь ел утку с лимонным соком?

— Нет.

— Я тоже. Ничего не могу поделать с собой, Франсуа, меня всего так и разбирает.

Камилл с наглым видом оглядел Франсуа Субейрака. Имя «Камилл» принадлежало не женщине — так звали юного младшего лейтенанта с волосами соломенного цвета и голубыми глазами.

Форменная одежда из грубой шерсти, выданная французской администрацией лагеря взамен элегантного кителя, изношенного до нитки за двадцать два месяца плена, не изменила его женоподобного облика.

Камиллу было двадцать три года, но ему давали не больше восемнадцати. На груди у него красовалась ленточка военного креста с красными полосками — пленные испытывали отвращение к черно-зеленым траурным полосам, введенным правительством Виши. Эта ленточка вызывала такое же недоумение, как знак Почетного легиона на декольтированном лифе актрисы.

— Что поделаешь, — сказал Камилл, — ты сам виноват. Я создан для того, чтобы играть «Дом Телье», а не Ундину или Адэ.

Офицер-актер рассмеялся коротким нагловатым смешком кокотки. Потом он обернулся и крикнул, обращаясь к кому-то в глубине барака, превращенного в мастерскую, где были свалены в кучу старые декорации, картонная мебель, костюмы из мешковины, инструменты, краски:

— Тото, что будет сегодня на ужин?

Дверь в виде арки, изображавшая вход в роскошный салон, приотворилась, обнажив косяк из некрашеного дерева, оклеенного бумагой.

Окончание. Начало см. в № № 8 и 9.

В щель просунулась голова Тото. Это был лейтенант Тома Каватини, полковой товарищ Франсуа Субейрака, бывший вместе с ним в Со-ле-Ретель в дни агонии бравого батальона. Каватини, преждевременно поседевший, с веселой улыбкой на добром, круглом, румяном лице, стал перечислять:

— Баланда из медвежьей требухи и бисквиты Петена.

— Я заявляю, что это преступление, — сказал Камилл. — Тото, сделай нам этуф-кретьен.

— К черту, — сказал Тото. — У меня нет времени. У меня урок немецкого.

Франсуа, руководивший этой необычной труппой, вежливо обратился к старшему офицеру, полковнику зуавов, который сидел в глубоком кресле, столь же роскошном, как и дверь. Это кресло — чудо изобретательности — один из пленных смастерил из дерева, картона и старых рессор, подобранных на свалке.

— Господин полковник, — объяснил Франсуа, — лейтенант Каватини изучает немецкий язык. Наш уважаемый коллега Тома Каватини заметил, что как только он начинает изъясняться на языке Гёте, то перестает заикаться.

— Maul zu! — заорал Тото повелительным тоном. — За-за-заткни глотку, Субей! — перевел он.

— И все-таки, если не будет этуф-кретьена, я не буду репетировать, — по-женски капризно произнес Камилл. — Не воображаете ли вы, что я на пустой желудок стану из кожи лезть, чтобы создать у этих господ иллюзию, будто они находятся в женском обществе?

Этуф-кретьен — был кулинарным шедевром лейтенанта Каватини, который ведал питанием в их бараке и покровительствовал театральному коллективу. Рецепт этого блюда был прост: петеновские бисквиты,— называемые так потому, что их присылало вишистское правительство,— следовало размочить в воде, прибавить сгущенного молока (если оно имелось), сахара и шоколада, а затем все вместе варить на медленном огне.

— Нет, — сказал Тото, по-прежнему стоя в дверях. — У меня кончился сахар. В-в-вот уже десять дней, как не было по-по-посылок, мы так не дотянем до следующего раза. Вы все в-в-в...

— Вдовы, — моментально подсказал Камилл и, грациозно повернувшись на одном каблуке, добавил: — и притом — веселые вдовы!..

— В-в-волки ненасытные, вот кто! — поправил Тото.

— Каватини, — сказал полковник, — сделайте одолжение, сходите в контору и попросите лейтенанта Жийуара выдать килограмм сахара из моего личного запаса.

Труппа рассыпалась в благодарностях. Камилл сделал реверанс, подхватив двумя пальцами у колен свои бесформенные грубые штаны.

— Ну вот, — тотчас вскрикнул Франсуа, — ну вот! На сцене у тебя нет ни капли женственности, потому что ты переигрываешь, а вот когда ты просто дурочку валяешь...

— Тогда я вновь обретаю присущее мне очарование, — нежным голосом сказал Камилл. — Вы грубиян, мой миленький режиссер.

Хлопнула дверь — это Тото отправился за сахаром, который предложил полковник. В барак проникла струя свежего воздуха — было все еще морозно, хотя и стоял апрель.

Театральная труппа получила этот барак благодаря полковнику Маршандье, старшине лагеря. Барак был разделен на четыре больших помещения, или как их называли — «штубе»*. Одно из них целиком отвели под театральную мастерскую, другое служило для репетиций и собраний,

* Комната *(нем.)*.

третье и четвертое предназначались для вестовых. Вестовые были предусмотрены женевской конвенцией, но так как один вестовой приходился примерно на тридцать офицеров, то его услугами пользовались лишь теоретически. Театральная труппа, которой руководил Франсуа Субейрак, уже имела свою историю. С первых же дней плена коротким пыльным летом 1940 года в Померании Субейрак стал принимать участие в импровизированных спектаклях. Офицеры, удрученные поражением и пленом, лишенные книг, ничем не занятые, с вечно пустыми желудками, бродили по лагерю, тупея от безделья. Представления под открытым небом положили начало будущему театру.

Конвой, доставив эшелон пленных в лагерь, удалился. Оставшись на рассвете в пустынных дюнах Померании, пленные сами не отдавали себе отчета в том, как велика их оторванность от мира. Почти все общественные связи, соединяющие людей, нарушились. Сохранялась лишь общая для всех военная форма, в такой же мере обесчещенная поражением, в какой она была истрепана войной. Известия о падении Парижа и о перемирии уничтожили последние связи воинского порядка. Оставалось лишь сообщество людей, объединенных недавней совместной боевой жизнью и пленом.

Это отчетливо проявлялось в беседах, которые вели между собой пленные. В продолжение долгих месяцев разговоры бесконечно возвращались к военным воспоминаниям. Четыре тысячи офицеров образовали не менее тысячи маленьких однородных ячеек. Под хриплые звуки громкоговорителя, сообщавшего по-немецки о трагедии Мерс-эль-Кебира, продовольственная комиссия занялась распределением присланных кем-то продуктов, в лектории устраивались лекции, создался хор, библиотека начала сбор книг, появился оркестр.

Наконец, возник и театр, естественно предназначенный для того, чтобы заполнить вынужденный томительный досуг, тянувшийся с рассвета и до того часа, когда выключался свет. Трудно установить, что именно было сделано тем или иным из участников, но уже 14 июля 1940 года, меньше чем через месяц после прибытия в лагерь, первые актеры вышли на самодельную эстраду. За неимением пьес и даже хотя бы одноактных шуток исполнялись под аккомпанемент плохонького рояля куплеты из популярных песен; декорациями служили скрещенные еловые ветки. Ни кулис, ни освещения, ни грима, ни костюмов — театр появился на свет убогим и нищим и этим напоминал своих создателей.

Пятьдесят веков материального прогресса были пройдены ускоренным темпом за полгода, и таким образом удалось почти нагнать современный театр. Бордосские сказы, бретонские песни и народные вальсы уступили место «Рождеству на площади» Анри Геона, «Сверкающей реке» Моргана и «Топазу» Паньоля *. Оставалось лишь одно препятствие — как поставить спектакль без участия женщин? Зрители и актеры — мужчины, но где же найти инженю и героинь? В первых спектаклях актеры, неуклюже носившие женское платье, вызывали смех, едва только выходили на подмостки. Всякая иллюзия пропадала. Женщины на сцене выступали в качестве неподвижных, безгласных персонажей. Потом мало-помалу режиссеры-самоучки осмелели. При содействии декораторов, бутафоров, костюмеров, которые умудрялись делать довольно сносные парики из мешковины, эти манекены стали оживать.

Вскоре «героини» научились ходить, танцевать и даже произносить несколько слов фальцетом, не вызывая при этом хохота у беспощадных зрителей.

Младшие лейтенанты довольно свободно исполняли женские роли, воскрешая традиции елизаветинского театра. Франсуа замышлял совер-

* Паньоль, Геон и Морган — современные французские писатели.

шить переворот и поставить спектакль с настоящей большой женской ролью, сыгранной естественно, без фальши. Он понимал, что это очень рискованная затея.

Маленькие глазки полковника Маршандье, окруженные морщинками, доброжелательно улыбались, и он, поддерживая игру, ответил на реверанс Камилла, не опасаясь умалить свое достоинство.

— Ваш режиссер кое в чем прав, мой милый, — сказал он. — Вы не очень гибки в роли этой Адэ... Да, я вспомнил! Видите ли, друзья, однажды, в начале войны, я смотрел какую-то пьесу Салакру в Марокко, в пустыне... Ее играла передвижная труппа, которая...

Щедрость полковника по отношению к театру своего блока (лагерь военнопленных состоял из четырех блоков, и в каждом из них имелся свой театр) была очевидна, но рассказы полковника всем надоели. Так как он говорил негромко, Камилл сделал вид, что не слышал последних фраз, и, состроив очаровательную гримасу, показал в оправдание на свой костюм:

— Как будто можно быть женственным вот в этом! А ничего другого у меня нет!

— Завтра будете репетировать в костюмах, — сказал Ванэнакер, выходя из глубины барака, где он что-то писал, не обращая внимания на шум. Ванэнакер тоже был товарищем Франсуа по полку. — Я соорудил тебе бюст и шикарный зад. И, кроме того, моя милая, есть новости...

— Простите, я не помешаю вам? — вежливо спросил, просовывая голову в картонную дверь, офицер с очень смуглым и выразительным скуластым лицом. Остроконечный шлем делал его совсем похожим на татарина. — О, простите, господин полковник...

— Входите, входите, Альгрэн, — сказал полковник.

Вошедший отдал ему честь. Альгрэн, молодой историк, одним из первых стал регулярно читать лекции в барачном университете, в то время, когда театр еще только создавался. Не имея ни книг, ни записей, всегда голодный, он вскоре снискал всеобщее уважение своими знаниями, красноречием, ловкостью, с какой он издевался над немцами, рассказывая, например, о чертах сходства Магомета с Гитлером или анализируя с непритворным восхищением механику прусской политики после Иены, что было небезопасно. Старшие коллеги, недовольные его успехами, так редко выпадающими на долю преподавателей, обвиняли его порой в модернизме, в том, что он заигрывает и слишком приноравливается к своей аудитории, не упоминая при этом о смелости его выступлений, о бесстрашии и справедливости его суждений.

— У меня лекция, но сейчас еще слишком рано, — объяснил Альгрэн. — Я хотел зайти к вам, но боюсь помешать...

— Ничуть,— сказал Франсуа.— Садись, Альгрэн. Я как раз пытаюсь втолковать этой прирожденной девке, Камиллу, что есть разница между женственностью и непристойностью.

— Как это верно! — согласился Альгрэн. — Ну-ка, посмотрим...

— Давай твою реплику, — сказал Франсуа.

Камилл показал ему язык.

Альгрэн с шутливым удивлением раскрыл глаза, словно подсмотрел какой-то секрет, которого нельзя разглашать, и уселся на табурет.

— «Вот наши чемоданы! — начал Камилл. — Я голодна, как волк. Жерар уверяет, что здесь поблизости есть превосходный кабачок, который славится утками с лимонным соком». Так хорошо?

— По-моему, вполне прилично, — заметил Альгрэн.

— Так лучше, — согласился Франсуа. — Если он наденет платье, которое прислала Жанна Ланвен, пожалуй, сойдет.

— Как, — воскликнул Камилл, — есть платье от Жанны Ланвен, а мне ничего не сказали? Покажите его! Где же костюмерша? Костюмерша!

Репетиция приостановилась. Камилл непременно хотел посмотреть красивое платье, присланное из Фобур-сент-Оноре, и Ванэнакер надел его на манекен. Этот храбрый офицер, который вместе с Франсуа до конца отстреливался из автомата и последним из всего бравого батальона сложил оружие, этот могучий неуклюжий человек исполнял теперь обязанности портнихи. Впрочем, его гражданская профессия имела касательство к портняжному ремеслу и к другим мирским занятиям: Ванэнакер был фабрикантом и торговцем церковной утварью и поэтому умел скроить ризу или сутану.

На его огромных квадратных ладонях лежало воздушное женское платье яркой расцветки, напоминавшее рисунки Дюфи. Оно выглядело так изящно, так необычно, что вести дальше игру, которая была им необходима, чтобы продолжать жить, казалось почти невозможным. Это было похоже на то, как если бы карлики стали изображать нормальных людей и сами поверили себе, а потом неожиданно среди них появился человек нормального роста.

Камилл взял из рук Ванэнакера картонный лифчик, которому предстояло изображать прелести легкомысленной Адэ. Он был выпуклый, округлый, но такой жесткий! Камилл постучал по нему согнутым указательным пальцем, послышался глухой звук.

— Ну конечно, — сказал Альгрэн, — надо иметь мужество признать, дорогой Ванэнакер, что есть вещи, которые невозможно воспроизвести. Я, конечно, отнюдь не беру под сомнение искусство «раскладных», но...

«Раскладными» называли Ванэнакера и Параду. Они удивительно подходили друг к другу — один блондин, другой брюнет, оба одинаково рослые, около метра девяносто. У Параду, бывшего студента Центрального технического училища, были удивительно ловкие и умелые руки, он постоянно что-то мастерил из жестяных консервных банок, так же как Ванэнакер — из дерева и картона.

В дверь снова просунулась чья-то голова, и человек с добродушной усатой физиономией, похожий на угольщика, спросил:

— Ван, двух больших гвоздей не найдется?

— Нет, — сердито закричал Ван.

— Мне нужно полку прибить, — спокойно продолжал тот. — Я сделал полку, а она сегодня ночью свалилась мне на башку...

— Нет, хватит, довольно! Лезут ко мне со всех сторон... Нет у меня гвоздей! И инструмент больше никому давать не буду. Недавно какой-то подлец взял у меня стамеску и вернул мне ее зазубренной. Не дам, да и все! — И тут же сразу, без перехода: — Сколько штук тебе надо?

— Четыре, — с грустью сказал вошедший. — И кроме того, мне понадобятся кусачки.

— Кусачки! — вздохнул Ван, задетый за самое больное место. Он поднял руки к небу, как бы призывая его в свидетели, но сказал: — Приходи после ужина!

Камилл снял китель и остался в шерстяном свитере цвета хаки, который облегал его тонкую талию и плечи, слишком широкие если не для мужчины, то для женщины. Он приложил картонный лифчик к груди, поглядел на него, опустив подбородок, и, подражая капризной кинозвезде, закричал:

— Костюмерша! Послушай, Ван, помоги мне, я не могу так... Я буду жаловаться в Союз актеров!

Ван стал прилаживать лифчик. Огромные руки с прямоугольными пальцами работали поразительно ловко.

— Ты меня щекочешь, — сказал Камилл.

— Я тебе уже говорил, прибереги свою кокетливость для сцены, — сказал Франсуа. — Оставь это платье, и будем продолжать репетицию.

Однако у младшего лейтенанта Камилла, как у настоящей женщины или у настоящей кинозвезды, воплощающей самую природу женственности, были свои капризы, и он не успокоился, пока не примерил платье, приложив его к груди. Он смотрелся в большое зеркало, составленное из множества кусков, повернулся, качнул бедрами и легким движением руки выпустил на лоб светлую челку.

— По-моему, от такого зрелища кровь в голову бросается, — сказал Альгрэн. — Не понимаю, как вы можете привыкнуть к этому! Или, если угодно, наоборот — не следует ли опасаться, что вы к этому привыкнете, так же как и актеры елизаветинского театра. Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь. Что вы думаете об этом, полковник?

— Я, как вы знаете, старый солдат, — ответил Маршандье. — Гм! В сущности, я хочу сказать, что в 1924 году у нас в Марокко, в пустыне, я навидался театральных представлений...

В глазах у полковника зуавов промелькнула подозрительная искорка. Он покраснел и тяжело задышал.

— Простите, господин полковник, — перебил Альгрэн, — так же, как и у елизаветинцев, они у вас были, наверное, помоложе, я имею в виду актеров...

— Ах, скотина! — сказал Камилл с удивительно правдивой интонацией.

— Вот это самое и требуется, — воскликнул Субейрак. — Эта самая интонация и нужна! Давай твою реплику! И тон, и голос, и жест — как раз то, что нужно. Ну, давай...

Камилл послушно начал:

— «...утка с лимонным соком. А потом, ночью, мы поедем в Париж. Обожаю ночную езду...»

Потому ли, что за последние десять минут стало заметно темнее — с Балтики или из России двигались темные тучи, — потому ли, что до них доносились изысканно-прихотливые звуки чьей-то импровизации на рояле, или благодаря магическому воздействию актерской игры и снисходительности этих мужчин, лишенных женского общества, — как бы то ни было, несколько секунд иллюзия была полной — среди них появилась женщина.

Франсуа ликовал. Может быть, все-таки удастся поставить пьесу Салакру. Он снова начинал верить в успех при виде этого чудесного превращения... Волнуя всех своей искренностью, Камилл продолжал:

— «Прильнуть к человеку, которого любишь, запрокинуть голову к небу...»

— Нет, — тихонько перебил Франсуа. — Дальше не идет. Ты срываешься как раз на словах «запрокинуть голову». Ты смущен. Ты забыл, что ты женщина. Начинай снова. Больше чувственности.

— «Прильнуть к человеку, которого любишь, запрокинуть голову к небу...»

— Нет, это декламация!

Камилл снова повторил. Еще менее удачно.

— Сухо, черт возьми, не идет! Надо увлажнить! — воскликнул Франсуа в отчаянии.

В мастерской раздался взрыв смеха: у Франсуа появилось такое чувство, словно после долгого замедленного падения он, одетый в лагерную форму, очутился в другом мире, неизвестно как и откуда попав в эту странную комнату. Почему они смеются? Он оглядел полутемную мастерскую, и на его лице было написано такое удивление, что все, во главе с полковником Маршандье, захохотали еще громче. Он понял, наконец, двусмысленность своего восклицания. Конечно, товарищи правы, это смешно.

Решив обыграть положение, Камилл направился к своему режиссеру раскачивающейся походкой девки из мюзик-холла.

— Тото, свет! — крикнул Франсуа.

Хлынул поток электрического света. Камилл положил руку на плечо Франсуа и проговорил вполголоса с притворной печалью и подчеркнуто мужественным тоном:

— Я готов сделать для тебя все что угодно, Франсуа, но вот то, что ты у меня просишь, знаешь, старина, этого уж действительно я никак не могу.

Смех возобновился. В дверях показалась еще чья-то голова.

— Нету! — рявкнул Ванэнакер, не зная даже в чем дело.

Но пришедший явился не для того, чтобы выпрашивать клещи, гвозди или молоток. Это был Фредерик, композитор — мужчина лет тридцати, удивительной внешности, с глазами навыкате, скрытыми под стеклами очков, большими черными усами, нарочито неловкой клоунской походкой и привычкой к постоянному шутовству.

Der Komponist * — как его прозвали — работал у рояля в соседней комнате для репетиций и зашел сюда, привлеченный общим смехом. Фредерик был шутником, какие часто встречаются среди музыкантов — общеизвестным примером может служить Эрик Сати **. В армии Фредерик был лейтенантом, в гражданской жизни — судебным приставом; он обожал музыку и страдал оттого, что не может отдаться ей вполне. Эту драму, также как и свои взгляды и свою необычную чувствительность, он скрывал под личиной совсем другого человека, придуманного им от начала до конца. Это была маскировка, которой он защищал себя.

— Г'ебята, — закричал Фредерик, задыхаясь и выговаривая слова на какой-то особый, придуманный им лад. — Услышав, как вы смеетесь, я решил привести к вам душку Леблона, моего сателлита, моего гениального паразита, моего Леблона, мою музу. Леблон, заходи и поклонись господам офицерам.

Леблон был тощим рядовым, серым солдатиком, добрым и доверчивым парнем во всем, за исключением музыки, в отношении которой он проявлял беспредельную самоуверенность деревенского зазнайки. Он был вестовым и отлично играл на трубе.

— Вот пос'ушайте, г'ебята, — продолжал Фредерик, — нет, вы только пос'ушайте! Леблон, обожаемый, давай свою трубу. Вы сейчас ус'ышите, как он играет, г'ебята, я вам серьезно говорю — можно подумать, что это сам боженька вам в ухо мочится.

Это замечание добавляло к облику Фредерика еще одну черточку — антиклерикализм. Из трубы Леблона понеслись звуки бешеной, головокружительной польки. Леблон остановился, тяжело дыша, улыбаясь своими крысиными глазками. Раздались аплодисменты.

— Как я, бывало, ее заиграю у нас на танцульке — голубая полька называется,— что делалось!.. Девчонки, бывало, ко мне так и льнули на этих танцульках. Я и другую знаю, меня господин Фредерик научил.

Он снова заиграл. Полковник, поднявшийся с места, поздравил Фредерика.

— Это ваше сочинение?

— Моя аранжировка, господин полковник.

С высокопоставленными лицами, чье превосходство было бесспорным, Фредерик разговаривал нормальным тоном.

— Это Ave Verum Моцарта, переделанная в польку, — добавил он с серьезным видом судебного пристава. Полковник улыбнулся, засвидетельствовав таким образом, что зуавы не лишены чувства юмора, и вышел, не преминув оставить в кресле пачку сигарет, тут же подхваченную Камиллом.

---

* Композитор *(нем.)*.

** Эрик Сати (1866—1925) — французский композитор.

Кинозвезда повернулась к Франсуа:

— Кто хочет закурить хорошую марокканскую сигареточку, которую мне оставил мой старик? Ну конечно, мой миленький режиссер!

— Ладно, ладно, ладно, — сказал Альгрэн. — Я... я пойду на лекцию.

Он посмотрел на Франсуа, потом на Камилла, изобразил на своем лице негодование и произнес:

— Боюсь, Субейрак, что ты не вполне отдаешь себе отчет в том, что делаешь, поручая женскую роль этому существу, предназначенному, более того — созданному для нее! Камилл, всячески приветствую вас!

— О чем ты сейчас будешь читать?

— О детях Магомета.

— Ты за или против них? — поинтересовался Франсуа.

— Я — против, — ответил Альгрэн, — но, естественно, это зависит от позиции, которая будет занята в отношении рассматриваемого предмета...

— И обратно... — сказал Фредерик.

Альгрэн пожал руку трубачу Леблону.

— Высокая честь! — воскликнул der Komponist, которого Франсуа называл «Трагическим снегирем» за его манеру свистеть, сочиняя свои произведения. — Высокая честь, душка Леблон, для рядового второй очереди, без чинов и званий, для пролетария, которого музыка преображает и возносит в платоновские сферы высшего общества лейтенантов и капитанов! Золотая нашивка почтила сейчас твой скромный грубошерстный рукав, о гений берегов Скарпа и села Жанлен-ле. О! Тебя приветствует один из наших уважаемых членов. Высокая честь, господин член университета, высокая честь, господин член!

— Мне бы лучше во Францию вернуться, — ответил Леблон.

— Как? Ты, великий Леблон, подвержен таким слабостям?

— Загвоздка-то в том, что я все ж таки побаиваюсь, господин Фредерик. Моя подружка, она мне вот чего сказала: «Твои черты навеки врезались в мою память».

— Ну и что же?

— Так вот, я все-таки боюсь, как бы она за другого не вышла, господин Фредерик.

Эта трогательная наивность рассердила Фредерика, на него нашел один из тех приступов словесного неистовства, в которых он весь словно выплескивался наружу. Он снова спрятался за личину чудака, которого он так часто изображал.

— Г'ебята, с'ушайте меня! Я сделал грандиозное открытие, которое потрясет Науку и Искусство. Неверно, будто мы живем на поверхности шара. Это иллюзия! Г'ебята, вы этому верите, потому что вам так говорили. На самом деле мы живем внутри шара... Вот это — правда. Знаю, знаю — вас удивляет, г'ебята, что мы не падаем в воздух? Я так и думал. Ошибка, грубая ошибка! Если земля внутри пустая, то всякая тяжесть должна притягиваться не к ее центру, а к середине той сферы, которая нас окружает. Слушайте внимательно, г'ебята...

Франсуа посмотрел на Фредерика. Что-то чрезмерное было в этом безумном потоке слов, что-то не похожее на его обычное балагурство. Камилл, ставший серьезным, заговорил с Франсуа о своей роли, но тот сделал ему знак замолчать. «Трагический снегирь» безумствовал, подражая какому-то неистовому лектору.

— Г'ебята, если копать достаточно глубоко, то мы через некоторое время выйдем к наружной поверхности земли, настоящей земли. И тогда мы увидели бы настоящее небо, то, которое мы не знаем! Г'ебята, вы понимаете, а? Копать, чтобы увидеть небо.

Он вдруг без перехода изменил тон:

— Послушай, Франсуа, вот ты, я уверен, ты понимаешь...

Фредерик многозначительно подмигнул. Этот жест при всем его шутовстве был полон странного смысла.

— К-как, окунем его в синьку? — спросил Тото.

— Нет, г'ебята, вы этого не сделаете. Это будет не по-д'ужески!

Однако именно это уже не раз случалось с ним!

Беспрерывно балагуря, Фредерик испытывал какую-то странную потребность доводить окружающих до тошноты своими шутками. Однажды, чтобы отплатить ему, ребята из театральной труппы окунули его по колени в синюю краску. Фредерик был счастлив, как никогда.

— Ах нет, — сказал он, — наипрекраснейшая мадемуазель Камилла, такая милочка, прямо телочка, она не разрешит в своем присутствии подобное эротико-мазохистское распутство.

Остальные молча переглядывались.

— Хорошо, хорошо, ребята, я ухожу. Я понял. Леблон — музыку!

Леблон поднес ко рту трубу и заиграл бешеную польку. «Трагический снегирь» вышел с видом избалованного повелителя, приветствуя незримые народные толпы и милостиво отвечая на восторженные крики.

— Все-таки с-с-следовало бы его окунуть, — заметил Тото Кавати-ни. — Ты не сообразил, Франсуа.

— Паяц! — сказал Ванэнакер среди общего молчания. — У меня от этого пономаря под ложечкой засосало. Я хочу есть.

— Обжора, — машинально ответил Франсуа, как говорил когда-то в батальонной столовой.

Молодой офицер был озабочен. Трудно разобраться в этом Фредерике. Эта настойчивость, с которой он повторял «копать землю»... Знает ли он? «Штубе» для репетиций была смежной с их комнатой...

Христианнейший Тото, помешивая кипящий этуф-кретьен *, напевал:

Звезда эстрадная была
Голым-гола, голым-гола.
Амур-шалун тому и рад,
Звезде он дует в голый...

Камилл развалился в кресле, где до него сидел полковник. Он зевал, потягивался, гримасничал.

— Ах, — сказал он, — если бы можно было раздвоиться, я бы пригласил самого себя прокатиться по Булонскому лесу!

И тут же без перехода, повысив голос, обратился к Каватини:

— Тото, ты лицемер, лжесвидетель и иезуит, ты никогда не договариваешь до конца свою мысль!

— Ч-ч-чего не договариваю?

— Слов песни!.. А как твой этуф-кретьен?

— Он в-в-варится. Когда перестанете валять дурака, можно будет есть.

Субейрак задумчиво курил сигарету полковника, вернее пускал дым маленькими аккуратными облачками.

— Ван, кто этот парень, который приходил за кусачками?— спросил он наконец.— Я стоял спиной к нему. Судя по голосу, это был Эберлэн?

— Да, Эберлэн, — подтвердил Ван. — Эберлэн из двенадцатого барака, тот, что бежал.

— Образцовый беглец, — уточнил Камилл.

Артиллерист Эберлэн дважды бежал из лагеря и дважды был пойман и доставлен назад. В то время у немцев сохранялось еще более или менее спортивное отношение к побегам. Не говоря об этом вслух, они призна-

* Игра слов. Этуф-кретьен в буквальном переводе означает — «душитель христиан» *(франц.)*.

вали, что пленным свойственно думать о побеге, а им следует сторожить их. Поэтому образцовый беглец Эберлэн отделывался каждый раз пятнадцатью сутками ареста за побег. Теперь эти мягкосердечные нравы стали меняться.

Франсуа спокойно заметил:

— Будьте осторожны с Эберлэном. Он отчаянный. Во-первых, его рожа сразу выдаст его. Ему достаточно показаться на глаза, чтобы самый тупой Posten * из Померании сказал себе: «Вот парень, который задумал бежать». Мне это не нравится.

— Значит, — спросил Ван, — не давать ему кусачки?

— Нет, — ответил Франсуа. — Давай ему все, что он попросит. Я тебе потом объясню.

II

Начальник четвертой «штубе» двенадцатого барака делал очередное сообщение за истекший день, 7 апреля 1942 года, когда в комнату вошел Субейрак. Он искал Эберлэна.

На мгновение он ощутил эгоистическое удовлетворение при мысли о том, что ему удалось избежать общей участи военнопленных и что он не живет в общем бараке, среди этой скученной, обезличенной людской массы. Стандартный жилой барак, вроде того барака, где помещался театр, делился на четыре комнаты — «штубе». Деревянные стены были окрашены в угрюмый зеленый цвет, напоминавший вагон. Над койками мрачной черной краской выведены номера. Вход в «штубе» вел через двойную деревянную дверь. Комната была заставлена дощатыми койками, возвышавшимися одна над другой в три этажа, — внизу, у пола, на уровне груди и наверху. В каждой «штубе» помещалось сорок восемь таких коек, число живущих в «штубе» колебалось от сорока до сорока восьми. Во время утреннего подъема, умывания и еды эти трущобы военного образца кишели людьми, которые толкались и мешали друг другу.

Пришлось ждать, пока начальник «штубе» закончит чтение немецких приказов и указаний начальника лагерного блока, сообщений о продуктах, которые можно получить в КО — коллективной продовольственной лавочке с громким названием «Комиссия ординарцев», о последних сальто правительства Виши. Однако все слушали внимательно. Каждый раз повторялась та же картина: все, что приходило из Свободной Франции, вызывало настороженное внимание, глаза прищуривались, люди пытались разгадать предполагаемый скрытый смысл слов для того, чтобы потом снова, с тем же разочарованием, вернуться к печальной лагерной действительности. В лагерях все еще называли Виши Свободной Францией, тогда как в самой Франции говорили просто «неоккупированная зона» или «ноно»**.

Начальник «штубе» — кавалерист, сохранивший выправку и даже некоторую надменность в осанке, заканчивал свое сообщение:

— И наконец, господа, полковник, старшина лагеря, напоминает вам, что по гигиеническим соображениям использование кухонной посуды в качестве ночных горшков запрещается.

Раздался смех. Сообщение кончилось. Эберлэн заметил Субейрака. Артиллерист закутался в свою зеленую шинель — эти шинели были взяты с захваченных немцами польских складов и выдавались пленным офицерам, которые не имели никакой одежды, — надел свой шлем и пошел было к двери, но остановился, услышав слова начальника «штубе»:

— Господа, прошу прощения. Внимание, господа. То, что я вам сейчас скажу, весьма серьезно.

---

* Часовой *(нем.)*.

** «Zone non occupée» *(франц.)*. — в беглой речи звучит как «ноно».

Все замолчали. Капитан продолжал вкрадчивым голосом:

— Канцлер Гитлер сообщил в своей речи, что немцы взяли 3.916.993 человека советских пленных. Он заявил: «Большевики будут разбиты и уничтожены. Большевистские орды перестанут существовать этим летом». Учтите это!

Снова раздался шум и смех. Эберлэн был похож на военного неопределенной национальности, вроде одного из тех персонажей, которые в изобилии появились впоследствии в романах и пьесах разных авторов от Жана-Поля Сартра до Сименона. Он вышел. Люди, толкаясь и задевая друг друга, занялись приготовлением ужина; четверо офицеров с табуретками на плечах, похожие в своих длинных шинелях на трехрогих минотавров, собирались на лекцию Альгрэна о Магомете — каждому полагалось приходить со своим стулом.

— Вот болваны, — сказал Эберлэн. — Подумать только, например, что Мато, торговец маслом и яйцами, ходит на лекции по философии, а затем будет нам морочить голову Шопенгауером. Ничего он не понимает в Шопенгауере. Да нет, ты только представь...

Помещение для лекций находилось в середине широкого полукруга. Из всех бараков третьего блока к нему по радиусам шли, кто быстро, кто медленно, минотавры разного роста.

— Пройдемся по лагерю? — предложил артиллерист, у которого это зрелище вызывало чувство отвращения.

Недавно немецкий комендант разрешил передвижение между блоками внутри лагеря. Это позволило любителям прогулок подолгу выхаживать вдоль рядов колючей проволоки, окружавшей лагерь. Из неуклюжих деревянных башенок, напоминавших Субейраку картинки осады Алезии в учебнике истории, выглядывали серо-зеленые охранники, вооруженные автоматами. Еще утром было морозно, термометр показывал ниже десяти градусов, но легкий южный ветер смягчал холод. Прозрачный воздух позволял видеть даль полей. На замерзшую равнину, усеянную снежными островками, надвигался чудесный вечер.

Франсуа и Эберлэн были мало знакомы и не симпатизировали друг другу. В артиллеристе чувствовался вечный заговорщик, конспиратор в таинственном плаще, и это раздражало Франсуа. В Субейраке было что-то открытое, располагающее, общительное, и это, в свою очередь, раздражало Эберлэна.

Они подошли к ступенькам, ведущим во II блок. Южный ветер был здесь сильнее, он дул в направлении ближнего леса на пути к морю. Их сапоги ступали по выложенной бревнами песчаной дороге, служившей для обхода часовых. Деревянный настил был необходим: в дождливое время Темпельгоф утопал в грязи.

— Какая хорошая погода, — сказал Эберлэн. — «Последняя дверь выходила на равнину».

Франсуа промолчал.

— Это из Андре Жида, — упрямо продолжал артиллерист. — Единственный из современных писателей, которого я воспринимаю. Потому что он любит свободу.

— Зачем тебе нужны кусачки? — спросил Франсуа, мало расположенный к литературному спору с этим субъектом.

— Нужны.

— Начали уже?

— Нет.

— Так зачем же?

— Они мне нужны для другого. Тебе это мешает?

— Я просто не люблю, когда из барака уносят инструмент неизвестно куда, — вот и все.

— Нет, дело все-таки в другом — это тебе мешает.
— Работа не началась?
— Нет. Все зависит от тебя. Давай постоим здесь.

В этом месте лес мысом заходил в пределы лагеря, ели росли у самой ограды. Бриз, предвестник весны, дувший из Румынии и Болгарии, веял между стволами деревьев. Бараки стояли здесь в самом лесу. При некотором воображении можно было представить, что ты на даче. Прямо перед ними, по ту сторону колючей проволоки, расстилалась бескрайняя равнина Северной Германии. Ничто не оживляло ее, кроме приземистой фермы у пруда, возле которого хлопотала крестьянка в красной юбке, да линии железной дороги, по которой их доставили сюда; вдали виднелись две колокольни — и все.

Это был скорее польский, нежели немецкий пейзаж. К северу темнела полоса леса с белыми пятнами берез на фоне ельника. Сюда, в лес, заключенных посылали за дровами, а за ним простиралась Балтика.

Порой можно было угадать близость моря. С северным ветром прилетали чайки и доносился запах морских водорослей. Тогда Франсуа дышал полной грудью и чувствовал себя гораздо более несчастным. Его томила жестокая тоска по морю. Никогда не видел он такой бескрайней равнины и такого широкого, изменчивого, щедрого неба, как здесь, в Померании.

Сегодня на небе громоздились и росли гигантские движущиеся здания, созданные из облаков, огромные плывущие города и над ними вдали причудливые висячие сады, золоченые купола, Вавилон с минаретами— целый восточный город, словно чудесные росписи Веронезе, освещенные лучами заходящего солнца.

Субейрак, не двигаясь, смотрел на Темпельгоф. Он чувствовал нетерпение своего спутника, но не хотел заговорить первым.

Расположенный на небольшом пригорке между лесом и покрытыми вереском дюнами с одной стороны и ржаным полем с другой, опоясанный высокой оградой из колючей проволоки, Темпельгоф представлял собой почти правильную геометрическую фигуру: два неравных полукруга, соединенные между собой по линии диаметра. В центре, среди грубо сколоченных бараков, возвышалось большое, тщательно отделанное деревянное строение с широкими окнами. Это был лагерный театр, построенный не для военнопленных, а для «гитлеровской молодежи».

В этом здании Франсуа собирался вскоре поставить «Комическую историю». Превосходная сцена использовалась для работы драматических коллективов, а когда не было представлений, в театральном зале собирались пленные офицеры, чтобы почитать, поработать или выпить кружку-другую густого, темного, но некрепкого пива.

Косые солнечные лучи освещали алый флаг с черной свастикой на белом круге. К этому зданию примыкали дома Lagerführung*: полицейский пост, господствовавший над единственной дорогой, которая вела на станцию, почта, амбулатория, ремонтные мастерские, склады. Все это вместе, покрытое инеем, представляло красивую и ясную картину; сверкающая белизна льда придавала ей сходство с фламандскими примитивами.

— Нет, еще не начинали! — продолжил разговор образцовый беглец. — Знаешь, почему?

— Догадываюсь, — сказал Субейрак. — Но я тут ничего не могу поделать.

— Послушай, нет, ты послушай. Вот что было сказано сегодня в докладе, как раз перед тем, как ты вошел. Я запомнил текст: «Франция больше не воюет с Германией. Следовательно, побеги бесполезны. Раз-

* Управление лагерем *(нем.)*.

ве только из-за эгоистического желания свободы, — да, да, именно так и было сказано — «эгоистическое желание»,— разве можно только из-за этого подвергать риску наказания остающихся товарищей, в частности тех, кто не в силах бежать из-за своего возраста или по состоянию здоровья». А? Каково?

— Кто это сочинил?

— Полковник, комендант лагеря. Не бош — француз. Староста. Маршандье, зуав! Какая нелепость, Субейрак! В таком случае я — эгоист! Значит надо отнять возможность бежать у всякого, кто хотел бы удрать к черту из этого лагеря только потому, что это может повредить всей богадельне престарелых капитанов. Он просто спятил, твой друг полковник!

— Я думаю, Эберлэн, ты этого никогда не поймешь... Есть вещи, которые он должен говорить, потому что немцы от него требуют. Это входит в его обязанности. Ведь кто-нибудь должен это делать!

— Никто его не заставляет — он может откланяться, и всё.

— Может. И тогда не будет лекций. Не будет театра. Не будет дополнительного питания. Не будет лавки. Не будет прогулок вне лагеря. Переписка будет сведена к установленному минимуму, пойдут обыски, придирки...

— По-моему, так лучше.

Его рот искривился: образцовый беглец был непримирим. С Эберлэном приходилось обращаться по-особому. Уж если он начинал выходить из себя — лучше всего было дать ему успокоиться.

Франсуа посмотрел в сторону барака, где читались лекции на любые темы — от бухгалтерии до разбора «Могилы Эдгара По», служились мессы и проводились собрания фольклористов или кружка католического действия, в котором мужчины, лишенные женщин, серьезно обсуждали вопрос: «В какой мере мужья выполняют свои обязанности по отношению к женам». В данный момент Альгрэн рассказывал там о печальной участи потомков Магомета и о том, как произносится по-немецки слово «Пуатье».

Южный ветер пригибал к земле и нес в их сторону дым, поднимавшийся из труб. Скоро начнется оттепель.

— Послушай, — сказал наконец Субейрак, — я понимаю, к чему ты клонишь. В сущности, вы бросили это дело только потому, что если вести подкоп из вашего двенадцатого барака, то он будет слишком длинным.

— Ну да. Мы пробовали, это ужасно. Сплошной песок, приходится крепить лесом, особенно если копать весной... Вечно будет не хватать досок. Поэтому приходится вернуться к первому варианту — бежать из... из твоего барака. Постой, постой, послушай меня. Самое разумное, чтобы подкоп шел из того барака, где театр. Из семнадцатого. У нас три возможности. Из комнаты вестовых практически неосуществимо и слишком рискованно. Немцы подсаживают шпиков к солдатам. «Штубе» для репетиций имеет свои преимущества и свои неудобства. Твоя «штубе» — одни преимущества. Сто восемьдесят метров вместо двухсот. Гораздо удобнее в отношении люка, в отношении электричества, вентиляции, выноса земли. Наконец — почва. Нет, самое лучшее — это твоя «штубе». Потому что это самый короткий путь. Потому что время не терпит. Потому что вы свободны. Потому что у вас все под рукой. Потому что у вас в бараке не торчат постоянно сорок восемь ребят — музыкантов, хористов или тулузских певцов, которые все время смотрят, как ты перетаскиваешь землю в консервных банках. Разумеется, ты уходишь с нами.

— Я недостаточно знаю немецкий.

— Немецкого многие не знают. Уйдет столько народу, сколько удастся вывести.

— Чтобы легче было нас переловить?

— Чтобы было больше шансов на успех. Работы ведь много. Нас сто шестьдесят человек.

— Это совершенное безумие. За двадцать два месяца никому еще не удалось бежать через подкоп.

— Потому что были стукачи, и все проваливалось.

— Вот видишь.

— Дело в том, что слишком много людей знало. Подумай, Субейрак.

— Я обо всем подумал. Вы уйдете — пусть даже «мы» уйдем — подкоп останется. Это значит — конец театру.

— Как будто это имеет значение.

— Не только театр, но и все остальное.

— Ты говоришь точь-в-точь как полковник. Браво! Сразу видно, что ты в Петеновском кружке.

— Я в Петеновском кружке, потому что не могу поступить иначе и, кроме того, я не обязан отчитываться перед тобой. Впрочем, у меня нет права решать самому. Нас направил туда полковник. Он старший в лагере. Это единственный представитель нашей военной власти здесь. Я посоветуюсь с ним.

— Запрещаю тебе это.

— Ты ведь все-таки не думаешь, что полковник вас выдаст?

— Я не хочу, чтобы он знал. Он сволочь. И ты тоже.

— Как ты сказал?

— Ты тоже сволочь.

Франсуа схватил его за руку выше локтя и, несмотря на толстую шинель и свитер, сжал ее до боли. Похудевшее смуглое лицо молодого офицера стало жестким. Да, с сентября 1939 года этот лейтенантик, трепетавший перед майором Ватреном, изменился! Он сдержался и лишь сухо спросил:

— Почему ты хочешь бежать?

— Потому что я кадровый офицер.

— Куда ты направишься? В Лондон, Алжир или в Москву?

— В Лондон.

— Ты действительно профессиональный военный, ты все упрощаешь до глупости.

— Послушай, Субейрак, я сказал лишнее, я знаю, ты не предатель. Но я тебя не понимаю. Тебе нравится здесь?

— Идиот! Я считаю бесполезным удирать только для того, чтобы через сто—двести километров или на границе тебя поймали, после того как ты здесь все напортил двум тысячам ни в чем неповинных людей.

— Все это правильно. Я согласен, что бежать в одиночку могут только те, кто хорошо говорит по-немецки. Но у меня есть точный план. И есть средства. У меня есть марки. Когда мы рванем отсюда — в таких случаях всегда бывает неразбериха, — мы с тобой будем держаться друг друга. Остальные сами как-нибудь устроятся. Мы будем вместе, втроем.

— Кто это «мы»?

— Франклин.

— Не знаю его.

— Артиллерист. Его зовут Веньямин. Мы прозвали его Франклином. Он артиллерист, раньше учился в Морской школе, но не окончил ее.

— Ну и что же?

— В Морской! А море близко. От острова Рюген до Фальстербо — это уже Швеция — меньше пятидесяти километров.

— А сколько до острова Рюген?

— Приблизительно столько же. У меня есть человек, который доставит. Рыбак из Лауэнмюнде. Десять километров отсюда.

Лихорадочная жажда деятельности овладевала Эберлэном. Он говорил отчетливо и быстро. Он видел перед собой карту и был уверен в себе. Франсуа почувствовал невольное восхищение.

— У меня есть пятьсот марок, — продолжал артиллерист.

Дух приключений и действия, та же сила, которая однажды вечером, накануне захвата в плен, заставила Субейрака покинуть батальон, стремление вырваться, давнишнее отвращение к принуждению и затаенное озлобление заключенного, мягкая теплота вечернего воздуха — все это побуждало Субейрака дать согласие. А может быть, больше всего был в этом повинен южный ветер, который навевал мысли о розовом варенье, о золотистом табаке и о цветущих лавровых деревьях? Эберлэн не болтал зря: он хорошо продумал свой план. Франсуа представил себе, как он вместе с другими уходит через подкоп. Он представил себе также тех, кто не верил в удачу и поэтому останется. Он подумал о бешенстве немцев и о массовых репрессиях в лагере. Мысленно он видел полковника Маршандье, от которого он скроет свои намерения; полковник скажет: «Субейрак не доверял мне».

И потом Субейрак вспомнил о майоре Ватрене, таком же военнопленном, как и все они. Майор жил, словно волк-одиночка, выходя из комнаты только чтобы пройтись по лагерю. Он никогда не бывал в театре, несмотря на интерес к тому, как живут его офицеры, пожалуй, единственный интерес, сохранившийся в его жизни затворника. Ватрен стал еще более молчаливым, угрюмым, суровым.

Когда недели две назад Эберлэн впервые заговорил с ним о побеге, Субейрак посоветовался с Ватреном. Он часто навещал своего бывшего начальника. Ему всегда хотелось чем-нибудь помочь Ватрену в его одиночестве.

— Так как же? — спросил Эберлэн.

Ватрен, казалось, не пришел в восторг от этого замысла. Конечно, в принципе он относился к побегу положительно. Он просто сказал:

— Голубчик, я вами больше не командую. У вас есть полковник, начальник лагеря.

Нет, этот старый воин, старый кадровый офицер, этот несгибаемый человек не был в восторге. «Надо как следует продумать ваш план», — сказал он. А ведь Ватрен не шел ни на какие уступки и компромиссы с немцами или с Петеновским кружком, а тем более со сторонниками коллаборационизма, которых он открыто презирал. Старик, сам того не зная, в точности следовал словам Сент-Экзюпери*: «Если ты побежден, будь безмолвен, как семя в земле».

— Так как же,—повторил Эберлэн.—Нельзя терять времени. Весна приближается. У нас двадцать шансов из ста, это очень много. Когда я ушел в первый раз, у меня был один шанс из ста и всё-таки мне чуть-чуть не удалось...

Это было правдой. Артиллерист Эберлэн удрал, имея поддельные бумаги с печатью мэрии одного померанского села. В документах подтверждалось, что предъявитель — глухонемой, нуждается в содействии германских железнодорожных властей. Ему удалось добраться до венгерской границы, и он считал уже, что все сошло благополучно, как вдруг его захватил патруль: линия границы была незадолго перед тем изменена и патруль фрицев оказался на пять километров дальше, чем он предполагал.

— Нет, — сказал Субейрак, — если я решусь бежать, то сделаю это один.

---

* Антуан де Сент-Экзюпери (1900—1944) — французский писатель и летчик, погибший во время второй мировой войны.

Эберлэн остановил его. Он взял его за пуговицу шинели и посмотрел прямо в глаза.

— Ладно, мы поведем подкоп из другого места. Но в случае провала на тебя ляжет тяжелая ответственность, Субейрак.

— И в том, и в другом случае на меня ложится ответственность. Я выбираю ту, которая меньше.

— Я тебе все-таки скажу то, что думаю. Я начинаю понимать, кто ты. Ты — приспособившийся.

— Как ты говоришь?

— Вот именно — приспособившийся. Ты себя хорошо чувствуешь здесь, ты не плохо устроился. Если бы здесь еще были и женщины, жизнь стала бы вполне сносной. Недаром мы живем в царстве Эрзаца. Это — заразительно. Говорят, будто ты и сам занялся выделкой эрзацев.

Ребром ладони Субейрак ударил Эберлэна по руке, тот вскрикнул от внезапной боли. Они с ненавистью посмотрели друг на друга.

— А ты, я тебе скажу, кто ты! Ты психопат, ты одержим желанием действовать во что бы то ни стало. Беглец... из сумасшедшего дома! Маньяк! Тебе не терпится. Ты лжешь. У тебя нет никакого идеала, ты просто авантюрист. Да что тут говорить — кадровый военный и все! Ты мечтаешь о Лондоне, потому что там тебя скорее повысят в чине! Лондон, Алжир, Москва — ты принимаешь в расчет только свои карьеристские соображения. Интересно, что бы ты ответил, если бы тебе предложили немедленное освобождение с сохранением звания при условии вступления в СС.

Хотя Эберлэн улыбался, руки его задрожали.

— По-моему, мы все сказали друг другу, — проговорил он. — До свидания. Пойду посмотрю на русских.

И он ушел.

Франсуа вздрогнул. Эта страстная устремленность ужасала его. Хуже — она была ему отвратительна. Эберлэн большими шагами направлялся к тому месту, откуда можно было видеть русских.

Франсуа передернуло. Он вернулся в «штубе» самым коротким путем. Минотавры собирались в барак после лекции.

Франсуа молча поужинал. Целый рой мыслей кружился в голове у молодого лейтенанта. Предложение Эберлэна взволновало его. Он вспоминал о том времени, когда его мучил голод. Он был голоден, когда поезд, набитый представителями почти всех европейских стран, увозил его вместе с остатками бравого батальона в Восточную Германию. Он страдал от голода в Борене, в Трире, в пути, когда поезд шел вдоль Мозеля, между Триром и Майнцем. В тот день они с майором Ватреном оказались в пассажирском вагоне. Время от времени поезд замедлял ход. Хотя на крышах, словно куры на насесте, сидели конвоиры, Субейрака тянуло выскочить из поезда и броситься в лес. Были некоторые шансы на успех. Он не воспользовался ими. Почему? А что если Эберлэн прав? Он не воспользовался тогда этой возможностью, потому что был ранен и измучен голодом, жаждой, усталостью; в общем, ему помешала физическая слабость. Но дело было не только в ней. Приходилось признаться, что как раньше он не мог оставить батальон в дни его агонии, так и впоследствии он упустил представившуюся ему возможность из-за таинственной, неослабевающей спаянности бравого батальона, которая даже тогда сохраняла свою власть над ним. До сих пор это объяснение удовлетворяло его. Теперь Эберлэн разбудил в нем глухое беспокойство.

Последняя возможность побега представилась в Майнце.

Он вспомнил Майнц, казармы, построенные во время французской оккупации в 1919 году, алые флаги, развешанные повсюду в честь взятия

Парижа; толпу, которая равнодушно смотрела на идущую мимо колонну пленных офицеров и не выражала никаких чувств по поводу превращения вчерашних победителей в побежденных. В Майнце немцы поручили какому-то сенегальцу гигантского роста раздавать пленным офицерам похлебку и сыр неопределенного происхождения. Огромный негр смеялся, отпускал шутки в стиле известной песенки «Как хорошо в Банании». Майор Ватрен сказал, что немцы нарочно выбрали негра для этой работы, чтобы унизить пленных французских офицеров и тем отплатить им за ту, другую оккупацию, во время которой сенегальцы оставили неизгладимые следы в жизни некоторых слишком чувствительных жительниц Рейнской области. Может быть, Ватрен был прав? Иногда ненависть открывает человеку глаза, иногда ослепляет его.

Последняя возможность бежать представилась, когда колонна готовилась к отправке. Негру поручили наблюдать за порядком, и он, солдат, стал командовать офицерами. При подсчете пленных была отчаянная путаница — это повторялось потом ежедневно; немецким унтер-офицерам никогда не удавалось с одного раза сосчитать количество пленных в колонне. Франсуа оказался лишним при подсчете. Пленные офицеры переходили из одного двора в другой через узенькую калитку. Негр подмигнул ему. Стоило только отбежать назад. Франсуа, одуревший от лихорадки, упустил момент. Подошел немец, негр пожал плечами. Когда Субейрак наконец понял в чем дело, было уже слишком поздно.

Лихорадка, конечно. Или, может быть, боязнь действовать? Он не был уверен теперь.

У него промелькнула ужасная мысль — она, наверное, появилась уже давно, и разговор с Эберлэном только сделал ее явственней: «В сущности, я находился в том же положении, что и человек из Вольмеранжа — и я тоже не шевельнулся». Мысль эта, хотя и более чем спорная, была малоутешительна.

Вся их дальнейшая история оказалась не чем иным, как постепенным исчезновением двух миллионов Ион во чреве немецкого кита. Он вспомнил Лейпциг, бесконечные предместья, железобетонные здания, бункеры, металлические сооружения. Французы смотрели на все это через узкую щель, едва приоткрыв двери теплушки, где они задыхались от жары; голодные, измученные лихорадкой и нечистой совестью побежденных, а главным образом, жаждой, которая заставляла их на каждой остановке кидаться к колонкам, водостокам и к станционным водокачкам.

Перед его глазами вновь вставала Германия с ее деревнями, разукрашенными флагами, с полями, где чередовались посевы ржи и картофеля. По мере того как поезд увозил их на восток, казалось гигантские пласты этой Германии все сильнее давят на его грудь, вызывая чувство удушья. Германия... Ее реки текли на север, тогда как французские реки текли на запад; дети здесь были светлоголовые; на перронах толпились люди, одетые в национальный зеленый цвет; на переездах, облокотясь о шлагбаумы, терпеливо ожидали крестьяне; в Одере купались солдаты-отпускники, а в полях работали крестьянки в ярких платьях, словно цветы мака, рассыпанные среди неубранных хлебов. Знамена и вращающаяся свастика — волшебная мельница воскресшего варварства... Серо-зеленый, светло-карий, синий цвет удивленных детских глаз, мир, увиденный сквозь узкую щель глазами, воспаленными от жара. В лагере он, наконец, понял. Он разглядел западню, только когда попал в нее.

Он вновь задался вопросом — достаточно ли *вескими* являются такие причины, как жар, голод, жажда, усталость, отсутствие приказа и неразрывная связь со своим батальоном? Не почувствовал ли он трусливое облегчение оттого, что ужасы войны остались для него позади? Не

сдался ли он снова? В одиночку? Может быть, вечный беглец прав? Может быть, он, Франсуа, и в самом деле *приспособившийся?*

Тото тихо спросил:

— Так как же этуф-кретьен, Франсуа?

— Мне не хочется есть, Тото, — сказал Франсуа, — ты вот был в охотниках, скажи, что ты думаешь о побеге? Да, о побеге, как таковом? О необходимости побега?

III

Благодаря театру у актеров офицерского лагеря появились какие-то общественные обязанности, напоминавшие «подлинную жизнь», по превосходному выражению Ван-Гога (его «Письма» были «бестселлером» лагерной библиотеки) — у них создавалась иллюзия свободы, которую другие пытались найти в учении, в споре или в молитве. И все же пленные оставались пленными. Однако они не всегда воспринимали свое положение таким, каким оно было в действительности. Франсуа Субейрак, поглощенный постановкой «Комической истории» и принимающий это занятие всерьез, потому что весь деревянный городок принимал его всерьез, ощущал плен в гораздо меньшей степени, нежели какой-нибудь фанатик спелеологии или альпинизма.

Эберлэн, неспособный отдаться какой бы то ни было умственной деятельности, чувствовал плен гораздо острее, его лихорадочное состояние можно было простить. Именно оно оживило в Субейраке сомнения, исчезавшие по мере того, как в нем умирал свободный человек. Он взял записную книжку, в которую беспорядочно заносил свои мысли, цитаты, режиссерские заметки, и стал писать:

«Этого не понять тем, кто не был вместе с нами. Может быть, это лишь случайное ощущение, но первая попытка к бегству явилась для нас неожиданностью. Она произошла полтора года назад. Три офицера бежали вместе. Их вскоре задержали в нескольких десятках километров от лагеря. На них были штаны из мешковины и резиновые плащи, залепленные грязью, потому что они шли по заболоченным ландам. Мы смотрели на них с удивлением и восхищением, смешанным с какой-то жалостью. Их побег удивил нас не меньше, чем немцев. Ни охранники, ни охраняемые не сомневались тогда в невозможности бегства. Европа была захвачена, Швейцария — за тысячу километров, Польша — рядом, но завоевана, от Швеции нас отделяло море и, кроме того, она совершенно изолирована от нашей страны. Россия близка, но таинственна и непонятна. Только не совсем нормальные люди могли вообразить, будто можно сразу вернуть себе свободу и Францию! То обстоятельство, что мы были взяты в плен непосредственно перед перемирием, вселяло до сих пор во многих из нас успокоительные надежды на скорый мир».

Он писал твердым и остро отточенным карандашом очень мелко, чтобы легче было спрятать свои записи во время частых обысков.

«В сущности, — подумал он (но не записал), — мы под наркозом. Обещания продолжаются: завтра, morgen früh. Если Франция станет на путь сотрудничества с Европой... Наркоз! Пожалуй, Эберлэн прав! Да, приспособившийся». Это скромное слово оскорбляло сильнее, чем брань.

Камилл вернулся с прогулки, держа в руках «Поммерше цейтунг». Тома Каватини перелистал газету и заметил:

— Ребята, сегодня их девять!

Он сосчитал траурные объявления о военных, погибших на восточном фронте, — девять маленьких крестов в черных рамках, выделяющихся на белой бумаге.

— Тото, — сказал Камилл, — это отвратительно. Радоваться смерти хотя бы врага — недостойно христианина.

— Пе-пе-пеги... — начал Тома.

Упоминание о Пеги вызвало общий протест. Не потому, что Пеги, о котором без конца упоминалось после Национальной революции*, всем надоел, а просто потому, что было невыносимо слушать, как Тото заикается: «Б-б-блаженны созревшие з-з-злаки». Отрывистый стих поэта в сочетании с дикцией его поклонника представлял такую же неудобоваримую смесь, как и этуф-кретьен.

Тото нахмурился:

— Я с-с-считаю, так же, как и Симон де Монфор, что господь узнает своих**. — Он выговорил это на одном дыхании. — И кроме того, им нечего бы-бы-было соваться!

В раздражении он стал, фальшивя, напевать одну из своих любимых песенок:

Ах, телячья голова,
Ах, она кипит в котле,
Ах, кипит, но не для нас.

Эти странные слова говорили о печальном детстве в рабочем поселке на Севере, где даже телячья голова, сваренная в котле, считалась роскошью.

Франсуа сделал усилие, чтобы не слушать. Он записал:

«Ни пленные, ни охрана не верили в возможность побега, хотя мысль о нем не должна была бы покидать ни тех, ни других. Побег стал не более, чем игрой, тщетной попыткой, направленной скорее на то, чтобы нарушить монотонное течение жизни, нежели на то, чтобы обрести свободу».

Он искренне верил в то, что писал. Германия в целом представлялась ему скорее пассивной, чем злобной; опасность, казалось, заключалась в самом факте существования этой огромной аморфной массы, а не в ее враждебности. Это ощущение лишь усилилось от того, что наказания за неудавшийся тройной побег были очень мягкими: кратковременное лишение табака, более строгий контроль во время прогулок и нарядов в лес и один-единственный раз — тщательно произведенный обыск. Конечно, вскоре все это переменилось, особенно после удачного побега сына одного известного генерала и его двух товарищей. Об их успехе стало известно по следующей иносказательной фразе в одном письме: «Лондонский зоопарк обогатился тремя новыми животными — львом, леопардом и броненосцем». «Броненосец» — было прозвище сына генерала. Им удалось бежать через Россию, где их интернировали на несколько месяцев. Но потом все это изменилось. Особенно в июне 1941 года, после начала войны с Россией. Однако вслед за шоком поражения стал действовать наркоз коллаборационизма.

В мастерской послышались шаги. Это вошел помощник Ватрена капитан Гондамини, которого они прозвали в сороковом году «Неземным капитаном». Гондамини еще ни разу не был в театральном бараке. Будучи выпускником военного училища, он презирал все эти штатские развлечения. Он жил вместе с майором Ватреном в одном из бараков, предназначенных для пожилых офицеров. Эти бараки называли «Богадельней престарелых капитанов». Офицеров поселили там по четыре человека в маленьких комнатушках.

При появлении Гондамини Франсуа машинально встал.

---

* «Национальной революцией» вишисты называли события, приведшие к образованию правительства Петена.

** Симон де Монфор — полководец XII в. Здесь имеется в виду его ответ на вопрос, как отличить еретиков от верных христиан: «Бейте во славу господа тех и других, господь признает своих».

— Убит сын майора, — сказал Гондамини. — Майору только что стало это известно из письма.

Все знали, что у Ватрена есть сын, младший лейтенант, служивший в мотомехдивизионе. От него ничего не было с июня 1940 года.

Офицеры, пораженные этим сообщением, наскоро привели себя в порядок, чтобы ставшая обычной небрежность в одежде не слишком нарушала устав. Камилл, Параду и декоратор смущенно переглянулись. У Франсуа сжалось горло. Это было ужасно. Бесконечное ожидание, постоянная озабоченность, аскетический образ жизни этого старого угрюмого офицера... Он даже музыку не желал слушать, говоря: «Я всегда любил только военную музыку. Я вроде полковой лошади».

— Я условился встретиться с другими офицерами батальона возле барака майора, — сказал «Неземной капитан». — Вы застанете меня там, господа.

Господи, какая злая насмешка таилась в том, что этому дипломированному кадровику приходилось утешать человека, потерявшего сына!

В Темпельгофе было шесть офицеров из бравого батальона. Унтерофицеры и рядовые этого батальона уже давно расстались с ними и содержались в солдатских лагерях. Когда Франсуа вышел из театрального барака, солнце клонилось к закату в той стороне, где находился Берлин и Штеттин. Южный ветер по-прежнему обвевал деревянный городок мягким теплом, идущим из Болгарии, Румынии, Греции. Южный ветер коснулся ледяных узоров на окнах, и его чудесное тепло спугнуло их, также как оно спугнуло диких птиц. В сущности, Эберлэн думал о бегстве, как ласточка думает о перелете!

Они остановились возле барака майора, похожие чем-то на смущенных заговорщиков. Одного человека не хватало: он задержался в первом блоке.

Сын Ватрена погиб в Эльзасе, в десятых числах июня, когда батальон его отца был взят в плен. Обстоятельства его смерти остались неизвестны. «Неземной капитан» читал письмо и уточнил:

— Он погиб, вероятно, в то же время, что и Пофиле. Как раз тогда, когда наш батальон попал в плен.

Субейрак вспомнил майора Ватрена в жаркие июньские дни сорокового года таким, каким он увидел его после разведки ветряка, вспомнил его все возраставшую замкнутость и пассивность во время агонии бравого батальона. Он почувствовал себя ближе к этому человеку.

— Самое неприятное, — сказал своим бесцветным голосом Гондамини,— то, что первое письмо потерялось. Майор сейчас получил второе, в котором говорится о смерти его сына, как о факте уже известном.

На «Неземном капитане» был безупречный мундир — поношенный, но безупречный. Ему недоставало только стека, чтобы походить на картинку из журнала военных мод. Он похлопал кончиками перчаток по брюкам галифе сомюрского покроя, уже не новым, но прекрасно сшитым.

— Боюсь, он не вынесет. Еще крепок, но рассудок может сдать...

Солнце зашло. Вечерняя тень распространялась очень быстро, но земля еще была освещена рыжеватым, причудливо рассеянным светом, идущим словно изнутри. Земля казалась розовой, необычно освещенной. Вокруг лежало еще много снега.

К ним подбежал еще один офицер — ему пришлось уйти с занятий по английскому языку, которые проводились в первом блоке.

Они не решались войти к Ватрену.

Великолепный пейзаж быстро покрывался фламандским лаком. Чистые четкие линии брейгелевских картин... Почему Субейрак так любил вечера? Радость, которую они доставляли ему, можно было сравнить с тем, что он испытывал у моря. Эта повышенная восприимчивость к природе появилась в нем лишь во время войны. Субейрак не подумал о простом объяснении — о детстве, о зеленом луче, которого он не переставал ждать...

— Ах, боже мой,— проворчал он с внезапным возмущением.— Что же в конце концов можно сказать человеку, потерявшему сына?

Они смущенно переглянулись. «Неземной капитан», казалось, утратил желание руководить операцией. Он внимательно оглядел Ванэнакера, Тото и Франсуа.

Тото негромко заметил:

— С-с-странно, такие световые эффекты можно наблюдать в этот час в горах, в Швейцарии. Снег делается красным. Словно в театре.

— Все словно в театре, — ответил Субейрак.

По деревянному настилу возобновилось движение трехрогих минотавров — они расходились с занятий по истории экономической жизни и обсуждали причины упадка Венецианской республики.

Группа офицеров уже минут десять стояла возле барака.

— Младший лейтенант Ванэнакер, — сказал, наконец, «Неземной капитан»,— вы больше всех знаете майора. Вы будете говорить от нашего имени.

— Нет, господин капитан, я не сумею.

Ванэнакер, как это принято на севере, говорил — «не сумею» вместо «не смогу».

— Да, — согласился Гондамини. — Так. Хорошо. Тогда вы, Субейрак...

— Я? — удивленно возразил Субейрак. — Я? Но ведь майор меня...

Он удержался от того, чтобы сказать «майор меня ненавидит». И тотчас понял, что это неправда и никогда не было правдой.

Субейрак кивком головы нехотя согласился. Они уже собирались войти, как вдруг увидали майора Ватрена позади себя. В руках он держал несколько котелков, которые ходил мыть в общую умывальню. На нем не было кепи, волосы его совершенно поседели, морщины на лице обозначились еще резче, усы стали совсем белыми. За эти двадцать два месяца он постарел на пятнадцать лет. Перед ними стоял старик с воспаленными глазами. Но выражение его лица — напряженное, суровое, застывшее — было страшно. Это была маска предельного гнева, звериной ярости, маска человека, чьей плоти нанесен удар. Они невольно отступили: зверь, а не человек шел на них в солдатской одежде. Ватрен остановился среди них, переводя взгляд с одного на другого.

Франсуа почувствовал: у него сжимается горло. Ну да, так же, как бывало на передовых, ему показалось, будто он сделал что-то дурное, он почувствовал какой-то комплекс виновности, который военные научились использовать гораздо раньше, чем его описал Зигмунд Фрейд. Субейрак как бы снова вернулся в прошлое, даже не к тому времени, когда он был еще зеленым младшим лейтенантом первых месяцев войны, а к еще более отдаленному времени, к своему детству, к детскому ощущению своей виновности. Он стал навытяжку. Все остальные тоже щелкнули каблуками. В лагере, где дисциплина очень ослабела, такая подтянутость приобрела особую значительность.

Субейрак посмотрел прямо в глаза Ватрену. На одутловатом лице майора лежала печать не гнева, а предельного отчаяния. Оба эти чувства выражались им одинаково. Как это бывает у простых людей, одно и то

же выражение лица старого офицера могло означать различные переживания. У Субейрака пересохло во рту. После того как Ватрен получил письмо, он не переставая плакал. Этот старый воин, этот служака, этот жестокий, сухой человек плакал — тут было что-то душераздирающее и одновременно жалкое. Кадык на его шее поднялся кверху, отчаяние и горе, сдерживаемые в течение долгих месяцев, искали выхода. Франсуа заговорил и не узнал своего голоса:

— Мы пришли, господин майор, мы все, офицеры вашего батальона и из полка. Мы шли к вам...

Получалось плохо. Он перевел дыхание.

— Мы узнали об известии и мы хотели вам выразить... всю нашу преданность... наше почтительное сочувствие.

Слова не таяли, они оставались в воздухе. Южный ветер ничего не мог поделать с ними. Лица были напряжены, они были обращены к человеку, который страдал и которого ничто не могло утешить. Группа офицеров сомкнулась теснее в маленький кружок теней, собравшихся посреди однообразных прямоугольных бараков. Ночь приближалась полным ходом.

Ночь идет из России, страны, через которую бежал Броненосец, сын генерала. Ночь скользит, скользит, скользит из глубины Азии. Через пять минут она будет в Данциге, через десять минут опустится на них. В нескольких километрах к северу она уже окутывает вспененную Балтику. Она вот-вот настигнет рыбацкий поселок, в котором у Эберлэна есть единомышленники, она захватит остров Рюген и Швецию. «Бог ты мой, я понимаю тебя, Эберлэн, я понимаю тебя, послать к черту этот лагерь, удрать, удрать из него».

Семеро мужчин стояли неподвижно. Южный ветер развевал их одежду, которая, казалось, вела свое, независимое от них существование. Наконец старый офицер пошевелился. У него было взволнованное лицо, белки глаз покраснели, горло напряглось.

— Ну, мужества-то у меня достаточно,— проговорил Ватрен.

Он посмотрел на них отчужденно, будто подозревал их в том, что они хотят предложить ему мужества. Он неровно дышал и мог говорить только короткими фразами.

— Он ведь был на фронте, чего уж...

Нужно было вникать в каждое слово, чтобы понять смысл, который Старик вкладывал в него. Он выпрямился.

— Я у вас только одного попрошу — помолитесь немного о нем.

На последнем слове его голос дрогнул. Он шагнул к Субейраку.

Его узловатая, сведенная ревматизмом рука поднялась к груди Франсуа, указательный палец коснулся кителя почти на уровне сердца. Сердце молодого человека билось так сильно, что стук его, казалось, отдавался в глубине самых дальних бараков.

— И должно же так случиться, что именно вы говорите мне об этом, Субейрак.

Узловатая рука оставалась поднятой, указательный палец касался груди Франсуа.

Выражение боли исказило лицо Ватрена, но он овладел собой.

— Идите домой, вы простудитесь. Идите, мой мальчик.

Мой мальчик! «Откуда вы взялись, мой мальчик». В точности, как тогда, после ветряка! Боже мой, ведь в тот день я был его сыном, его «мальчиком». И я не понял этого! Вот почему он не хотел отпустить нас, когда мы были в окружении, и он знал, что мы погибаем. Все мы его мальчики!

Рука майора Ватрена упала. Он что-то пробормотал — это было похоже на рычание затравленного пса, резко повернулся, толкнув всем

телом ошарашенного «Неземного капитана», и ушел в барак, захлопнув перед ними дверь.

Офицеры молча разошлись. Тото, Ван и Франсуа вернулись в свою «штубе» с таким чувством, будто они совершили что-то дурное.

Франсуа вспомнил немца, убитого на ОП4, в Лотарингии, первого, которого он увидел. Мертвенно бледный фриц лежал с простреленным лбом в своем зеленом балахоне. Он не был ни красив, ни уродлив. Он лежал, раскинувшись на маленьком, окруженном грязью островке из зеленой травы и кустов, напоминая гигантский болотный цветок, выросший в лихорадочную бессонную ночь. Пуавр, вестовой Субейрака, сказал тогда с отвращением: «От них и дух-то идет не такой, как от нас, господин лейтенант». Пуавр убит. Пофиле убит. «Сдерут с тебя шкуру, Пофиле». И тот, который погиб в Вольмеранже... Как его звали, этого парня из Бийянкура, приговоренного к смерти, этого солдата, который не убежал?.. И вот теперь сын майора тоже...

Когда они вошли в семнадцатый барак, Фредерик, этот «Трагический снегирь», играл на рояле вальс Штрауса, и у Франсуа мелькнула отчетливая мысль: «Фредерик, я слышу, как поет моя смерть».

И потом:

Сорока в грушевых ветвях,
Я слышу — смерть моя поет,
Сорока в грушевых ветвях,
Я слышу — смерть за мной идет...

Вот что сделала война с любимой песенкой его матери.

Они молча улеглись. Скоро протрубили отбой — сегодня вечером трубил Леблон. Он играл с вариациями, которые напоминали всем этим кадровым и случайным военным счастливые дни во французских казармах, в мирное время, разумеется. Как обрести связь с душами ушедших? Молиться? Франсуа захотел помолиться, как просил майор Ватрен. За сына Ватрена, за погибших на ОП4, за солдата из Вольмеранжа, парня из Бийянкура, за Пофиле, а также за мертвых из «Поммерше цейтунг». Не за себя, потому что себя он считал недостойным. "Licht aus!"* послышалось в ночи. Это кричали часовые.

Но из всего «Отче наш» Субейрак помнил только «Господи, сущий в небе, прости нам наши прегрешения» — и все. Как будто все это прегрешения!

И тогда он просто сказал:

— Господи, смилуйся над ними и смилуйся над нами.

Он услышал легкий стук. Тома Каватини положил свои четки на табуретку, служившую ему ночным столиком. «А-а-аминь»,— прошептал он так тихо, что при желании можно было и не принимать это за ответ.

IV

Их было пятеро, не считая вооруженного ефрейтора и зондерфюрера: Субейрак, уполномоченный продовольственной комиссии, Тото, Ванэнакер и Эберлэн.

Полковник Маршандье поручил Субейраку составить список, кого включить в «наряд», помимо уполномоченного продовольственной комиссии, капитана Жийуара, рослого веселого парня, который до войны был директором гастрономического магазина в Париже.

Лагерное начальство редко разрешало офицерам выходить из зоны, даже под конвоем. Прогулки в лес, такие частые в первые месяцы плена,

* Гасите свет! (*нем.*)

теперь стали отдаленным воспоминанием. Поэтому каждый раз находилось очень много желающих выйти за пределы лагеря. Сделать выбор из полутора тысяч офицеров можно было только произвольно, и Франсуа примирился с этим. Сам он, конечно, должен был пойти, так как требовалось купить кое-что для театра. Оставалось назначить еще троих. Товарищи по «штубе» бросили жребий, кому идти. Жребий пал на Параду. Но в последний момент «раскладной» артиллерист отказался. Он объяснил свой отказ тем, что психологически эти несколько часов полусвободы принесут ему больше вреда, чем пользы, и он почти силой заставил пойти вместо себя Вана, который вел сидячий образ жизни и которому угрожала неврастения. Все, конечно, понимали, в чем дело: подобные проявления великодушия не были редкостью. Франсуа предложил майору Ватрену сопровождать их, но Старик отказался.

После того как пришло известие о смерти его сына, майор стал предметом постоянных забот Субейрака. Когда он увидел Старика плачущим, его прежнее представление о нем рассеялось.

Ванэнакер лучше знал Ватрена. До 1939 года майор занимался обучением унтер-офицеров запаса, а Ванэнакер как раз проходил курсы переподготовки. Ван утверждал, что Ватрену уже за пятьдесят и что в 1914 майору было двадцать пять лет. Он знал также и происхождение Ватрена. Отец Ватрена служил десятником на шахте в Дэнене, а мать — откатчицей. С 14-летнего возраста Ватрен работал под землей. Не таким представлял себе Субейрак детство своего грозного начальника. Отныне его воображению рисовался рыжеволосый парнишка, грубоватый, работяга, который встает до света и идет в шахту со своей лампочкой-шахтеркой. То, что майор начинал свою жизнь рабочим, заставляло смотреть на все дальнейшее под совершенно иным углом зрения.

— В 1937 году отец Ватрена был еще жив, — сказал Ван. — Это был рыжеволосый голубоглазый великан. Он постоянно ходил удить рыбу на канал. Сын похож на него. Мать Ватрена — черноволосая, сухощавая фламандка испанского типа, наверное крестьянка, которую привлекли на шахту заработки. Должно быть, это она сделала его таким набожным...

— Я слышал, что ты — большое лицо у «марабов»! — засмеялся Франсуа.

На жаргоне барака «мараб» означало «священник», или вернее, как говорил Фредерик, — «член партии священников». Католики проявляли себя очень активно в Темпельгофе.

— А во время войны четырнадцатого года? — возобновил прерванный разговор Субейрак.

— Он был настоящим служакой. Унтер-офицер в роте охотников. Был под Верденом. Произведен в младшие лейтенанты только в 1917 году.

— Он никогда не говорил о войне четырнадцатого года?

— Никогда.

Ни во время боев, ни в плену майор Ватрен не говорил о своем рабочем происхождении и о своем участии в войне. Правда, он вообще так мало разговаривал.

Франсуа вспомнил человека из Вольмеранжа. Ему показалось, что он разгадал странное выражение лица, с которым Ватрен слушал его рассказ о Бийянкуре.

— Ван, — сказал он, — для меня в жизни Ватрена остаются две загадки.

— Загадки?

— Я никогда не понимал, зачем он пришел в бакалейную лавку Вольмеранжа в ночь перед расстрелом осужденного, и я никогда не понимал,

как человек с таким военным прошлым мог допустить, чтобы его батальон сдался в плен.

Между тем, они подошли к опушке леса и обернулись к Темпельгофу. Лагерь стал совсем маленьким и плоским: беспорядочно разбросанные, одинаковые бараки лишайно-зеленого цвета, четкие контуры темных труб на побеленных крышах, сторожевые вышки с черными, белыми и красными полосами, театральный барак, похожий на дворец среди изб, неизменное алое пятно флага со свастикой и опоясывающая все колючая проволока. Вдали, справа, виднелся лагерь русских. По выходе из Темпельгофа они сразу же стали удаляться от него. И не случайно!

Зондерфюрер, мужчина лет тридцати, шел впереди них и разговаривал о чем-то с ефрейтором, проявляя, таким образом, подчеркнутое доверие к шагающим позади пленным. Ветер с юга приносил тепло, но этого тепла не хватало, чтобы растопить снег. На другой день после того нелозкого разговора возле барака майора снова начались жестокие холода. Промерзшая, окаменевшая земля вопреки календарю свидетельствовала о том, что еще не кончилась страшная зима 1941-42 года, которая так дорого обошлась Германии. Но несмотря на это, небо чистого синего цвета, как на миниатюре, без единого облачка, похожее на гигантский кристаллический купол, предвещало наступление весны. Их волновало то, что они видели «свой» лагерь издалека. Пьянящая свобода была где-то рядом, они прикасались к ней. Ноздри Эберлэна раздувались.

Франсуа полной грудью глотал холодный воздух, веявший над этими просторами. Впереди по холмам и лесистым взгорьям вились, убегая вдаль, четкие линии шоссе, обсаженного двумя рядами лип, и рельсы железной дороги, которые терялись у самого горизонта, обозначенные вереницей все уменьшающихся телеграфных столбов.

— Шамиссо молодец,— сказал Тото,— кажется, он не с-с-собирается надоедать нам. Куда ты нас ведешь, Франсуа?

Покупки, ради которых им разрешили эту прогулку, можно было сделать либо в Остгарде, либо на берегу моря, в Лауэнмюнде — городках, расположенных в десятке километров друг от друга.

— Хорошо бы в Лауэнмюнде, — сказал Ванэнакер.

Этот фламандец, тоскующий по родине, вспоминал Дьепп, Кале, Ла Панн, Бланкенберг, пляжи и дюны Северного моря.

Ефрейтор, шагах в тридцати от них, заорал и замахал рукой, приказывая им приблизиться.

— Ничего не сделаешь, им полагается глотку драть, даже когда они вне лагеря! — вздохнул Каватини.

Они подошли к немцам. Ефрейтор, высоченный детина с поросячьими глазками и усиками, подстриженными, как у фюрера, походил на егеря. Ему было лет пятьдесят. Рядом с ним фигура зондерфюрера фон-Шамиссо поражала своей легкостью и изяществом. Несмотря на отвращение к немецкой форме, французы не могли не признать, что сапоги, хорошо скроенные брюки, облегающий китель, кортик, фуражка — все это на Шамиссо выглядело действительно элегантно. Фон-Шамиссо напоминал лондонца или изящного оксфордского студента. Все в нем, вплоть до немецкого языка, на котором он говорил с произношением, принятым в аристократических берлинских кварталах, приобретало английскую плавность; это впечатление не нарушалось ни его серыми спокойными глазами, ни мягкими светлыми усами.

Франсуа уже трижды подолгу разговаривал с ним. В первый раз, когда полковник Маршандье решил передать «штубе» 17-4 театральному кружку с тем, чтобы весь его реквизит находился на хранении у тех, кто им пользуется. Разумеется, для этого потребовалось разреше-

ние высшего командования, которое запросило мнение зондерфюрера. В обязанностях зондерфюреров, по крайней мере в первые два года, было мало военного. Им следовало знакомиться с настроениями пленных, руководить ими, направлять эти настроения в сторону коллаборационизма, смягчать конфликты, неизбежно вызываемые решениями вермахта в области военных дел. Зондерфюреры были именно «специальными руководителями». Шамиссо являлся одним из наиболее примечательных.

В нем чувствовалось то соединение меланхолии и улыбки, та утонченность, которые отличают порой немецкий романтизм, уже исчезающий в наши дни. Французы с недоумением обнаруживали эти свойства у людей в мундирах победителей. В тот первый раз, к крайнему удивлению склонного к недоверчивости Субейрака, Шамиссо говорил с ним лишь о Париже, о современных французских поэтах и о Милоше* Субейрак слышал его голос — чуть металлического тембра, но без сколько-нибудь заметного акцента, Шамиссо читал по-французски стихи:

Одурманены грязным дождем, мертвецы
На погосте лежат Лофотена...

Это было совершенно неожиданно — ведь при других обстоятельствах он мог бы испытывать дружеские чувства к этому человеку. Тогда же, в конце разговора, он узнал, что отец зондерфюрера был промышленник из Пруссии, а мать литовка, из Курляндии. Вот почему немецкий офицер любил Милоша. Кроме того, по какой-то боковой линии он находился в дальнем родстве с автором «Человека, потерявшего свою тень».** Это тронуло Франсуа, обожавшего эту непризнанную во Франции книгу.

Шамиссо сказал:

— Если атмосфера прояснится — за что я не отвечаю,— то надеюсь, что смогу вам показать мою Балтику.

Они долго говорили о символизме, о «Человеке, потерявшем свою тень», потом Шамиссо в смущении переменил тему разговора, так как она показалась ему слишком личной. Они вспомнили скульптора Антуана Бурделя, восхищавшего Шамиссо, а также Майоля, которого он глубоко почитал. Единственный раз в их беседе прозвучала политическая нотка, когда зондерфюрер процитировал фразу из Арно Брекера, «гения» национал-социализма, но и то он упомянул о нем скорее в плане личной дружбы. Речь не зашла ни об англичанах, ни о коммунистах, ни о еврейско-марксистской живописи, ни, тем более, о «негрификации» Франции.

После этого необычного собеседования Франсуа с изумлением узнал, что поддержка со стороны Шамиссо в отношении театрального барака обеспечена и что он берется добиться соответствующего разрешения у немецкого коменданта Темпельгофа, адмирала фон-Мардрюка.

Второй разговор произошел во время вступления немцев в Россию, в июне 1941 года. Шамиссо собрал примерно тридцать офицеров, входивших в кружок Петена, и изложил им причины и цели ведущейся войны. На сей раз он показался другим человеком, более твердым и энергичным. В нем заговорили решимость и воля. Это было его второе лицо. Субейрак подумал тогда о Жироду и «Зигфриде»*** и сделал вывод, что война против англичан и французов, в отличие от войны на востоке, в глубине души не одобрялась зондерфюрером.

---

* Оскар Владислав Любич Милош (1877—1939) — поэт, литовец по происхождению.

** Имеется в виду Адальберт фон-Шамиссо (1781—1838) — немецкий писатель, автор известной повести «Петер Шлемиль» о человеке, потерявшем свою тень.

*** «Зигфрид» — пьеса французского писателя Жана Жироду (1882—1944), в которой затрагивается проблема взаимоотношений французов и немцев.

Третья беседа произошла, когда Франсуа отказался сотрудничать в немецком лагерном журнале «Единение». Он подумал тогда, что это будет их последняя встреча.

Шамиссо сказал на своем изысканном французском языке:

— Господа, я понимаю, что пленный думает о побеге. Но в данных обстоятельствах это было бы слишком легко и слишком неизящно, не так ли? Я даже не прошу, чтобы вы дали слово.

Он вынул из кармана белую пачку сигарет «Юно» и предложил закурить. Субейрак краем глаза следил за Эберлэном. Образцовый беглец после секунды колебания взял сигарету.

— Я узнаю вас, господин Эберлэн, — сказал фон-Шамиссо.

Спокойной рукой немецкий офицер поднес к сигарете артиллериста свою зажигалку. Губы Эберлэна чуть заметно дрожали.

— Господа, — продолжал зондерфюрер, — отсюда до Лауэнмюнде семь километров,— а мы идем в Лауэнмюнде, я вам обещал Балтику, господин Субейрак. Здесь пейзаж того же типа, что и в Литве Милоша... *«...После семимесячной зимней летаргии небо внезапно пробуждается при виде весенней красы... Приходите, я поведаю вам о дивном, туманном, журчащем крае...»*

Он вдруг оборвал цитату и добавил с приветливой улыбкой:

— Если вам немного повезет, вы вернетесь домой с подснежниками.

И перестав обращать на них внимание, он большими шагами направился к шумевшему лесу.

Для людей, живущих месяцами взаперти, это была чудесная прогулка. Обнажившаяся, местами темная, покрытая валежником земля сменялась оранжевыми песчаными прогалинами, в которых увязали их башмаки. Офицеры поднялись на вершину холма, закрывавшего от них море. Зима сморщила листья папоротника, искривила его стебли. Среди зарослей вереска порой виднелись мальвы в своем вдовьем полутрауре и кочки вялого серого мха. Сухие ветки и иглы хрустели под ногами так тихо и приглушенно, что возникало сомнение, есть ли что-нибудь под ногой. Офицеры шли по фиолетовым тропинкам, мимо изогнутых, словно бронзовых ветвей, пробираясь через лесной мир, окрашенный в рыжие, серые, красные и белые цвета.

Время от времени они замечали каких-то неизвестных зверьков, пробегавших у их ног.

— А ты — ты его понимаешь? — спросил Субейрак.

— Кого? Шамиссо?

— Нет. Майора.

— Ах, да! — сказал Ван. — Что касается истории с солдатом в Вольмеранже, то право не знаю... Но вот сдачу батальона в плен — этого я тоже никогда не мог понять. Знаешь, Ватрен был до 1935 года капитаном. Звание майора он получил с опозданием, по-моему, в 1937 году. Он никогда не отличался честолюбием.

— В мирное время он был жестковат, — заметил Субейрак. — Мне рассказывали мои солдаты.

— Да, Ватрен ненавидел 1936 год, забастовки, Народный фронт. Все то, что ему казалось слабостью, пацифизмом, антимилитаризмом.

— Вот именно тут я и перестаю понимать. Такой убежденный милитарист, кадровый офицер, должен был бы идти до конца... Или же, наоборот, разбить нас на маленькие группы и постараться их вывести, а потом собрать. Тут есть что-то необъяснимое... Может быть... Конечно, с его сыном... Мне иногда кажется, что именно это его грызет.

Ван покачал головой. Да, может быть, какой-то нравственный недуг разъедал майора.

— И вот еще что, — заметил Франсуа. — Мне надо поговорить с Эберлэном. Этот тип меня беспокоит.

— А зачем ты его взял с собой? — резонно спросил Ван.

Франсуа ответил неопределенным жестом. «Раскладной» артиллерист вместе с Тото пошел вперед. Жийуар, офицер из продовольственной комиссии, вырезал себе палку и шел крупными шагами, подняв голову, раздувая ноздри.

Терпкий запах хвои ощущался здесь резче, чем в лесах Франции. Деревья, отражающиеся в стоячей воде, покрытой гниющими листьями, пушистые молодые сосны, прогалины, дюны, поросшие можжевельником,— все отражало задумчивую печаль этого скудного края.

Субейрак остался вдвоем с Эберлэном.

— Какой актер этот твой Шамиссо! — сказал образцовый беглец. — Вот негодяй!

В его голосе звучал оттенок восхищения. Шамиссо не давал ему покоя!

— Ты легко называешь людей негодяями, — заметил Субейрак.

— Я военный в четвертом поколении, — возразил Эберлэн.

Свежий воздух шел ему на пользу. Он казался не таким одержимым, не таким язвительным и раздраженным. Спина его распрямилась, в движениях чувствовалась сила. Он сорвал верхушку папоротника, растер его и с наслаждением вдыхал его запах.

— Субейрак, — сказал Эберлэн. — Субейрак, в отношении твоего Шамиссо есть две возможности. Либо он действительно франкофил, каким он хочет казаться, и тогда я снимаю перед ним шляпу. Либо он не тот, за кого себя выдает, и весь его романтизм — подделка. В этом случае я восхищаюсь им еще больше, потому что это очень ловкий прием.

И он задумчиво добавил:

— Насколько я знаю, во французской армии никогда не было таких званий. Политические комиссары — это не то. Надо спросить у Альгрэна.

Ни Шамиссо, ни ефрейтора не было видно. Как поразительно это щемящее чувство свободы!

— Послушай, Субейрак, — вдруг сказал Эберлэн, — зачем ты предложил мне пойти? Когда мы разговаривали в последний раз, кажется я выругал тебя.

— Кажется, так.

— Я даже назвал тебя сволочью!

— Хуже. Ты сказал, что я приспособившийся.

— Зачем же ты меня потащил сегодня?

— Я предполагаю, что тебе, может быть, нужно восстановить твои связи в поселке. Раз представилась такая возможность, я был не вправе лишать тебя ее. Даже если я приспособившийся.

— Ну, а кроме того, ты, может быть, изменил свою точку зрения?

— Нет, — ответил Субейрак.

— Ты возражаешь против подкопа, но сам, лично, ты готов помочь мне?

Эберлэн озирался по сторонам, точно заяц. Субейрак почувствовал, что, пожалуй, сделал глупость, взяв его. Пресловутая расчетливость Эберлэна была напускной, за ней скрывался простой инстинкт самосохранения. Он убегал от опасности так же, как удирает заяц.

Франсуа хотел сказать что-то, но сдержал себя. Кризис миновал.

Эберлэн застенчиво улыбнулся.

— Как бы ни было, спасибо, — произнес он.

Субейрак задумался. То, что сейчас произошло с Эберлэном, всего лишь лихорадочный порыв, внезапное побуждение. Но через несколько минут, когда артиллерист свяжется со своим человеком, возникнет дей-

ствительная опасность. Кто знает, что... Это было бы низостью по отношению к Шамиссо, это значило бы оказаться в недостойном положении. Субейрак вел опасную игру. «Может быть, просто для того, чтобы самому себе доказать, что я не приспособленец», — подумал он.

Лес кончался. Они прошли около четырех километров и теперь поднимались на вершину песчаного холма. До них доносился протяжный гул, который им вначале показался завыванием ветра в лесу. Молочно-белое сияние окутывало серпистую желтизну дюн. Растительность здесь была уже иной. Воздух наполнился запахами рыбы и иода. Франсуа забыл про Эберлэна, побежал и внезапно увидел серое море, белую пену под голубым, холодным небом, гневное Балтийское море и чаек. Он бросился плашмя на песок и, подперев руками подбородок, смотрел вперед широко раскрытыми и уже подернутыми туманом глазами.

Перед ними, приблизительно в четырехстах метрах, море в пенистых гребнях билось о невысокие рыбачьи дамбы, изъеденные солью и ракушками. Вдали, сильно раскачиваясь, шел пароход. Волны с глухим шумом обрушивались на берег.

— Господа, мы можем здесь постоять немного,— сказал Шамиссо. — Вы, наверно, проголодались, гуляя.

Они достали продовольствие из сумок. Всем захотелось есть, особенно Вану, он даже побледнел от голода.

— Не беспокойтесь о пище, — сказал зондерфюрер. — Вы сможете купить в Лауэнмюнде все, что захотите. Торговцы примут там ваши лагерные марки.

Дело в том, что часть своего жалования они получали лагерными марками. У пленных было полно этих бумажек, на которые в лагерной каптерке не продавали ничего, кроме пива, иногда нерационного вина или картофеля. Вначале немецкие торговцы неохотно принимали эти бумажки. Теперь, когда война затягивалась, лагерные марки стоили не меньше обычных, и только запрет ограничивал торговлю с военнопленными. Вскоре немецкие торговцы стали даже отдавать предпочтение «французским» маркам!

Шамиссо поставил перед ними на камень, выступающий из песка, три банки мясных консервов, чтобы скрасить их завтрак. Он ел, держа хлеб кончиками пальцев. Потом, сев и крепко обхватив колени руками, зондерфюрер стал меланхолически любоваться морем того же изменчивого цвета, что и его глаза.

Справа, в двух километрах от них, виднелся городок Лауэнмюнде с остроконечной красной колокольней протестантской церкви. Вдоль берега тянулись виллы дачников из Штеттина, Грейфенберга, Арнсвальде. По асфальтированной, посыпанной песком дороге прошла женщина с двумя детьми в ярко-зеленых платьях. Она махнула им рукой, ефрейтор крикнул ей в ответ какую-то сальность.

Каватини незаметно вытащил из кармана листок с рекламой молочной фирмы, на которой был изображен маленький ребенок. Потом он снова поднял голову и сложил рекламу.

— Это похоже на Д-д-дюнкерк, — заметил он. — Только здесь холоднее.

Субейрак знал, что означала эта реклама. Жена Тото родила в первые месяцы его плена. Именно тогда Тото вырезал эту страницу из какого-то иллюстрированного еженедельника. Конечно, впоследствии почта для военнопленных доставила ему фотографию его малыша, но она не смогла разрядить электрического заряда, содержавшегося в рекламе молочных продуктов.

От моря и ветра становилось холодно. Они снова двинулись в путь, идя в направлении поселка, одни по дороге, другие по влажному песку. По мере того как они приближались, приморский поселок, казалось, становился оживленнее. Они видели рыбаков, женщин, детей, небольшую гавань. Ефрейтор куда-то исчез.

В сопровождении Шамиссо они зашли к аптекарю, в скобяную лавку, в колбасную — на витрине не было ничего, кроме бумажных цветов. Заказали краски, картон. Парень из продовольственной комиссии, к своему восторгу, договорился об оптовой закупке сельди. Им казалось, что они находятся в необыкновенном мире, что они — туристы, попавшие в странный город, где можно достать провизию, можно набить карманы табаком. Меньше всего удалась торговая операция с вином — достали лишь две бутылки Химбервейна на каждого.

— Химбервейн — малиновое вино,— объяснил им с улыбкой Шамиссо. И так как они состроили гримасу, немец согласился: — Я предпочитаю белое. Не думайте все же, что в Германии нет вин. У нас есть отличные мозельские и рейнские вина. А сейчас появилось и токайское.

Вспышка «винного» патриотизма не убедила их. В этом вопросе они проявили непримиримость. Невозможно убедить француза, что хорошее вино может быть не только у него дома.

В поселке имелась небольшая ратуша XV века с пилястрами и одноцветными панно с орнаментом на мифологические темы, изображающие мощных женщин. На площади перед ратушей находился фонтан с топорными фигурами сирены и дельфина. Шамиссо посмотрел на часы.

— Господа, даю вам час для прогулки по вашему усмотрению. Через час встретимся в гавани и пойдем назад.

И зондерфюрер удалился мягкой эластичной походкой.

— У него, наверно, бабенка здесь, — сказал Жийуар.

Капитан из продовольственной комиссии и Тото — ответственные по столовой — решили подойти к вопросу о вине со всей серьезностью и отправились в Gasthaus*. Эберлэн посмотрел на Субейрака и Вана. Субейраку не хотелось оставлять артиллериста одного. Чем позднее становилось, тем сильнее опасался он внезапного кризиса у артиллериста, одержимого, с одной стороны, склонностью военного к предварительной подготовке, и с другой стороны — бесом активности. Вану что-то почудилось. Он не любил Эберлэна. Поэтому он не захотел оставить Субейрака. Эберлэн неподвижно стоял перед фонтаном.

— Ты не думаешь, что это ловушка? — спросил он, наконец, у Субейрака.

— Какая ловушка?

— Он сделал вид, будто уходит, а сам хочет посмотреть, что я предприму.

— Нет,— сказал Субейрак, — по-моему, ему наплевать на это.

— Но ведь такая у него должность — не давать пленным убегать. Это его ремесло — содержать целую сеть доносчиков, чтобы предупреждать побеги. И если он уже более двадцати месяцев держится в лагере — значит, он неплохо справляется со своим делом и процент побегов в лагере невелик.

— Да,— машинально ответил Субейрак.

— Да, да, само собой разумеется, что да! Ты все-таки иногда удивительно наивен! Ну ладно, мне надо сказать тут кое-кому два слова. Вы пойдете со мной? Втроем будет не так подозрительно.

С видом гуляющих они направились к церкви. Прогулка напомнила

---

* Деревенская гостиница *(нем.)*.

Субейраку его первые увольнительные в Эльзасе, когда он был еще новобранцем. Дойдя до угла узкой улицы, выходящей к морю, они миновали кондитерскую и свернули в переулок. Там они остановились, делая вид, что любуются старым рыбачьим домом, стены которого были покрыты шифером, предохраняющим от морских брызг. Вдруг они обнаружили, что Эберлэна с ними нет.

— Он даст тягу, — заметил Ван.

— Пока не могу сказать.

Они подождали с четверть часа. Вокруг не было никого, кроме ребятишек, глазевших на них.

Теперь с Балтики дул злой, соленый ветер и небо покрывалось тучами. В доме приоткрылась дверь, кто-то сказал несколько слов по-французски. Эберлэн вышел, стараясь быть незамеченным. Франсуа увидел молодую черноволосую женщину с подрумяненными щеками и накрашенными губами — в Германии это считалось редкостью и вызывало неодобрение. У нее было смеющееся лицо южанки, необычное среди женщин с волосами соломенного цвета, живущих в этом полупольском крае.

Эберлэн положил каждому в сумку пакет с каким-то жиром — масло, маргарин? Они пошли, резкий ветер дул им в лицо. В Gasthaus они застали остальных — перед ними на столе стояла миска жареного ячменя и стаканы с можжевеловой водкой. Тото сиял: он раздобыл где-то несколько бутылок какого-то нелепого вина Шпэтбургундер, с баденской этикеткой на бутылках из-под эльзасских вин — золоченое рельефное изображение обезьяны.

— В этих бутылках намешано всего п-п-понемногу, — заметил Тото.

В пустой общей зале было жарко, в углу гудела большая печка, выложенная фаянсовыми плитками.

Через четверть часа они шагали в Темпельгоф. Фон-Шамиссо шагал впереди, ефрейтор замыкал шествие. Эти запоздалые меры предосторожности свидетельствовали о том, что, предоставив им такую свободу, Шамиссо превысил свои полномочия. Они чувствовали себя разбитыми, усталость овладела ими, едва они увидели лагерь.

Они миновали ферму, которая виднелась из окон «штубе» 17-4. Прямые линии почерневшего деревянного строения четко вырисовывались на фоне равнины. Крыша была покрыта новой черепицей; четыре серебристые березы как бы отмечали границы возделываемой земли, окруженной песком. Овца пощипывала пучки жесткой травы. Возле фермы работала женщина могучего телосложения, со славянскими чертами лица, выступающими скулами и узкими глазами. На ней была надета цветастая юбка с корсажем, на плечах — темно-красная косынка, волосы повязаны пестрым платком. Она держала за узду лошадь с низко опущенной головой, вроде тех, что тянут бечеву по реке.

Лошадь была лошадью, крестьянка — крестьянкой. Лошадь беспрерывно ходила по кругу в упряжке, напоминающей манежную корду.

— Она похожа на нас, эта лошаденка,— сказал Эберлэн.

В голосе образцового беглеца слышалась досада: «Он сердится на меня, — подумал Субейрак. — Теперь он сердится на меня. Сердится потому, что я психологически помешал ему «сделать попытку», поставил его в такое положение, которое требовало от него некоторого нравственного благородства по отношению к врагу».

Франсуа не проявил любопытства, не спросил у артиллериста, кто была эта накрашенная женщина в Лауэнмюнде, откуда он знал ее. Однако он был поражен, убедившись, что Эберлэн не лжет, не преувеличивает, не обольщается.

Двое детей — младший казался точной копией старшего — смотрели на пленных голубыми глазами, полными удивления. Женщина, дети и лошадь снова принялись медленно кружиться, приводя в движение примитивный жернов.

— Кто же настоящие пленные? — спросил Франсуа, неприятно пораженный унылой символикой этого зрелища.

— Ох, устал... — вздохнул Ван. — Знаешь, Франсуа, я вспомнил в связи с Ватреном... Помнишь Рикэ, лейтенантика-сапера, который работал в батальоне, когда мы находились в Эльзасе?

— Помню.

— Так вот однажды — ты, кажется, был в отпуску — Рикэ во всеуслышание заявил в офицерской столовой: «Я часто спрашиваю себя, что мы здесь делаем?» Все посмотрели на него. Ты знаешь, как нетерпимо относился Ватрен к пораженцам. Но тут он тихо ответил: «Я тоже не знаю. И все же я не могу не быть здесь».

— Да, — ответил Франсуа. — Да.

У полицейского поста ефрейтор пересчитал идущих. Он дважды сбивался со счета, хотя их было всего пятеро. Положительно это стало традицией. Шлагбаум приподнялся. Они отдали честь Шамиссо и распростились у входа в III блок. Задумчивость не покидала Субейрака. Слова Ватрена, переданные Ваном, представляли старого майора в необычном, загадочном освещении.

Перед ним мало-помалу вырисовывался образ человека в несчастье, в одиночестве, в плену, в тягостных раздумьях, человека глубокого, сложного, значительного, несмотря на военный мундир, человека, который молча переживал драму многих и многих и отдавал себе в этом отчет.

V

Несмотря на прочную дружбу, связывавшую обитателей «штубе» 17-4, они замыкались в себе, когда приходил вахмистр, раздававший почту. Франсуа уединялся в своей берлоге, на самой вершине трехъярусной койки.

Ответ Анни, доставленный почтой для военнопленных, был написан на плохой бумаге установленного образца со штемпелями рейха — орел, держащий в когтях свастику, — и круглой печатью geprüft*, принадлежащей цензуре, которой также заведовал Шамиссо. Штамп французской почты, украшавший письмо, с непреднамеренной иронией гласил: «От облигаций солидарности никто не отказывается». Адрес написал он сам три недели назад на талоне для ответа, вернувшемся к нему сегодня из Парижа. Таков был порядок, предписанный уставом, но он портил им удовольствие — получалось так, словно они сами себе писали письма.

Он вскрыл конверт. Анни нумеровала свои письма. Это было ее семьдесят пятое письмо за время его плена.

Растянувшись на сбившемся комьями матраце из бумажной стружки, Субейрак с первых же строк почувствовал, что это письмо было особенно важным.

15—4—42 (значит, оно шло пятнадцать дней). «Я теперь понимаю твое суждение о М. Р.»

Эти инициалы обозначали Мориса Рэймона. Морис Рэймон — его товарищ по Эколь Нормаль тоже попал в плен и с самого начала сотрудничал в немецкой лагерной газете «Единение». Зная, что Франсуа в плену, он затребовал его через Берлин для участия в редактировании этого презренного листка. Запрос пришел через Шамиссо. Франсуа наотрез отказался. Он не удержался и в завуалированных выражениях сообщил

* Проверено *(нем.)*.

Анни об этом невеселом происшествии. Первая фраза письма Анни подтвердила, что она все поняла.

Дело осложнялось тем, что за свои услуги — хотя и бескорыстные (Франсуа был готов поклясться в этом), — Морис Рэймон был недавно репатриирован, виделся с Анни и собирался начать из Парижа хлопоты об освобождении Франсуа. Следовало решительно пресечь эти действия, компрометирующие Франсуа.

Франсуа вспомнил Мориса Рэймона, его красную добродушную физиономию весельчака и балагура. В Эколь Нормаль ничто не разъединяло их, оба участвовали в ТППС * Марсо Пивера, были ярыми врагами военных, империализма, колониализма. Жизнь била ключом в Рэймоне, его любимым изречением было: «Живая собака лучше мертвого льва». Досадно, что он придерживался того же образа мыслей, несмотря на войну и поражение, не видя, что положение полностью изменилось, и продолжал вести борьбу против всякой войны, будучи под сапогом завоевателя.

Прогулка в Лауэнмюнде несколько дней назад казалась тем примечательней, что фон-Шамиссо, зная об отказе Франсуа участвовать в редактировании «Единения» и читая его переписку, не мог сомневаться в том, как Франсуа относился к коллаборационизму.

«Я знаю, что ты не смог бы сделать ничего хорошего, если бы потерял уважение к себе, — продолжала Анни. — Было ли все это так серьезно? Я полностью доверяю тебе, твоим действиям и решениям. Ты всегда поступаешь «по чести». Я могу лишь гордиться тобой, но мне очень тяжело, потому что на этот раз я надеялась, очень надеялась». Бедняжка! Как ей удалось примириться с этим отказом? Она была пацифисткой по самой своей женской природе — как ей тоже не предпочесть живую собаку мертвому или пленному герою? *«Следует ли мне еще раз встретиться с Морисом?»* Вот как, она называет его по имени. Между тем, до войны они виделись лишь два раза. Франсуа ощутил легкий укол.

«Я давно знала, чего стоят все эти люди. Я не бросаю в них камень, но у меня нет ни малейшего уважения к ним, к тому, что они говорят и делают».

Он вздохнул с облегчением. Подумать только, что цензура фон-Шамиссо пропустила эти прозрачные намеки. Он взглянул на оборотную сторону. Номер цензора — 22. Это «Вилы» — самый скверный из них.

*«Слова, одни слова... В субботу приходил Рене (Рене — тоже их общий друг, скульптор). Я показала ему твое письмо, и оно потрясло его так же, как и меня. Мы все трое — Симона, он и я провели весь вечер в унынии. И все-таки я знаю, что ты скоро вернешься, это не может продолжаться долго. Нам не придется жить в разлуке еще одну зиму. Милый мой, запасись верой и мужеством. Я возле тебя. Несмотря ни на что, над нами всегда и неизменно простирается небо. Я часто вспоминаю Рамю**. Люблю его так же, как Жионо, чью пьесу я недавно смотрела. Она называется «Конец пути»***. Тебе надо было бы поставить ее. Я тебе ее пошлю в следующей посылке. Я плакала. Надеюсь, что ты никого не заставишь плакать своей «Комической историей». Это такая горькая пьеса! Почему ты выбрал именно ее?»*

---

* ТППС — существовавшая в период между первой и второй мировыми войнами политическая группировка, близкая к левому крылу социалистической партии, называвшаяся «Всегда готовы к служению».

** Ш. Ф. Рамю (1878—1947) — швейцарский писатель, произведения которого носят печать мистицизма.

*** «Конец пути» — пьеса о периоде немецкой оккупации во Франции, написанная современным французским писателем Жаном Жионо, ярым коллаборационистом. Автор призывает в пьесе отказаться от борьбы, покинуть города и удалиться на лоно природы.

«Это верно! Почему я ее выбрал? Во-первых, не я ее выбирал. Ее выбрали пять человек, в том числе полковник Маршандье. Хотя мое мнение оказалось решающим. Пьеса и в самом деле не слишком бодрая».

Просмотрев несколько отличных пьес, Франсуа остановился именно на этой по многим причинам: в ней имелась роль для Камилла; Франсуа хотел попытаться поставить такую пьесу, в которой героиня была бы очень женственна; число пьес, разрешенных для лагерного театра, было невелико; он перелистал целую груду «Иллюстрасьон» и не нашел ничего подходящего, а в этой пьесе чувствовалась живая жизнь, кроме того, в ней с образом женщины связывается измена. Ну да, несомненно! Раньше он не отдавал себе в этом отчета, но вопрос Анни все разъяснил: мысль о возможной измене не давала им покоя, она являлась их самой тайной и самой глубокой заботой.

«Я не люблю Адэ. Мне больше не хочется плакать, я хочу жить с надеждой и верой. Небо сейчас голубое. Напротив у модистки комната залита солнцем. Ты помнишь, что оно никогда не заглядывает ко мне (Анни написала «ко мне»). Кроме того, что модистка делает шляпы, она еще выкармливает кролика, живущего у нее на балконе. Потом она его зажарит. Как она может начинать каждый раз сначала? Кролик смотрит на каштан, на котором распускаются молодые побеги, и воображает, что он в деревне».

Франсуа вспомнил модистку — толстую веселую блондинку в рубенсовском стиле, которая всегда улыбалась им с видом заговорщицы. Анни в шутку утверждала, что Франсуа прячется за гардинами и подсматривает, как она раздевается, — у нее толстые ляжки. Он протестовал — ляжки были слишком толстые! Анни замечала: — Если бы ты застал ее в постели, ты бы не заставил ее подняться.

На его губах промелькнула улыбка, тотчас угасшая. Конечно, при удобном случае он все-таки смотрел на ляжки модистки! Именно в этой квартирке на Монмартре два года назад произошла последняя встреча Франсуа и Анни. Два года назад Субейрак очень мало отличался от Мориса Рэймона (он виделся с ним в дни своего отпуска), который утверждал, что Франция не будет побеждена, и обвинял правящие классы в том, что они предали Францию, а буржуазию в том, что она призвала Гитлера и желает мира на любых условиях. Это в точности совпадало с точкой зрения Марселя Деа, выраженной в словах *«Умирать за Данциг»*.

Франсуа это шокировало, но он не был способен преодолеть такие противоречия. Не отступаясь от своего прежнего пацифизма, яростно нападая на майора Ватрена — «эту офицерскую шкуру», помесь жандарма с последним беглецом из-под Рейсхофена*, — Франсуа все-таки чувствовал, что он стал уже другим. Рэймон увидел у своего друга военный крест. Он не выказал удивления, а просто сказал: — Ты всегда будешь дураком.

Наверное, он и сейчас говорит то же самое!

Франсуа разжег трубку. Он вспомнил все: улица Шевалье де ла Бар, позади Париж, огромный, с нелепыми зданиями магазинов Дюфайеля, улыбку Анни, добродушную физиономию Рэймона, толстые, аппетитные ляжки модистки. Если бы он захотел, все это было бы уже возвращено ему. «Почему я тогда отказал Шамиссо? Это было так легко». Франсуа не любил ответов, которые напрашивались сами собой: лойяльность, верность, патриотизм, чистоплотность. Эти слова казались ему неумеренно заносчивыми, мелодраматичными. Ими слишком часто и слишком долго злоупотребляли.

Одна фраза в письме Анни смущала его. *«Потому что ты все делаешь «по чести»*. «Честь, это буржуазное чувство, средство эксплуата-

* Сражение при Рейсхофене (1870), закончившееся победой пруссаков над французами.

ции...— начинал Рэймон,— ах, она обходится тебе слишком дорого, эта честь, в которую ты не веришь и которую не решаешься защищать! Свобода, равенство и братство! Семья. Долг. Родина!»

Франсуа вспомнил слова Ватрена, переданные Ванэнакером: «Я не знаю, что делаю здесь. Но я знаю, что не могу быть в другом месте». Франсуа тоже знал, что он не может ценою измены уйти отсюда, тогда как его товарищи останутся. Наконец-то из тумана возникла ясная, бесспорная мысль, воплотившаяся в живых людях, и эта мысль подсказана ему Стариком.

Вошел Фредерик.

— Г'ебята, г'ебята,— закричал он,— г'ебята, я вижу, что вам мешаю.

В самом деле, Камилл, совершенно не напоминавший в эту минуту Адэ, читал, свернувшись калачиком на койке, письмо своей жены; Тото долбил немецкий, стараясь забыть, что он не получил письма; Ван строгал, весело и фальшиво насвистывая что-то. Как видно, он, Ван, получил хорошие известия.

Параду вышел. Тогда Фредерик чинно поклонился Камиллу и сказал:

— Здравствуйте, господин гомосексуалист...

Закутанный в шинель, обутый в огромные резиновые сапоги, он приплясывал, как медведь, и сиял от восторга.

— Г'ебята, г'ебята, душка Леблон нашел способ покончить с морским владычеством гнусного Альбиона. Поймите значение этого, г'ебята! Когда морское владычество гнусного Альбиона будет уничтожено, тогда восторжествует Эрения, Эрения *! Я продал мою идею немцам и получу за нее освобождение для себя и для душки Леблона, моей музы. Но не для вас, потому что вы — потаскуны, гомосексуалисты и садо-мазохисты, юдо-марксисты, круглые ничтожества, враждебные нашей великой Эрении, которая спасет Францию! Вот: чтобы потрясти морское владычество, как трясут грушу осенью, достаточно уничтожить море. Ах! А как это сделать? Вот именно этого дурацкого вопроса я и ждал от вас, г'ебята. Здесь-то проявляется гений...

— Заткнись, — сказал Камилл.

— Как она плохо закупорена, эта Камилла! В каком обществе я живу! В каком обществе! Чтобы уничтожить море, достаточно лишь заморозить воду и перенести ее на полюс. Это вполне логично, г'ебята...

Башмак, брошенный твердой рукой Тото, был ответом на эту унылую остроту. «Трагический снегирь» увернулся и скрылся за дверью, потом осторожно приоткрыл ее и крикнул:

— В каком обществе я живу! Нет, положительно вы недружелюбны ко мне, г'ебята!

Он закрыл дверь. Второй башмак с силой ударился о нее.

Хлопнула наружная дверь. Почти тотчас же послышались звуки рояля, бурная импровизация с синкопами и резкими сменами ритмов. Снегирь насвистывал. Из-за клоунского обличья выглянуло подлинное лицо музыканта.

Франсуа вспомнил слова Фредерика. Однажды он говорил им о музыке: «Как будто я в каком-то нереальном мире и вокруг меня зачарованные звери, прекрасные юные дамы, единороги, фонтаны... В общем я, конечно, болван».

Вот он какой!

«Мы все такие, — подумал Франсуа. — Все защищены масками. В сущности, может быть, он умнее нас всех. Это гораздо удобнее — пол-

* Эрения — слово, выдуманное Фредериком и образованное из начальных букв слов Revolution Nationale — «Национальная революция».

ностью отделить в себе доктора Джекилла от мистера Хайда *. Если я был бы умнее, я бы отделил в себе пацифиста от солдата и спокойно делал бы свое дело».

Звуки рояля убаюкивали Франсуа. Лежать в тиши этой «штубе» как бы подвешенным над миром — в этом состоянии было что-то удивительное. Ты не знаешь, Анни, что я не могу ничего вычеркнуть из прошлого — ты пользуешься забвением, как оружием, потому что ты женщина. Ведь женщинам свойственно забывать. Знаешь, в плену люди вслушиваются, очень чутко вслушиваются. Я хотел бы написать тебе письмо, но без цензуры, и чтобы мне не мешал ложный стыд. Как я могу советовать тебе!.. Я сам живу так, словно меня уносит течением, и я тщетно барахтаюсь.

Я отказываюсь от подкопа. Я отказываюсь от побега, предложенного Эберлэном. Но я помогаю ему. Я чувствую, что ты в отчаянии, что ты надеялась больше, чем я. Может быть, ты сдашь. Я это чувствую. Сдашь от безнадежности. А потом будешь жалеть всю жизнь. Но я сейчас не стану бежать. Хотя у меня как будто достаточно храбрости. О храбрости я понял все, когда увидел, как контрабандист Матиас, ставший на четвереньки от страха перед бомбардировкой, снова превратился потом в героя с гранатой в руке. Бывает и наоборот. Каждому свое. Бывает так, что человек не боится гранаты, револьвера, бомбардировки, пики или кинжала. А в остальном он трус!

Ты говоришь, что я все делаю «по чести», а Эберлэн назвал меня приспособленцем. В чем же храбрость, в чем трусость?

Франсуа попыхивал трубкой и выплюнул табачную крошку, щипавшую язык. Он посмотрел на фотографию Анни, на ее тонкое, смуглое истомленное лицо — только Модилиани** мог бы передать его прелесть. Франсуа наклеил этот снимок на кусок серого картона, в который был упакован искусственный мед — кунстхониг. Его любовь тоже была, как искусственный мед. Он не очень любил этот портрет, но ему приходилось довольствоваться им. После истории с той фотографией, на которой она была снята вместе со своими сослуживцами, Анни не присылала ему других, может быть, по невнимательности или по недостатку женской чуткости, а может быть, из-за глубокой неуверенности в своей красоте. Рене, их приятель-скульптор, о котором она упоминала в своем письме, говорил, что в ее чертах есть что-то дорическое. А Франсуа находил в ней нечто от Модилиани. Каждый видит людей по-своему!

Анни происходила из Оверни, из Вольвика — местности, где много черного, грубого камня, она была также из Иль-де-Франса, из Сен-Мандэ Берси, Домениля, из XII округа Парижа. Предместья с запахом распиленных дров, средневековый Венсенский лес, площадь Нации. Анни была парижанкой из индустриальных районов, расположенных на берегу Сены, пробиравшейся сквозь город, сквозь туман, сквозь сиплые свистки буксиров и шум моторных лодок. Но вместе с тем Анни была и землячкой Франсуа Субейрака — уроженкой деревни, откуда зеленые тропинки вели к старинным замкам. Таковы были две стороны Анни. Конечно, Анни была из овернского Парижа, который хлопочет, копит деньги и торгует пороком на площади Бастилии с той же профессиональной добросовестностью, с какой торгуют лесом или углем,— это люди с грубыми, суровыми чертами лица, с круглыми головами, люди, которые рано встают, плохо умыты, трясутся над каждым грошом. Их матери — крепкие женщины с тонкими губами... (Анни, извини, но у тебя тонкие губы...), с шероховатой кожей, с руками, изъеденными щелочью.

* Имеются в виду персонажи повести Стивенсона «Странная история», в которой говорится о раздвоении личности.

** Модилиани (1884—1926) — в свое время модный итальянский художник-портретист.

Ничего от «фифы». Так же как и я, люди эти привязаны к овернской земле, к ее холмам и долинам. Ты из того же племени, что и я, Анни. Но ты женщина, и твой патриотизм не простирается дальше этой холмистой Франции и XII округа.

Ты искоса глядишь на меня, в твоих глазах беспокойство. Ты смотришь на меня после трех лет разлуки настойчиво и пристально — это портит тебя,— ты стараешься разглядеть за объективом будущего Франсуа. Снимок порвался, на нем следы боев. Твоя фотография была разорвана в клочки, пришлось ее наклеить на этот картон, кое-где подрисовать тени. Анни, я занимался этим часами, подбирая кусочки, словно осколки фарфоровой вазы... Да. Я починил тебя и теперь вижу тебя, как в звездном зеркале. Надо пользоваться минутами просветления. Я получил отпуск через четыре месяца после нашей неудачной встречи в Коллиуре и после слишком короткого свидания в Валансьенне. Ты помнишь наш злой, отчужденный смех? После этого мы больше не виделись, и поэтому даже теперь во мне и в тебе остались следы жестокой борьбы, которая ведется в наше недоброе время между мужчиной и женщиной. Мы больше не понимаем друг друга. Мы отдаляемся друг от друга с постоянной скоростью. Я прочел это между строк твоего письма. Я чувствую, что ты любишь меня и что ты сдаешь. Сейчас ты упрекаешь меня, что мы пожертвовали собой ради идей — ты нарочно выбрала слишком громкие слова. «По чести» — ты поставила в кавычки. К кому относится эта насмешка? К пресловутым словам Петена? Или ко мне?

Это было в предпоследний день отпуска. Ты не хотела идти в то кино на нашей улице. Я забыл название картины. В ней рассказывалась история парня и девушки. Они были вынуждены расстаться, но сохранили верность своей детской любви. Когда он разыскал ее, она жила в Англии, была замужем неудачно и вела печальную жизнь. Помнишь, они узнали друг друга. Молодой человек убил мужа. Его отправили на каторгу, и по мере того как жизнь уходила от него, любовь вновь соединяла их в мечтах...

Музыка Фредерика продолжала аккомпанировать мыслям Франсуа. Кто-то сказал:

— Смотрите-ка, как наш Снегирь распелся!

Снегирь играл одну из церковных мелодий Куперена.

Последние дни он играл гораздо чаще. Незадолго до прогулки в Лауэнмюнде начали вести подкоп. Вертикальный спуск был уже сделан. Франсуа вернулся к своим грезам. ...Почти весь фильм повествовал о трагической разлуке и о двойной игре мечты и жизни. Мне это очень нравилось, хотя я требователен к кинофильмам. Неожиданно произошел инцидент, обнаруживший наши скрытые расхождения. В середине сеанса ты впилась ногтями в мою руку и сказала:

— Уйдем отсюда!

Я не хотел уходить — картина была превосходной. Я так и сказал: «Глупо уходить». Тогда ты ответила:

— Оставайся, если хочешь. Я ухожу. Приходи потом домой.

В мирное время я бы так и сделал. И это было бы лучше. Но нам оставалось лишь несколько часов. Мы ушли. Было холодно. Мы шагали по затемненным улицам. Я попросил у тебя объяснения. Оно было несколько странным: «Об этом фильме ничего не сообщали в газетах... в кино было пусто, у картины даже нет названия!» Я возражал, но не смог тебе ответить ничего определенного. Когда я заботливо спросил тебя, не больна ли ты, ты приняла это за грубую насмешку. Я рассердился и подумал: «Вот еще один испорченный вечер, еще одна помеха счастью, еще одна ссора...». Мое недовольство усиливалось потому, что правота была на моей стороне, на твоей — лишь инстинкт. Я проворчал:

— Как глупо ведут себя женщины, которые подчиняются только своим настроениям.

Ты ответила:

— Как ослеплены мужчины, которые не видят ничего кроме того, что дает им их практический опыт.

Я стал расспрашивать тебя обо всем, но ты ничего не желала отвечать. Так оно есть, и все тут. Я знал, что ты — истая жительница большого города, но я не понимал этой чувствительности медиума, как здоровый человек не понимает своего ближнего, внезапно ставшего ясновидящим.

Мы не разговаривали друг с другом и помирились лишь утром. «Я вела себя глупо», — небрежно сказала ты, а я ответил: «Мне не стоило придавать этому значения». Но мы знали, что трещина ушла глубоко. Я удалился. Мне надо было повидать друзей. Мы выпили с ними четыре перно за Артура, и я вернулся к нам домой (теперь ты говоришь «ко мне» домой). Ты упрекнула меня в том, что я выпил. От меня пахло перно. Я сразу вспылил. Были сказаны грубые слова. Я кричал об обиде, нанесенной мне этим городом, который не разделял вместе с нами военные тяготы, а по-прежнему занимался своими серыми, будничными делишками. Это недостойное безразличие обволакивало и меня. Никто не замечал его, но меня оно угнетало. Париж жил, Париж был переполнен молодыми людьми и девками, он наслаждался мирной жизнью за спиной у далекой обледеневшей земли, по которой тащились, спотыкались солдаты с распухшими руками. Париж воевал у подъездов кинотеатров. Я только что узнал от Рэймона о скрытой грызне между министрами, о неопределенности планов, о произволе, допущенном при выборе тех, кого оставляли в тылу. Хуже всего то, что эта бессмыслица происходила под личиной спокойствия и уравновешенности.

Я говорил о корнях этого бедствия. Я судил Париж именем войны. Тем, кто знал войну только по учебным тревогам и популярным песенкам, не понять ни скрытного движения на передовых, ни тихой поступи патрулей в резиновых сапогах, они не видали, как хлопают ставни на вымерших улицах, как выглядят покинутые жителями и разграбленные лотарингские деревни... А упорные, приводящие в отчаяние, регулярные бомбардировки, а опухшие, покрытые язвами, онемевшие руки и изуродованные ноги... Я тебе сказал все это. Ты ответила, что с тебя хватит моих писем в качестве «карманного пособия для отличного солдата». Я позеленел от злости. Значит, по-твоему, я разыгрывал комедию. Тебя наполняла ярость против войны. Ты обвиняла меня в том, что я ее принимаю, что я даже приспособился к ней, обвиняла меня в предательстве. Очень скоро мы стали походить на враждебные друг другу карикатурные изображения тыла и фронта. Видно, мало еще траура, если тыл не верит в ужасы войны. Я наблюдал то же самое здесь, в их Великой Германии! Только теперь, когда в «Поммерше цейтунг» все чаще стали появляться кресты, немецкие штатские стали думать о войне — после двух лет! Ты преспокойно обвинила меня в том, что я без особых затрат разыгрываю здесь героев Плутарха. А я подумал: «Вот, оказывается, до чего дошло: мы — фронтовики — уже надоели им!».

У тебя, — да, увы, у тебя было так жарко после оледеневших деревень Лотарингии, после Киршвейлера, после промерзших убежищ Буа дю Корбо, после Мэзон Форт и передовых, что я раскраснелся. Да, я выпил слишком много перно. И кроме того, пришла еще Симона, и вы обе вызывали во мне раздражение. Здесь, на улице Шевалье де ла Бар, я был как бы отзвуком угрюмой войны на передовых. Ты вдруг обнаружила, что в моем лице соединялось одновременно и то, что ты больше всего любишь, и то, что ты больше всего ненавидишь. В этом положении был

нечто весьма комическое. Помнишь твой нервный смех в ответ на мои слова, кажется, о том, что нужно «быть стойким». Симона и Рене поняли: так нельзя, ты переходишь границы. Симона взяла тебя за плечо и сказала: «Ты сошла с ума, Анни, возьми же себя в руки».

Ах, это было продолжением того проклятого фильма, только речь шла об иной развязке. Ты продолжала нервно смеяться, хотя тебе, наверное, хотелось плакать. А я, в полном ослеплении, не замечал ничего, кроме того, как оскорбителен твой смех. Это был рефлекс солдата. Стол опрокинулся, посуда с грохотом разбилась, ты сидела на полу, на твоем прекрасном лице, которое столько месяцев было печальным из-за меня, застыли слезы и смех... Симона, глядя на меня широко раскрытыми глазами, с грустью повторяла: «Бедняжка мой».

Франсуа вспомнил отблеск негодования в черных глазах Анни. Ему оставалось только одно: уйти, возвратиться в мир аванпостов — единственную сохранившуюся реальность. Он надел шинель и вышел. Его гнев сменился бесконечной тоской, наступил спад. Он спустился по лестнице, униженный и удрученный. Вдруг дверь наверху открылась, послышались торопливые шаги. Это была Анни: «Не сходи с ума,— крикнула она.— Вернись!».

Франсуа всем своим существом услышал этот крик, он подсознательно ожидал его. Он вернулся. Симона и Рене ушли. На другой день Анни проводила его на Восточный вокзал. В зале ожидания висела огромная выцветшая картина, изображавшая веселые проводы мобилизованных в 1914 году. Этой картиной, содержавшей непонятное прежде предостережение, смысл которого только сейчас стал ясен, отмечен был конец его недолгой учительской карьеры.

У Франсуа озябли ноги. Он поправил одеяло. Краем уха он улавливал звуки рояля из соседней комнаты. Внезапно он услышал, вернее почувствовал глухие удары. Он приподнялся, насторожился. Так и есть! Глухие удары, попадавшие прямо в грудь. Этот паяц Фредерик продолжал играть.

Теперь я начинаю кое в чем разбираться, Анни. В сущности, ты охраняла мир в монмартровской квартирке, мир нескромной модистки, крохотный мир Парижа. Ты работала так же, как и раньше, в те же часы, тем же поездом метро ездила в свою контору и так же опаздывала, как всегда. А я — стал войной. Я даже неловко себя чувствовал в штатском, и ты это замечала. Когда рядом громыхал автобус—и у меня возникал внезапный рефлекс зверя,—ты поражалась. Если бы ты знала, что в течение всего отпуска грохот метро и грузовиков, скрежет автомобильного тормоза звучали для меня, как летящий снаряд. Ты с нежностью представляла себе мое возвращение. Ты создала себе из этого сценарий. А я не смог предупредить тебя о приезде. Я вскочил в дополнительный поезд в Меце. Я не позвонил тебе в контору, так как знал, что там переменили номер телефона. И вот вечером, переполненный счастьем, я появился на улице Шевалье де ла Бар. Постучал в нашу дверь. Прости — в твою дверь. У тебя был насморк. Я застал тебя врасплох в розовом домашнем фартучке и лишил тебя всех удовольствий от приготовлений к моему возвращению, о котором ты уже заранее мечтала. В твоем удивлении чувствовалось некоторое разочарование. Ты, наверно, заподозрила меня в том, что я поддался смутному чувству ревности и хотел застать тебя врасплох, если не за чем-нибудь дурным, то за тем, что ты живешь мирной жизнью. Но ты ошиблась. Послушай, Анни, есть одна вещь, которую я тебе никогда не рассказывал. Мой отец пришел с войны в свой первый отпуск в 1915 году, тяжело навьюченный, грязный, заспанный,

хлебнувший вина, заправский пехотный сержант. Мать встретила его такими или примерно такими словами: «От тебя пахнет вином». О, это было сказано без всякой злобы, просто — непосредственная реакция аккуратной буржуазки, которая никогда не лицезрела своего мужа в таком виде. В их отношениях уже и прежде намечалась трещина. Отец пришел в ярость, и между ними все было кончено. Эта грустная история, с тиражом в миллионы экземпляров, повторяется из поколения в поколение со времен крестовых походов.

Стряхни пыль с сапог и поверни обратно!..

Франсуа слегка улыбнулся. Он кончил читать письмо Анни. *«Солнце заполняет мое сердце, оно говорит о надежде, и я шлю это тебе вместе с поцелуем: до скорой встречи».* Это она, Анни, писала литературные фразы о «надежде, несмотря ни на что» и гражданском героизме.

«Штубе» безмолвствовала. Только в глубине кто-то чуть слышно скребся, словно мышь, — это писал Тото; порой повизгивал напильник Вана. Потом один за другим раздались глухие удары, и «Трагический снегирь», сидевший за роялем, весело заиграл Оффенбаха. Молодец Фредерик!

Вот какое письмо он хотел бы написать Анни. Но в стандартных листках почтовой бумаги для писем военнопленных было лишь двадцать четыре строчки.

Франсуа снова взял семьдесят пятое письмо Анни. Рядом со штампом «Geprüft» цензор написал «Слишком длинно. Цензура». Он пометил это письмо и перелистал другие. Он обратил внимание на то, что последние письма (кроме этого) она писала гораздо более размашисто. Он проверил. Никакого сомнения! В последних письмах содержалось вдвое меньше текста, чем в первых. Франсуа был потрясен. Это было так же показательно, как температурная кривая оперированного. Если я не вернусь, я потеряю Анни.

Он сел, спустился на пол, отыскал свои башмаки. Тото улыбнулся ему с рассеянным видом человека, который пытается вспомнить забытое слово.

— Хорошие новости? — спросил Ван.

— Да, — ответил Франсуа.

— Пойди сюда. Я тебе говорил, что мой дом разбомбили в сороковом году?

— Да.

— Я получил фотографию. Посмотри. Конечно, похвалиться нечем. Но вглядись хорошенько.

Франсуа смотрел на черно-белый четырехугольник. Развалины, развалины, как вы похожи! Однако Ванэнакер улыбался.

— Ты не видишь? — спросил он.

— Нет. А что?

— Статую.

— Ах да, статуя.

— Вот видишь, старина, она цела. Цела. Это святой кюре из Ара.

Ван снова засвистел. Франсуа едва не закричал от зависти к этому душевному покою, от отчаяния и возмущения перед лицом этого безумного, а может быть, удивительно мудрого мира. Он быстро вышел.

В маленьком тамбуре, откуда ход вел в театральный зал и в комнату для репетиций, он увидел двух человек, которые несли большой бак, наполненный доверху землей. Снаружи стоял на страже Эберлэн.

VI

После прогулки к Балтике каждый раз, когда Франсуа залезал в свою берлогу, со стороны барака музыкантов до него доносились глухие удары. Он слышал их не ушами, а животом, диафрагмой. Некое второе

существо в нем неотрывно вслушивалось в эти удары, которых не могли заглушить ни разговоры, ни репетиции, ни шум мастерской. За последние сорок восемь часов работа замедлилась. Самые крепкие инструменты ломались о слой гнейса, Ван и Параду все время натачивали их. О, этот стук, этот глухой стук!

Франсуа с самозабвением отдался работе над спектаклем, чтобы не думать об Эберлэне, а он при встрече каждый раз подмигивал и старался оказаться рядом, будь то в умывальной, в душевой или даже в мерзком сортире, где люди без штанов сидели, не отделенные друг от друга перегородками. И тщательно подтираясь, артиллерист замечал:

— Если ты переменил мнение, еще не поздно.

Франсуа уходил, взбешенный этими постоянными возвращениями к вопросу, касавшемуся свободы, храбрости, тирании, оккупации, его больной матери, Анни, которая устала ждать, короче, к вопросам его жизни.

Репетиции в расширенном составе часто проводились на сцене в большом помещении, где Ван и Параду уже начали устанавливать декорации. Постановка двигалась неплохо, роли были выучены, персонажи разведены по местам. Камилл сделал успехи со времени первых репетиций. Это даже вызывало беспокойство, потому что иной раз он разыгрывал Адэ не только на репетициях, но и за столом, заставляя обслуживать себя, охотно принимая шутливые, а иногда и двусмысленные выражения поклонения. Он свыкся со своей ролью, и она превращала порой этого здорового женатого молодого человека в женщину. Это не только стесняло Франсуа, но начинало тревожить его.

4 мая, под вечер, он и Камилл возвращались из театра. Они репетировали в костюмах. Камилл до такой степени перевоплощался в Адэ, что Франсуа задавался вопросом, надо ли объяснять это только актерским дарованием или чем-либо иным? Франсуа имел озабоченный вид, и Камилл приставал к нему, желая узнать, в чем дело.

— Не стоило бы тебе об этом говорить, но я не спокоен, — сказал Франсуа. — Ты действительно настоящая Адэ. Ты очень хорошая...

— Спасибо за женский род!

— Мне кажется, что я все-таки влип. Нужно обладать девичьей наивностью, чтобы поверить в реальность Офелии или Фортунио, которые за два часа до поднятия занавеса моют овощи в умывальной или играют во дворе в футбол.

— Ну и что же?

— Кроме того, дело в сюжете пьесы. Боюсь, что эта история с супружескими изменами не понравится всем этим потенциальным рогоносцам.

— Ну, а дальше? Не хмурь брови — это тебя старит.

— Боюсь, что наш зритель поддается театральной иллюзии только тогда, когда это не угрожает его душевному покою. Боюсь, что он может воспринимать только второстепенные, условные и легкомысленные женские образы.

— Адэ достаточно легкомысленна.

— Да, но в ее образе поставлена проблема легкомыслия, всей опасности легкомыслия. Я боюсь, что они воспримут пьесу иначе, чем мы рассчитываем. Что они не будут тронуты, не захотят отдаться во власть слишком волнующих воспоминаний. В общем, думаю, что нам не следует браться за какой бы то ни было женский образ, в котором есть элементы подлинной чувственной или эмоциональной правды.

Они вошли в III блок по дорожке, выложенной деревянными досками. Вопреки календарю падал легкий снежок. Май, прекрасный месяц май! Угрюмая Германия!

Приход режиссера и примадонны привлек всеобщее внимание. Камилл не пожелал переодеться и разгримироваться в театре. Каприз!

Он явился в барак в облике Адэ — в воздушном вечернем платье, присланном из Фобур-сент-Оноре, в женских туфлях на каблуках, накрашенный, в шинели, накинутой на плечи. Он вертел надетый на руку парик в кудряшках и завитках. Понятно, ребята повыскакивали из своих углов, чтобы посмотреть на это зрелище. Камилл отвечал им бесстыдными словами и наглыми улыбками — теперь, когда погасли огни рампы, средь белого дня они потеряли всякое обаяние и скорее напоминали о публичных девках с их вульгарными чарами. Вскоре около Камилла собралась добрая сотня парней, которые гоготали, кричали,— собачья свадьба, дурацкая комедия, никак нельзя было разобрать, кто что изображал. Франсуа вошел в «штубе» с очень мрачным видом. Разумно ли привлекать внимание к этому бараку в такой момент?!

Камилл, присев к гудящей печке, жеманно проговорил:

— Душка-режиссер в отвратительном настроении... успокойся, мой песик, твоя «Комическая история» будет иметь успех. Если бы Салакру был здесь, он бы при виде меня разинул рот от восторга!

И загримированный младший лейтенант сбросил одним движением свою шинель и, снова став девкой, ловко повернулся на каблуках, раздув свою легкую пышную юбку:

— «Когда вы говорите мужчине слова любви, помните ли вы, что уже говорили их другому? Какое сочетание? Вот какая штука, дорогая Элен...»

— Великолепно, — сказал Альгрэн, преподаватель истории. — Великолепно! У меня всегда были неверные представления о елизаветинском театре. Он казался мне огромным балаганом, в котором зрителям приходилось изображать зрителей. Это неверно. Я меняю свое мнение. Капитуляция историка по одному из вопросов истории театра под влиянием открытий, сделанных двуполой примадонной из Померании...

— Двуполой! Двуполой! — воскликнул Камилл, подражая знаменитой актрисе Арлетти. — И твоей сестрой!

Альгрэн засмеялся.

— Камилл, вы не только двуполое, вы мифическое существо: я говорю так потому, что не знаю, как говорить о вас — в мужском или женском роде. Вы порождены театром. Вы — персонаж в костюме из холста, нарумяненный, с накладными волосами, с приклеенными бровями. Вы — лишь видимость, кукла, лишь проекция в мое воображение. Отчасти вы являетесь моим созданием, созданием зрителя. Да, вы — миф, у которого есть некое общественное бытие, есть свои портные, гримеры, карикатуристы, критики и даже свой костюмер, который в гражданской жизни является фабрикантом предметов религиозного культа,— это уже совсем скандально! Как миф, вы существуете отдельно от младшего лейтенанта Камилла. Я вам говорю «вы», развязная, общедоступная девка, при виде которой полковники начинают от вожделения пускать слюни, думают, до чего здорово это должно у вас получаться. Молчите, вы, вымышленный персонаж! Но в вас есть гениальность.

Альгрэн обернулся к Франсуа:

— Субейрак, что ты думаешь по этому поводу?

Франсуа вздрогнул, прислушиваясь к раздававшимся поблизости ударам.

— Ничего, — ответил он.

А может быть, это стучало его сердце?

Камилл произнес реплику из своей роли:

— «Я всегда верна уходящему мгновению. Раз я сама забываю о своем прошлом, другие тоже не имеют права помнить о нем, понимаете?»

Камилл повернулся к Ванэнакеру и, внезапно став мужчиной, сказал:

— Слушай-ка, ты, грубое животное, ты соорудил мне такой зад, что я пошевельнуться не могу. Я требую, чтобы мне было возвращено мое жизненное пространство.

Ванэнакер, специалист по кройке риз, вполне вошел в свою роль костюмерши:

— Тебе переделают твой зад, красотка, — сказал он.

В этот момент появился запыхавшийся Тото.

— Ах, с-с-скоты, — сдержанно сказал он.

— Что случилось? Фрицы взяли Москву? Что это у тебя такая рожа?

— Д-д-двенадцатый и с-семнадцатый на с-с-стрижку и в вошебойку, — пояснил Тото.

Франсуа тотчас понял, в чем дело: пленным стригли волосы. Офицеры, которые играли Элен, Жерара и Жана-Луи, были из двенадцатого барака. Камилла и исполнителя роли Элен это не пугало, так как они играли в париках, но как быть с мужскими ролями?

— Жерар и Жан-Луи — первые любовники с наголо остриженными головами,— сказал Камилл, подражая «русскому произношению»,— как это есть хорошо! Это будет большой московский опера!

— Ты предупредил полковника, Тото?

— Сразу же. Он ходил к адмиралу...

Адмирал фон-Мардрюк, немецкий начальник лагеря, скучающий старик с неизменной улыбкой на лице, в белом кителе, шитом золотом, проявлял снисходительность к пленным не из-за сочувствия к ним, а скорее по склонности к покою; однако он был преисполнен благоговения перед лагерным распорядком.

— Ну и что же?

— Общее правило, он ничего не может сделать.

— Черт, — сказал Франсуа. — Когда это будет?

— Через час.

Субейрак выскочил из барака и направился к зданию лагерного управления. Лишь бы только застать Шамиссо! Хотя на прямые сношения французских офицеров с немцами пленные смотрели косо, Франсуа не колебался. Если ребят остригут, спектакль будет испорчен. Кроме того, Эберлэн и многие из тех, кто готовился к побегу, жили в двенадцатом бараке. Для них стрижка тоже была бы бедствием.

Франсуа вошел в небольшую «штубе», отделанную полированным деревом. В ней стояла походная койка, стол с папками, патефон, висел портрет фюрера. Шамиссо печатал на машинке. Он прервал работу. Франсуа объяснил причину своего прихода. Зондерфюрер выслушал его. Когда он узнал, что французский полковник уже разговаривал с фон-Мардрюком, на лице его мелькнула гримаса.

— Было бы лучше, господин Субейрак, если бы вы обратились прямо ко мне.

— Трудно не считаться с общественным мнением лагеря, — откровенно признался Субейрак.

— Вы придаете большое значение тому, что думают люди?

— А вы? Если бы вы, господин фон-Шамиссо, не придавали такого значения общественному мнению, вы бы не были здесь!

— Совершенно справедливо, — сказал зондерфюрер, поглаживая светлые усы. — Вы — логичны, очень логичны. Вы — выдающийся диалектик. Мы — метафизики, а вы — логики. Нам следовало бы дополнять друг друга, а мы воюем!

Он положил нога на ногу, пригласил Франсуа сесть, предложил ему сигарету «Юно», но Франсуа опередил его, вынув пачку «Кэмел». Их получали в лагере в индивидуальных посылках и, главным образом, в посыл-

ках американского Красного Креста. Фон-Шамиссо взял сигарету «Кэмел», понюхал ее и протянул Франсуа маленькую непочатую пачку «Юно».

— Возьмите ее. Одна «Кэмел» стоит пяти штук «Юно». В отношении табака я не патриот и в отношении кухни — тоже. Да, жаль, что вы не обратились сразу ко мне. Запишите, пожалуйста, фамилии ваших артистов.

А будущие беглецы? Все это начинало походить на одолжение. Такой оборот не нравился Франсуа. Он рассчитывал, что стрижку отменят, как меру, которая раздражает людей. Он высказал это. Шамиссо развел руками с видом человека доброй воли, но бессильного. Он просмотрел список.

— Семеро. Вы не включили себя?

— Нет.

— У вас красивые волосы. Вы ведете спектакль. Я записываю вас.

— Нет, господин фон-Шамиссо.

— Я плохо представляю себе, господин Субейрак, как вы выступите перед началом спектакля с наголо остриженной головой, на манер Шери-Биби. Это походило бы на... ну, скажем, на очень тонкую демонстрацию.

— Я этого не думаю. Но раз так, есть другой выход. Я напишу вступительное слово, а кто-нибудь из актеров прочтет его.

— Если так, я согласен, — сказал Шамиссо.

Зондерфюрер сложил список и положил его в карман кителя.

— Хотите чаю? — спросил он. — Я его очень хорошо приготовляю. По-английски, разумеется.

Он принялся готовить чай и продолжал:

— Я сделаю невозможное, как у вас принято говорить. Через полчаса я повидаюсь с господином адмиралом.

Они стали пить чай. В самом деле, он отлично заваривал чай, этот потомок человека, потерявшего свою тень. Шамиссо поставил пластинку, включил патефон. Полилась веселая танцевальная джазовая музыка. В ее ритме звучало что-то новое для Франсуа: при нем до войны в ходу были пластинки Армстронга и Дюка Эллингтона. Он слушал, испытывая удовольствие и одновременно внутренне сопротивляясь ему. Мелодию вела гитара. Вторая пластинка была в еще более быстром темпе.

— Эти пластинки присланы из Парижа, — сказал зондерфюрер. — Они там пользуются бешеным успехом. Гитарист — Джанго Рейнгарт. Превосходно, не правда ли?

— Да, — сказал Франсуа. Он выпил глоток чая, у него вдруг пересохло в горле.

— Это называется суинг. «Суинг-трубадур».

— В Париже много танцуют?

— О, это запрещено,— ответил Шамиссо.— Но все-таки танцуют. Это своего рода фронда против нас, но она неопасна. На бульварах, в «Фэшнебл»...

— В «Фэшнебл»?

— Да... Там была надпись — «Пляшущая Франция в пьяной Европе». Мы велели стереть ее. Французское остроумие неизменно.

Он снова поставил ту же пластинку. Франсуа приподнял мембрану.

— Прошу извинить, — сказал он.

— Я понимаю вас, — ответил Шамиссо. — Господин Субейрак, я с сожалением узнал от господина Мюллера, которого вы прозвали «Вилами»,— не так ли? — что ваша парижская корреспондентка разделяет ваши чувства по отношению к вашему соотечественнику Морису Рэймону. Очень жаль. Я больше ничего не могу сделать для вас. Я могу лишь сделать попытку добиться отмены стрижки для ваших актеров. Весьма сожалею.

Шамиссо протянул ему руку. Франсуа пожал ее. «Если бы мне сказали в июне 1940 года, что меньше чем через два года я буду пожимать руку немцу!» Хуже всего, что рукопожатие зондерфюрера было таким же прямодушным и честным, как и его взгляд.

Лицо фон-Шамиссо прояснилось.

— Я ненавижу ненависть, — сказал он.

Его голова повернулась к портрету фюрера. Словно электрическая искра прошла по его телу, когда взгляд упал на портрет. Они вышли вместе.

Французские офицеры, перешептываясь, глядели вслед Франсуа. Трудно сказать, что они думали, видя его вместе с фон-Шамиссо.

«Наплевать, — рассердился Франсуа. — Прежде всего целесообразность».

В «штубе» 17-4 ребята стояли уже в шинелях. Они получили приказание приготовиться к бане с вошебойкой: взять мыло и полотенце. Немецкие военные действовали точно так же, как и французские, и собрали людей за полчаса до срока. Впрочем, у немецких военных было оправдание — они не умели считать. Они потратили около получаса на то, чтобы под непрерывный лай часовых «Zu fünf, schneller, schneller»* сосчитать обитателей трех бараков. Правда, если немецкие военные плохо считают пленных, то последние находят особое удовольствие в том, чтобы путать их, перебегая из одного ряда в другой. Квазимодо, кособокий фриц, отнюдь не подтверждавший теорию об истинных арийцах, сильных, круглоголовых, белокурых, отрапортовал наконец офицеру из запасных по прозвищу «Обмани-смерть», длинному, унылому человеку, словно навсегда утомленному жизнью. Немец шагал, как автомат. Когда он проходил мимо Фредерика, который терпеть не мог мыться и которого к тому же заставили оторваться от рояля, композитор прошептал: «Унылый воскресный день». Послышался негромкий смех. Угрюмый немец даже не обернулся. Тогда Фредерик вдруг придумал для него новое прозвище: «Человек-который-не-получает-удовольствия». Этому прозвищу суждено было закрепиться за немцем. Четыреста человек встретили его веселым смехом.

Теперь, перед выходом, «Человек-который-не-получает-удовольствия» должен был рапортовать начальнику лагеря. Ему следовало отдать честь, щелкнуть каблуками, доложить, снова отдать честь и после этого дать приказ отправляться. Когда «Человек-который-не-получает-удовольствия» подошел на положенное расстояние к начальнику и вяло шаркнул каблуками, четыреста человек, подзадориваемые Фредериком, так же щелкнули каблуками — послышался громкий треск. Фриц с землистым лицом меланхолично посмотрел на свои сапоги (их унылый вид как бы свидетельствовал о том, что они принадлежат офицеру запаса), опустил голову и приказал трогаться. Немцы давно уже отказались от попыток бороться с этим коллективным щелканьем каблуками, прозванным «фантастической симфонией померанской земли». Колонна прошла строем мимо полицейского поста, мимо фермы и замерзшего озера и вышла на дорогу, которая вела к «каменному блоку» — казарме, расположенной в четырех километрах от лагеря.

Шел снег, но было не холодно, и все радовались бы добавочной прогулке с горячим душем в перспективе, если бы не угроза стрижки. Эберлэн шел со своими товарищами-артиллеристами из двенадцатого. Проходя мимо Франсуа, он сделал двумя пальцами выразительный жест, показывающий, как стригут волосы. Лицо его было искажено волнением.

* «По пяти! Скорее, скорее!» *(нем.)*.

Между тем, к этому времени вши уже не так донимали их, как прежде. Паразиты были самым тяжелым воспоминанием Франсуа, они мучили пленных сильнее, чем голод. Это было второе лицо войны, оборотная сторона героики.

— Т-т-ты помнишь п-пе-первые месяцы? — спросил Тото.— Эт-т-ти гады...

Франсуа вспоминал, с каким строгим, сосредоточенным лицом Тото осматривал при тусклом электрическом свете швы на своей рубашке. Выражение его лица говорило о том, что его мысли полностью заняты вшами, гнидами, яйцами... Это «чувство завшивленности» было настолько своеобразным, что позволяло, не видя ничего, кроме лица человека, безошибочно догадываться: он ищет паразитов. Вначале, по наивности цивилизованных людей, они объясняли появление зуда и покраснение кожи плохим питанием. Потом они стали находить первых насекомых. Большинство не спрашивало, что это такое. Они никогда прежде не видели этих паразитов, но тем не менее узнавали их каким-то первобытным чутьем. Вошь! Их охватывал ужас цивилизованных людей. Укусы этих гнусных тварей превратили людей в одержимых. По их телу ползали какие-то ничтожные серые существа. Первую баню с вошебойкой они встретили с восторгом. Но, конечно, она принесла лишь временное избавление. Вши вернулись.

Нашли козлов отпущения, рассадников вшей,— тех, которые не мылись, не ходили в душ. Общая ненависть к этим зачумленным была так велика, что им пришлось стать чистоплотными. Однако некоторые упорствовали. Один из них симулировал безумие и занимался на виду у всех мастурбацией. Он изображал помешавшегося на вшах. Он все больше зарастал грязью, не заботясь об отношении к нему его соседей и рассчитывая, очевидно, на то, что это должно кончиться скандалом. Однажды, в середине зимы 1940/41 г., он явился на перекличку совершенно голым. Стоя на снегу, он делал вид, что ищет вшей. Его отвели в лазарет. Весь лагерь с захватывающим интересом следил за поведением этого симулянта. Когда немецкие врачи признали его тяжелобольным и включили в списки репатриируемых, все согласились, что его выдумка почти гениальна. Весной 1941 года он уехал. Он похудел, глаза его лихорадочно блестели, но его прощальный жест — жест удачливого пройдохи — убедил всех. Через шесть месяцев они узнали, что он содержится в психиатрической больнице под наблюдением французских врачей. Все ужаснулись. Это был не симулянт, а душевнобольной, который изображал помешательство.

Вши ползали в волосах. Вши приносили тиф. Появилось настоящее помешательство на вшах, коллективный психоз, охвативший не только пленных, но и тех, кто их сторожил.

Церемониал уничтожения паразитов соответствовал этому омерзительному бедствию. Офицеры, нагруженные, как цыгане, тюфяками, одеялами, шинелями, одетые в разнородную, смешанную форму, группами шли в помещение вошебойки.

Мрачное, грязное деревянное помещение в старинной казарме времен Фридриха II являло зрелище, достойное кисти Гойи. Прямо перед входом возвышалось нелепое сооружение, состоявшее из почерневшего локомобиля, высокой печки и странных труб, извивавшихся во всех направлениях.

— Это похоже на перегонный куб,— сказал Ванэнакер.

— Но водка получается необычная,— заметил какой-то шутник.

Они вошли в полутемную прихожую. Конвоиры, покрикивая, приказывали побыстрее раздеваться. Группа Франсуа держалась вместе. Молодой офицер ворчливо заметил:

— Этим следовало заниматься, когда были вши!

— Кажется, у в-в-вестовых нашли,— ответил Тото.

В жарко натопленном помещении стоял крепкий дух нестиранного белья. Французские солдаты, обслуживающие вошебойку, закладывали в сушильную печь одежду и белье. Офицеры, проходящие санитарную обработку, стояли рядом, голые; мужская плоть, оттененная рыжими, темными или светлыми волосами, выглядела такой поникшей и печальной!

— В Голливуде с кинозвездами наверно не так обращаются,— сострил Камилл.

Обеспокоенный Франсуа заглянул в соседнюю комнату — стригут ли там уже первую партию? В дыму и в клубах пара он с трудом разглядел человеческую фигуру: кажется, это был парикмахер. Белые фигуры одна за другой двигались к горячему душу. Стоявший рядом солдат наливал каждому в ладонь какую-то жидкость, пахнущую керосином,—следовало втереть ее в части тела, покрытые волосами. Франсуа присел, чтобы обсохнуть.

Внезапно дверь открылась, вошел немецкий офицер. Франсуа узнал в нем фон-Шамиссо. Зондерфюрер сделал вид, что не замечает согнанных сюда голых людей; он с достоинством кашлянул и прошел в соседнюю комнату. Франсуа вздохнул с облегчением. Раз зондерфюрер явился сюда, значит есть какая-то надежда.

Люди продвигались один за другим, проделывая положенные ритуальные движения. Требовалось положить башмаки в бак, от которого отвратительно пахло фенолом. Так как Франсуа сделал это недостаточно быстро, стоявший рядом ефрейтор взял его руку с башмаками и впихнул ее в бак. Они двинулись дальше по анфиладе деревянных помещений, возникавших одно за другим, словно в каком-то кошмарном сне. Через неплотно прикрытые двери дули сквозняки, разнося тошнотворные запахи скученных тел, лекарств, пара. Вошебойка работала полным ходом, очищая тела и освобождая сознание от мифа вши.

— Это т-т-так же отвратительно, как колесница Нептуна!

Такой красочной метафорой обозначали бочку с насосом, установленную на телеге, которая ежедневно появлялась то в одном, то в другом конце лагеря, едва поспевая очищать уборные — со времени основания лагеря шло своеобразное состязание между возможностями этого агрегата и пропускной способностью мест общего пользования... Команда, состоявшая при этом агрегате, также отличалась своеобразием: в нее входили две пегие клячи и возчик — померанский крестьянин, с лицом деревенского дурачка, всегда носивший черную кепку с наушниками, что послужило основанием для ходячей остроты: «Эй, дурачок, затыкать-то надо не уши!».

Это примитивное приспособление имело прямое отношение к коллективному кишечнику лагеря. В темных закоулках сознания все это — вечные всхлипывания насоса, понурая кляча, перепуганные крысы, разбегающиеся в разные стороны, унылый ритуал дезинсекции — связывалось вместе, и сам лагерь казался подобием нечистой, нелепо устроенной твари, которая влачит за собой в пыли свои внутренности. ...Парикмахер не стриг, а только опрыскивал волосы какой-то жидкостью. Франсуа спросил его, в чем дело. Парень ответил с характерным южным произношением:

— К счастью, я не стал торопиться. Я успел обработать не больше дюжины!

Шамиссо выручил не только актеров, он спас шевелюру и остальным. Субейрак подумал, что зондерфюрер сделал это, потому что он, Франсуа, не захотел оказаться в особом положении. Человек типа Шамиссо мог так поступить. Но в этом случае чего же стоил вывод Эберлэна, будто зондерфюрер давно уже был бы на Восточном фронте, если бы он так хорошо не выполнял свое дело.

Колонна военнопленных возвращалась в деревянный городок — остриженные были в ярости, а остальные смеялись. Эберлэн сиял. Снег прекратился. Ванэнакер вдруг протянул палец, показывая на небо. Высоко-высоко под сероватыми облаками треугольником летели журавли. В течение нескольких секунд вся колонна во главе с «Человеком- который- не- получает- удовольствия», все конвоиры, включая Квазимодо, шли, подняв головы кверху, провожая глазами весну, летящую к северу.

VII

В «штубе», соседней с 17-4, одна бригада незаметно сменяла другую. Слой гнейса был пройден. В душном подкопе, днем и ночью, при слабом мерцании коптилки, работа шла без перерыва, один копал, другой выносил землю в мешках. Однажды пришлось вытащить на поверхность молодого офицера, упавшего в обморок от недоедания и недостатка воздуха. В недрах лагеря неслышно, шаг за шагом прокладывался подземный ход. В нём заключалась не только надежда, но и опасность: рано или поздно существование подкопа обязательно обнаружится. Только явная наглость позволит тогда актерам утверждать, что им ничего не известно. В мастерской все было готово на случай обыска. Ван стоял на страже.

Одновременно приближался и день, назначенный для первого представления, — пятнадцатое мая. Оставалась неделя.

Кроме того, в мире происходили события. Улыбающаяся и великодушная страна, какой Германия хотела казаться в начале их пребывания в лагере, исчезла, уступив место стране озлобленной, настороженной, приходившей в ярость от той игры, которую вела Франция, давая обещания и не выполняя их или выполняя слишком поздно. Немцы отвечали тем же, и пока наверху шел торг — вспыхивала старая вражда. В особенности это усилилось после того, как Пьер Лаваль снова пришел к власти, на этот раз «на новой основе», которая вовсе не нравилась пленным, в том числе и сторонникам маршала.

Между тем, ход военных событий и несдержанность французских военнопленных не оставляли места сомнениям относительно их истинных чувств: пленные не придерживались правила Сент-Экзюпери — «быть безмолвными, как семя», они громогласно высказывали на весь лагерь свою радость по поводу неудач, которые терпели немцы.

Майор Ватрен постепенно стал выходить из состояния прострации, но все-таки «Неземной капитан» не без основания тревожился о нем. Ватрен часами сидел в неподвижности, ничего не читая и куря трубку. Офицеры бравого батальона организовали нечто вроде дежурства при Старике. Они поочередно навещали его, уговаривали пройтись по лагерю. Близкие лес и море наполняли воздух живительным дыханием, и силы майора восстанавливались. Теперь он ежедневно пять раз обходил весь лагерь, проделывая таким образом километров шесть.

Франсуа зашел за Ватреном в «Богадельню для престарелых капитанов». Они двинулись в путь. Маршрут не отличался разнообразием. II блок, лесенка на песчаном пригорке, сторожевая вышка, лес и поворот назад к I блоку. Они обменялись несколькими словами по поводу театра: майор прежним тоном батальонного командира, производящего смотр своей части, спросил, готов ли спектакль. Такой вопрос являлся хорошим признаком. После этого они молча продолжали прогулку. Миновав стоящие возле бараков I блока ели, они вышли к опушке леса, туда, где недавно Эберлэн назвал Субейрака приспособленцем, повернулся и ушел.

Здесь, на этом месте, после первых же недель войны с Россией происходило *это*.

Офицерам не разрешалось останавливаться. Однако здесь всегда стояло пять, шесть, иногда и десять человек. Когда собиралось слишком много народа, с той стороны заграждений из колючей проволоки подходил часовой и начинал орать. Офицеры, словно стряхивая с себя оцепенение, расходились. Кое-кто, однако, продолжал стоять, до одури, до головокружения вглядываясь в то, что происходило за проволокой, пока не раздавалось категорическое приказание фрица. Некоторые офицеры проходили мимо, не видя, не желая видеть. Франсуа был уже знаком с этим зрелищем и предпочел бы пройти мимо, но майор не желал упускать ничего.

Ватрен остановился, глядя перед собой, слегка расставив ноги, скрестив руки на груди. В полукилометре от них, в песках находился лагерь русских пленных, сооруженный после нападения на СССР. Он походил на их лагерь, был так же расположен, так же кишел людьми, но оттуда гораздо чаще доносились крики, раздавался лай овчарок, а по ночам слышались одиночные выстрелы или очереди из автоматов.

Почти тотчас же они увидели *это*.

Миновав караульных, из русского лагеря выехала телега и двинулась в направлении французского лагеря. Переваливаясь на рытвинах, она тащилась по песчаной дороге. Это была большая померанская фура. В упряжке шли не лошади, а русские военнопленные — человек двадцать. Вокруг, как жирные серые мухи, вились конвоиры.

— Она опять полна! — заметил стрелковый офицер.

Телега была переполнена: в чистом воздухе ясно слышался характерный звук поскрипывания колес. На минуту телега исчезла из виду, скрывшись за песчаным холмом, но поскрипывание доносилось так же отчетливо. Потом она появилась снова уже ближе. На ней грудой лежали голые человеческие тела. Телега остановилась в трехстах метрах от французского лагеря, возле елей. Русские стали копать яму в двадцать метров длиной и десять метров шириной. Перед ними росла гора песка.

— Это уже третья, — снова заметил стрелок.

Майор смотрел не двигаясь, только кадык его ходил вверх и вниз.

Вот как выглядело это зрелище: широкая равнина, окаймленная лесом, бескрайнее небо, два лагеря друг против друга, один — ядовито-зеленого цвета, другой — с бараками, серовато-белыми, точно гниды, а между ними маленькие, четко обрисованные фигурки, словно сошедшие с картинок часослова, изображающих страшный суд,— под лай конвоиров, держащих автоматы на изготовку, русские пленные тащат телегу, наполненную нагими мертвыми телами.

Телега накренилась и опрокинула свой груз на мягкий, как зола, песок. Можно было различить бритые головы, обручи ребер, сплетенные руки и ноги.

— Голод, — сказал кто-то.

Один из конвоиров считал, потом снова пересчитывал. Лицо его выражало болезненную сосредоточенность. Ему никак не удавалось подвести итог... Он снова начинал сначала. Лучше было считать тогда, когда русские брали своих товарищей за ноги и, раскачав, бросали в яму. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Стук падающих тел не доходил сюда, но офицеры без труда мысленно его слышали.

— Господин майор, — сказал Франсуа, — не продолжить ли нам прогулку?

— А? — отозвался Ватрен. — Ах да, Субейрак. Лейтенант Франсуа Субейрак.

Выражение отрешенности сошло с его лица. Старик резко повернул-

ся. Они пошли по направлению к театральному бараку, к зданиям лагерного управления и к III блоку.

— Субейрак,— сказал майор.— Я хотел бы задать вам вопрос.

Это было что-то новое! Решительно Ватрен изменился за последние дни.

Они приблизились к семнадцатому бараку. Оттуда вышли двое пленных. Они тащили пресловутый бачок, в котором выносилась земля из подкопа. Прогуливаясь по лагерю, они должны были быстро раскидать ее горсть за горстью. Парни не походили на конспираторов, и, кроме того, бачок не обладал таким свойством, как невидимость. «Правда, я-то знаю, в чем дело»,— подумал Франсуа. Майор взглянул на обоих офицеров. Проходя мимо, они улыбнулись. К кому относилась улыбка — к Франсуа или к майору? Франсуа в разговорах с Ватреном намекал на подкоп, но не знал, был ли майор в курсе дела.

Между тем, Ватрен обдумывал свой вопрос.

— Субейрак, насколько я помню, у вас во время военных действий не было при себе револьвера?

— Не было, господин майор.

— До девятого июня?

— Совершенно верно, господин майор.

— В тот день вы обзавелись револьвером? А после этого у вас появился карабин, и вы с ним не расставались до того момента, как сдали его по моему приказанию. Так?

— Так точно, господин майор.

— Знаете, почему я спрашиваю? С некоторого времени, неизвестно почему, я начал задаваться разными вопросами. Очень простыми. Касающимися то одного, то другого.

Он остановился, чтобы разжечь трубку. Было ветрено. Франсуа расстегнул шинель, и Старик раскурил свою трубку, склонившись к груди Субейрака. Он поднял голову, выпустил изо рта струю дыма — вокруг разнесся запах бельгийского табака. Его голубые глаза были водянистого цвета, зрачки казались прозрачными.

— Да. Различные вопросы. Глупые, конечно. Есть вещи, которые я понимаю, и есть вещи, которых не понимаю. А сейчас пора бы уже понимать. Бравый капитан Бертюоль сказал бы: «Раз уж умирать, так умирать с ясной головой».

Франсуа раньше никогда не слыхал, чтобы Ватрен говорил так много подряд. Это, наверно, следствие пережитого им горя.

Они подходили к песчаному холму, на котором располагался III блок. Франсуа почтительно слушал.

— Так вот, я и задаю вопрос моим офицерам. Или, например, священнику, вам. Как говорится, — молодежи. В дни моей юности не было, знаете, молодежи. Вот почему вопрос о револьвере не выходит у меня из головы.

Франсуа сделал усилие над собой.

— Это сложный вопрос, господин майор, я и сам в нем как следует не разбираюсь. Вот в чем дело: я ненавижу войну.

Ватрен что-то невнятно проворчал.

— Я ненавижу войну. Я готов был умереть, но я не хотел убивать. Я ненавижу даже охоту. У меня не было револьвера потому, что я не хотел убивать.

— Но ведь вы были хорошим офицером, вы отлично командовали. Значит, вы считали правильным убивать при помощи других? Так что ли?

«Черт подери, — подумал Франсуа, — он прав». Позиция, которой он так долго придерживался, была просто идиотской, чистым фанфарон-

ством, годным только для установления алиби. Противоречивость ее никогда не представлялась ему с такой ясностью. «Да, это алиби, придуманное для того, чтобы не смущать мой пацифизм».

Он попытался объяснить:

— Я знаю, господин майор,— это было очень глупо. Но есть множество людей, которые едят цыплят, хотя ни за что не смогли бы зарезать цыпленка. Когда я был моложе, я ходил на охоту. Я очень любил охоту, но я всегда предпочитал поднимать дичь и никогда не стрелял сам. А ведь рябчик с капустой — это очень вкусно.

— Да, очень, — сказал майор.

— Господин майор, я знаю — все, что я вам сейчас говорю, очень нелепо, но тогда мне это нелепым не казалось.

— В этом не было ничего нелепого, Субейрак. Одно время мне даже приходило в голову, что все это является ловким трюком, который придумал какой-нибудь старый, опытный вояка, а теперь повторяет молодой офицер. Знаете, есть ведь такие военные трюки...

Он продолжал вполголоса:

— Дело в том, что в значительной части ваш авторитет у солдат объясняется именно этим. Нет, это не было нелепо. Я даже хотел сделать вам замечание по этому поводу. И не раз. На передовых. В тот день, когда сгорела рига, в Лотарингии. Я воздержался. Я хотел подождать, чтобы быть уверенным. Я был прав. Я говорю — авторитет, в точности, как Бертюоль, который прогуливался под обстрелом, покуривая сигарету и разговаривая с солдатами изысканным слогом.

Они подходили к I блоку. Земля под ногами была покрыта хвоей. Солнечный луч напомнил о летних каникулах.

— Господин майор, когда меня мобилизовали, я думал, что речь идет о... о европейской гражданской войне, о чем-то столь же нелепом, как война между Северными и Южными штатами. О самоубийстве Европы. Об этом уже говорили тогда...

Он продолжал глухим голосом с горечью:

— ...но не так, как сейчас. Европа Морана и Жироду. Европа Веймара и экспрессионистского театра. Кроме того, я впоследствии много думал о том, что такое враг. Наследственный враг. Фон-Шамиссо не является моим наследственным врагом. Враг — это...

Они снова проходили мимо русских. Опорожненная телега стояла с задранными к небу оглоблями, напоминая жука, прозванного в народе богомолом. Живые русские пленные засыпали известью мертвых русских пленных.

— Семнадцатый,— сказал по-прежнему неподвижно стоявший пехотный офицер.

— Вот он, враг, — резко сказал Ватрен. — Бош. Презренный методический убийца. Они убивают по тридцать человек в день.

— Для меня враг тот, кто унижает человека, — сказал Франсуа.

— А те, кто вот так швыряют людей, будь они хоть язычники, швыряют голыми, как собак, в песок и в негашеную известь, — они не унижают человека?

— Конечно да, господин майор.

Ватрен вздохнул. На этот раз он первым пошел дальше.

— Но,— сказал Франсуа,— может быть, это лишь временно? Может быть, завтра врагом будет кто-нибудь другой? Враг не может быть наследственным, или же вы виновны в такой же степени, что и он.

Майор не ответил на этот выпад. Высказывая свою мысль, Франсуа не имел в виду Ватрена. Он испугался — уж не обидел ли он его. Но майор не рассердился.

— Я возвращаюсь к вопросу о револьвере,— упрямо продолжал Ватрен.— На вашем опорном пункте были гранаты. Вы бросали гранаты. Собственными руками.

— На меня напали.

— Вы признаете законную самозащиту?

— Конечно, господин майор.

— И для государства — тоже?

— Да, господин майор.

— Тогда почему же вы не носили револьвера, коль скоро мы находились в состоянии законной самозащиты?

— Я вам говорил об этом, господин майор. Я был полон противоречий. Сейчас я начинаю понимать, что человек всегда полон противоречий. Всегда. Это признак того, что он настоящий человек.

— Очень важная мысль.

— Сейчас я во власти других противоречий, господин майор. Конечно, для вас, солдата, жизнь всегда была ясна...

— Нет,— сказал Ватрен.— У меня тоже есть свои противоречия.

Это прозвучало неожиданно.

Прогулка продолжалась. Они подходили к лагерному управлению. Оттуда вышел фон-Шамиссо и поздоровался с Субейраком. Ватрен сделал вид, что ничего не заметил. Франсуа быстро заговорил:

— Фон-Шамиссо — враг? Это первый немец, которого я знаю, хотя я веду войну с ними. Шамиссо мог бы быть моим другом. В бóльшей степени, нежели фабрикант-кожевник из моих родных мест, который нещадно эксплуатирует своих рабочих. Я стал пленным так же, как был награжден — не видя ни одного немца! На опорном пункте, когда я бросал гранаты, я видел лишь тени.

— Я должен вас избавить от заблуждения. Вы были награждены, голубчик, вовсе не за то, что отбили гранатами атаку неприятеля, а за то, что разместили ваш командный пункт в воронке, где незадолго перед тем погибло три человека.

— Вы знали об этом, господин майор?

— Я ждал лишь предлога, чтобы представить вас.

Они продолжали прогулку. Из окна «штубе» 17-4 Ван сделал знак рукой. Франсуа крикнул:

— Я пройдусь еще раз. У тебя что-нибудь срочное?

— Нет, — крикнул в ответ Ван.

— Странно,— сказал майор,— вы один из лучших молодых офицеров, которых я встречал за время своей службы. Это у вас в крови, конечно? Хотя вы сами этого не знаете.

— А что толку?

— Боши проиграют войну. Нужно будет закончить ее. Вы — штатский человек, преподаватель, атеист...

— Я не атеист, господин майор.

— Да, вы ходили на мессы в батальоне. Чтобы доставить мне удовольствие. Потому что я говорил, что месса входит в число служебных обязанностей. Нет, не спорьте. Доказательство: вы ни разу не причащались.

— Можно, не будучи католиком, не быть и атеистом.

— Ах да,— сказал майор.— Знаю. Обычно те, кто так говорит, обманывают сами себя. Они или католики или атеисты, сами того не сознавая... Вернемся к револьверу. Почему вы все-таки обзавелись им?

— Потому что мы подверглись прямому нападению,— сказал Субейрак.

— А карабин?

— Я обменял револьвер на карабин, когда увидел, что теперь надо не командовать, а самому с оружием в руках делать свое дело. Я предпочел карабин.

— Почему?

— Потому что от него больше пользы, господин майор.

— Но не при внезапных схватках. Вот, например, в Вердене, в семнадцатом году. Нет.

Он тяжело дышал, поднимаясь по песчаной дороге ко II блоку. Франсуа в раздумье продолжал:

— Возможно, здесь было что-то показное. Демагогическое. Ведь карабин — солдатское оружие. Да, существовало и такое соображение...

— Если бы все антимилитаристы походили на вас,— сказал майор,— я бы тогда...

Он закашлялся. Франсуа был уверен, что майор кашлял нарочно. Долго они шли молча. И в третий раз они увидели русских. В первой яме слой извести уже почти сравнялся с землей. Во второй яме оставалось еще свободное место, третья яма быстро увеличивалась. Русские пленные приблизились к французскому лагерю. Некоторые из них потирали рукой живот. Конвоир как будто ничего не замечал. Франсуа вынул пачку сигарет, вложил в нее камешек и бросил. Другие французы кидали куски хлеба. Русские на лету хватали все, что им переправляли. Но сигареты им не удалось поймать — камень оказался слишком тяжелым, обертка разорвалась, пачка упала между рядами колючей проволоки. Русский, который стоял ближе всех, в отчаянии пытался, лежа на земле, дотянуться до нее, но не смог. Сердце Франсуа бешено стучало. Конвоиры с криком набросились на русских, отогнали их к телеге. Тот, кому Франсуа бросил пачку, получил удар сапогом, заставивший его подскочить каким-то нелепым прыжком. Фриц в ярости орал, угрожая винтовкой и русским и французам, несуразный и смешной, несмотря на весь ужас этой жестокой сцены. Русский присоединился к своим товарищам, бросив на Франсуа долгий, полный безнадежности взгляд.

Франсуа вдруг почувствовал, что мужество покидает его. Жалость и сострадание были бесполезны, им больше не оставалось места в этом мире. Взбешенный часовой велел французам разойтись.

— Что касается меня, то у меня один враг,— сказал майор.— Бош! Posten Ганс. Сын своего отца Ганса. Отец своего сына Ганса. Я ненавижу его. Северные департаменты были оккупированы ими во время войны четырнадцатого года. Они всегда действовали, как этот постен. Вы очень злили меня вначале, в батальонной столовой. Вы всегда говорили «немцы», и я ничего не мог возразить, потому что это было по правилам. Я говорю «боши». Мой отец говорил «альбоши». Этот часовой — бош. Фон-Шамиссо — бош.

— Вы ненавидите их?

— Да.

— Это вы, христианин... А я не могу ненавидеть. Знаете, господин майор, до войны я был социалистом.

— Это значилось в секретных данных о вас.

Впоследствии они никогда не говорили друг с другом с такой прямотой и откровенностью, как в тот день. Много раз Франсуа хотел спросить майора, почему он до самого конца не распускал свой батальон, и он чувствовал, что Ватрен, возможно, ответил бы ему. Но он не решился. В самом деле, майор прекратил сопротивление задолго до того, как они наткнулись на немецких артиллеристов и прикрывавших их пулеметчиков. Он поступил по свободному выбору, по своей воле. Молчание майора во время агонии бравого батальона, когда офицеры хотели, чтобы он разрешил им рассредоточиться и действовать небольшими группами на свой

страх и риск,— это молчание, вопреки их предположениям, не свидетельствовало о сомнениях или упадке воли, или колебаниях в вопросе о долге и тактике. Нет, оно диктовалось каким-то твердым решением, происхождение которого было им неясно и казалось несовместимым с характером и всей прежней службой их начальника.

Они подошли к бараку майора.

— Спасибо, что погуляли со стариком,— сказал Ватрен.

Франсуа смутился.

— Я прекрасно знаю, что вы меня называете Стариком. Что ж, ведь я уже дед. У моей дочери есть сын. Сын.

Он задумчиво повторил:

— Сын.

— Господин майор...

Майор провел рукой по усам вправо и влево. На его лице появилось выражение лукавства. Он подтрунивал сам над собой, над характерными особенностями своей профессии, которой он отдал столько лет.

— Четыре сюда и четыре туда... Основание: называет своего батальонного командира Стариком. Как жалко, Субейрак, что здесь нет гауптвахты!

Потом последовало нечто необъяснимое.

— Для меня, Субейрак, эта война по-настоящему началась не на передовых, не с первыми жертвами и не с первым убитым врагом. То, что я скажу, удивит вас. Она началась 27 мая в Вольмеранже, когда был расстрелян человек из...

Он запнулся.

— ...человек из Бийянкура. Вот когда она началась. Мне не удастся ее закончить. Я слишком стар. Я слишком много воевал. Ее закончат другие, вы, Субейрак, вы — антимилитарист с карабином. Спокойной ночи.

Франсуа в задумчивости вернулся в барак. Он думал о русском пленном, о... его отчаянии. При воспоминании о сцене перед русским лагерем у него потемнело в глазах.

Ван поджидал его: Эберлэн хотел поговорить с Субейраком по поводу костюмов.

Франсуа согласился сшить костюмы для пяти беглецов вместе с костюмами для спектакля. Но костюмы для беглецов шились из шерсти, обходным путем доставленной в лагерь, а костюмы для актеров — из крашеной мешковины. Еще одна забота, а в случае обыска — лишнее доказательство его причастности. Франсуа нахмурился, но перед ним вдруг возник образ русского пленного. Потом он вспомнил человека из Бийянкура. Черты его лица были расплывчаты. Франсуа не помнил, как его звали. Даже усилием воли не удавалось восстановить его облик, даже большим усилием. Стершиеся черты лица. Неясный силуэт.

— Как майор? — спросил Ван.

— Майор Ватрен уже давно не был в таком превосходном состоянии духа,— ответил Франсуа.

VIII

Капитан Пьерэ де Аруайе — высокий, светловолосый, солидный, лет пятидесяти, адвокат по профессии, отдавал должное завтраку, который сымпровизировал для него Тото. Пьерэ, кузен Ванэнакера, только что был доставлен в лагерь после неудачной попытки к бегству. Одновременно с ним в лагерь прибыло еще несколько сот человек. Всего лишь несколько дней назад он сидел в тюрьме, потом проделал весь путь из Берлина до лагеря и очень проголодался. Первое время он молча ел жареную картошку с салом, приготовленную Каватини. За столом сидели Франсуа, Камилл, который на этот раз вел себя прилично, разумеется Ванэнакер, устроив-

шийся рядом со своим кузеном, и Параду, напарник Ванэнакера, второй «раскладной» артиллерист.

Пьерэ де Аруайе рассказывал, как его взяли на Кельском мосту, в поезде, идущем в Париж. Лагерь, где он раньше содержался, находился под Берлином. Ему удалось самому сфабриковать Ausweis * на бланке, украденном в лагерном управлении. Он переоделся в штатское и, приняв независимый вид, прошел мимо караульного поста с возгласом «Хайль Гитлер».

Далее, он сел в поезд и доехал без помех до Берлина. Там он разыскал в одном из новых домов современной архитектуры, возле Фридрихштрассе, неподалеку от Тиргартена, французских рабочих-металлистов, добровольно работавших в Германии. Некоторые из них, используя свою репутацию коллаборационистов, по мнению немцев подтверждавшуюся уже тем, что они находились здесь, устроили цепочку для помощи беглецам; звенья ее находились в Мюльгаузене и в самом Париже, у одного отважного торговца скобяными товарами в Фобур-сент-Мартен. Рабочие дали Аруайе явки и снабдили его более солидными документами. Пьерэ де Аруайе снова сел в поезд по-прежнему в штатском. Его арестовали на Кельском мосту при первой проверке. «Документы-то настоящие,— с тонкой улыбкой заметил полицейский,— а вот человек фальшивый».

— Я влип, как новичок. В моем отпускном свидетельстве значилось, что я слесарь, но руки адвоката выдали меня. Если бы не это, все сошло бы. Они попробовали заставить меня говорить, били меня, но, узнав, что я офицер, — перестали.

Все ели усердно, не спеша, смакуя немудреную пищу, приготовленную Тото, запивая белым мозельским вином, две бутылки которого были получены при помощи продовольственной комиссии. С появлением капитана Аруайе в их оседлом мирке повеяло духом приключений.

— Они меня мариновали некоторое время в кельской тюрьме, хотели проверить, не украл ли я, не ограбил ли, не убил ли кого-нибудь для того, чтобы бежать. В тюрьме я встретил самого удивительного типа, какого я когда-либо видел. Француз, тоже бежавший. Он прибыл из лагеря близ Карлсруэ. Крестьянин, сорока лет, очень сильный, низкий лоб, покатые плечи. Кремень. Он ушел из лагеря, толкая перед собой тачку с навозом, а в нем торчали вилы. Так он прошел со своей тачкой больше двухсот километров, днем он брел проселочными дорогами, по ночам прятался. Удивительно невозмутимое существо. С ослиной челюстью. Из Перигора. Его взяли в Эльзасе, как только он бросил свою тачку,— ему следовало бы так и идти с ней до самого дома! А вот другой случай: двое приятелей просто-напросто уходят через незапертую дверь — без подготовки, без плана. Они нашли одежду, сели в Берлине в поезд и доехали до Парижа — никто ни разу не проверил их документы.

— Н-н-надо бы свести капитана с нашим образцовым беглецом,— сказал Тото.

Капитан улыбнулся.

— Вы имеете в виду капитана Эберлэна? Это уже сделано.

Раздался взрыв смеха.

— Вы, наверное, по его внешности догадались, кто он, — сказал Ван.

Все с интересом слушали капитана. Они совершенно не знали Германии, которая окружала их лагерь. Капитан хотя бы поездил по ней. Что на заводах? Как французские рабочие? Настроения немцев? Англо-американские бомбардировки? Роль коммунистов в Сопротивлении?

— Уверяю вас, до конца еще далеко. Не ждите восстания. Хотя... Да. Вот о чем вам надо рассказать. Я ехал поездом Берлин — Париж. Nach

* Удостоверение (*нем.*).

Paris. В мое купе вошли немцы — отпускники. Среди них был молодой солдат с открытым лицом. Он сразу заговорил со мной по-французски, это меня разозлило. Сообщил, что возвращается из России. Врач. Вы ведь знаете, у них врачи не обязательно имеют офицерское звание. Через несколько минут он начал рассказывать о Восточном фронте... О нет, благодарю вас, лейтенант, ваш картофель превосходен, но больше не могу — желудок отвык принимать помногу... Надо, чтобы он снова привык. О чем я говорил...

— О фрице... — подсказал Камилл.

— Так вот... Этот фриц-врач принялся обрисовывать положение, рассказывать об обмороженных ногах, о большом количестве погибших, об эпидемиях, о русском сопротивлении, о храбрости неприятеля, о пессимистических настроениях среди офицеров, о репрессиях против партизан, о жестокости самих партизан. Этот человек проявил смелость, которая меня поразила. Я указал ему на его спутников. «Ни один не понимает по-французски», — сказал он. И он начал восхвалять коммунизм. Опасаясь, что это провокация — было бы чересчур глупо попасться, не правда ли? — я сделал вид, что валюсь с ног от усталости, и вскоре заснул. Когда я проснулся, купе было пусто, солдаты ушли. Я полез в карман за куревом и вдруг обнаружил там пачку голландского табака. На обертке был написан парижский адрес и еще несколько слов. «От Ганса. Желаю удачи». Интересно, что стало с этим Гансом.

— Ганс... — пробормотал Франсуа, вспомнив слова Ватрена.

— Наверно, их все-таки немного, — заметил Ван.

— Да, их немного, если сравнивать с количеством коммунистов во французской армии в сороковом году. Но наши коммунисты не были активны. Они довольствовались тем, что, подвыпив, пели «Интернационал». Иногда они доходили до того, что пели «Молодую гвардию» и распространяли ужасный слух, будто Даладье пьет слишком много перно. Немецких коммунистов меньше в тысячу раз, может быть, в десять тысяч раз, но у них несравненно больше решимости.

Франсуа подумал о глухом противодействии, которое росло, в первую очередь, во Франции. Парижские газеты открыто говорили об этом. Они занимались бранью, доносами, но не могли отрицать самого факта. Так же обстояло дело и в Германии.

— Вы, кажется, в курсе вопроса о коммунистах в армии в 1939—1940 годах. Я никогда не принимал их всерьез,— сказал Франсуа.

— Я тоже,— ответил Аруайе,— хотя я и был постоянным читателем «Же сюи парту»*. Штабы придавали этому чрезмерное значение. В воинских частях свирепствовала эпидемия шпиономании и большевикомании. Я повидал тогда немало отвратительных вещей. Например, я помню, как отличных ребят месяцами держали в тюрьме за то, что они однажды запели от скуки «Молодую гвардию» вместо того, чтобы выпить, или за то, что они утверждали, будто у немцев есть грузовые машины! Многие социалисты были записаны, как говорится, красными чернилами, то есть в списке «Б», в качестве революционеров. Сплошная нелепость: ведь ни один социалистический лидер, ни одна директива никогда не осуждали эту войну.

«Боже мой, — подумал Субейрак. — Ведь майор именно про это говорил в тот раз. Я был в красном списке, и он знал об этом».

Мысли всегда связываются друг с другом в определенном направлении. Коммунизм, пораженчество, список «Б», человек из Вольмеранжа. Франсуа, как коза вокруг своего колышка, вертелся вокруг этой непонятной драмы, казалось, уже ушедшей в прошлое.

---

* Французский реакционный журнал.

— Офицеры редко бывают в курсе подобных дел. Откуда вы знаете все это, господин капитан?

— В самом деле, — перебил его Ван, — я забыл сказать: мой кузен был секретарем в военном трибунале мотомехдивизии.

Они не торопясь попивали кофе, пахнущее ячменем. Участники театральной труппы усадили гостя в великолепное картонное кресло.

— Господин капитан, как происходят заседания военного суда? — спросил Франсуа.

Пьерэ де Аруайе ответил профессиональным тоном, совсем не таким, каким он только что рассказывал о побегах.

— Так же, как и в гражданском процессе. Случайное помещение, большей частью какая-нибудь школа. Прямо удивительно, как только ни используются школьные здания, помимо их прямого назначения.

— Я учитель, — сказал Франсуа.

— Да? Ну так вот, представьте себе вашу кафедру на обычном месте, за ней какой-нибудь полковник в качестве председательствующего. Два стола по обе стороны, за ними сидят судьи в различных чинах. Один обязательно должен быть унтер-офицером.

— В вашей дивизии бывали заседания военного суда?

— Сколько угодно. В этом отношении ничего не изменилось.

— И смертные приговоры?

— Тоже. Но не в эту войну, а в ту. Я тогда был не секретарем, а защитником.

Франсуа посмотрел на Тото и на Вана. Оба они с одинаковым напряженным вниманием следили за разговором.

— Простите, что я омрачаю наш обед, но нам необходимо узнать все подробности об этом. Я потом объясню вам, зачем.

— Ну что ж, начинают с установления личности. Потом опросом, свидетельскими показаниями, если можно, очными ставками устанавливают факты. Потом прокурор произносит обвинительную речь, а адвокат защищает.

— Значит, все-таки есть адвокат? — вызывающе спросил Тото.

— Ну конечно. Военный суд часто изображают, как пародию на правосудие. В отдельных случаях бывает и так. Но обычно это просто более суровое правосудие, вот и все... со своими особыми «табу». Конечно, тут нет гарантий, которые дает участие присяжных заседателей. Но вы согласитесь, что присяжные мало совместимы с военным духом.

— Еще бы,— насмешливо сказал Камилл,— от них один только беспорядок.

— Но ведь то же самое происходит в армиях всего мира... У нас обвиняемый охраняется двенадцатью конвоирами из дивизионной жандармерии.

— Конечно, — с отвращением заметил Франсуа, — дивизия, сражающаяся на фронте, не может обойтись без жандармерии.

Им было очень уютно сидеть в этой нелепой комнате, уставленной пальмами, цветами алоэ и другими декорациями для «Комической истории».

Франсуа, наконец, спросил:

— Обвиняемому сообщают приговор?

Капитан выпрямился:

— Именем французского народа... На караул! Ток-ток-ток! Сего дня военный трибунал, слушая дело в закрытом заседании... Председательствующим был поставлен вопрос: — Угрожал ли капрал X лейтенанту Y, называя последнего шкурой и офицерской мордой?.. Тайным голосованием членов суда... Председательствующий произвел подсчет голосов, согласно

требованиям закона... На вопрос, виновен ли X в мятеже, суд единогласно ответил: «Да, виновен».

Капитан рассказывал все это с тем же лихорадочным возбуждением, с каким говорил о своем неудавшемся побеге, но на этот раз в его голосе звучало осуждение.

— Ну конечно, — продолжал он, откинувшись в кресле, — потом (я говорю о заседании в вашей школе, господин Субейрак) переходят к следующему вопросу: «Есть ли смягчающие обстоятельства?». Тут все зависит от тех зебр, которые судят, не так ли, от мнения полковника — председателя суда. Нельзя сказать, что он навязывает свое мнение, но, в общем, он, не стесняясь, дает понять, что думает. Кроме того, это зависит от очередной сводки. На участке спокойно, новости хорошие, приближается рождество... — все делаются добренькими. Парень был пьян. Он идиот от рождения. У него четверо детей. Давайте, большинство голосов — да! Обойдется шестью месяцами штрафных... Немцы нажимают, фронт прорван, в тылу беспорядок? Нет! Единогласно!

— И тогда?

— Тогда трибунал удаляется, чтобы избрать меру наказания. Председатель производит опрос, начиная с младшего по чину. Все предусмотрено. Ввиду изложенного и принимая во внимание, что сержант Вашэ дезертировал с боевого поста, трибунал приговаривает его к смерти, лишению воинского звания и возмещению судебных расходов...

— Н-не может быть! — воскликнул Тото.

— Именно так! И устанавливает, что приговор будет оглашен перед строем.

С большим опозданием Франсуа мысленно присутствовал на суде над человеком из Вольмеранжа. Действительность оказалась еще более возмутительной, чем та пародия, которую он себе представил,— об этом сейчас с достаточной убедительностью рассказывал капитан Пьерэ де Аруайе... Дело происходит в его классе. Председатель дремлет. Элегантный, надушенный полковник Розэ пальцем указывает на солдата, и его нижняя губа подрагивает от негодования. Положенный по закону унтер-офицер занимается своими ногтями и скучает. Человек из Вольмеранжа сидит напротив кафедры. Вот он поднимает голову...

Франсуа очнулся. Он хотел знать все до конца.

— Приговор всегда оглашается?

— Насколько мне известно — всегда.

— А что потом?

— Потом прошение о помиловании.

— И в эту войну было так?

— Ну да. Знаете, нигде внешние формы не сохраняются так прочно, как в суде, если только не говорить о церкви... Чему же вы обучаете ваших учеников по истории?

— Делу Дрейфуса, господин капитан.

Ответ прозвучал, как удар хлыста.

Капитан Пьерэ де Аруайе пожал плечами. Что ж, хорошо отвечено. Как бывший читатель «Же сюи парту» он не мог удержаться, чтобы не подразнить учителя.

— А знаете, военно-полевые суды иногда еще упрощают процедуру. Я думаю, что в мае и в июне, если такие дела случались, довольствовались упрощенным церемониалом. Война это война.

— Да, — ответил Франсуа Субейрак, — таково одно из моих первых впечатлений в плену. Мы шли полем недалеко от Вузье. Мимо двигалось немецкое подразделение с капитаном во главе. Он ехал верхом и высокомерно сказал нам: «Das ist Krieg».

— Русские — тоже наверно так говорят... Чтобы сделать омлет, надо разбить яйца.

Они долго сидели, увлекшись разговором. Послышался стук в дверь— это, как обычно, стучал кулаком Ватрен. Старик зашел за Субейраком, чтобы идти на прогулку. Он не захотел войти.

— Благодарю за отличный завтрак, — сказал, поднимаясь, капитан Пьерэ. — Мы рассчитываем на вашу «Комическую историю», господин Субейрак. Так редко удается посмеяться.

— Господин капитан, прошу простить, что задавал вам столько вопросов. Но все же...

Капитан надевал шинель.

— ...Но все же у меня есть еще один вопрос. Почему вы только что упомянули сержанта Вашэ?

— Сержанта Вашэ? — спросил гость, слегка наклонив голову.— Сержанта Вашэ?

— Да, вы сказали: «Сержант Вашэ дезертировал с боевого поста...»

— Постойте. Я действительно говорил о сержанте Вашэ! Это интересно... Сержант Вашэ, мой милый, это молодой человек, приговоренный к смерти в 1917 году в Вердене, незадолго до приезда Петена. Это удивительно! За двадцать пять лет я впервые вспомнил о нем!

— Желаю успеха в бридже, господин капитан!

Они снова шагали без устали по доскам, по песку, вдоль колючей проволоки, совершая свой обычный обход. Вопреки календарю, собирался дождь. По небу над деревянным городком и его жалкими башнями плыли грязно-серые тучи, напоминавшие то раздутые меха, то каких-то уродливых чудовищ.

Их было четверо — Субейрак, Ван, Ватрен и артиллерийский капитан Сильвэн, доминиканец, преподававший теологию в Темпельгофском университете; был там и такой курс!.. Ван рассказывал Франсуа новости о подкопе. Туннель успешно продвигается. После того как Параду и Ван соорудили трубу из насаженных друг на друга килограммовых консервных банок и облегчили таким путем приток воздуха, работа пошла быстрее.

Франсуа улыбнулся, вспомнив сложную систему сигнализации, неуловимую для непосвященных. В случае тревоги офицер, стоящий на страже, держал особым образом сигарету или надевал пилотку не совсем так, как обычно.

— А вентилятор? — спросил он.

— Будет готов дня через три.

Они машинально шагали, и Франсуа казалось, будто это безостановочное движение не только не имеет цели, но, наоборот, уводит от нее по концентрическим кругам, все глубже втягивая его в унылую лагерную жизнь. Он не верил в подкоп. Все эти подземелья были ему физически неприятны. Точно то же происходило в его собственной жизни. Началось на передовых со свободы воли в бою. Круг сузился в конце мая вокруг человека из Вольмеранжа и стал еще теснее во время злоключений бравого батальона в Ретельском лесу. Сейчас круг ограничен песками этого лагеря, а завтра, может быть, он еще больше сократится. Тоска все чаще овладевала Франсуа. Он чувствовал, что она связана с человеком из Вольмеранжа и с майором Ватреном и что если бы ему стал понятен смысл их жизненных драм, столь несхожих между собой,— он сразу обрел бы некую простую и бесспорную истину.

Подчас Франсуа спрашивал себя: не объясняется ли эта тоска обычной для заключенного неврастенией и не теряет ли он постепенно контроль над собой?

— Господин майор, — сказал он, — меня уже несколько месяцев одолевают размышления о том, что произошло в Вольмеранже. Это тягостное, беспокойное чувство становится настоящим наваждением. Если военный суд происходил по правилам — а они мне теперь известны,— то осужденный знал, что он приговорен к смерти. Ему прочитали приговор.

Он остановился, чтобы объяснить заинтересовавшемуся капитану Сильвэну сущность дела.

Когда они проходили мимо I блока, русских не было видно. Франсуа продолжал:

— Вы видели, господин майор, что осужденный имел физическую возможность бежать. Он казался человеком решительным и храбрым. И тем не менее, он не бежал.

— Постойте, постойте,— возразил Ватрен.— Он мог убежать лишь до вашего визита в эту бакалейную лавку. Или же во время него. Потом там находился я.

Некоторое время они шли молча, слышалось только шуршание песка под ногами.

— Субейрак, я сторожил этого человека до рассвета.

Франсуа судорожно глотнул слюну.

— Господин майор, в его распоряжении был час или два, он не воспользовался этим. Что же, следовательно, у него была еще надежда? Если так, значит ему не читали приговора. Господин майор, это ужасно, но, хотя этого я не могу доказать, я убежден, что в безумной обстановке, созданной поражением, все дело было фальсифицировано. Это преступление.

— Преступление? — переспросил майор.

— В самом деле,— заметил доминиканец,— если дело обстояло так, то это похоже на преступление.

— Почему? Объясните понятнее,— сказал Ватрен.

— Вы знаете полковника Розэ. Он был яростным фанатиком военного дела и презирал запасных. Он очень ревниво относился к своему авторитету, плохо владел собой. Власть, которой он был облечен, превосходила его силы: в его характере было что-то женское. Нервный, подвижной, он бывал, наверно, на высоте в момент атаки, штурма. Розэ воспользовался инцидентом, действительно имевшим место, хотя другой командир в подобном случае постарался бы замять дело. Почему он так поступил? Из страха, под влиянием событий тех дней, когда разваливался фронт, из боязни потерять авторитет? Может быть, он хотел взять в руки свой полк, так как он всегда вызывал в нем сомнения? Может быть, тут сыграл роль гипноз коммунистической опасности, в которую он верил: ведь его полк формировался на севере из крестьян и рабочих, внушавших ему страх, потому что он ничего не понимал в коммунизме. Он был недоволен своими солдатами, чувствуя с самого начала, с сентября 1939 года, их скрытое сопротивление — оно объяснялось дурным настроением, складом характера этих северян. Он никогда не любил своих солдат, они казались ему слишком угрюмыми, и хотя они дрались хорошо, все же каждый из них не соответствовал его представлению о том, каким должен быть образцовый солдат. Я не утверждаю, а лишь пытаюсь понять. В общем, им руководило сложное чувство кадрового офицера, защищавшегося от войны, ввиду того что она приняла чересчур гражданские формы. Он решил воспользоваться возможностью, которую давно искал, и дать наглядный урок на примере этого солдата, бывшего чужаком в полку. Он «создает дело», ни с чем не считается, выдает движение безотчетного гнева за «угрозу смертью», нажимает на военный суд и добивается казни человека, который в данном случае был лишь козлом отпущения.

Ван удалился из деликатности, а может быть, потому, что не одобрял настойчивости своего друга Субейрака. Франсуа шел посередине, между двумя старшими офицерами. Ветер развевал полы шинелей. Изредка на их лица падали мелкие капли дождя.

— Что за обвинительная речь! — воскликнул Сильвэн, доминиканец.

Ватрен, опустив голову, продвинулся чуть вперед — Франсуа и доминиканец обменялись взглядами. Наконец Сильвэн намеренно ровным голосом произнес:

— Я понимаю взволнованность вашего офицера, господин майор. Уверяю вас — оно законно.

Ватрен обернулся. Франсуа увидел на его лице уже знакомое ему выражение загнанного вепря.

— Я никогда не любил полковника,— резко сказал Ватрен.— Но Розэ погиб на Сене с остатками полка в тот самый день, когда я клеветал на него, утверждая, что он бежал, не предупредив нас. По правде говоря, я думаю, что вы не правы, Субейрак. Нет. Прежде всего, военный суд подчинялся не Розэ, а генералу, командовавшему пехотной дивизией.

Вот как, оказывается, майор Ватрен тоже очень интересовался этим делом?

— Да. Следовательно, — продолжал Субейрак, — полковника негласно поддерживал председатель военного суда, недовольный тем, что пополнение состояло преимущественно из рабочих, уволенных с заводов... Не так ли, господин майор?

— Это верно.

— И председатель также был убежден в необходимости дать наглядный урок? Урок! За три месяца до этого генерал, о котором идет речь, пожертвовал отдыхом своих солдат, чтобы заработать еще одну звездочку. Он был из того же племени, что и полковник. Что же, это только углубляет вопрос.

— Смотрите,— заметил доминиканец,— не углубляйте его слишком, а то вы распространите свои выводы на всю армию.

— А если именно в этом существо дела? — с силой сказал Ватрен.— Да, судя по слухам, генерал не хотел, чтобы его часть сменилась с передовых. Но я и этому не верю. Я думаю, что из нашей бедной дивизии выжимали больше, чем из других, только потому, что, хоть она и не блистала ни выправкой, ни дисциплиной, все же она — одна из немногих боеспособных, если не считать кадровые соединения... И, кроме того, Субейрак, вы забываете, что ведь существовали и другие члены суда.

— Но если в судебной процедуре не допускали нарушений, если подсудимому прочитали приговор и заранее сообщили, что его расстреляют,— чем же вы тогда объясните, что он не пытался бежать?

— Оставалась еще надежда на помилование,— ответил майор.

Возможно. Человек не пытался бежать, потому что ждал ответа на просьбу о помиловании. Но Франсуа не верил в это. Тон майора был не очень убедителен.

— В конце концов, одно из двух, — упрямо продолжал Франсуа, — сидя там, в этой бакалейной лавке, человек либо знал, либо не знал. Если он не знал — значит это убийство. Если он знал,— тогда я не понимаю. Ведь это же был храбрый человек. И умер он мужественно. Он не захотел, чтобы ему завязывали глаза.

— Может быть, он был подавлен неотвратимостью судьбы? — заметил Сильвэн.

— На его месте мне было бы страшно. Именно поэтому у меня хватило бы смелости бежать. Ко мне смелость всегда являлась таким образом — через страх!

— Это верно,— сказал Ватрен.— Храбрость в том и заключается, чтобы поступать так, словно ты не боишься.

— Порой мне приходит в голову самое ужасное,— сказал Субейрак.— Человек знал. Но не верил. Не верил, потому что его совесть была чиста. Он не думал, что невинного человека могут расстрелять. Я пришел той ночью в бакалейную лавку. Я его видел...

— Я как раз хочу задать вам вопрос, который мне бы следовало задать вам тогда. С какой именно целью вы пришли тогда в бакалейную лавку?

— Я... я не знаю. Мною уже тогда владела мысль о том, что готовится убийство. Я пришел посмотреть на этого человека, только для этого. Чтобы понять... А потом...

Он замедлил шаг и добавил со страстной настойчивостью:

— Я считал: кто-нибудь должен предупредить этого человека о том, что он приговорен к смерти... чтобы не лишать его последнего шанса на спасение.

— В вас много романтики, Субейрак,— вставил Сильвэн.

— Именно так я и думал,— сказал Ватрен.—Я велел вам той ночью сесть под арест, чтобы спасти вас от самого себя. Слушайте, мой мальчик, слушайте внимательно. Я подумал тогда о своем сыне. Мой сын отнесся бы к этому так же, как вы...

Он вдруг взорвался:

— Неужели вы думаете, что в семнадцатом году мое сердце было на стороне тех, кто расстреливал восставших?

Приступ гнева тотчас прошел, но Франсуа хотелось обнять Старика за этот выкрик.

— Господин майор, вот... если бы вы разрешили задать вам вопрос личного порядка?

— Давайте, мы ведь здесь полуштатские, на полуокладе, на полупайке.

— А вы, господин майор, вы сами?..

— Я?

— Вы. Зачем вы пришли тогда в лавку, хотя были так же измучены, как и все мы?

— Я чувствовал, что в воздухе пахнет глупостью. Я подумал, что именно вы с вашей неуравновешенностью можете оказаться способным на нее; ведь из всего батальона только вы и врач значились в графе «Б»... И в конце концов — к черту эту ночь и этого человека из Вольмеранжа! Сегодня не видно телеги, но там ежедневно умирает по тридцать человек! А сколько людей гибнет в России, в Северной Африке, везде! Тогда была война, один человек не шел в счет.

— Вы действительно так думаете, майор Ватрен? — спросил доминиканец.

— Нет, святой отец, нет, на самом деле я думаю не так... А впрочем — да. Я сам не знаю. Одна половина во мне считает, что это не имеет значения. А другая половина, наоборот, считает, что это очень важно.

Они продолжали шагать.

— Прежде я вовсе не думал, так было гораздо лучше.

— Господин майор, а если поставить вопрос иначе,— сказал доминиканец,— например: была ли возможность избежать казни этого человека? Была ли его смерть необходима?

Майор ответил тотчас со всей прямотой:

— Не думаю, чтобы его смерть была необходима. На месте судьи я бы дал ему шесть месяцев тюрьмы.

— Значит, это было преступлением,— сказал Субейрак.

— Шла война,— возразил Сильвэн.

— Das ist Krieg,— зло усмехнулся Субейрак.

Впрочем, ирония больше не действовала на них. Они по-прежнему шагали. Шел дождь, но они не замечали его.

— Это преступление,— с силой промолвил, наконец, Ватрен.— Это преступление, и виновен в нем я. Я помешал этому человеку бежать, нарочно оставаясь при нем до рассвета. Я вам говорю, Субейрак,— под конец парень понял, в чем дело. Он это понял, когда вы вошли. Думаю, что ему не прочитали приговора. Это я убил его.

В голосе Ватрена послышались хриплые, всхлипывающие звуки. Он споткнулся, попав ногой в щель между досками, изъеденными сыростью, и, выбросив вперед руки, с трудом сохранил равновесие. Он продолжал:

— Сама война — преступление. Я всю жизнь воевал. С бошами — это совсем другое дело. И все-таки я...

Он остановился, посмотрел на свои руки, поднял к небу угрюмое лицо, его шея напряглась. Нельзя было без волнения смотреть на это лицо старого ребенка с приклеенными зачем-то седыми усами, поднятое кверху, к померанскому небу, как маска, воплощающая всю человеческую скорбь. Сердце Старика готово было разорваться. Он тяжело дышал. Они слегка подтолкнули его, и он снова задвигался, как старые часы.

Дождевые капли падали на песок.

Спутники удрученно молчали.

— Так вот, понимаете,— нет, мой мальчик, дайте уж сказать,— когда после Вольмеранжа я увидел, что вы продолжаете воевать без револьвера, мне это было очень тяжко. Когда я увидел, что один из моих лучших офицеров воюет без револьвера...

— Потом он обзавелся карабином, чтобы лучше было убивать,— сказал Субейрак.

Они шли. И дождь продолжался.

— Что такое Бийянкур? — спросил майор.

Прошло немало времени, прежде чем Франсуа ответил:

— Бийянкур — это автогенная сварка. Люди работают в масках, обжигают себе легкие. В качестве противоядия получают ежедневно по два литра молока. Они думают только о том, как вырваться из этого ада. Большинство из них не живет в Бийянкуре. Они приезжают издалека, из пригородов. Они встают спозаранку, едут два часа поездом и метро, чтобы выпить свои два литра молока. Они в аду, но они ни в чем неповинны. Бийянкур — это ад. Конечно, каждый третий или четвертый — не знаю точно — коммунист. Они не верили в эту войну. Хотя годом раньше они в нее еще верили. Здесь причина пораженчества. Никто не смеет говорить об этом, если он на собственной шкуре не испытал, что такое Бийянкур. Они не верили в войну. Они верили в освобожденный мир. Они думали, что войну ведут кадровые военные,— именно ведут, приводят к войне. Человек из Бийянкура ненавидел нас: мы были теми, кто мешал ему уйти из ада.

— Вы думаете,— спросил Ватрен,— что они такие же искренние коммунисты, как, например, мы на севере — искренние католики? С такой же силой веры?

— Да,— ответил Субейрак,— я так полагаю.

— Вы коммунист, сударь? — спросил доминиканец.

— Нет. Я не знаю, кто я. Но я начинаю понимать, чего я хочу. Я не желаю эксплуатации человека человеком. Я хочу свободы для человека. И какого-то минимума денег, без которого нет свободы.

— Послушайте меня,— возразил майор.— Человек из Бийянкура был коммунистом. Так записано в его личном деле — я держал это дело

в руках, полковник Розэ направил его в мой батальон. Человека из Бийянкура мобилизовали в 1939 г. Сначала он работал в тылу, потом из-за своей антинациональной деятельности был отправлен на фронт. Ну, и кроме того, у меня есть о нем и другие сведения из более достоверного источника, от него самого — мы с ним говорили, когда он понял, что я не собираюсь уходить. Он сказал, что он коммунист. Я всегда буду помнить его взгляд. Не пытайтесь разобраться, мой мальчик, не мучайте себя напрасно. Я потом узнавал об этой истории, мне рассказывал о ней майор Ле Дантек — член военного суда. Солдат прибыл в полк в тот самый день, вместе с эшелоном в сто пятьдесят человек. Его послали в порядке дисциплинарного взыскания. По словам Ле Дантека, эта партия скорее напоминала стадо, нежели воинскую часть. На полковом КП к вновь прибывшим вышел полковник Розэ. Он был в белых перчатках, а люди ничего не ели со времени отъезда, то есть тридцать шесть часов. Розэ хотел обрисовать им положение. Один из солдат вышел из рядов, положив руку на штык. Угрожающий жест по отношению к Розэ действительно имел место. Это было движение гнева. Полковник Розэ истолковал его как покушение на убийство. Он имел право на это. Однако вопрос о передаче дела в военный суд был решен не полковником, а генералом. Суд начался немедленно, в тот же вечер, за полтора часа до того, как меня предупредили. Такова правда. И не ищите больше, не терзайте себя.

Они продолжали шагать. Дождь моросил по-прежнему.

«Я убегу, чтобы положить красные розы на могилу человека в Вольмеранже»,— мелькнула у Франсуа нелепая мысль. Он засмеялся коротким сдавленным смешком. Доминиканец прав. Все тот же романтизм. Человеку из Бийянкура наплевать на красные розы. Наверно, никогда прежде этот человек не был таким ощутимым, значительным, каким он стал после своей смерти.

Они все шагали и шагали.

— Послушайте, святой отец,— сказал Ватрен спустя долгое время.— Коль скоро мы уж коснулись вопросов совести, то вот о чем я хочу еще сказать. Представьте себе человека, который убедился, что его жизнь прожита зря, что у него нет больше причин оставаться на земле. Он христианин. У него нет права на самоубийство. И тогда он устраивается так, чтобы его убили во время заведомо безнадежной операции.

— Что вы имеете в виду?

— Ну, например, попытку к бегству при рубке леса.

— Вы принимаете господа бога за идиота, майор,— любезно ответил монах в военной форме.

Они шагали. Франсуа был подавлен рассказом Ватрена гораздо сильнее, чем его последними словами.

Ватрен упрямо продолжал:

— А если проект годится? Если он осмыслен?

И подумав, пояснил:

— С военной точки зрения.

— Вы ставите вопрос о преднамеренности. Одному богу будет ведомо — самоубийство это или нет.

Они продолжали шагать под дождем. В тумане, возле русского лагеря, вновь показалась телега с трупами.

Неподалеку от III блока они увидели бегущего Тото. Заика с трудом дышал, и это не способствовало ясности произношения.

— Ид-д-дет обыск,— выговорил он наконец.

«Штубе» 17-4 была окружена вооруженными охранниками. Франсуа прибежал туда, едва переводя дыхание. Пять настоящих штатских ко-

стюмов висели в мастерской. Он вошел. «Человек-который-не-получает-удовольствия» вместе с дюжиной фрицев обыскивали барак. Они были почти рядом с костюмами. Франсуа поздоровался. От костюмов пахло свежей краской.

— Осторожно, господа,— небрежно сказал он,— это только что выкрашено. Вы испачкаете свои мундиры.

Один из немцев перевел. «Человек-который-не-получает-удовольствия» ответил на приветствие и, отходя от мокрой одежды, сказал:

— Ach so!

Все снизу доверху было перерыто и перевернуто, хлеб протыкали ножом, вскрывали консервные банки, проверяли коробки с сигаретами. Немцы искали очень тщательно. Это грозило катастрофой: Франсуа дрожал при виде свежеокрашенных костюмов, а они так и лезли в глаза. Немцы спросили, откуда взялась мешковина, из которой изготовлены костюмы, предназначенные для спектакля. Такое использование казенного материала не по назначению казалось им серьезным нарушением порядка.

«Человек-который-не-получает-удовольствия» лично участвовал в обыске. Он велел поднять половицы. В конце концов он удалился — весь наряд перебрался в соседний барак, где обычно шли репетиции. Когда они появились, Фредерик, сделав изумленный вид, перестал играть.

Отставив на метр от рояля ногу, обутую в огромный башмак, «Трагический снегирь» пытался разбросать предательскую горстку песка, лежащего на полу. Он был похож на клоуна. Фрицы провели полтора часа в соседнем бараке у вестовых.

Наконец они ушли ни с чем.

Франсуа бросился к Эберлэну. Образцовый беглец нервно посмеивался.

— Ты все еще не догадываешься, что здесь донос? — бросил ему Франсуа.— Они чуть не накрыли вас!

— Послушай,— ответил Эберлэн,— я тебе благодарен. В особенности за костюмы. Это у тебя здорово получилось. Но знаешь что, старина,— занимайся своим балаганом и не лезь в мой.

IX

Премьера «Комической истории» была назначена на последнюю субботу мая 1942 года. Ее ждали с нетерпением. В этот день внезапно нагрянула весна. Большой зал во II блоке наполнился народом. Так как весь контингент лагеря не мог поместиться в театральном зале, решили дать четыре представления, по одному для каждого блока. Через четверть часа должен был подняться занавес.

За кулисами, как полагается в дни премьер, царило лихорадочное возбуждение. Актеры заканчивали свой туалет. Камилл возмущался: Ван и Параду вдвоем затягивали его в корсаж, и он едва не задохнулся.

— Ты, животное, у тебя лапы холодные,— сердился он на Вана.

Франсуа попросил положить еще несколько штрихов на декорации, изображающие Лазурный берег. Электромонтер проверял соффиты. Небольшая декорация чердака стояла уже на своем месте, в передней части сцены, а когда ее убирали, за ней виднелась другая декорация второго акта, изображавшая квартиру с видом на море. Машинисты — всё офицеры — проверяли крепления декорации первого акта. Молодой офицер, игравший Коко, был уже давно готов. Он очень волновался. Густой слой румян, затянутая тонкая талия,— издали его в самом деле можно было принять за девку. Как будет выглядеть эта эрзац-потаскушка в огнях рампы?

— Полковник придет в раж от тебя,— любезно заметил Камилл своей сопернице.

— Меня мутит от страха,— признался Коко.— В голове у меня пусто, совершенно пусто. И кроме того, я наелся орехов. Моя тетка постоянно присылает мне орехи. Как ты думаешь — это в самом деле может подействовать?

— Не знаю, я не суеверен,— ответил Камилл, глядясь в зеркало и поправляя складку на юбке.

— Дурочка, дело не в суеверии — говорят, что от орехов язык заплетается.

Послышались крики «осторожно, осторожно!». Это кричали Ван и Параду. На сцене началась суматоха. Двое «раскладных» с осторожностью перетаскивали огромный пятиметровый задник — картон, размалеванный голубой краской. Обстановка напоминала потревоженный муравейник.

— Все в порядке? — спросил капитан Шапон, театральный администратор, ведавший местами, билетами и кассой.

— Как будто,— ответил Франсуа, — по крайней мере в данную минуту. Посмотрим, что будет дальше, через два часа.

— Как с портнихой?

— Все сделано.

— А Камилл как?

— Наверное, произведет фурор.

— Ну ладно, я оставляю вас — фрицы идут.

— Ах! — воскликнул Камилл высоким голосом.— Я хочу посмотреть на моих дружков-неприятелей!

Озабоченный Коко без устали повторял свою реплику:

— «Значит, вчера вечером вы пешком ушли из моей гостиницы... Как и задумали... Значит, вчера вечером вы пешком»... Субей, я никогда не смогу выучить все — это слишком сложно...

— Идиот. Ты войдешь, тебе сразу начнут аплодировать, потому что ты смазливая бабенка...

— Мне наплевать на это. Что касается смазливых бабенок, то я бы сам их...

— Это даст тебе передышку, ты придешь в себя. Не забудь: ты подходишь к креслу, к Жерару и Элен, и спокойно говоришь: «Значит, вчера вечером вы пешком...»

Коко неуверенно возразил:

— Слушай, а если мне все-таки говорить фальцетом?

— Ну, нет. У тебя красивый, звонкий, хорошо поставленный голос и не слишком низкий: он вполне подходит к твоему гриму брюнетки...

— Хорошо, хорошо, не сердись. «Значит, вчера вечером вы пешком ушли... из моей гостиницы...»

Он мучительно зубрил свои реплики. Жерар, его партнер, вздохнул и подошел к нему, приглаживая волосы. У него в штатском был очень необычный вид — молодой человек периода между двумя войнами, разговаривающий о пляжах и теннисе... Он подал свою реплику:

— «Да, мы шли, не торопясь»...

— Очень хорошо,— сказал Франсуа.— Только идите повторять в другое место. Ведь начинают не со второго акта...

Франсуа нервничал и раздражался. Он посмотрел на часы, все те же положенные по уставу часы, которые он носил в бравом батальоне. Они выдержали много испытаний. Он надеялся, что теперь они уже сохранятся у него на всю жизнь. Он подошел к занавесу и взглянул в зрительный зал через обычный «глазок». Шапон сказал правду. Зал был переполнен мундирами защитного цвета и шинелями. Впереди, в первом

ряду, благопристойные, как настоящие гости, сидели фрицы, боши, зеленые бобы — офицеры и цензоры. Они окружали адмирала фон-Мардрюка, выделявшегося своим расшитым блестящим мундиром.

Франсуа обернулся.

— Ребята, посмотрите на адмирала — точно лилия в шпинате.

Все расхохотались. С правой стороны Франсуа увидел тонкое лицо фон-Шамиссо. «Человек-который-потерял-свою-тень» говорил что-то на ухо капитану, смеявшемуся очень громко.

— По местам! — скомандовал Франсуа.

Актеры разбежались, точно тени, отбрасываемые множеством огней. Адэ-Камилл проверила, хорошо ли поднимается люк, через который она-он должна была выйти, и не преминула отпустить непристойность по этому поводу.

— Как ты вульгарен,— сказал Параду.

— Надеюсь, по крайней мере, что здесь не понатыкали гвоздей! Я не желаю выбрасывать по паре чулок на каждое представление.

— Все заделано, моя прелесть! — ответил Ванэнакер.

Ах, как они были далеки отсюда, его церковные старосты, его пономари и ризничие!

— Три удара! — приказал Франсуа.

Ван ударил три раза.

— Не сломай стену! — воскликнул Камилл.

Коко по-прежнему повторял свои реплики, хотя его выход был только через час. Послышался нервный смех, но чей-то грубый голос оборвал его. За занавесом раздались звуки оркестра: дирижировал Фредерик. «Трагический снегирь» сочинил для «Комической истории» увертюру, в которой лукавство сочеталось с мудрой горечью. Франсуа посмотрел через отверстие в занавесе: движение в зале постепенно замирало — так застывает жир на стынущей сковороде. Франсуа вынул из кармана листки, на которых он записал свое выступление, и стал лихорадочно просматривать их.

Кто-то потянул его за рукав.

— Тебя спрашивают,— сказал машинист.

— Кто?

— Какой-то майор у входа.

Франсуа рассчитал — до поднятия занавеса оставалось минут пять. Он сбежал по деревянной лестнице, перепрыгивая через четыре ступени. Становилось уже темно. Он осмотрелся.

Перед ним стоял Ватрен.

— Господин майор, вы... вам нужно место... Я...

— Нет, я не иду в театр, Субейрак. Я хочу просить вас об одной услуге.

— Сейчас, господин майор?

— Да. Слушайте внимательно. Если я не вернусь во Францию... Нет, не перебивайте меня. Я привожу в порядок свои дела. Так мне хочется. Я укладываюсь... Я хотел бы, что бы вы съездили к моей жене.

Франсуа пристально посмотрел на майора. Что с ним случилось? Нервы? Или что-нибудь похуже? Нет, Старик, по-видимому, превосходно владел собой. Однако глаза его слишком блестели. Он выглядел так же, как в первые дни боев в Лотарингии, только седины стало больше, вот и все... Субейрак вспомнил о театре — нельзя было задерживаться.

— Значит, вы поедете в Дэнен, улица Ланди, 14... Вы передадите моей жене... Вы скажете ей обо мне, что захотите, ответите на ее расспросы... Но самое главное, вы скажете, что... Когда мой батальон был взят в плен... я выполнил свой долг полностью. Постойте, постойте, вы скажете, что мы дрались до последнего разумного предела, но я избежал

ненужных потерь. Без лишней крови. Ни одной лишней смерти на моей совести после...

У него странно дернулись губы под седыми усами. За спиной слышалась музыка Фредерика, казалось, в ней было что-то нереальное. Скрипки заглушали все...

— ...после Вольмеранжа,— закончил Ватрен,— но об этом не стоит говорить.

— Почему вы избрали сегодняшний вечер, господин майор?

— Потому что сейчас — самое время. Иногда я здесь слышу песенку: «Дорога долгая, шагай, не останавливаясь». Для вас дорога будет еще долгой. Пройдет год, а может, два и три, прежде чем вы выполните мою просьбу. Моя жена живет в Дэнене у своей матери, в шахтерском поселке. Помните — *ни одной лишней смерти.* Повторите!

На мгновение воскрес прежний помощник командира. Франсуа повторил:

— Ни одной лишней смерти.

— А что касается Вольмеранжа, то... я не знаю, была ли нужна эта смерть. Иногда ночью я спрашиваю себя — может быть, он все-таки умер за Францию?

— Господин майор...— хотел прервать Франсуа.

— Мой мальчик, со времени нашего знакомства мы проделали тяжкий путь. Я думаю даже, что каждый из нас проделал сейчас половину всего своего пути.

Скрипки умолкли. Однако Франсуа не думал больше о театре, хотя он и отдал ему столько сил. Он был захвачен чувством к этому человеку, чей разум угасал, быть может, но с такими вспышками, в свете которых меркло все остальное.

— Вы нужны там, лейтенант Субейрак. Дайте руку, мой мальчик. Голос его был строг.

Они обменялись рукопожатием. И в свое пожатие майор вложил всю ласку и нежность, которые суровый Ватрен не мог выразить словами. Сердце Франсуа забилось. Этот человек, когда-то столь ненавистный ему, стал его отцом. Сила, которая вела старого воина, майора Ватрена, по его жизненному пути, теперь переходила к нему.

Внезапно Ватрен наклонился к молодому офицеру, Франсуа почувствовал прикосновение усов на своей щеке. Ватрен обнял его и крепко прижал к груди. Потом он оттолкнул Субейрака.

— Прощайте.

Майор Ватрен повернулся и пошел большими солдатскими шагами, не оборачиваясь.

Франсуа в волнении простоял несколько секунд неподвижно. Шквал аплодисментов донесся из здания и вернул его к действительности. Он хотел бежать вслед за Ватреном, но надо было идти выступать.

— Что случилось? — спросил Ван.

— Серьезные, но непонятные вещи, — ответил Франсуа. — Как там?

— Увертюру Снегиря исполняли вторично. Сейчас твоя очередь.

Франсуа почувствовал себя ненужным, бесполезным, потерявшим всякое желание делать что-либо. «А как поступил бы Ватрен?». Он встряхнулся. Ватрен пошел бы к занавесу, взглянул бы в последний раз на зал и вышел бы на сцену.

Субейрак подошел к занавесу, проверил, готов ли Адэ-Камилл. Тот показал ему язык. Тогда он раздвинул тяжелые складки занавеса, прямо в лицо ему ударили огни рампы.

Молодой офицер из-за кулис следил за ходом действия — он занимался своим делом, как этого хотел бы Старик. Чудо свершилось. Актеры и зрители вдохновляли друг друга. После нескольких минут коле-

баний между насмешками и восторгом, что объяснялось особенностями игры Камилла, его чутьем, темпераментом, а также тем, как он произносил со сцены слова своим обычным, довольно низким голосом, — зрительный зал решительно склонился к восторгу. Настоящая женщина явилась на несколько часов в лагерь. Это была Адэ — взбалмошная, легкомысленная, беззаботная, непостоянная, с внезапными порывами, Адэ-Ева, Адэ-обманщица, Адэ, которая была больше женщиной, чем подлинная женщина, вела хоровод, увлекая за собой действие пьесы в стремительном вихре лукавства и горестных разочарований. Франсуа следил за текстом, но в то же время какое-то тоскливое беспокойство сжимало ему грудь. Субейрака снова охватило безразличие. Что означало это посещение? Он вспомнил фразу о боге и о самоубийстве во время последней прогулки. Ему сразу стало все ясно. Он поделился своей тревогой с Ваном. По мнению Вана, Старика не следовало оставлять одного. Сам Ван сейчас не мог отлучиться, так как должен был менять декорации. Послали Тото.

Каватини вернулся минут через двадцать. Первый акт еще не кончился. В зале кашляли, аплодировали, смеялись. Постановка и игра Камилла безусловно завоевали признание зрителей. Однако о пьесе в целом нельзя было еще сказать, принята ли она публикой. Смягчит ли горечь, заключенная в пьесе Салакру, ту тоску, которую испытывали пленные, или же, наоборот, усилит ее? Это было пока неизвестно.

Франсуа обернулся. Тото нигде не нашел майора. После обеда майор приводил в порядок свои вещи. У Тото сложилось впечатление, что трое товарищей майора по комнате обещали молчать и держали свое слово.

Представление продолжалось, но стало каким-то тягучим, ненужным. Как полагается, в антракте за кулисы явились старшие офицеры. Адмирал высказал свое одобрение, несколько любезностей произнес фон-Шамиссо.

Во втором акте Коко пропустил свой выход и, растерявшись, ослепленный светом рампы, чуть не плача, стоял такой трогательный, настолько похожий на молоденькую, смущенную девчонку, что публика зааплодировала, дав ему возможность прийти в себя.

В третьем акте что-то случилось с декорацией, и Ван вместе с Параду починили ее во время действия — никто ничего не заметил.

Франсуа видел все это, словно в тумане. Этот театр, которому он отдал столько труда, лишился для него всякой реальности. Тоскливое чувство не покидало его.

Спектакль шел к концу.

Жан-Луи, отлично владевший собой, произнес свою реплику, которую Франсуа знал наизусть и любил за горькое высокомерие и пессимизм: «Наше счастье причиняло тебе боль, твое счастье вызывает у меня жалость! Современные мужчины имеют таких женщин, каких они хотят и каких они заслуживают. Тем хуже для тех и для других! Но я говорю тебе, что так не может продолжаться. Поэтому я ухожу в пустыню и буду дожидаться там нового поколения. Прощай!».

Публика наградила Жана-Луи долгими, шумными аплодисментами. Зрители одобрили спектакль. Это был успех. До конца оставалось не больше десятка реплик, публика все еще аплодировала, как вдруг двери театрального зала распахнулись и трое немцев во главе с «Человеком-который-не-получает-удовольствия» торопливо подошли к адмиралу.

Адмирал встал, повернулся к своим подчиненным, те сразу вытянулись, как марионетки. Зрительный зал тем временем шумно выражал свое удовлетворение. Фон-Шамиссо надел фуражку и выбежал. Двое немцев что-то закричали, но никто не услышал их — неистовый шум в зале возрастал и становился почти неправдоподобным. Адмирал фон-

Мардрюк тщетно напрягал свой голос. Наконец раздался свисток. Все замерли и стоя смотрели на серо-зеленый первый ряд, где сидели немцы. Посреди сцены находились испуганные актеры, из-за кулис глядели машинисты, суфлер, Субейрак. Сразу установилось напряженное молчание.

Адмирал сделал несколько отрывистых распоряжений и затем сказал что-то резким тоном.

Французский переводчик произнес:

— Немецкий начальник лагеря извещает, что ввиду чрезвычайных обстоятельств офицеров просят немедленно разойтись по своим баракам.

Последовало всеобщее изумление, раздались ненужные вопросы, поднялась тревога, страшное возбуждение. Сразу возникли различные слухи: русские... союзные парашютисты! Толпа бросилась к выходу, но отпрянула с возгласом недоумения: у дверей стояли немцы с автоматами на изготовку.

Изысканная театральная любезность исчезла. Офицеры возвращались в свои бараки группами по двадцать человек. Мало-помалу стало известно, что случилось. Подкоп. Подкоп. Подкоп. О существовании подкопа знали многие. Немцы тоже повторяли это слово. Друзья тех, кто готовился к побегу, уже не скрывали, что он был назначен как раз на то время, когда шел спектакль. Шестьсот человек, оставшиеся в зрительном зале, сплотились в сомкнутую массу, отказывающуюся повиноваться, несмотря на бешеные крики конвоиров. Удары прикладов вызывали возмущение. Положение было серьезно: зная обстоятельства дела, лагерь реагировал на случившееся беспорядками, рассчитывая выиграть время. Затем разнесся другой слух: подкоп, кто-то убит.

— Видишь, — сказал Ван, обращаясь к Франсуа, — этот негодяй Эберлэн не предупредил тебя, что они воспользуются представлением для организации побега.

— В общем, посадили нас по самые уши в лужу, — сказал Камилл.

Он все еще не снял женского платья, и странно было видеть красивую, хорошо одетую девушку среди мрачной толпы людей в поношенных мундирах.

Франсуа представил себе грустное, подавленное лицо Эберлэна, кадрового офицера, вечного беглеца. Может быть, это он убит?

— Он поступил правильно, не предупредив нас,— отрезал Франсуа.— Он не мог иначе.

Вернувшись через четверть часа к себе, они увидели полный разгром. Барак вестовых и театральный барак были окружены охранниками. Свет от фонарей и электрических ламп пронизывал ночную темноту. Во всех четырех «штубе» немцы производили тщательный обыск — это было видно через окна. Жильцы театрального барака и вестовые, конечно, не могли войти к себе. Они стояли отдельной группой, окружая Камилла, который дрожал от холода в своем платье, присланном из Фобур-сент-Оноре, в белокуром парике, зябко кутаясь в шинель и все-таки продолжая острить:

— Не везет мне. Ты видишь, душка-режиссер,— лопнула моя карьера!

По другую сторону колючей проволоки, освещаемая прожекторами со сторожевых вышек, появилась машина скорой помощи. Чье-то тело пронесли на носилках. Все офицеры разошлись по своим местам, им приказали не покидать бараков, угрожая, что в них будут стрелять. Только вестовые и шестеро офицеров из театра стояли под открытым небом, притоптывая ногами, чтобы согреться. Шел снег, нелепый майский снег. Наконец через час обыск закончился, и им разрешили войти в бараки.

К большому огорчению Вана и Параду, фрицы унесли все инструменты — раньше они не были запрещены,— а также гражданские костю-

мы, сшитые из мешковины. В соседней комнате для репетиций немцы подняли половицы и обнаружили вход в туннель, освещенный неверным светом электрической лампы. Субейрак бросил туда взгляд, но охранник грубо отогнал его. Франсуа первым вошел в «штубе». Все было перевернуто, перегородка, отделявшая мастерскую от комнаты и утеплявшая ее, была разрушена.

Фон-Шамиссо с двумя солдатами ждал его.

Франсуа вошел, глядя немцу в глаза и не здороваясь.

— Прошу извинить этот разгром,— сказал фон-Шамиссо, не желая замечать вызывающего поведения французского офицера. — Когда я пришел, все было уже в таком виде. Унтер-офицеры обыскали весь барак. Господин Субейрак, я не могу винить их.

— Кто убит? — спросил Франсуа.

— Один майор, — ответил фон-Шамиссо. — Мы еще не установили его личность

— Старый майор? С седыми усами? — спросил Франсуа бесцветным голосом.

— Да, — ответил фон-Шамиссо. — Вы его знаете?

— Это мой батальонный командир.

И он добавил:

— Можно ли узнать, сударь, при каких обстоятельствах погиб майор Ватрен?

— Ваш командир вышел первым через подкоп, — объяснил фон-Шамиссо. Его бледное лицо стало злым.— Один фельдфебель устроил засаду. Он сделал предупреждение, потом выстрелил. Майор был убит сразу же наповал.

— Отличная работа! — сказал Франсуа. — Я начинаю понимать, господин фон-Шамиссо, почему вы не на русском фронте.

Удар попал прямо в цель. Зондерфюрер побледнел еще больше и пристально посмотрел на Франсуа. Тот выдержал его взгляд, потом резко повернулся к нему спиной. Солдаты двинулись к французскому офицеру, но фон-Шамиссо жестом остановил их.

Он приложил руку к козырьку. Никто не ответил. Зондерфюрер фон-Шамиссо вышел из барака и зашагал, ступая по талому снегу, предшествуемый своей тенью.

На следующий день офицеры впервые за два года плена явились на поверку безупречно подтянутые. О, эта поверка! В центральном дворе офицеры выстраивались барак за бараком. Построившись, они обычно ждали, пока их подсчитают, проявляя самое недобросовестное отношение к этой церемонии. Каждый раз находился какой-нибудь запоздавший, которого тщетно разыскивали в сортире, в умывальной или в репетиционной. Фредерик несколько раз исполнял роль такого растяпы. Иногда это продолжалось по часу. На сей раз не было ни запоздавших или небрежно одетых офицеров, ни болтовни в строю. Офицеры сделали все возможное, чтобы их внешний вид был безупречен, и стояли теперь неподвижно и бесстрастно под холодным ветром, доносившим с севера запахи моря.

С удивлением наблюдали немецкие офицеры эту внезапно возродившуюся ненависть. В то утро поверка продолжалась не больше десяти минут.

Адмирал фон-Мардрюк, окруженный своим штабом, произнес речь. Он сожалеет о происшедших событиях. Однако он лишь исполнял свой долг. Он перечислил коллективные наказания, которые вынужден применить, и заявил, что, по его мнению, маршал Петен вряд ли был бы доволен поведением своих офицеров. Когда переводчик перевел эту неуместную нотацию, никто ни одним жестом не отозвался на нее.

В свою очередь выступил и полковник Маршандье. Он сказал, что маршал Петен здесь ни при чем. Отношения между немцами и французами в настоящее время так испорчены,— продолжал он,— что отныне они могут основываться лишь на строгом соблюдении женевской конвенции. Полковник сказал несколько слов о заслугах майора Ватрена и пригласил присутствующих к минуте молчания. Воцарилась тишина, такая весомая, ощутимая, словно окружавший их воздух внезапно стал более тяжелым. Издалека, из деревни донеслось гоготанье гусей. Смущенные немцы разошлись. Поверка обычно происходила в беспорядке, сопровождалась шумом и неразберихой. Сегодняшнее молчание пугало их. Вместо людского стада возникла безмолвная армия.

Все это происходило в последние дни мая 1942 года и знаменовало собой окончание некоего этапа.

На следующий день стали известны кое-какие подробности. Майор Ватрен лишь совсем недавно заявил о своем желании участвовать в побеге. Он настаивал на том, чтобы выйти первым, что было самое опасное, и ссылался при этом на свое старшинство и воинский стаж. Кроме того, он не участвовал в тяжелых земляных работах и потому считал справедливым, чтобы его вклад в общее дело был сделан в такой форме. Все эти сведения сообщил Эберлэн, они были распространены при помощи тайной устной газеты, которую читали под видом лекций по гражданскому праву.

Дело обстояло очень просто. Вначале Эберлэн заподозрил донос или чью-то неосторожность. Причины заключались в ином. Мало-помалу они стали известны, отчасти благодаря возмущению самих немцев, обоснованно считавших, что эта смерть бесполезна и что разумней было бы забрать всю шайку, нежели убивать шедшего впереди. А так все до одного остальные участники побега успели разбежаться по своим баракам. Подкоп был готов накануне. Наметилась группа офицеров, которые должны были пойти первыми. Расчеты подземного хода были не совсем точны. Пленные полагали, что до конца остается еще полтора метра, а в действительности от поверхности их отделял лишь тонкий слой почвы. Обнаружив это, они заложили выход землей и дерном. Хитрый померанский фельдфебель, дежуривший в этот день, делая обход, заметил, что в этом месте нет снега, и раскрыл замаскированный ход. Вместо того, чтобы тотчас доложить по начальству, фельдфебель решил приберечь это открытие для себя. Так как он был этой ночью начальником караула, то вместе с часовыми устроил засаду. Стрелял он сам. Двадцать девять офицеров приготовились к побегу, трое из них находились уже в туннеле, остальные двадцать шесть распевали в репетиционной комнате грегорианские хоралы. Немецкие офицеры негодовали, но фельдфебель добился своего и получит повышение. Он правильно рассчитал и будет теперь офицером. Таковы законы войны.

— Ты помнишь первого немца, уложенного бравым батальоном? — спросил Франсуа.— Это было в Киршвейлере.

— Да, да, — ответил Тото, — повсюду одно и то же.

Немец, о котором говорил Франсуа, был убит патрулем роты охотников. Его поймали в погребе. Он закричал, что сдается, но какой-то не в меру нервный солдат из взвода Тото всадил в него очередь из своего автомата. Слабонервный солдат был награжден. Эль-Медико сказал тогда Франсуа: «Идиот, неужели ты не понимаешь, что армия не может существовать, если не будут награждать каждого, кто убьет врага. Даже если он это сделает просто из страха». Именно тогда Эль-Медико и пустил свой афоризм: «Душевный мир держится на волоске».

Майора похоронили на клочке чужой земли, на небольшом кладбище, в стороне от лагеря. При погребении разрешили присутствовать только офицерам его батальона. На этом маленьком полупольском, полуфранцузском кладбище пять французов, уложенные в ряд один возле другого, уже спали вечным сном. Об этих мертвецах, погребенных в песках, знали в лагере очень немногие. Вот этот уже лежал здесь, когда они прибыли,—его взяли в плен в Эльзасе в 39-м году; тот, капитан, умер в июле 40-го года от болезни, которую немцы назвали тифом, посеяв ложную тревогу среди пленных, так как это слово имело по-французски и по-немецки разный смысл. Здесь же похоронили вестового, раздавленного грузовиком, потом какого-то поляка и еще одного, о котором не знали ничего, так как он прибыл из другого лагеря, из Восточной Пруссии.

Теперь, завернутые в шинели, как в коконы, они продолжали вшестером спать в этих песчаных дюнах под печальный шелест берез чужой земли.

Франсуа снова почувствовал на своей щеке колючие седые усы майора, почувствовал, как Старик прижимает его к своей груди.

Но майор Ватрен кое-что сказал о «половине пути», и теперь Субейраку все стало ясно.

«Господин майор, вы были военным человеком. Вы никогда не задавались вопросами. Впервые это случилось с вами в 1917 году, и вы, как всегда, ответили подчинением. Постепенно вами овладело отвращение к войне. Вы поняли, какое это страшное преступление. Но, господин майор, это отвращение к войне не было достаточно сильным, чтобы побудить вас к неповиновению. Поэтому вы приняли на себя физическую ответственность за смерть человека из Вольмеранжа. Однако вы продолжали идти своим путем. Ваша ненависть ко второй войне, заранее проигранной, заставила вас во время агонии бравого батальона молча выполнять самый большой долг военного — держаться до последней возможности, и самый большой гражданский долг — не допускать ни одной ненужной жертвы. Потом начались сомнения. Вы спрашивали себя, не ошиблись ли вы в оценке убийства, происшедшего в Вольмеранже? Вы не могли не заметить, что проделываете медленную и неотвратимую эволюцию, что Старик не имеет уже ничего общего с прежним Ватреном, человеком, который «очищал окопы». Вы обернулись на свою прежнюю жизнь, и она показалась вам кровавой и ненужной. Вы решили, господин майор, что гибель вашего сына является карой. Вы подумали о самоубийстве. Но такой человек, как вы, не кончает самоубийством. Тогда вы избрали побег и тот риск, с которым он связан. Вы звали смерть, и она пришла... Господин майор, вы правы — я прошел другую часть пути. Я насмехался над вами, над вашей суровостью, над вашими причудами, над вашим плохо сшитым кителем. Но вы понимали меня, а я — интеллигент, психолог — я не понимал вас. Я начал с неприятия всякой войны, с безусловного пацифизма; по мере того как в вас рождался человек, ненавидящий кровь, во мне непроизвольно появлялся другой человек — боец, защищающий свою родину, на которую напал враг. Медленно, медленно прояснялась для нас истина. Когда вы протянули мне руку в последний раз, я знал, господин майор, что призван сменить вас. Теперь это уже не ваша, а моя вина».

После похорон Субейрак принял душ, побрился, оделся и пошел в барак Эберлэна.

— Ты готов начать сначала? — спросил он.

— Разумеется! — ответил артиллерист.

— Так же как и раньше, через Швецию?

— Да.

Франсуа вспомнил о рыбацком поселке и о фон-Шамиссо. По отношению к Шамиссо у Субейрака было ощущение жестокой неловкости. Зондерфюрер два года столь же искренне, сколь и безуспешно вел работу по франко-германскому сближению. Он не пожелал примириться с ее провалом, который стал теперь очевиден, и уехал в О.К.В.* в Берлин. Скоро стало известно, что он ходатайствовал о новом назначении. Франсуа узнал о Шамиссо через цензора, который сделал следующую приписку к одному из писем Анни: «Господин зондерфюрер фон-Шамиссо извещает вас, что он уехал искать свою тень в Россию, и передает вам уверения в своем почтении».

Субейрак вновь услышал пластинку Джанго Рейнгарта «Суинг-трубадур», и ему показалось, что в этой музыке было что-то от пляски смерти.

— Хорошо, — продолжал он, возвращаясь к разговору. — Итак, побег через подземный ход всем стадом — абсурд. Опыт подтвердил это еще раз. Побег — не коллективное, а индивидуальное действие. Тебе следовало бы знать это лучше, чем кому-либо.

— Признаю.

— Но два человека, которые уважают друг друга, могут бежать вместе. Главное, чтобы они уважали друг друга.

— Я долгое время считал тебя подлецом, потом — мягкотелым. Теперь я думаю иначе... Между прочим, Ватрен тебя очень любил. Он говорил о тебе перед тем, как идти...

Франсуа прикусил губу, комок подступил к горлу. Мысленно он представил себе туннель. Седой Ватрен в нелепой одежде, утративший военный вид, неузнаваемый, с подстриженными, искалеченными, принесенными в жертву усами, влезает в узкий подземный ход, беглым шахтерским глазом осматривает крепление и ползет на коленях, как крот под землей... Дышать становится труднее, но он ползет, углубляясь все дальше по узкому штреку, останавливаясь, чтобы передохнуть, и снова двигается, роет, прокладывая ход, как истый шахтер, каким он и был в юности... Он не слышал окрика часового — может быть, его и не было вовсе — и упал на землю с простреленной грудью, но освобожденный.

Глаза Франсуа затуманились, он глубоко дышал.

— Вот что нужно сделать, — сказал он четким, ясным голосом. — Мы исчезнем здесь, в лагере. В театре, под сводами, на чердаке есть такие места, где можно спрятаться... Мы возьмем еду. Товарищи тотчас сообщат, что мы исчезли. Немцы решат, что мы бежали. Сперва, для порядка, они будут искать нас в лагере. Не найдут, а если найдут, то это не опасно. Мы переждем десять дней. К тому времени все поиски вокруг лагеря прекратятся — у них хватает других забот... Тогда мы выйдем с каким-нибудь нарядом, как Броненосец со своими ребятами, и пойдем в поселок. Там руководство действиями переходит к тебе...

Эберлэн был ошеломлен.

— Здорово! Об этом я не думал! Ложный побег — это замечательно! И у нас еще преимущество перед теми — я раздобыл три подлинных Ausweis'a. Недостает только фотографий. Мы пройдем мимо постовых, Субейрак! И они нам отдадут честь, эти скоты! В Лауэнмюнде у меня есть явка. Нас будет ждать моторка с горючим. Франклин и я умеем управлять. Втроем еще лучше. Конечно, ни он, ни я не знаем Балтики, но есть морская карта.

Франсуа взвесил: да, кажется, неплохо.

---

* Oberkommando des Wehres — Верховное командование вооруженных сил (*нем.*).

— Ну, а куда ты направишься потом? — спросил Эберлэн.

— Во Францию. В свободную зону.

— Разыскивать жену?

— Да, разыскивать подругу. Может быть. И продолжать войну. Войну за то, чтобы быть свободным... А ты? По-прежнему — в Лондон?

— По-прежнему.

— Значит, мы расстанемся.

— Послушай, — сказал Эберлэн. — Ты сейчас уже не тот человек, с которым я когда-то говорил о подкопе, о том, что его надо вести из здания театра. Ты изменился.

— Нет, я не изменился. Во всяком случае, я этого не замечаю. Во мне произошел поворот. Путешественники утверждают, что под влиянием некоторых внешних причин айсберг иногда может повернуться. Внешне он будет выглядеть иначе, но это по-прежнему тот же айсберг. Дело в том, что моя любовь к свободе стала сейчас весомее, чем ненависть к войне. И потом, я понял Ватрена...

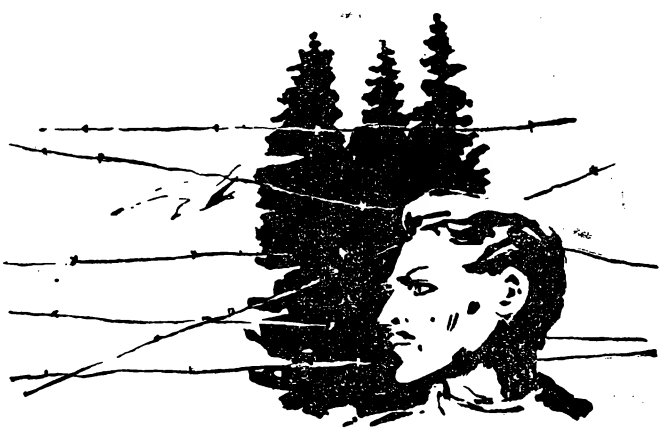
— Он был героем, твой майор, — сказал Эберлэн.

— А вот я думаю, что он был скорее святым...

Через пять недель большая померанская барка появилась у южного побережья Швеции, возле Айстеда. Море бушевало. Легкое суденышко было основательно потрепано, трое пассажиров — измучены и обессилены голодом и жаждой. Мотор отказал через два дня, запас продовольствия залило водой на второй день пути, а сегодня шел уже шестой день. Шведским пограничникам, оказавшим им помощь, пришлось почти нести их на руках к ближайшему жилью. Один из пассажиров показал жестом, что просит постоять минуту, он хочет передохнуть. Они остановились. Субейрак обеими руками опирался на их плечи. Лицо у Франсуа заросло бородой; широко открытыми глазами смотрел он на серое море. Взгляд его был устремлен туда, на юг. День клонился к вечеру, и на западе кроваво-красное солнце опускалось в бескрайнее море. Северное небо поражало чистотой и прозрачностью. На какое-то короткое мгновение по серому небу пробежал легкий золотисто-зеленый отблеск. Франсуа усмехнулся. Он снял руки с плеч своих спутников, опустился на колени, поднял с земли камешек, поблескивавший вкрапленными в него крупинками слюды, и спрятал его в карман.

Над всей Европой простиралась ночь.

Вестфаленгоф. Июль 1940 — май 1942 гг.
Шелль. Лето 1954 г.



«РАССКАЗЫ С МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА» *Рис. А. Васина*

Эрскин Колдуэлл

Рассказы С МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА

Под редакцией М. Лорие

Рачушки

Перевод с английского Н. Дехтеревой.

Вот уж года четыре, а то и пять, как я каждый четверг после работы захожу к Джэйку Апхэму за рачушками. Приду к нему, постоим, потолкуем, потом заберу у него рачушек, сколько мне требуется, и домой. У него их всегда сколько хочешь, приходи хоть зимой, хоть летом, он тоже, как и я, большой до них охотник и всегда говорит мне: бери, сколько надо. Мы с Джэйком Апхэмом давнишние приятели с тех самых пор, как оба перебрались сюда в город и стали работать в бочарне, и если Джэйку Апхэму что понадобится одолжить или так, я всегда скажу: валяй бери, коли нужно.

Заберу я у него рачушки, притащу домой, отдам Лорри, жене моей, и она тут же за них примется и сготовит как полагается. Я так думаю, она и сама их не меньше моего любит: всегда в четверг, как мне прийти, стоит на пороге, дожидается и, видно, уж так-то довольна, что несу ей рачушки. А по части того, чтоб приготовить их, лучше Лорри никого не сыщешь. Я всегда жду не дождусь четверга, уж я знаю, Лорри мне угодит — так сготовит, что лучше не надо. Если вам доводилось есть рачушки, когда они приготовлены как полагается, чтоб в самый раз, мне вам нечего рассказывать, что это за объедение.

Но вчера утром, как раз в четверг, я только позавтракал и собрался уходить на работу в бочарню, а женин троюродный племянник Оскар Струд — он жил у нас уже целый месяц, если не больше — говорит вдруг, что ему не нравятся рачушки и пусть Лорри их больше не готовит.

Тут я прямо рассвирепел.

У меня на Оскара давно в сердце накипело, еще с тех пор, как он только прикатил сюда и заявил, что до времени поживет у нас. Я не против, чтоб иной раз приехал какой родственник, пусть хоть и переночует, коли издалека приехал, всегда с полной охотою посижу, потолкую с ним — уж чего приятнее, как вместе перемывать косточки другим родственникам. Я и сам не откажусь иной раз съездить в гости к родне, только надо меру знать, а то такой, как Оскар Струд, ввалится к тебе, и все тут: гостит и гостит!

Я сразу взбеленился, когда Оскар сказал насчет рачушек.

— Коли тебе здесь не нравится, что ж не поищешь, где лучше? — говорю я ему.— Ты и так что-то загостился.

— Я и слова не сказал, что мне здесь не нравится,— говорит мне Оскар.— Мне здесь преотлично, лучше не надо. Я только сказал, что мне не нравятся эти чудные штуковины, которые ты приносишь домой по

четвергам. Уж раз на то пошло, лучше б приносил рыбу, или курицу, или еще что путное.

— Кому не нравятся рачушки, тех надо ставить к стенке и расстреливать,— говорю я ему.

— Ты не имеешь права так разговаривать с моими родственниками,— вступилась тут Лорри.— Я этого не позволю, Пит Элрод! Хватит с меня, что ты мне грубишь, я не потерплю, чтоб так обращались с моей кровной родней!

— Тебе ничего не придется терпеть,— говорю я ей,— пусть только он выкатывается отсюда поживей и чтоб я его больше не видел. Я давно гляжу, что́ это он околачивается здесь столько времени. Мне это не больно нравится. Может, он тебе и троюродный племянник, но родня родней, а всему надо знать меру, так оно спокойнее.

— Оскар останется здесь сколько пожелает, я его приглашаю,— так она мне и отрезала.— В жизни никто про меня не скажет, что я выгнала родственника из своего дома.

— Никто другой тебе не скажет, так я скажу, будь спокойна,— говорю я ей.

— Если Оскар уедет,— говорит она мне на это,— так и я уеду.

— Куда ты уедешь? — спрашиваю.

— С ним уеду, вот куда.

Меня прямо как по голове стукнуло. Сроду она со мной так не разговаривала за все семь лет, что мы женаты. Слушаю, а сам ума не приложу, что делать. Я так полагал, что я ей подхожу, ну и она мне само собой тоже подходит, и ежели бывали меж нами какие нелады, сгоряча наговорим лишнего или что, всегда быстро помиримся и зла потом не помним. Но так все было, пока не появился Оскар Струд. Все пошло по-другому, как только он к нам ввалился; слепой бы увидел, куда дело клонится. Я не против, что Лорри иной раз приглянется какому парню, без этого не обойтись, раз она не пугалом уродилась; но такому типу, как Оскар Струд,— не спущу. Еще вначале, как только Лорри сказала мне, что он ее троюродный племянник, я сразу почуял — тут что-то не так. Я родню признаю, но надо, думаю, меру знать! Только Лорри за родственников своих всегда горой стоит — и я тогда смолчал.

Оскар только что вернулся из армии, отслужил два или три года. Теперь, говорит, хочу осмотреться, что и как, потом осяду, примусь за работу. Я тогда, прямо скажу, спал и во сне видел, чтобы они там в армии соскучились по нему да опять загнали бы его подальше, к черту на рога.

— Твоя беда в том,— говорит мне Оскар,— что ты воображаешь, будто все станут плясать под твою дудку. Пора сообразить, что ты не один на свете и, кроме того, найдутся миллионы, которые хотят жить по-своему. Таким вот, как ты, пора опомниться, понять, что в теперешние времена нельзя думать только о себе.

— Вот-вот,— говорит Лорри и головой кивает, и видно, что она с ним во всем заодно.— Пора тебе, Пит Элрод, взяться за ум. Соображай, как тебе следует поступить.

Я в жизни не был так огорошен.

— Чудно мне слышать от тебя такие речи, Лорри,— говорю я ей. — Что это на тебя накатило? То ты заодно с Оскаром, когда он говорит, что ему не нравятся рачушки, а теперь и вовсе говоришь, что бросишь меня и уедешь с ним, если я выгоню его из дому. Или я совсем не иду в счет?

— Да,— говорит Лорри и тычет пальцем в мою сторону. Она всегда так делает, когда хочет показать, что настоит на своем.— Да, раз ты

выгоняешь моих родственников из дому. Мои родственники будут приезжать и гостить у меня, сколько им вздумается.

— Но ведь он ни черта не делает,— пробую я ей втолковать,— ведь он палец о палец не ударит, целый день лопает да тюфяк на кровати пролеживает. А я, значит, ходи каждый день на работу, зарабатывай деньги на хозяйство! Думается, я имею право решать, кому есть мой хлеб и спать под моей крышей. И еще,— говорю я ей,— мне очень не нравится, что он торчит с тобой день-деньской, пока я работаю в бочарне.

— Поторапливайся, а то, смотри, на работу опоздаешь,— говорит Оскар и посмеивается.— Не успеешь отметиться вовремя — у тебя из заработка и вычтут.

Я и сам знал, что поздно, надо идти. Схватил шапку и пошел поскорее в бочарню. Только-только успел к смене в восемь тридцать.

Все утро у меня из головы не шло, что сказали мне Лорри и Оскар, и так это меня растревожило, что я просто не мог работать. Днем, часа в два, Стэн Мэнли, десятник, проходит мимо и спрашивает, что со мной стряслось. Стэн видел, что я сам не свой, у меня все время станок заедает, приходится то и дело его выключать. Сперва мне неохота было рассказывать Стэну,— известно, расскажешь о своих домашних делах, а потом пойдут сплетни, по всей бочарне начнут языки чесать,— но надо было душу отвести, я взял и рассказал ему все про Лорри и Оскара.

— Сдается мне, твой свояк просто не любит рачушки, вот и все,— говорит Стэн, а сам смеется.— Я слыхал, они не всем по вкусу. Сперва надо научиться их есть, вот как некоторым приходится учиться есть устрицы.

— Будь покоен,— говорю я ему,— чего я не подумаю делать, так это учить Оскара есть рачушки.

— Слушай, Пит,— говорит Стэн и уж не смеется.— Такой пустяк может обернуться плохо, все пойдет кувырком. Человеку на многое приходится идти, Пит, жене иной раз надо спустить, круто брать не следует. Я думаю, некоторым, может, и вправду не нравятся рачушки. Если поразмыслить хорошенько, может, на свете есть люди, которые о них и понятия не имеют, сроду их в руках не держали, и уж верно не знают, что это за рачушки такие, откуда они берутся. Может, твой свояк не здешний, всю жизнь прожил в Больших Горах,— так он, может, никогда не приноровится к нашим порядкам.

— Он оттуда, с Больших Гор, это верно,— говорю я Стэну,— но дело не в этом. И слепой видит, в чем тут дело.

— Пожалуй, ты прав, Пит,— согласился со мной Стэн. Он сидел на скамье рядом, сидел и раздумывал, потом глянул на меня, кивнул головой и сказал: — Ты верно говоришь, Пит, может, и вправду дело не только в этом, очень даже может быть. Кем, говоришь, приходится он жене? Племянник? Родной, двоюродный или троюродный?

— Троюродный.

— Дело плохо,— говорит Стэн и покачивает головой.

— Почему плохо?

— Понимаешь, как на это посмотреть. С одной стороны, это будто и близкая родня, а с другой стороны — достаточно дальняя. Вот что, Пит, кончай ты сегодня работу, отметься да иди домой. При таких делах оно вернее всего будет. Я давно заметил: заводить с женой перепалку надо только засветло. Как-то оно всегда потом лучше выходит, когда с женой днем, а не ночью ссоришься.

Я выключил станок — и домой. Прихожу — Лорри сидит в кресле и плачет.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Оскар уехал,— говорит Лорри, а сама еще пуще плачет.

— Куда уехал?

— Совсем уехал!

— Это называется — скор на ноги! Ему только намекнули, а он уже сорвался,— говорю я, а сам вот как рад! — Утром он так рассуждал, что я думал, он от нас вовеки не съедет. Что это он так всполошился?

— Говорит, я с тобой заодно.

— Как же это так вышло, Лорри?

— Он спросил, что такое рачушки, а я сказала, что сама толком не знаю, пусть тебя спросит. Тогда он и сказал, что я с тобой заодно. Сложил вещи и уехал.

Тут я понял: вот это мне действительно здорово повезло, что Лорри не знает про рачушек. Если бы она знала, она бы сказала Оскару, ссоры бы у них не вышло, и он и сейчас бы торчал у нас, лопал целый день да пролеживал тюфяк на кровати. А теперь ничего не поделаешь, козырять ей больше нечем, придется Лорри помалкивать насчет того, что Оскар ее троюродный племянник. С этих пор может считать его десятиюродным. За месяц у меня в первый раз отлегло от сердца.

Я пододвинул свой стул к Лорри и сгреб ее в охапку.

— Да ну, Пит,— говорит она и утирает слезы.

Я подсел поближе и крепко ее расцеловал.

— Лорри, а ты и вправду не знаешь, что такое рачушки? — спрашиваю я, немного погодя.

— Я никогда толком не знала, что это такое,— говорит Лорри и смотрит на меня, и я по глазам вижу, что она говорит правду.— Все хотела тебя спросить, да как-то не пришлось.

— А теперь сказать тебе, Лорри, что такое рачушки?

— Не надо, Пит,— говорит Лорри и головой мотает, чтобы я видел, что она и в самом деле не хочет.— Не хочу я ничего про них знать. Так мне легче будет, а то вдруг опять кто спросит?

Мы сидели рядом, и на душе у меня было спокойно. Теперь я знал: в случае опять подвернется какой родственник или не родственник и станет выспрашивать у Лорри про рачушек, мне тревожиться нечего. Я знал, что теперь долго можно будет спать спокойно.

Ради Нелли

Перевод с английского Н. Лосевой.

Все в округе горевали, когда Нелли Стоддард, упав однажды вечером с лестницы, на пятидесятом году жизни отдала богу душу.

Теперь соседи вспоминали, что в последние тридцать лет своей жизни Нелли только и делала, что пекла невестам к свадьбе пироги, помогала матерям нянчиться с детишками, когда те маялись животиком, отгоняла мух от постели больных, утешала осиротевших и вообще всем делала добро. Она всегда умудрялась содержать свой дом в порядке и была хорошей женой Хэйму, а между тем никто не помнил, чтобы Нелли хоть раз отказалась зайти к соседям и помочь в тяжелую минуту, потому что слишком устала или занята по дому.

— На всем свете не было женщины лучше Нелли Стоддард,— говорили всюду в округе Ветч.— Много грешников на земле, но про Нелли никто не скажет, что она была грешницей.

Кое-кто из соседей откровенно возмущался тем, что Нелли целых тридцать лет прожила с таким непутевым, дрянным человеком, как Хэйм Стоддард. Вся ее родня, да и многие его родичи считали, что лучше бы не Нелли, а Хэйм свалился с лестницы в погреб и сломал себе шею. Здоровая или больная, Нелли ни разу не пропустила воскресной проповеди в церкви, что стоит у перекрестка дорог, и даже в бурю и непогоду ходила, бывало, за много миль, чтобы помочь людям в беде.

— Святая женщина была Нелли Стоддард,— в один голос твердили соседи.— За всю свою жизнь ни разу не согрешила. Только в одном ее можно упрекнуть — зачем она вышла замуж за такого человека, как Хэйм Стоддард.

Когда Нелли умерла, Хэйму шел пятьдесят пятый год, и все тридцать лет, что он прожил с ней, от первого до последнего дня это был сварливый, упрямый и непокладистый человек. В молодости он был кузнецом и по сей день оставался сильным и крепким мужчиной — двести двадцать пять фунтов костей и мышц. Волосы у Хэйма были черные как смоль, без сединки, а его толстые грубые пальцы всегда казались грязными, оттого что много лет ему приходилось раздувать горн и ковать железные скобы и серпы. Бросив кузнечное дело, Хэйм открыл лавку у самого перекрестка дорог в том же округе Ветч и жил безбедно, продавая консервы, разный скобяной товар и приклад жителям лесистой низины, которые валили лес и добывали скипидар.

В день похорон Хэйм вернулся под вечер домой и, усевшись у окна, смотрел на сорную траву, разросшуюся к концу лета возле крыльца. Бесстрастно, не пролив ни единой слезы, стоял Хэйм у могилы, но теперь, осознав, что впервые за тридцать лет остался в пустом доме, почувствовал себя одиноким и затосковал.

На глаза его навернулись слезы — в первый раз с детских лет. Ему не хватало Нелли, ее заботы о нем и захотелось придумать, как бы дать ей почувствовать, насколько он одинок и безутешен. Солнце село, наступили сумерки, а он все сидел у окна и плакал. Теперь для него важнее всего на свете было придумать что-нибудь хорошее, чтобы доказать свою любовь к Нелли и почтить ее память. Он просидел в темноте далеко за полночь, подавленный горем и тоской.

На следующее утро, едва рассвело, Хэйм встал и оделся. Он сварил кофе, поджарил яичницу и, покончив с завтраком, сел в машину и отправился за десять миль в город. Когда он подъехал к зданию суда, до открытия оставалось около часа, и ему пришлось дожидаться на крыльце. Ровно в восемь часов пробил колокол на башне здания, и сторож открыл дверь. Хэйм прошел прямо в кабинет регистратора.

— Мне тут нужно зарегистрировать в ваших книгах один важный документ,— сказал он Генри Джулиану.— Бумажка немного обтрепалась и выцвела, ну да ничего, прочитать можно. Так что вы поторопитесь и сделайте все, как полагается.

— Не могу понять, что это такое, или вернее, что это было,— сказал регистратор, качая головой.— И печатный, и рукописный текст почти совсем стерся. Что это, Хэйм?

— Наденьте очки и увидите,— сказал Хэйм нетерпеливо.— Я утром, еще до восхода солнца, прочитал все как есть.

Генри надел очки и склонился над ветхой бумажкой.

— Хэйм, да ведь это разрешение на брак,— сказал он немного спустя, подняв глаза с нескрываемым изумлением.— Надо же! Откуда оно взялось, Хэйм?

— Может, это разрешение немного устарело, но теперь пришло время зарегистрировать его чин чином в книгах округа. Так что делайте, как положено. Мне надо побыстрее.

— Ничего себе — немного устарело. Да оно совсем не годится,— сказал Хэйму регистратор, возвращая документ.— Разрешение было выдано тридцать лет назад, если я правильно разобрал дату. Ведь это разрешение на ваш брак с Нелли. И вы его надлежащим образом не зарегистрировали, когда следовало. А теперь слишком поздно, Хэйм. Вы опоздали на тридцать лет.

— Ну и что ж,— сказал Хэйм решительно, пододвигая документ обратно к Генри.— Я заплатил за него сбор в свое время и использовал, а теперь хочу его зарегистрировать чин чином. Ваше дело регистрировать всякие документы, вроде этого, а не болтать языком. Некогда мне прохлаждаться, я сюда по важному делу пришел.

— Хэйм,— сказал Генри сочувственно,— мне бы хотелось сделать это ради вашей покойной жены... я хочу сказать — ради Нелли. Для женщины это не шутка — так долго прожить с человеком и не быть его женой в глазах закона. Ведь в лучшем случае можно сказать, что она была вашей фактической женой. Хотелось бы мне зарегистрировать этот документ ради Нелли, но это просто невозможно. Разрешение на брак теряет силу через пять дней после выдачи. Таков закон штата, Хэйм, и ни я, ни вы ничего не можем поделать. Могу прочитать вам хоть сейчас вот из этого свода законов. Если человек получит разрешение на брак, но не использует и не зарегистрирует его надлежащим образом в течение пяти дней, то оно теряет силу. И если после этого стороны все-таки живут вместе, они, как я уже сказал, не считаются состоящими в законном браке.

— Таких порядков не было, когда я заплатил деньги и получил документ,— сказал Хэйм упрямо.— С того времени, может, закон изменили, но это разрешение до сих пор правильное и законное, и никто на свете не помешает мне зарегистрировать его. Мне это очень нужно.

Генри Джулиан снова надел очки и склонился над потрепанным документом. Он долго рассматривал пожелтевшую бумагу и выцветшие строчки. Через несколько минут он снял очки и снова покачал головой.

— Схожу наверх, Хэйм,— сказал он,— посоветуюсь с одним из членов суда, но едва ли из этого что-нибудь выйдет. Во всяком случае я не могу взять на себя ответственность за регистрацию этого разрешения, раз сейчас такой закон. Я дал присягу соблюдать букву закона.

— Мне все равно, с кем вы будете говорить,— сказал Хэйм, располагаясь поудобнее на одной из деревянных скамей,— но я не уйду отсюда до тех пор, пока документ не будет зарегистрирован как следует. Вчера вечером я поклялся и дал обет, что позабочусь об этом ради Нелли. Священник окрутил нас с Нелли. Свидетели расписались, где положено. Потом священник заполнил бумагу, как надо. Выходит, каждый сделал свое дело, кроме вас. Так теперь вы делайте то, что полагается регистратору округа. Будь я проклят, если кому-нибудь удастся обдурить меня. Все равно я добьюсь законного брака с Нелли, после того как прожил с ней столько лет.

— Но почему священник не представил разрешение для регистрации?— спросил Генри.— Это его обязанность. Он должен был принести его сюда сразу же после венчания. А теперь его, наверное, уже нет в живых, да и всех свидетелей тоже.

— Он не принес его потому, что я в то время еще не знал, как обернется дело. Мне хотелось обождать и не связывать себя на случай, если я потом когда-нибудь передумаю. Посмотрим, сказал я себе, будет ли мне Нелли такой женой, с какой мне захочется себя связать. Вот я и попросил у священника бумажку и сказал, что сам зарегистрирую, зачем, мол, ему тащиться в город. Документ я спрятал на чердаке и выжидал, пока придет время, когда я буду уверен, что готов связать себя закон-

ным браком. А вчера, после похорон, я решил, что время пришло. Я убедился, что Нелли была хорошей женой. Я полез на чердак и достал документ из потайного местечка, где он был спрятан. Я бы не принес его сюда, если б не решил, что теперь, когда Нелли померла, с этим делом надо покончить.

Генри долго молчал. Потом спрятал очки в футляр.

— Я бы не поверил этому, Хэйм, если бы не знал вас так хорошо,— сказал он наконец.— Никто другой в округе Ветч не затеял бы такого дела.— Он медленно покачал головой.— Поднимусь наверх и посоветуюсь с кем-нибудь из судей, как поступить. Никогда мне не приходилось сталкиваться с таким необычным делом, а я уже шесть сроков отслужил регистратором округа.

— Советуйтесь, советуйтесь, да смотрите зарегистрируйте бумагу, как я вам с самого начала сказал,— предупредил его Хэйм,— не то я пойду наверх и скажу вашим судьям, что предъявлю иск на большие деньги всем, кто здесь есть. Я решил, что ради Нелли добьюсь у вас толку, а если надо, найду адвоката, который позаботится об этом.

Генри Джулиан отсутствовал с полчаса, если не больше. Он вернулся с судьей Причардом.

— Похоже на то, что вы совершенно правы в этом вопросе, Хэйм,— сказал судья Причард.— В закон действительно была внесена поправка об аннулировании незарегистрированных разрешений на брак через пять дней после выдачи, как вам объяснил Генри, но это произошло после того, как вы получили разрешение, а я нигде не нахожу указаний на то, что закон имеет обратную силу. Значит, насколько я понимаю, данное разрешение все еще действительно и, следовательно, может быть зарегистрировано. Действуйте, Генри. Зарегистрируйте брак Нелли Смитсон и Хэйма Стоддарда.

— Я так и думал, что в конце концов все это поймут,— сказал Хэйм удовлетворенно.— Плохо вы меня знаете, вот вам и невдомек, что я привык добиваться своего. Я поклялся и дал обет, что настою на своем и добьюсь, чтобы это разрешение зарегистрировали — ради Нелли. Я все обмозговал вчера вечером и решил, что так надо поступить, коли так все получилось.

— Ну что ж, ради Нелли я доволен, что все устроилось,— сказал ему судья Причард.— Да сжалится господь над ее душой. Она имеет право на мир и покой после того, как тридцать лет прожила в грехе. Думаю, она будет прощена, ведь ее, бедняжку, обманули: она ведь все это время считала себя законной женой. Счастье еще, что не было детей от этого... от этого, так сказать, союза.

Хэйм встал и надел шляпу.

— Скажите мне только одно, Хэйм,— попросил судья Причард.

— Что?— спросил Хэйм, останавливаясь в дверях.

— Прошло столько времени, и теперь, когда Нелли уже нет с нами, почему вы так упорно настаивали, чтобы разрешение на брак было зарегистрировано? Ведь если бы вы ничего не предприняли, никто бы и не узнал об этом.

— Я хочу поставить на могиле Нелли большой надгробный камень и чтобы на граните была высечена надпись, что ее безутешный муж, с которым она прожила тридцать лет, оплакивает ее. У честного, порядочного человека не хватило бы духу сказать, что он был ее мужем, если он не состоял с ней в законном браке.

Судья Причард кивнул головой с серьезным видом.

— Я тоже так полагаю,— проговорил он.— Честный, порядочный человек никогда не мог бы это сказать.

На рыбалку

Перевод с английского Н. Лосевой.

Снова наступил последний день мая, и, как повелось каждую весну, Тарл Прайсхаус собирался уйти из дому на следующее утро — первого июня. Тарл заготовил полный набор рыболовных крючков, лесок и поводков и, аккуратно сложив снасти в красную жестяную коробку от печенья, засунул ее в холщевый мешок из-под фасоли, куда еще раньше упаковал несколько пар носков, рубашки, запасную пару башмаков на случай дождя и дюжину жестянок с табаком.

В этом году Тарл решил, наконец, не придумывать никакого предлога, чтобы улизнуть из дому, а отправиться прямо на Фрайди-Ривер поудить рыбу недельки на три, а то и больше. Спать он будет в шалаше из веток карликового дуба, который смастерил на берегу реки много лет назад, и уж половит рыбку в свое удовольствие. Фрайди-Ривер — спокойная, несущая родниковые воды река, в которой водятся большеротые окуни, — протекала милях в девяти к западу от города среди зарослей черноствольного чапараля. На протяжении нескольких сот миль она извивалась по равнине, поросшей колючим кустарником и карликовым дубом, а потом впадала в Мексиканский залив.

Тарл отдыхал на ступеньках у кухонной двери, сжав между коленями мешок из-под фасоли, когда под вечер вернулась с работы его жена Бесси. Бесси перевалило за сорок, она была на несколько лет моложе Тарла. Круглый год она работала в прачечной в Маверике. О том, что завтра первое июня, Бесси вспомнила у самого дома и так заспешила, что пришла совсем запыхавшись. Она повалилась своим грузным телом на стул, стоявший на крылечке, и с трудом перевела дух.

— Погодка-то выдалась на удивление,— сказал Тарл елейным голосом, поглядывая на небо и надеясь отвлечь внимание жены от разбухшего мешка.

Бесси даже не кивнула в ответ, и Тарл почувствовал, что она наблюдает за ним. Уже несколько недель Бесси ломала голову над тем, как помешать Тарлу уйти, по примеру прошлых лет, из дому. Она твердо решила раз и навсегда положить конец его привычке каждую весну удирать из дому на несколько недель, словно он свободен, как птица. В прошлом году Тарл с серьезным видом сообщил ей, что его старший брат, владелец ранчо в соседнем округе, так болен, что позвали трех врачей; по их словам, он и лето не протянет. Бесси скрепя сердце согласилась отпустить Тарла, хотя знала, что если он и заедет к брату, то посидит у него для виду несколько часов, а остальное время будет удить рыбу на Фрайди-Ривер. В тот раз Тарл отсутствовал три с половиной недели.

Годом раньше Тарл сказал Бесси, что дал слово своему двоюродному брату, когда он переизбирался на какой-то политический пост, объехать весь округ и агитировать за него. Тарл действительно поговорил о выборах с двумя-тремя знакомыми, которых встретил на улице, а потом поспешил на Фрайди-Ривер к своему шалашу в чапарале. Всегда у него находился какой-нибудь предлог, чтобы весной удрать из дому на рыбалку, но на этот раз Бесси решила — какую бы уловку он ни придумал, она настоит на своем.

— Никуда ты из дому не уйдешь, Тарл Прайсхаус, — заявила Бесси непреклонно,— ни завтра, ни в какой другой день, ни этой весной, ни летом. Хватит. Не думай, что тебе удастся меня одурачить своими выдум-

ками. Что бы ты теперь ни придумал, номер не пройдет. Я так решила, и баста.

— Да будет тебе, Бесси, — сказал Тарл заискивающим тоном, — такая славная женщина, а бог знает что говоришь. Совсем не похоже на тебя.

— И не думай, что тебе удастся умаслить меня, — отрезала Бесси.— Уж если я что-нибудь решу, меня с толку не собьешь.

Тарл умолк и сидел, уставившись на сарайчик в другом конце двора.

— Что у тебя там в мешке? — немного погодя спросила она подозрительно.

— Ничего особенного, Бесси. Так кое-какое барахлишко собрал и сложил в мешок, чтобы знать, где искать, если понадобится.

— Коли так, лучше тебе выложить это барахлишко туда, откуда ты его взял, потому что ни завтра, ни в какой другой день ты не улизнешь из дому на рыбную ловлю бог знает на сколько. Ты уже свое отходил, Тарл Прайсхаус. Этой весной и летом ты никуда не поедешь и будешь косить траву перед домом два раза в неделю, а остальное время — полоть лебеду на заднем дворе. Просто позор, до чего эта лебеда разрастается у нас за лето — выше головы. Вот ты и останешься срезать ее, как только она покажется. Я, небось, могу гнуть спину в прачечной из месяца в месяц, из года в год, чтобы заработать на еду да на тряпки, значит и ты как-нибудь можешь остаться дома и полоть эту окаянную лебеду. Каждое лето я из-за нее со стыда сгораю. Все соседи знают, что ты удираешь из дому, увиливаешь от своих обязанностей, а с меня в прачечной семь потов сходит. Пора тебе это запомнить.

Бесси ушла в кухню и, громыхая кастрюлями и сковородками, начала стряпать ужин. Пока ее не было, Тарл сбегал в сарай и достал при горшню свинцовых грузил, которые он там спрятал и чуть было не забыл упаковать, чтобы завтра утром взять с собой на Фрайди-Ривер.

Ужин поспел еще дотемна. Бесси подошла к двери и позвала Тарла к столу. Они молча ели с полчаса. Когда оба кончили, Бесси потянулась к нему через стол и ласково похлопала его по руке.

— Ты не расстраивайся, Тарл, — сказала она, пытаясь утешить его. — Чем-нибудь другим тебя порадую, вот посмотришь. Я всегда с тобой хорошо обращалась. Ты только реши, что на этот раз остаешься дома, — и увидишь, что тебе будет здесь со мной не хуже, чем одному в зарослях чапараля.

— Я подумаю о том, что ты сейчас сказала, Бесси, — обещал он уныло. — Обязательно подумаю. Я не забуду твоих слов.

Тарл вышел на парадное крыльцо, снял башмаки и сидел там в лиловых сумерках, пока Бесси мыла посуду. Попозже она тоже вышла на крыльцо и, придвинув стул, уселась рядом с ним. Долго они сидели, прислушиваясь к громкому стрекотанью цикад и крикам ночных птиц.

— Чудна́я штука приключилась только что, Бесси,— сказал вдруг Тарл. — Чуднее не придумаешь.

— О чем ты, Тарл? — спросила Бесси сонным голосом.

Он многозначительно откашлялся.

— Не знаю, как и объяснить, никогда со мной такого не случалось за всю жизнь... Как бы это попонятнее сказать...

Он терпеливо ждал дальнейших вопросов Бесси в надежде, что пробудил ее интерес, но она спокойно сидела возле него, точно не было на свете большего удовольствия, чем сидеть вот так на крыльце в сгущающихся сумерках.

— Бесси, — сказал он неожиданно громко, не в силах долее ждать. — Бесси, сейчас у меня было... ну, вроде видения. Да, да, видение.

— Видение, Тарл? А что тебе привиделось? — спросила она, слегка пошевелившись.

— Вот в том-то и дело, Бесси. Я видел ясно, вот как тебя вижу. Так ясно было видно, что я не мог не заметить.

— Что было ясно видно, Тарл?

Теперь он определенно различал в ее голосе первые слабые нотки любопытства.

— Так вот, пока ты была в кухне, мне привиделась такая уйма денег, что больше и не пожелаешь. И они были спрятаны.

— Я часто мечтала, что мы получим кучу денег, Тарл, — сказала она после короткой паузы. — Тысячу раз мечтала — во сне и наяву. А вдруг мои мечты сбудутся, вот было бы замечательно!

— Про то и речь, Бесси. Чует мое сердце, что это видение обязательно сбудется.

— А где же было это видение, Тарл?

— Да там, в чапарале, — сказал он быстро, — милях в девяти-десяти от города.

— Ну, ясно, у Фрайди-Ривер! — язвительно сказала Бесси, и тон ее сразу изменился.

— Верно, — подтвердил он, поворачиваясь и глядя на нее. — Как ты догадалась, Бесси?

— Знаю я, что ты затеял, знаю. И никакого мне видения для этого не надо. Ты все время сидишь здесь и придумываешь, как бы удрать на Фрайди-Ривер и остаться там одному в своем шалаше на две—три недели, а то и дольше. Но ты и шагу отсюда не сделаешь, Тарл Прайсхаус!

— Но то, что я сказал, Бесси, это еще самая малость. Если бы ты мне дала договорить...

Она молча встала и, тяжело ступая, ушла в дом, с шумом захлопнув дверь. Тарл сидел, подавленный, в темноте и удивлялся, как это Бесси догадалась, о чем он говорит. Перед сном Бесси вышла на крыльцо в розовом цветастом капоте и уселась возле него. Она почти сразу заговорила.

— Я не хочу верить ни одному слову насчет твоего видения, Тарл, — сказала она, беспокойно ерзая на стуле, — но никак не могу выкинуть это из головы. — Она наклонилась к нему. — Скажи честно, тебе правда привиделись спрятанные деньги?

— Да уж столько денег, Бесси, сколько я в жизни не видывал,—заверил он ее с жаром.

Бесси глубоко вздохнула.

— Ты самый отъявленный лгун, какого только земля носит, Тарл Прайсхаус, но я так долго прожила с тобой, что теперь боюсь доверять своему разуму. С тебя станется найти где-нибудь кучу спрятанных денег — даже у Фрайди-Ривер, и дура я буду, если отпущу тебя одного и не заберу свою долю после всех лет, что я надрывалась в прачечной. — Она перевела дух. — Тарл, можешь ты точно вспомнить место, где тебе привиделись эти спрятанные деньги?

— Я сейчас как раз изо всех сил стараюсь вспомнить точное место, Бесси, — сказал он с самым серьезным видом, какой только мог напустить на себя. — И я вовсе не такой человек, чтобы найти эти деньги, а потом удрать с другой женщиной. Нет, брат! Я их прямо в дом принесу, как только найду. Я тебя, Бесси, до конца дней не оставлю. Главное, что мне сейчас нужно, это побыть в тишине и покое в чапарале, где целыми днями

живой души не встретишь, и снова вызвать видение, чтобы точно узнать, где деньги спрятаны. Вот почему, я думаю, мне надо завтра с самого утра поехать на Фрайди-Ривер, там я наверняка быстрее вспомню.

— Не понимаю, почему ты не можешь вызвать видение снова здесь, в Маверике, вместо того чтобы ехать на Фрайди-Ривер, — сказала она.

— Дело в том, Бесси, что деньги, сдается мне, спрятаны как раз на берегу Фрайди-Ривер или совсем близко оттуда. Вот мне и надо быть на месте, когда я уговорю видение вернуться и показать мне, где искать деньги. Тогда я, не теряя ни минуты, найду их. Я же не навсегда уеду, Бесси. Подумай только! Вся эта штуковина может привидеться мне сразу же — на этой неделе или на будущей. Про эти видения никогда вперед не знаешь: они являются и исчезают, когда им вздумается. Но если оно вернется и будет ясное, точное, надежное, я тебе дам знать, как только смогу послать весточку. Будь спокойна, Бесси.

— Тарл, — сказала она с надеждой, — ты правда думаешь, что тебе удастся снова вызвать видение, пока я жива, чтобы мне от него какой-то прок был?

— Ну, скажи на милость, почему бы ему не явиться снова, пока ты жива, Бесси? — ответил он. — Разве что назло обманет.

— Тарл, — спросила она, часто дыша от волнения, — Тарл, а сколько там денег? Всего? Ты не успел сосчитать хоть часть, когда видение в первый раз явилось?

— Насколько я теперь припоминаю, там была целая куча денег, и все крупные бумажки, а крупные деньги считать — хуже нет. Мелочь и долларовые бумажки — это, пожалуйста, мигом сосчитаю, но с крупными у меня всегда беда.

— А какие крупные, Тарл, — не отставала она, — по десять долларов? По двадцать?

— Что ты, Бесси, крупнее, — сказал он, не колеблясь. — По сто долларов, не меньше.

— А в чем были спрятаны деньги, Тарл, в бочонке, в ящике, в чем?

— Погоди-ка, — сказал он медленно, потирая шею, — не знаю, смогу ли я вспомнить про это. — Он продолжал задумчиво потирать шею. Бесси сдвинулась на самый кончик стула. — Нет, — сказал он твердо немного спустя, — нет, они в чем-то другом были. Они были спрятаны в какой-то странной штуке. Я теперь вспоминаю. Она какая-то продолговатая была, вроде... вроде...

— Вроде чего, Тарл? — спросила она, хватая его за руку.

Тарл медленно покачал головой.

— Теперь и совсем забыл. Но деньги там были. Куча денег. Это я точно знаю.

— Бумажки были зеленые, да? — спросила она, стараясь помочь ему.

— Да, денежки были самые что ни на есть зеленые. Насчет этого я не ошибаюсь.

— А может, они были спрятаны под одним из дубков в зарослях? Или зарыты под мостом, или еще где? Постарайся вспомнить, Тарл! Постарайся изо всех сил!

— Да вроде этого, — ответил он после короткой паузы.

— Вроде чего? — спросила она нетерпеливо. — Ну, подумай хорошенько. Подумай так, как ты еще никогда в жизни не думал!

— Мне надо посидеть и собраться с мыслями, прежде чем я смогу сказать наверняка, — ответил он. Бесконечные расспросы начинали ему надоедать. — Хочется, понимаешь, вспомнить, когда придет время, а станешь торопить видение, так еще чего доброго спугнешь. Видения любят являться и исчезать, когда им угодно.

— А что если ты вспомнишь, в чем они спрятаны, да не сможешь вспомнить место, где они зарыты?

— Вот тут-то я и постараюсь изо всех сил вспомнить, — заверил он.

Тарл услышал, как Бесси, совершенно измученная, вздыхает, откинувшись на спинку стула. Встал и пошарил ногой по полу. Нащупав свои башмаки, всунул в них ноги и пошел в дом. Разделся в темноте и с наслаждением вытянулся на кровати. Впервые за целый день у него было спокойно на душе. Теперь он был уверен, что ему удалось уговорить Бесси отпустить его из дому на следующее утро. Когда он, наконец, стал засыпать, до его сознания дошло, что Бесси еще не легла, но сон тут же сморил его.

Проснулся он за час до рассвета. Некоторое время лежал, не шевелясь, стараясь не разбудить Бесси, а когда решил встать и одеться, обнаружил, что Бесси рядом с ним нет. Он не стал больше ждать — быстро оделся и, взяв башмаки в руки, на цыпочках прошел через прихожую и вышел с черного хода. Усевшись на ступеньках кухонного крыльца, надел и туго зашнуровал башмаки, прошел через двор к сараю и достал свой мешок. На горизонте уже показалась бледная полоска рассвета, когда он направился к лужайке перед домом. Он был уверен, что на шоссе остановит попутный грузовик и его подвезут к Фрайди-Ривер.

Поспешно огибая угол дома, он столкнулся с Бесси. Сколько времени она там простояла, трудно было сказать, но Тарл сразу понял, что она ждет его.

— Бесси, ты должна отпустить меня туда, чтобы я мог снова вызвать видение и откопать спрятанные деньги, — сказал он с отчаянием.— Я ведь делаю это столько же для тебя, сколько...

Бесси повернулась и пошла по улице. На ней уже не было цветастого капота: она была совсем одета, даже в шляпе. В слабом свете утра он рассмотрел, что в руках у нее небольшая сумка, туго набитая одеждой. Как видно, она собиралась уехать надолго.

— Поторапливайся, Тарл, — сказала она, оборачиваясь и энергичным жестом приглашая его следовать за собой. — Не будем терять ни минуты. Надо скорее добраться до того места, где спрятаны деньги. Я всю ночь глаз не сомкнула от страха, что еще кому-нибудь явилось такое же видение, как тебе, и нас могут опередить. Потому я и не ложилась всю ночь, дожидалась рассвета, чтобы мы первыми попали на Фрайди-Ривер. Торопись, Тарл!

Тарл взвалил битком набитый мешок на плечо и молча, терпя муки разочарования, уныло поплелся за Бесси в белесом утреннем свете. Бесси, намного опередившая его, обернулась и крикнула, чтобы он поторапливался, если не хочет отстать.

Подарок для Сью

Перевод с английского И. Боронос.

Родди Леттерди не забыл, что сегодня день рождения его жены, — утром, когда он уходил, она ему напомнила, что нужно вернуться пораньше, чтобы успеть принять душ и переодеться до прихода гостей. Она пригласила кое-кого из близких друзей на вечеринку, которая начнется коктейлями в шесть тридцать. Родди обещал уйти из конторы пораньше и быть дома не позже пяти тридцати.

— Самое главное, — сказала Сью строго, — не вздумай близко подходить к этим мерзким лавчонкам на Трэвис-авеню, чтобы купить мне подарок в последнюю минуту. Лучше пусть мне не будет никакого подарка, только не заходи ни в одну из этих лавчонок, где подносят виски таким мужьям, как ты, которые в последнюю минуту покупают женам подарки на день рождения. Я не переживу больше такого позора, как в прошлом году, когда на следующий день в газете напечатали снимок, как ты сидишь в тюрьме и глупо ухмыляешься. Если это случится еще раз, люди подумают, что ты всегда так празднуешь мой день рождения — радуешься, что я постарела еще на год.

— Я буду следить за каждым своим шагом, Сью, — с жаром пообещал ей Родди.

Сью слушала его молча и с недоверием.

— К тому же, — продолжал он, — в твой день рождения я всегда отнимаю год, а не прибавляю. Поэтому я и люблю праздновать твой день рождения. Знаешь, сколько тебе сейчас? Шестнадцать. В будущем году будет пятнадцать. А ты говоришь — постарела.

— Ну полно, Родди, — сказала Сью игриво. — Всем известно, что мне сейчас двадцать шесть, да и на вид мне не меньше.

Родди собирался купить подарок для Сью в полдень во время перерыва; ему хотелось найти ей что-нибудь особенно трогательное и отдать, когда явятся гости со своими подарками. Но он завтракал дольше, чем рассчитывал, и в два тридцать ему пришлось вернуться в контору. Он написал записку и положил перед собой на стол, чтобы не забыть во время уйти с работы и купить жене подарок по пути домой.

Ровно в четыре тридцать Родди вышел из конторы и направился по Трэвис-авеню на стоянку к своей машине. По обе стороны улицы находилось множество лавчонок, как раз таких, какие Сью называла мерзкими, но почти во всех были выставлены перчатки, обувь или платье, а ему хотелось купить что-нибудь такое, что подошло бы наверняка и не пришлось бы бегать и менять. У витрин ювелирных магазинов он даже не останавливался, опасаясь истратить больше двадцати — двадцати пяти долларов, предназначенных для подарка.

У самой стоянки в глаза ему бросилась нарядная витрина с дамским бельем. Сью, конечно, назвала бы эту лавчонку мерзкой, но времени оставалось мало, а он обещал быть дома в пять тридцать. Родди открыл дверь и вошел. В лавке не было покупателей, и он обрадовался, что сможет быстро выбрать подарок. Откуда-то из глубины лавки появилась улыбающаяся толстуха лет под пятьдесят.

— Добрый день, — сказала она приветливо.

— Добрый день, — ответил Родди, в замешательстве глядя на разложенное вокруг белье.

— Я хозяйка, мисс Гертруд, — сообщила женщина. — Что вам угодно? В моем магазине есть очень милые вещицы, к счастью, у нас сейчас большой выбор.

— Я ищу подарок жене, — ответил он сухо и деловито. — Сегодня день ее рождения, и мне хотелось бы купить что-нибудь такое, что ей подошло бы без примерки. У меня мало времени. Я очень спешу.

— Думаю, что могу помочь вам, — сказала хозяйка, понимающе кивнув. — Пройдите сюда, пожалуйста. Мы мигом все устроим, вы не задержитесь.

Родди последовал за ней в глубину лавки, к двери, прикрытой тяжелой черной бархатной портьерой. У двери она остановилась.

— Скажите мне, — произнесла она, понизив голос, будто спрашивала о чем-то секретном, — ваша жена средней комплекции?

— Да, пожалуй, средней, — ответил он, глядя на стянутые корсетом

пышные формы женщины. Потом, покачав головой, добавил: — Но не такой средней, как вы.

— Это все, что мне нужно знать, — сказала она, раздвигая портьеру и жестом приглашая его следовать за собой. — В таком случае у меня в магазине найдется много прелестных вещиц, которые вы можете купить, сделав жене приятное.

— Только что-нибудь не слишком дорогое, — заметил он осторожно.— Долларов на двадцать — двадцать пять.

— Пока не будем говорить о цене,— возразила она неодобрительно. — Ведь важен сам подарок, не так ли?

Переступив порог, Родди очутился в ослепительно убранной комнате: на полу розовый пушистый ковер, кресла и диванчики, обитые материей более темного тона, стены тоже розовые, но другого оттенка. С потолка розовой дымкой струился приглушенный мягкий свет.

— Ваша жена очень следит за своей внешностью? — спросила толстуха так же доверительно.— Она любит изящные вещи?

— Вот, вот, — сказал Родди с гордостью, — она как раз такая.

— Ах, как мило,— вздохнула хозяйка. — Теперь, прошу вас, садитесь. Вам мигом покажут кое-что на выбор. У меня такое правило — показывать вещи, которые я продаю, на живой модели. Легче сделать правильный выбор, когда видишь, как платье красит человека.

Мисс Гертруд вышла и тотчас же вернулась с серебряным подносом, на котором стояла бутылка и стакан. Поставив поднос на столик у глубокого розового кресла, она налила в стакан виски.

— Теперь, прошу вас, садитесь сюда и устраивайтесь поудобнее,— любезно сказала она. — Я знаю, что мужчины ценят такие мелкие знаки внимания. Не стесняйтесь, наливайте себе время от времени.

Она опять вышла из комнаты. Родди уселся в кресле перед столиком и посмотрел на часы. Было пять часов. Он отлично знал, что сказала бы Сью, войди она сейчас сюда, но все же потянулся к стакану и выпил. Через несколько минут он решил пропустить еще стаканчик, пока не пришла хозяйка. Когда он ставил пустой стакан на поднос, черная бархатная портьера раздвинулась, и в комнату проскользнула высокая гибкая блондинка. Улыбаясь, она кивнула Родди, он ухмыльнулся и кивнул ей в ответ. Затем он откинулся в глубоком кресле и стал смотреть, как девушка медленно проходит перед ним по комнате. Дойдя до стены, она грациозно повернулась и направилась к нему. На ней было надето что-то очень короткое огненно-красного цвета.

— Как вам это нравится, сэр? — спросила девушка, медленно поворачиваясь перед ним. Затем она подошла к креслу, на котором сидел Родди, и оттянула полу, чтобы он мог лучше рассмотреть ткань.— Это наш жакет-молния, — объяснила она. — Он сшит так, что большинство женщин может носить его без переделки, и поэтому мужчины любят дарить его. Вашей жене подойдет такой же размер, как мой? У меня двенадцатый, высокий рост.

— Вероятно, подойдет, — кивнул Родди задумчиво. Он налил себе еще виски и выпил.— Вероятно, подойдет,— повторил он.

— Такой жакет всем очень нравится,— сказала девушка, теснее стягивая его на талии. — Это мисс Гертруд назвала его «жакет-молния». Она придумала такое название, потому что женщина может мигом надеть его и мигом снять. Вам не кажется, что он выглядел бы восхитительно на вашей жене?

— Ясное дело, — ухмыльнулся Родди. Он не отрываясь смотрел на блондинку, пока та не отошла на середину комнаты.

— Может быть, вы посмотрите еще что-нибудь, — предложила она.— Всегда приятнее, когда есть из чего выбрать.

— Ясное дело, — снова ухмыльнулся он.

Девушка вышла из комнаты, и как только она скрылась, Родди опрокинул еще стакан виски. Едва он поставил пустой стакан на поднос, как перед ним появилась толстуха.

— Это опять я, мисс Гертруд, — сказала она, жеманно подняв брови.— Я зашла на один миг, только взглянуть, хорошо ли Жанетт вас обслуживает.

Родди кивнул, недовольно поморщившись.

— Жанетт мигом вернется и покажет вам еще кое-что из наших прелестных вещиц. Магазин уже закрыт, и дверь заперта. Вы можете спокойно выбирать подарок — вам не помешают другие покупатели. Прошу вас, не стесняйтесь, наливайте себе. Я принесла это для вас.

Как только хозяйка вышла из комнаты, Родди с беспокойством взглянул на часы и, увидев, что уже пять тридцать, поспешно налил себе еще виски. Он теперь потерял счет стаканам и только думал, что было бы, если бы вдруг вошла Сью и увидела его здесь. Он сидел, наклонившись вперед и уставившись на черную бархатную портьеру, когда вновь появилась блондинка. И опять на ней было надето что-то одно, но на этот раз гораздо более короткое и откровенное. Родди сполз на самый край кресла, глядя, как она медленно проходит по комнате. Когда она повернулась — теперь еще грациознее — и направилась к нему, он, не глядя, потянулся к подносу за стаканом. Нащупав стакан и поднеся его ко рту, он с удивлением заметил, что стакан пуст. Так же не глядя, он поставил его обратно.

— Что... что это такое? — спросил он, не спуская глаз с девушки.

— Неужели вы не знаете, сэр? — ответила она с дразнящей улыбкой. — Это прекрасный импортный материал — черное кружево ручной работы, вышитое лиловыми незабудками. Не правда ли, восхитительно?

— Он здорово выглядит... на вас, — выпалил Родди.

— Как вы думаете, вашей жене он понравится?

— У нее, пожалуй, нет ничего похожего, — сказал он, качая головой,— может и есть, да я не знаю. А если нет, так стоит купить.

— Я уверена, она будет очень довольна. Почему бы вам не подарить ей эту вещицу?

Родди полез за бумажником.

— Сколько она стоит?

— Продажей ведает мисс Гертруд, — ответила блондинка, пятясь к бархатной портьере. — Я только показываю туалеты. Подождите минуточку...

Родди вскочил, но блондинка выскользнула из комнаты, прежде чем он настиг ее. В то же мгновение портьера раздвинулась, и в комнату вошла мисс Гертруд.

— Семьдесят пять долларов,— сообщила хозяйка, протянув руку,— прелестная вещица, не правда ли? Я уверена, что ваша жена будет в восторге.

— Я покупаю! — воскликнул он возбужденно. — Дайте ее сюда!

— Ну конечно,— сказала она, протягивая руку к нему.— Платите семьдесят пять долларов.

Он поспешно отсчитал деньги и отдал ей. Мисс Гертруд быстро вышла из комнаты. Родди подошел к подносу и дрожащей рукой налил себе виски. Не успел он выпить, как она снова очутилась перед ним с небольшим свертком и сунула сверток ему в руки.

— Теперь сюда, к выходу, — грубо сказала она, выпроваживая его из комнаты.

— Но я еще не кончил! — громко запротестовал он. — Говорю вам, я хочу остаться. Я хочу, чтобы эта девушка...

— Уже шесть часов и магазин давно закрыт, — строго проговорила хозяйка, настойчиво подталкивая его к двери.— Уходите, только пожалуйста без шума.

У выхода мисс Гертруд сильно толкнула его, и Родди очутился на тротуаре перед лавкой. Дверь захлопнулась, свет погас, и штора за стеклом опустилась. Он пробовал повернуть ручку, толкнул дверь, потом что было мочи ударил в нее ногой. От удара задрожала вся стена.

— Пустите меня обратно! — закричал он. — Говорю вам, откройте дверь!

Ответа не последовало, и он начал изо всех сил колотить ногой в дверь. Несколько прохожих остановились и стали с интересом наблюдать за ним. Скоро на тротуаре позади него собралась большая толпа.

— Вы не имеете права выставлять меня из лавки! — вопил он. — Откройте! Говорю вам, пустите меня обратно!

Родди все еще дубасил в стеклянную дверь, когда к лавке подлетела полицейская машина. Из нее выскочили два полисмена и схватили его.

— Пошли, приятель, — сказал один из них. — На тебя пожаловалась хозяйка этой лавки. Она позвонила нам, что какой-то пьяный хочет высадить дверь, а это, оказывается, ты. Пошли, пошли.

Сверток, который Родди сжимал в руке, упал на тротуар. Один из полисменов поднял его и пощупал.

— Что это такое? — спросил он Родди. — В лавке купил?

Не успел Родди ответить, как второй полисмен повернул его к себе и стал всматриваться в его лицо.

— Ого,— сказал он,— сдается мне, что ты тот самый пьянчуга, которого мы забрали здесь, на Трэвис-авеню, с год тому назад и отвезли в участок. Я это отлично запомнил, потому что на следующий день в газете появился твой снимок. Тогда ты тоже купил что-то в одной из этих лавчонок и хотел высадить дверь. Кажется, ты тогда сказал, что хотел отпраздновать день рождения своей жены.

— И сегодня ее день рождения, — ухмыльнулся Родди, безропотно направляясь к полицейской машине. — Имеет право человек раз в год праздновать день рождения своей жены или нет?

Отто Гельстед

УМНЫЕ ГНОМЫ

ИЗ ЦИКЛА „ПРАВО НА МИР“

Перевод с датского Л. Горлиной и Ю. Вронского.

Глаз в телескоп —
и сквозь мглу мирозданья
к дальней звезде
мы спешим на свиданье.

А в микроскоп
человеческий гений
видит мильоны
смертей и рождений.

В каждой молекуле
тайна большая.
Разум пьянеет,
ее открывая.

Жило в пещерах в далекое время
умных гномов усердное племя.
Были знакомы им силы металла,
соком целебным трава их питала.

Профессора похитрее, чем гномы,
и хитры они по-иному:
сверхмогучими аппаратами
они расщепляют атомы.

Ныне в опасности право простое
жить, веселиться, влюбляться и строить,
право — без облака опасения,
право на счастье весеннее.

Бьются добро и зло повсеместно.
Мысль пускается в бешеный бег.
Ты родился на звезде, человек.
Помни, задачи священнее нет,
чем сохранить человечеству свет.

ВИЛЬЯМ БЛЕЙК

Портрет работы художника Томаса Филлипса.

Вильям Блейк

(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

ПОЭТ И ЕГО ВРЕМЯ

28 ноября 1957 года исполняется 200 лет со дня рождения Вильяма Блейка — одного из крупнейших лирических поэтов Англии. Поэт, художник и гравер, Блейк был первым провозвестником романтического направления в английской литературе. он с огромной силой выразил в своем творчестве, полном смелой фантастической символики, мечту о раскрепощении порабощенного человечества и видел в искусстве могучее средство познания жизни и борьбы за счастье людей.

Судьба художественного наследия Блейка полна парадоксов, как и все его необычайно оригинальное творчество. Официальное общественное мнение современной ему Англии либо игнорировало его, либо видело в нем чудака, а то и безумца. Не имея возможности печатать свои стихи, он гравировал их, буква за буквой, иллюстрируя собственными фантастическими рисунками. Но эти книги-гравюры, представлявшие собой уникальные произведения искусства, где поэтическое слово сливалось воедино с предметными графическими образами, находили очень немногих читателей. Понятый при жизни лишь небольшим кружком друзей, он был потом надолго забыт. Только на рубеже XIX—XX веков Блейк становится признанным национальным классиком, и в настоящее время его произведения пользуются широкой известностью во всех странах английского языка.

Вильям Блейк родился в Лондоне и вырос в ремесленной среде; отец его был чулочником. Уже в детстве у него обнаружились яркие и разносторонние художественные способности. Учиться живописи ему было, однако, не по средствам; поэтому четырнадцатилетнего Вильяма по старинному цеховому обычаю определили в подмастерья к граверу.

Выбор этой профессии имел существенное значение для его будущего. В отличие от живописцев, граверы в тогдашней Англии считались не художниками, а ремесленниками. Их даже не принимали в недавно организованную Королевскую Академию художеств. Став подмастерьем гравера, Блейк, по выражению его первого биографа Александра Гилкрайста, вынужден был войти в искусство, так сказать, «с черного хода». Впоследствии он многое создал и в графике, и в живописи, идя совершенно

новыми, непроторенными путями и бесконечно возвышаясь оригинальностью своего таланта над официально признанным «академическим» искусством того времени. Но вместе с тем, по общественному положению он в глазах современников и в собственных глазах оставался ремесленником, простым человеком труда,— и это укрепляло и поддерживало дух демократического достоинства в его творчестве.

Бедность, неизвестность, труд от зари до зари были спутниками Блейка на протяжении всей его жизни. «Нажива никогда не отваживается переступить мой порог»,— с горькой шутливостью писал поэт одному из своих друзей. Жена Блейка, Кэтрин Баучер, не принесла ему в приданое ничего, кроме безграничной преданности и любви. Когда они поженились, она была еще неграмотна; но потом не только научилась читать и писать, но стала умелой помощницей мужа: переписывала стихи, раскрашивала акварелью рисунки, снимала оттиски с гравюр. Почти всю свою жизнь они прожили в Лондоне, в кварталах, густо населенных беднотой; кухня, где миссис Блейк стряпала свой незатейливый обед, нередко служила ее мужу мастерской.

Вся жизнь Блейка была поистине подвигом самоотверженного творческого труда. «В Англии, — писал он, — спрашивают не о том, есть ли у человека талант и гениальность, а о том, насколько он вежлив, добродетелен, смирен, как осел, и послушен суждениям вельмож об искусстве и науке. Если это так, то, значит, он стоящий человек. Если нет, пусть умирает с голоду».

Поэзия Блейка, как его живопись и его графика, была живым вызовом общественной несправедливости, которую он так остро ощущал и так ненавидел.

В романтической форме, в символических, иногда очень причудливых образах Блейк отразил выстраданную им реальную трагедию английских народных низов — ремесленников и крестьян, чьи вековые жизненные устои были разрушены промышленным и аграрным переворотом XVIII века. Он сумел выразить пламенным языком поэзии ту заветную мечту об установлении справедливой, «божеской» жизни на земле, о своего рода новом земном рае, которая передавалась в Англии из поколения в поколение еще со времен средневековых крестьянских восстаний; эта мечта вдохновляла народные массы в период буржуазной революции XVIII столетия, сделавшей своим знаменем библию. С тех пор английская буржуазия, приобщившись к власти, нашла в религии действенное средство обуздания трудящихся. С этой официальной, ханжеской религией господ, оправдывающей «волей божией» общественное неравенство, угнетение, разрушительные войны, утопическая мечта Блейка, нередко облекавшаяся в фантастические, по-своему мистические образы, не имела ничего общего; напротив, мечта эта была полна еретического, вольнодумного, бунтарского духа. Какие бы фантастические видения, какие бы силы неба и ада он ни изображал в своей поэзии, в центре ее всегда стоит человек. «Люди, — писал сам Блейк, — забыли, что все божества живут в человеческой груди». И в другом месте: «Боги эти — видения вечных атрибутов или божественные имена, которые, будучи превращены в богов, становятся губительными для человечества. Им следовало быть слугами, а не господами человека или общества».

Война за независимость США и в особенности французская буржуазная революция 1789—1794 годов озарили своим пламенем все творчество поэта. Именно в эти годы Блейк принадлежал к кружку лондонских «якобинцев», которые не только сочувственно следили за ходом событий во Франции, но и надеялись перенести французский революционный опыт на английскую почву. В числе его близких друзей был и Том Пейн — прославленный публицист, видный деятель войны за независимость США, автор «Прав человека» — социально-политического памфлета, ставшего настольной книгой английских революционных демократов. Известно, что Блейк спас Пейна от ареста, тюрьмы, а может быть, и смертной казни, вовремя предупредив его об угрожавшей ему опасности и посоветовав бежать во Францию.

Именно к этому времени относится расцвет поэтического творчества Блейка. Первый (и единственный, опубликованный при его жизни типографским способом) сборник его стихов — «Поэтические наброски» — вышел в 1783 году. А в годы фран-

цузской революции и подъема революционно-демократического движения в Англии появляются «Песни невинности» (1789) и «Песни опыта» (1794), поэма «Французская революция» (1791), «Бракосочетание Неба и Ада» (1793) и другие произведения.

Сохранился лишь корректурный оттиск первой книги поэмы «Французская революция»; остается неясным, прервал ли сам автор работу над поэмой или же рукопись ее затерялась при аресте издателя, Джозефа Джонсона, брошенного в тюрьму за свои антиправительственные публикации. Во всяком случае, судьба этой поэмы, задуманной как величавая героическая эпопея во славу победившей Свободы и не дошедшей до широкого читателя, была по-своему символической вехой на творческом пути Вильяма Блейка.

В Англии сгущалась атмосфера реакции. Правительство Питта объявило войну Франции. Сочувствие освободительным идеям рассматривалось как государственная измена. Чрезвычайные законы и политические процессы следовали друг за другом. Было жестоко подавлено восстание английских моряков, так же как и два национально-освободительных восстания в Ирландии. Франция перестала быть маяком свободы. На плечах термидорианской буржуазии к власти пришел Наполеон. Начался долгий период кровопролитных захватнических войн.

Блейк и в эти трудные годы не терял мужества, сохранял верность своим убеждениям. Но он чувствовал себя все более одиноким. В 1803 году по доносу двух драгунских солдат его привлекли к суду по обвинению в «мятеже»: драгуны уверяли, что Блейк осыпал проклятиями короля, а поскольку его постоянно видели рисующим или пишущим, то высказывалось даже подозрение, что он снимает планы местности для передачи вражеской Франции. Ввиду полного отсутствия улик Блейк был оправдан судом. Но это преследование глубоко потрясло его и отразилось во многих поздних его поэмах.

Поворот, который, начиная со второй половины 1790-х годов, все заметнее проявляется в творчестве Блейка, во многом объясняется тем трагическим одиночеством, вынужденным отторжением от массового, народного читателя, на которое был обречен поэт. «Законы о затыкании ртов» делали свое дело: о многом можно было говорить лишь намеками, своего рода шифрованным языком символов. Размышления о судьбах угнетенных и борющихся народов облекаются в поздних поэмах, так называемых «Пророческих книгах» Блейка, во все более сложные, зачастую хаотические и темные образы. Поэт создает свою собственную мифологию, в которой образы библейских преданий и античных мифов причудливо сплетаются с порождениями его собственной фантазии. Эта мифология, при всей ее романтической отвлеченности, была окрылена жизненным, вольнолюбивым пафосом. Поэма «Вечно сущее евангелие» (1818), например, показывает, какому дерзновенному осмеянию подвергает Блейк официальную церковную мораль самоуничижения и непротивления злу. Его Христос — еретик и бунтарь, и завет поэта — гордость и независимость:

Себя унизив самого,
Ты унижаешь божество...

Осуждая мелкую, эгоистическую злобу:

Правда, сказанная злобно,
Лжи отъявленной подобна...—

Блейк был по-своему непревзойденным поэтом праведного общественного гнева. Революционная ярость народных масс кипит в балладе «Король Гвин»; страстным негодованием против врагов и поработителей человечества проникнуты «Песни опыта»; сокрушительную силу гнева славит поэт в символическом стихотворении «Древо яда».

Поэзия Блейка была для своего времени поистине новаторской, — воплощенные в ней счастье и муки творческих поисков и находок и сейчас волнуют и радуют читателя. Человек революционной эпохи, Блейк стремился передать языком поэзии свои гениальные догадки о вечном движении, развитии и борьбе противоположностей, как основе

всякой материальной и духовной жизни. Отсюда — философская мудрость и яркая выразительность его парадоксов — в частности, великолепного цикла «Пословиц Ада», входящего составной частью в «Бракосочетание Неба и Ада» (недаром этим произведением так восхищался Бернард Шоу). Отсюда и необычайное богатство эмоциональных оттенков в лирике Блейка — от простодушно нежного детского лепета в «Песнях невинности» до трагических раздумий и горького сарказма «Песен опыта» и грозных раскатов народного гнева в балладе «Король Гвин».

Глубокий внутренний драматизм определяет соотношение двух замечательнейших лирических циклов Блейка — «Песен невинности» и «Песен опыта». Поэт как бы спорит с самим собой. То, что утверждается в первом цикле, опровергается во втором. Это столкновение «двух противоположных состояний человеческой души» (как гласил подзаголовок обоих циклов) оказывается тем более выразительным, что Блейк настойчиво подчеркивает связь «Песен опыта» с «Песнями невинности», возвращаясь снова к уже затронутым ранее темам, более того, давая многим «Песням опыта» те же самые заглавия, какие носили стихотворения, входившие в «Песни невинности». Так, например, идиллическому изображению Лондона в стихотворении «Святой четверг» (из «Песен невинности») противостоит трагическое истолкование той же темы, под тем же названием, в одноименном стихотворении, входящем в «Песни опыта». Этот принцип резкого контраста последовательно выдержан поэтом.

Как непохож угрюмый, зловещий, бесчеловечный мир, представленный в «Песнях опыта», на ликующую, пронизанную детским смехом и солнечным светом картину жизни, созданную в «Песнях невинности». И все же горькая мудрость «Песен опыта» не уничтожает светлого оптимизма «Песен невинности». Обрисованное там идиллическое содружество людей и природы остается и для Блейка, и для его читателей прекрасной поэтической утопией, утверждением идеала гармонии и красоты, которые могут и должны стать естественным законом человеческой жизни.

Русские эстеты и символисты, по примеру своих зарубежных собратьев, пытались представить Блейка далеким от жизни мечтателем-визионером. Так, К. Бальмонт, переводя Блейка, крайне односторонне интерпретировал его, отбирая у него по преимуществу самые мистические и темные вещи и особо усиливая их символическую отвлеченность.

Начало настоящему знакомству русских читателей с подлинным, живым, земным и страстным Блейком было положено более сорока лет назад переводами С. Я. Маршака, опубликованными незадолго до Великой Октябрьской революции (журнал «Северные записки», 1915—1916 гг.). В заметке, предпосланной этим переводам, молодой поэт отмечал, как особые достоинства поэзии Блейка, живое, необычное для его времени чувство природы, простоту и ясность формы, смелость воображения.

В переводах С. Я. Маршака, снова и снова на протяжении своего творческого пути возвращавшегося к Блейку, стихи английского поэта звучат по-русски со всей своей жизненностью, музыкальностью и человечным обаянием.

Печатаемые ниже переводы С. Я. Маршака из Блейка, рожденные сорокалетним творческим содружеством советского поэта с английским художником слова,— это живые цветы искусства, которыми советский народ встречает двухсотлетие со дня рождения Вильяма Блейка, великого романтика-гуманиста.

А. Елистратова

С. Маршак

Из Вильяма Блейка

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Меч — о смерти в ратном поле,
Серп о жизни говорил,
Но своей жестокой воле
Меч серпа не покорил.

ДИТЯ-РАДОСТЬ

— Мне только два дня.
Нет у меня
Пока еще имени.

— Как же тебя назову?
— Радуюсь я, что живу.
Радостью — так и зови меня!

Радость моя —
Двух только дней,—
Радость дана мне судьбою.

Глядя на радость мою,
Я пою:
Радость да будет с тобою!

МУХА

Муха-малютка,
Твой летний рай
Смахнул рукою
Я невзначай.

Я — тоже муха:
Мой краток век,
А чем ты, муха,
Не человек?

Вот я, играя,
Живу, пока
Меня слепая
Смахнет рука.

Коль в мысли сила
И жизнь и свет
И там могила,
Где мысли нет,

То пусть помру я
Иль поживу,
Счастливой мухой
Себя зову!

* * *

Словом высказать нельзя
Всю любовь к любимой.
Ветер движется, скользя,
Тихий и незримый.

Я сказал, я все сказал,
Что в душе таилось.
Ах, любовь моя в слезах,
В страхе удалилась.

А мгновение спустя
Путник, шедший мимо,
Тихо, вкрадчиво, шутя,
Завладел любимой.

ДРЕВО ЯДА

В ярость друг меня привел.
Гнев излил я — гнев прошел.
Враг обиду мне нанес —
Я молчал, но гнев мой рос.

Я растил его в тиши
В глубине своей души,
То слезами поливал,
То улыбкой согревал.

С каждым часом, с каждым днем
Зрело яблочко на нем,
Яда сладкого полно.
Знал мой недруг, чье оно.

Поздней ночью в тишине
Он прокрался в сад ко мне
И остался недвижим,
Ядом скованный моим.

ТИГР

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?

В небесах или глубинах
Тлел огонь очей звериных?
Где таился он века?
Чья нашла его рука?

Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?

Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?

А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной —
Улыбнулся ль, наконец,
Делу рук своих творец?

Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила
И тебя, ночной огонь?

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?

КОРОЛЬ ГВИН

Баллада

Внемлите песне, короли!
Когда норвежец Гвин
Народов северной земли
Был грозный властелин,

В его владеньях нищету
Обкрадывала знать.
Овцу последнюю — и ту
Старалась отобрать.

«Не кормит нищая земля
Больных детей и жен.
Долой тирана-короля,
Пускай покинет трон!»

Проснулся Го́рдред между скал,
Тирана лютый враг,
И над землей затрепетал
Его мятежный стяг.

За ним идут сыны войны
Лавиною сплошной,
Как львы, сильны и голодны,
На промысел ночной.

Через холмы их путь лежит,
Их клич несется ввысь.
Оружья лязг и дробь копыт
В единый гул слились.

Идет толпа детей и жен
Из сел и деревень,
И яростью звучит их стон
В железный зимний день.

Звучит их стон, как волчий вой.
В ответ гудит земля.
Народ идет за головой
Тирана-короля.

От башни к башне мчится весть
По всей большой стране:
«Твоих противников не счесть.
Готовься, Гвин, к войне!»

Норвежец щит подъемлет свой
И витязей зорет,
Подобных туче грозовой,
В которой гром живет.

Как плиты, что стоймя стоят
На кладбище немом,
Стоит бойцов безмолвный ряд
Пред грозным королем.

Они стоят пред королем
Недвижны, как гранит,
Но вот один взмахнул копьем,
И сталь о сталь звенит.

Оставил земледелец плуг,
Рабочий — молоток,
Сменил свирель свою пастух
На боевой рожок.

Король войска свои ведет,
Как грозный призрак тьмы,
Как ночь, которая несет
Дыхание чумы.

И колесницы и войска
Идут за королем,
Как грозовые облака,
Скрывающие гром.

— Остановитесь! — молвил Гвин
И указал вперед.
— Смотрите, Гордред-исполин
Навстречу нам идет!

Стоят два войска, как весы,
Послушные судьбе.
Король, последние часы
Отпущены тебе.

Настало время — и сошлись
Заклятых два врага,
И конница взметает ввысь
Сыпучие снега.

Вся содрогается земля
От грохота шагов.
Людская кровь поит поля,
И нет ей берегов.

Летают голод и нужда
Над грудой мертвых тел.
Как много горя и труда
Для тех, кто уцелел!

Король полки бросает в бой.
Сверкают их мечи
Лучом кометы огневой,
Блуждающей в ночи.

Живые падают во прах,
Как под серпом жнецов.
Другие бьются на костях
Бессчетных мертвецов.

Вот конь под всадником убит.
И падают, звеня,
Конь на коня, и щит на щит,
И на броню броня.

Устал кровавый бог войны.
Он сам от крови пьян.
Смердящий пар с полей страны
Восходит, как туман.

О, что ответят короли,
Представ на страшный суд,
За души тех, что из земли
О мести вопиют!

Не две хвостатые звезды
Столкнулись меж собой,
Рассыпав звезды, как плоды,
Из чаши голубой.

То Го́рдред, горный исполин,
Шагая по телам,
Настиг врага — и рухнул Гвин,
Разрублен пополам.

Исчезло воинство его.
Кто мог, живым ушел.
А кто остался, на того
Косматый сел орел.

А реки кровь и снег с полей
Умчали в океан,
Чтобы оплакал сыновей
Бурливый великан.

ВСТУПЛЕНИЕ К „ПЕСНЯМ НЕВИННОСТИ“

Дул я в звонкую свирель.
Вдруг на тучке в вышине
Я увидел колыбель,
И дитя сказало мне:

— Милый путник, не спеши.
Можешь песню мне сыграть? —
Я сыграл от всей души,
А потом сыграл опять.

— Кинь счастливый свой тростник.
Ту же песню сам пропой! —
Молвил мальчик и поник
Светлокудрой головой.

— Запиши для всех, певец,
То, что пел ты для меня! —
Крикнул мальчик наконец
И растаял в блеске дня.

Я перо из тростника
В то же утро смастерил,
Взял воды из родника
И землею замутил.

И, раскрыв свою тетрадь,
Сел писать я для того,
Чтобы детям передать
Радость сердца моего!

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Отголоски игры долетают с горы,
Оглашают темнеющий луг.
После трудного дня нет забот у меня.
В сердце тихо, и тихо вокруг.

— Дети, дети, домой! Гаснет день за горой,
Выступает ночная роса.
Погуляли — и спать. Завтра выйдем опять,
Только луч озарит небеса.

— Нет, о нет, не сейчас! Светлый день не угас.
И привольно и весело нам.
Все равно не уснем — птицы реют кругом,
И блуждают стада по холмам.

— Хорошо, подождем, но с последним лучом
На покой удалимся и мы.—
Снова топот и гам по лесам, по лугам,
А вдали отвечают холмы.

ПЕСНЯ ДИКОГО ЦВЕТКА

Меж листьев зеленых
Бродил я весной.
Там пел свою песню
Цветочек лесной:

— Как сладко я спал
В темноте, в тишине,
Шептал о тревогах
Своих в полусне.

Пред самою зорькой
Проснулся я светел,
Но свет меня горькой
Обидою встретил.

СОН

Сон узор сплетает свой
У меня над головой.
Вижу: в зелени полей
Заблудился муравей.

Грустен, робок, одинок,
Он взобрался на цветок.
И, тревожась и скорбя,
Говорил он про себя:

— Мураши мои одни.
Плачут жалобно они.
Поглядят во мрак ночной
И в слезах бегут домой! —

Пожалел я бедняка.
Вдруг увидел светляка.
— Чей,— спросил он,— тяжкий стон
Нарушает летний сон?

Выслан я с огнем вперед.
Жук за мной летит в обход.
Следуй до дому за ним —
Будешь цел и невредим!

СВЯТОЙ ЧЕТВЕРГ

(Из „Песен невинности")

По городу проходят ребята по два в ряд,
В зеленый, красный, голубой одетые наряд.
Седые дядьки впереди. Толпа течет под своды
Святого Павла, в гулкий храм, шумя, как Темзы воды.

Какое множество детей — твоих цветов, столица.
Они сидят над рядом ряд, и светятся их лица.
Растет в соборе смутный шум, невинный гул ягнят.
Ладони сложены у всех, и голоса звенят.

Как буря, пенье их летит вверх из пределов тесных,
Гремит, как гармоничный гром среди высот небесных.
Седые пастыри внизу, заступники сирот.
Лелейте жалость, и от вас ваш ангел не уйдет.

СВЯТОЙ ЧЕТВЕРГ

(Из „Песен опыта")

Да чем же этот праздник свят,
Когда богатый край такой
Рожденных в нищенстве ребят
Питает жадною рукой?

Что это — песня или стон
Несется к небу, трепеща?
Голодный плач со всех сторон.
О, как страна моя нища!

Видно, сутки напролет
В ней стоит ночная тьма,
Никогда не тает лед,
Не кончается зима.

Где сияет солнца свет,
Где роса поит цветы,
Там детей голодных нет,
Нет угрюмой нищеты.

МАЛЕНЬКИЙ ТРУБОЧИСТ

Был я крошкой, когда умерла моя мать,
И отец меня продал, едва лепетать
Стал мой детский язык. Я тружусь и терплю,
Ваши трубы я чищу и в копоти сплю.

Белокурый наш Том столько выплакал слез —
Было жалко бедняге кудрявых волос.
Я сказал ему: — Ладно, не плачь, старина,
Без кудрей тебе сажа не будет страшна!

Он забылся, утих и, уйдя на покой,
В ту же самую ночь сон увидел такой:
Будто он, Дик и Нэл и десятки ребят
В черных гробиках тесных под крышками спят.

Но приходит к ним ангел с ключом золотым,
Он гроба отпирает один за другим,
И ребята вприпрыжку несутся к реке
И, умывшись, играют в лучах на песке.

А потом нагишом, налегке, без мешков
Том с друзьями залез на гряду облаков.
И сказал ему ангел: — Послушай-ка, Том,
Будь хорошим, и бог тебе будет отцом.

Ранним утром проснулись ребята впотьмах
И с мешками пошли чистить трубы в домах.
Утро было сырое, но Том не продрог.
Тот, кто честен и весел, не знает тревог.

МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯЖКА

Ах, маменька, в церкви и холод и мрак.
Куда веселей придорожный кабак.
К тому же ты знаешь повадку мою —
Такому не место в небесном раю.
Вот ежели в церкви дадут нам пивца
Да пламенем жарким согреют сердца,
Я буду молиться весь день и всю ночь.
Никто нас из церкви не выгонит прочь.

И будет наш пастырь служить веселей.
Мы счастливы будем, как птицы полей.
И строгая тетка, что в церкви весь век,
Не станет пороть малолетних калек.

И бог будет счастлив, как добрый отец,
Увидев довольных детей наконец.
Наверно, простит он бочонок и черта
И дьяволу выдаст камзол и ботфорты.

ЗОЛОТАЯ ЧАСОВНЯ

Перед часовней, у ворот,
Куда никто войти не мог,
В тоске, в мольбе стоял народ,
Роняя слезы на порог.

Но вижу я: поднялся змей
Меж двух колонн ее витых,
И двери тяжестью своей
Сорвал он с петель золотых.

Вот он ползет во всю длину
По малахиту, янтарю,
Вот, поднимаясь в вышину,
Стал подбираться к алтарю.

Разинув свой тлетворный зев,
Вино и хлеб обрызгал змей...
Тогда пошел я в грязный хлев
И лег там спать среди свиней!

ИЗ КНИГИ „БРАКОСОЧЕТАНИЕ НЕБА И АДА“

Ри́нтра ревет, потрясая огнями
В обремененном воздухе.
Тучи голодные носятся низко
Над бездной.

Некогда, кроток душой,
По опасной тропе
Праведный шел человек,
Пробираясь долиною смерти.

Розы цветут,
Где недавно росли только тернии,
И над степным пустырем
Поют медоносные пчелы.

Так над бездной тропа расцвела,
И река и ручей
На скалу, и на камень могильный,
И на белые груды костей
Влажной, красной земли нанесли.

И тогда отказался злодей
От привычных тропинок покоя,
Чтоб ходить по опасной тропе
И того, кто кроток душою,
Выгнать снова в бесплодные степи.

И теперь перед нами змея
Выступает в невинном смирении,
А праведный человек
Буйным гневом бушует в пустыне,
Там, где ночью охотятся львы.

Ри́нтра ревет, потрясая огнями
В обремененном воздухе.
Тучи голодные носятся низко
Над бездной.

1793 г.

ИЗ „ПРОРИЦАНИЙ НЕВИННОСТИ"

(Отрывки)

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.

* * *

Если птица в клетке тесной —
Меркнет в гневе свод небесный.

Ад колеблется, доколе
Стонут голуби в неволе.

Царству жребий безысходный
Предвещает пес голодный.

Конь, упав в изнеможенье,
О кровавом молит мщенье.

Мальчик жаворонка ранит —
Ангел петь в раю не станет.

Лань, живущая на воле,
Нас хранит от скорбной доли.

Крик совы в ночных лесах
Выдает безверья страх.

Солнце, знай оно сомненье,
Не светило б и мгновенье.

* * *

Петух бойцовый на дворе
Пугает солнце на заре.

Комар, поющий ночью летней,
Берет свой яд у лжи и сплетни.

Яд гадюки подколодной —
Пот завистника холодный.

Художника ревнивый взгляд —
Пчелы трудолюбивой яд.

Правда, сказанная злобно,
Лжи отъявленной подобна.

Радость, грусть — узора два
В тонких тканях божества.

Можно в скорби проследить
Счастья шелковую нить.

Так всегда велось оно,
Так и быть оно должно.

Радость с грустью пополам
Суждено изведать нам.

Помни это, не забудь —
И пройдешь свой долгий путь...

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЧЕРТОГ

На воле вольной я блуждал
И юной девой взят был в плен.
Она ввела меня в чертог
Из четырех хрустальных стен.

Чертог светился, а внутри
Я в нем увидел мир иной:
Была там маленькая ночь
С чудесной маленькой луной.

Иная Англия была,
Еще неведомая мне,—
И новый Лондон над рекой,
И новый Тауэр в вышине.

Не та уж девушка со мной,
А вся прозрачная, в лучах.
Их было три — одна в другой.
О сладкий, непонятный страх!

Ее улыбкою тройной
Я был, как солнцем, освещен.
И мой блаженный поцелуй
Был троекратно возвращен.

Я к сокровеннейшей из трех
Простер объятья — к ней одной.
И вдруг распался мой чертог.
Ребенок плачет предо мной.

Лежит он на земле, а мать
В слезах склоняется над ним.
И, возвращаясь в мир опять,
Я плачу, горестью томим.

ИЗ „ВЕЧНОСУЩЕГО ЕВАНГЕЛИЯ"

(Отрывки).

Христос, которого я чту,
Враждебен твоему Христу.

С горбатым носом твой Христос,
А мой, как я, слегка курнос.

Твой — друг всем людям без различий,
А мой слепым читает притчи.

Что ты считаешь райским садом,
Я назову кромешным адом.

Мы смотрим в библию весь день:
Я вижу свет, ты видишь тень.

* * *

Уж так ли кроток был Христос?
В чем это видно,— вот вопрос.

Ребенком он покинул дом.
Три дня искали мать с отцом.

Когда ж нашли его, Христос
Слова такие произнес:

— Я вас не знаю. Я рожден
Отцовский выполнить закон.

Когда богатый фарисей,
Явившись втайне от людей,

С Христом советоваться стал,
Христос железом начертал

На сердце у него совет
Родиться сызнова на свет.

Христос был горд, уверен, строг.
Никто купить его не мог.

Вот путь единственный на свете,
Чтоб не попасть корысти в сети.

Предать друзей, любя врагов,—
Нет, не таков завет христов.

Он проповедовал учтивость,
Смиренье, кротость, но не льстивость.

Он, торжествуя, крест свой нес.
За то и был казнен Христос.

Антихрист — льстивый Иисус —
Мог угодить на всякий вкус:

Не возмущал бы синагог,
Не гнал торговцев за порог

И, кроткий, как ручной осел,
Каиафы милость бы обрел.

Бог не писал в своей скрижали,
Чтобы себя мы унижали.

Себя унизив самого,
Ты унижаешь божество...

ИЗ „ПОСЛОВИЦ АДА"

Благоразумие — богатая старая дева, за которой волочится бессилие.

Тот, кто желает, но не действует, плодит чуму.

Разрезанный червь прощает свою смерть плугу.

Дурак видит не то дерево, что видит умный.

Тот, чье лицо не светится, никогда не будет звездой.

Вечность влюблена в произведения времени.

У занятой пчелы нет времени для скорби.

Здоровая пища добывается без сети и западни.

Ни одна птица не залетит чересчур высоко, если она парит на собственных крыльях.

Высший поступок — поставить другого впереди себя.

Если бы дурак был настойчив в своем безумии, он стал бы мудрым.

Тюрьмы построены из камней закона. Публичные дома — из кирпичей религии.

Гордость павлина — слава божья.

Похоть козла — щедрость божья.

Гнев льва — мудрость божья.

Нагота женщины — дело рук божьих.

Избыток скорби смеется. Избыток радости плачет.

Лисица винит западню, а не себя.

Радости оплодотворяют. Скорби рождают.

Птице — гнездо, пауку — паутина, человеку — дружба.

То, что ныне доказано, некогда только воображалось.

Бассейн содержит; фонтан переполняет.

Одна мысль заполняет бесконечность.

Всегда будь готов высказать, что у тебя на уме, и негодяй будет избегать тебя.

Все, во что можно поверить, — подобие истины.

Орел никогда не терял понапрасну так много времени, как тогда, когда согласился учиться у вороны.

Тигры гнева мудрее, чем клячи наставления.

Жди яда от стоячей воды!

Ты никогда не будешь знать достаточно, если не будешь знать больше, чем достаточно.

Прислушайся к упреку дурака! Это для тебя королевский титул.

Слабый храбростью силен хитростью.

Если бы другие не были дураками, мы были бы ими.

Как гусеница кладет яйца на лучшие листья, так священник налагает проклятие на лучшие радости жизни.

Создание маленького цветка — работа веков.

Проклятие бодрит, благословение расслабляет.

Лучшее вино — старое, лучшая вода — свежая.

Молитвой не пашут, хвалою не жнут.

Радости не смеются, печали не плачут.

Что воздух птице, что вода рыбе, то презрение — презренному.

Ворона хотела бы, чтобы все на свете было черным, сова — чтобы все было белым.

Где нет человека, природа бесплодна.

Довольно! — или слишком много.

Т. Балашова

Герои реального мира

(К 60-летию со дня рождения Арагона)

«Если б пришлось начинать сначала, я пошел бы тем же путем».

Французы впервые услышали этот гордый возглас патриота-коммуниста Габриэля Пери во тьме оккупационной ночи, читая с риском для жизни подпольные листки с «балладой о том, кто пел под пыткой».

Автор ее может с полным правом повторить слова своего героя, воскрешая в памяти год за годом шестьдесят ярко прожитых лет. Враги часто его ругали, реже хвалили, порой играли на самолюбии, суля «неограниченную свободу творчества», если он «отречется» от коммунизма,— тщетно: Арагон оставался верен народу, партии, самому себе...

Творчество Арагона — яркое явление демократической культуры, и без него невозможно ныне понять развитие не только французской поэзии, но и французского романа XX века. Между тем, признавая талант Арагона-поэта, буржуазная критика предпочитает обходить молчанием Арагона-прозаика, очевидно потому, что к романам еще труднее, чем к поэтическим творениям, приложить излюбленный ею тезис: в лучших своих произведениях Арагон якобы умеет «отвлекаться от всех политических забот» и «подниматься выше обстоятельств». Творческая эволюция Арагона-прозаика, автора серии «Реальный мир», нелегкие годы исканий, подготовившие взлет «Коммунистов» и возможность воплощения в романе «героя нашего времени», опрокидывают сию нехитрую концепцию о губительности «политики» для таланта.

«Реальный мир» — это имя, выбранное писателем в начале 30-х годов для не появившегося еще на свет детища — будущего цикла романов, было само по себе эстетическим манифестом.

Лозунг «реального мира», «возврата к реальности» прозвучал в устах Арагона, как мужественное прощание с формалистическим прошлым, как клятва верности национальным традициям, как слово солидарности с теми, кто самоотверженно прокладывал пути новому искусству.

А над реальным миром нависли в те дни черные тучи: Италию опутал коричневой паутиной разжиревший дуче, Берлин покорно прокричал «хайль!» змеиной свастике. Первый удар обнаглевшему нацизму нанес парижский рабочий класс. Именно эта «реальность» владела всем существом Арагона, пока вызревал в его сознании план первых звеньев «Реального мира». Вот почему романы, ограниченные временными рамками первого десятилетия XX века, превращались в острые, злободневные произведения, историческая конкретность становилась символом. Первая мировая война возникала на горизонте «Реального мира», вторая мировая война угрожала миру действительному.

Цикл открылся предостерегающим звоном «Базельских колоколов» (1934 г.). Книга разбита на три части. В «Диане» изображается жизнь титулованных рабов и рабынь золотого тельца; в «Катерине» — интеллигентов, задыхающихся в смрадной атмосфере лжи и наживы; глава «Виктор» посвящена стихии труда, молодому классу, идущему на смену паразитической буржуазии.

Эпилог носит подзаголовок «Клара» — Клара Цеткин. Как из тьмы предрассудков, царящих в обществе Дианы, пробиться к спокойной «ясности» Клары — таков главный вопрос романа.

У Арагона интеллигент, отвергающий лицемерную мораль буржуа, выступает объективно в роли судьи; но интеллигентская критика половинчата, она не доходит до сущности вещей, сама заражена ядом буржуазных представлений о человеке, — и параллельно в произведении идет суд над «судьей», т. е. развенчание бунтаря-одиночки, равно презирающего и «высшие» и «низшие» классы. Катерина Симонидзе, натура живая, беспокойная, легко сближается с группой анархистов и редактором газеты «Анархия» Альбером Либертадом*. «Они были за революцию, а не за восьмичасовой рабочий день» — вот что покорило возвышенную душу героини. Еще бы! Стоит ли

* Глава анархистской организации Альбер Либертад — реальное историческое лицо.

опускаться до экономических претензий, если отец-нефтепромышленник регулярно отправляет вам из Баку крупные денежные суммы? Понравилось Катерине и другое «нововведение» Либертада—деление общества на «созидателей» и «разрушителей». Мучимая ранее сомнениями, кто же она— эксплуататор или эксплуатируемый, теперь героиня гордо называет себя «разрушительницей». Так, мазок за мазком, затушевывает писатель сияющий героический ореол, которым окружила лик интеллигента-индивидуалиста буржуазная литература XX века. Но Катерина — не Диана. Эгоизм и самовлюбленность Симонидзе, полученные ею в наследство от буржуазного света,— это источник драматических переживаний прежде всего для нее самой. Трагический аккомпанемент сопровождает невеселую историю этой искательницы истины. Наиболее отчетливо слышится он, когда героиня проходит «мимо» истины, почти касаясь, но так и не обретая ее. Такова, например, сцена забастовки в селении Клюз, свидетелями которой случайно оказались Катерина и капитан Жан Тьебо. Подъем народного возмущения мастерски переносится Арагоном в психологический план — это первый шаг к тому художественному единству изображения личности и массы, которого достигнет автор в «Коммунистах».

Катерина и Тьебо с любопытством взирают на шествие толпы к хозяйскому дому. «Желтая собачонка кинулась им под ноги. Ласково, как все счастливые люди, они нагнулись к собаке, стараясь ее приласкать». Вдруг... грянул первый залп. «Они выпрямились, не понимая, что случилось». Их состояние соответствует поведению толпы. («Толпа разверзлась и застыла... дула ружей высунулись в поисках жертв...».) Наконец момент высшего напряжения: «Распавшееся шествие собралось в озверевшую от ненависти толпу... нашлись топоры, двери разлетелись в щепы... стрельба совсем обезумела». Отчаянная решимость толпы, как электрический заряд, передается героям: «Маленькая желтая собачонка истерически лаяла, спрятавшись в ногах Жана». Тьебо бросается к толпе с криком: «Они хотят поджечь дом! Надо их остановить!»... «Рука Катерины, как стальная, стиснула его запястье. Он старался вырваться, не понимая. Глаза их встретились. Он не понял языка ее глаз, но увидел в них разверзшуюся пропасть... Они правы, — сказала Катерина и выпустила его руку». Убеждения, чувства, мысли героев пришли в столкновение так же, как в развернувшейся перед ними картине классовой ненависти. Катерина уходит по ту сторону баррикады и вместе со старухой матерью уносит с поля боя сраженного пулей рабочего — жертву невероятной несправедливости. Но в убогой халупе, среди засаленных спецовок, ей скоро становится не по себе. И она убегает, зная, что не найдет в себе сил прийти сюда еще раз.

Следующая глава, где Катерина за одним столом с Жаном Тьебо, хозяином часовой фабрики и офицером, стрелявшим накануне в рабочих, топит свое отчаяние в вине, сочетает разоблачительные и трагические интонации: несостоявшийся «переход», возвращение к тем, кто задушил признанный ею справедливым бунт,— это и вина и беда Катерины, ее непреодоленная внутренняя драма.

Как символ единственно верного решения человеческой судьбы появляется в эпилоге образ Клары Цеткин, той «женщины завтрашнего... женщины сегодняшнего дня, к которой ведет вся эта книга и в которой социальная проблема женщины разрешена и превзойдена». И, словно гимн, славящий человеческую волю, человеческое сознание, вырвавшееся из цепей интеллектуального порабощения, звучит под занавес перезвон базельских колоколов, голос Базельского конгресса Интернационала, возвестившего о стремлении народов к миру.

Жизненный путь Армана Барбентана, героя «Фешенебельных кварталов», не менее извилист, чем путь Катерины Симонидзе, но к концу повествования он выпрямляется и на горизонте вырисовываются контуры будущей судьбы Барбентана— активного деятеля французской Коммунистической партии, ведущего сотрудника «Юманите». Характер подростка Армана (действие начинается в 1908 г. в провинциальном городке Сериан) подобен мягкому воску. Но постепенно воск затвердевает... Крупная ссора с отцом выбрасывает сына из теплого семейного гнезда в чужой, неприветливый Париж... Утренние заморозки, заставлявшие окоченевшего «героя» на садовых скамейках, да голодный желудок отрезвили юношу. Ему некогда философствовать об унизительности физической работы, для голодного труд — вопрос жизни и смерти. И Арману, влившемуся в огромную армию пролетариев, гораздо легче, чем Катерине, сделать следующий шаг — примкнуть к борьбе за человеческие условия труда.

Нет, Арман не станет штрейкбрехером. «Я не хочу быть желтым»,— произносит он, переступая порог стачечного комитета; так завершается роман и с ним — первый этап возмужания Барбентана.

Катерина и Арман решают свои мучительные проблемы не изолированно от мира, а среди бурь народных движений, участниками или наблюдателями которых они являются. Значительная роль массовых сцен в движении сюжета — прежде всего результат верности конкретно-исторической обстановке десятых годов XX века*.

* Вооруженное выступление строительных рабочих в местечке Драйвель под Парижем, по определению Ленина «сцены настоящей гражданской войны», волнения среди крестьян департамента Нарбонны, знаменитое восстание 17-го пехотного полка, забастовка сорока тысяч железнодорожников, длительная стачка парижского городского транспорта — таковы были симптомы пробуждения самосознания масс на рубеже первого и второго десятилетий XX века.

АРАГОН

(К 60-летию со дня рождения)

Но факты истории начала века переосмысляются писателем в свете бурной активизации энергии народа к середине 30-х годов. Во Франции сплачивался Народный фронт, и произведения Арагона напоены предчувствием близкой победы тех, кто трудится. Замолчали под градом пуль рабочие селения Клюз, отступили измотанные неравной борьбой шоферы парижских такси, смирился в тенетах «социалистической» демагогии трудовой люд Сериана, но ни один акт борьбы не проходит бесследно; уже не так беззаботно поют шарманки на городском празднике Сериана, да и поступь разгневанных слишком тверда, чтобы мог спокойно спать «хозяин» Сериана, фабрикант Барель, или его жена, преследуемая призраком Гарибальди.

Описание стихийно возникшей демонстрации обездоленных, отцов тех, кто преградил дорогу фашизму в феврале 1934 года, принадлежит к лучшим страницам романа «Фешенебельные кварталы».

Влияние французской действительности 30-х годов ощущается не только в ярких картинах народных движений, но и в подходе к образам главных героев. Катерина и Арман медленно, но приближаются к Франции «бедных кварталов» — таков итог осмысления Арагоном процесса революционизирования широких слоев французской интеллигенции в первой половине 30-х годов.

Герой «Путешественников на империале», Пьер Меркадье, тоже «переходит», «присоединяется», но не к народу, а к реакции. Этот образ складывался в сознании писателя в конце 30-х годов, в период активизации реакции и пассивного невмешательства значительной части французской интеллигенции. Рассказ о духовном обнищании субъективно честного интеллигента, флегматично созерцающего, как надвигаются на Европу тучи мировой войны, был для французской действительности конца 30-х годов не историческим экскурсом, но предостережением, пророчеством, обращением к совести сотен французов.

В «Путешественниках» мы не найдем ни описания различных классов общества, как в «Базельских колоколах», ни крупных массовых сцен, как в «Фешенебельных кварталах». Ценность романа в другом — в анализе психологии интеллигента и последствий личного «невмешательства». По определению автора, роман должен был показать, как «индивидуализм приводит к деградации человеческого существа».

Читатель знакомится с героем на всемирной промышленной выставке 1890 года и проникается к нему симпатией: учитель истории Пьер Меркадье мог бы стать человеком, в котором «все прекрасно —и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Но он не умеет, не хочет бороться за красивую жизнь. Он называет себя «путешественником на империале»*, т. е. пассажиром, который «едет, ничего не зная о машине, которая его везет», и «ничего не видит сверху, кроме кафе, фонарей и звезд». На все превратности судьбы у него один ответ — побег. Но каждое бегство Пьера не только освобождает место для буйного цветения всего, что он ненавидит, но и калечит его самого.

Создавая образ Меркадье, один из наиболее сильных, убедительных в прозе 30-х годов, Арагон следует традициям национальной классики. Его Меркадье, духовный потомок Фредерика Моро, тоже претерпевает своеобразное «воспитание чувств».

«Путешественники», не достигая флоберовской глубины типизации, вносят в образ созерцателя и нечто новое — мысль об *ответственности личности* за совершающиеся общественные события. Созерцатель Моро не предстает виновником наблюдаемых им кровопролитий; у Арагона мотив *виновности* застывшего в бездействии интеллигента создает ведущую тональность произведения.

Реплика сына Меркадье Паскаля, солдата первой мировой войны: «Это они, наши отцы, привели нас сюда, с их слепотой, с их высокомерным презрением к политике, с их умением вовремя умыть руки, предоставив другим выпутываться самостоятельно» — обращена к тем, кто преступным молчанием облегчал задачу инициаторов второй мировой войны, как Пьер Меркадье — первой. И если сыну Паскаля, маленькому Жанно, потом скульптору Жан-Блэзу, пришлось в «Коммунистах» тоже отправиться в окопы, значит людей, подобных его деду, оказалось много и во Франции 30-х годов.

Орельен Лертилуа, герой следующего романа, написанного в годы оккупации, продолжает традиции общественного «наплевизма» Пьера Меркадье. «Орельен» распахивает мир неограниченных возможностей человеческой души, попранных, отвергнутых героем. Глубоко поэтична повесть о любви Орельена и Беренис, расцветающей наперекор пошлости высшего света. Но герой пытается сочетать высокую любовь с образом жизни среднего буржуа. Шаг за шагом отступая перед злом, он изменяет любимой женщине, потом своим демократическим идеалам, потом родине, малодушно бросив ее под гусеницы немецких танков. Эпилог романа, подводящий действие к «великому исходу» 1940 года, завершает цикл развенчания интеллигента-созерцателя и открывает мир *«сопротивления злу»*, где находят себе место и Арман Барбентан, и Беренис Морель.

Пафос обличения буржуазного индивидуализма определяет своеобразие писательского голоса Арагона по сравнению с его современниками. Марк Ривьер Роллана, Жак Тибо Мартен дю Гара, Арман Барбентан и Пьер Меркадье Арагона, Жан

* Империал — верхняя площадка омнибуса.

Рабо Шамсона* — вот наиболее значительные образы французского интеллигента, рожденные литературой 30-х годов, и на каждом из них — печать творческой индивидуальности создателя. Роже Мартен дю Гар, вытачивая уверенным резцом обаятельный характер Тибо-младшего, *идеализирует индивидуалиста* в герое и пытается примирить участие в общественно-полезном действии с индивидуалистическим бунтарством. Это противоречие, принявшее в образе жизненную достоверность, лежит в основе трагедии Жака, терзаемого одиночеством среди рядовых «техников» революции. Арагон, так же как Роллан и Шамсон, *развенчивает индивидуалиста* в герое, «переход» совершается «вопреки» индивидуализму. Но если Роллан и Шамсон возвышали своих героев-интеллигентов над серостью окружающего мира, привносили в их образы много романтики, то для произведений Арагона центральным становится не конфликт интеллигента с действительностью, а *врастание* его в буржуазный быт, *не беда, а вина* его.

Внимание Роллана и Арагона приковали различные группы одного и того же социального слоя, что первому помогло вплотную подойти к созданию полнокровных образов людей действия, а второму — последовательно и беспощадно сорвать все маски с неизлечимого эгоиста-созерцателя. Процесс создания характера пассивного, замкнутого, поглощенного работой интеллекта частично продиктовал Арагону отбор соответствующих художественных средств. Автор рисовал внутреннюю эволюцию, внешне почти не регистрируемую. Естественно, что динамичная драматическая сцена или живая беседа-диалог не могли исчерпать этой задачи.

Возникает настоятельная необходимость в использовании внутреннего монолога, в частности, одной из наиболее гибких его форм — свободно-косвенной речи (style indirect libre). Этот стилевой прием становится центральным, почти единственным средством раскрытия психологии интеллигента в прозе Арагона 30-х годов.

Арагон редко обращается к прямой авторской характеристике. Суждения от лица автора в его романах крайне скупы, сдержанны и, что особенно характерно, часто впитывают в себя эмоциональное отношение героя и лишь внешне сохраняют форму авторского отступления. Вообще переход от речи героя к речи автора совершается здесь обычно плавно, почти незаметно. Например: «Он (Эдмон Барбентан) написал Роз, чтобы она возвращалась. Не время швырять деньги направо и налево. Да, не забыть бы еще про институт». Первая фраза — от автора (Il écrit à Rose de revenir), вторая — от героя, в форме свободного подчинения (Ce n'était pas le moment de dépenser à tort et à travers), третья — от героя, в форме первого лица (Ah, oui, que je n'oublie pas l'Institut).

Как правило, от автора дается констатация факта, а от героя его осмысление; так, создавая образ интеллигента, Арагон соблюдает внешнюю бесстрастность. Но развенчание индивидуалистической философии не становится от этого менее острым. Нравственное неприятие автором героя, напряженную внутреннюю полемику с ним обнаруживают не только краткие авторские реплики, но и выбор момента для монолога (см. рассуждения Меркадье во время буйства громил-антисемитов), и заострение мысли героя при переводе ее из первого лица в третье (см. хмельные мечты Армана о карьере ловеласа), и композиционное расположение эпизодов (Катерина о Диане-жертве после сцены, где Диана выступает в роли хищницы) и так далее.

Внешне бесстрастная свободно-косвенная речь в романах Арагона всегда эмоционально насыщена, служит не просто регистрации тех или иных этапов мысли, но социально-нравственной характеристике персонажа. Работая над циклом «Реальный мир», Арагон полемизировал с абстрактным искусством и сознательно следовал за традициями реализма XIX века. С этим связана форма цикла, близкая «Человеческой комедии» и «Ругон-Маккарам», широкая картина общества, социальная определенность каждого персонажа и т. д. В то же время творческий метод Арагона впитал в себя и некоторые новые особенности, выработанные литературой в XX веке. Наряду с пристальным вниманием к внутреннему миру человека и тонким психологическим анализом, что не могло не быть плодотворным, этот процесс усвоения привнес в творчество писателя много такого, от чего ему впоследствии приходилось упорно освобождаться. Результатом отрицательных влияний был и несколько плоскостной рисунок развития скорее «сознания», чем «характера», и композиционная рыхлость первых романов, и перегруженность отдельных глав натуралистическими описаниями, и (реже) появление образов-символов, иногда окрашенных в мистические тона (гипсовая маска утопленницы в романе «Орельен»).

Не сразу удалось писателю реализовать свою мечту — развернуть всеобъемлющую панораму французского общества. Фигуры, не принадлежащие к миру мятущихся интеллигентов, очерчены в его романах 30-х годов лишь пунктиром. Здесь Арагон избирает резкие, контрастные краски, идет по пути символического обобщения отдельных классовых черт. Только образ Виктора Дегенена, одного из руководителей забастовки шоферов («Базельские колокола») писатель пытается очертить более выпукло. Но и Виктор остался лишь эскизом характера среди других фигур французских рабочих, созданных литературой 30-х годов (Свобода в романе Фревиля «Камень вместо хлеба», Пьер Дюмон в «Запрещенной демонстрации» Муссинака и т. д.). Как первая разведка боем, эти

* Имеется в виду произведение Шамсона о февральских днях 1934 г. — «Пытка».

образы были знаменательны, но эстетическим познанием характера борца еще не стали.

Арагон сам это чувствовал. Вот почему, накапливая опыт, писатель для утверждения своего идеала пока обращается к средствам публицистики — это было для него начальным этапом художественного обобщения нового, рождавшегося в действительности. Так написаны образы Жореса и Клары Цеткин, панорама антивоенного конгресса в эпилоге «Базельских колоколов», картина народного шествия и митинга в «Фешенебельных кварталах». Здесь в отличие от сдержанно-спокойного тона большинства глав слышатся интонации гневные и страстные, набатные и бичующие. Рядом с героями появляется автор, оценивающий события сквозь увеличительное стекло последующих десятилетий, принесших человечеству мировую войну, Октябрьскую революцию, Народный фронт. Подлинно художественная публицистика Арагона волновала, будила фантазию, помогала дорисовать ту картину «реального мира», которую частично открыли первые произведения цикла и которая возникнет во всем богатстве и многообразии в романе «Коммунисты».

Развитие метода Арагона шло через борьбу реалистических и натуралистических тенденций в нем. В творческой эволюции Арагона, как и многих других писателей социалистических убеждений, не было двух четко отграниченных во времени этапов: а) овладение методом реализма, б) овладение методом социалистического реализма. История создания «Реального мира» — единый процесс становления реалистического мастерства. Там, где торжествует полнокровный реализм (художественно емкие образы Армана Барбентана и Пьера Меркадье, яркие зарисовки движений народных масс, галерея сатирических портретов светского ханжеского общества и т. д.), там уже пробиваются элементы нового в методе, ощущается твердый почерк будущего создателя «Коммунистов». Там, где развитие писателя тормозилось, сковывалось приемами поверхностно-натуралистического письма (грубо-физиологические эскизы, отход от принципов художественного отбора в построении отдельных образов или звеньев сюжета, упрощенный рисунок характера борца), там писатель отступал от реалистического метода как такового, а не только от высшей его стадии — реализма социалистического. Новаторство Арагона проявлялось в подходе к образу не только Армана Барбентана, но и Пьера Меркадье, хотя как социальный тип интеллигент-созерцатель не был инкогнито для французской литературы XX века. Углубляя художественное познание различных сфер мира, Арагон тем самым вместе с другими писателями-реалистами, своими современниками, — Ролланом, Барбюсом, Мартен дю Гаром, Э. Даби и другими — приближал время расцвета французского социалистического реализма.

«Путь социалистического реализма во Франции не есть простое подражание советским книгам, ведь реализм ищет материал в жизни, а не в книгах. Социалистический реализм требует знания действительности для ее преобразования.., вот почему к социалистическому реализму... нет во Франции... иного пути, кроме реализма французского»,— писал Луи Арагон в статье «Реализм социалистический и реализм французский» в 1937 году.

Первые романы «Реального мира» тяготели к социалистическому реализму, не утрачивая связей с классическим французским романом; зрелое произведение социалистического реализма — «Коммунисты» — поднялось на гребне реалистической французской прозы. воспринявшей новый заряд энергии от национального движения Сопротивления.

Святое негодование нации, оскорбленной в патриотических чувствах, пробуждение инициативы народа, преданного правительством, кристальная чистота и мужество тех, кого вчера называли «агентами Москвы», героизм, ставший будничным, и будни, ставшие героическими,— все это глубоко потрясло общественное сознание. Из Сопротивления выросли Вайян и Вюрмсер, Веркор, Гаскар, Дэкс. Сопротивлением же вызвано к жизни и крупнейшее произведение послевоенной французской литературы — «Коммунисты».

До 1944 года — года Освобождения и начала работы Арагона над романом — угнетенная Франция уже слышала его прекрасные, зовущие к действию стихи, читала его напоенные гордостью за «величие» и горечью за «падение» соотечественников новеллы, она полюбила поэта-патриота. Но художника влекло к широкому эпическому полотну, он спешил осуществить замысел «Реального мира» — нарисовать всеобъемлющую панораму французского общества теперь уже кануна второй, а не первой мировой войны. И автор приступает к следующему — пятому — роману цикла. Через несколько лет, в 1949—1951 гг., первая «эпоха» «Коммунистов» увидела свет.

Франция 1939—1940 гг... Автомобильный магнат Виснер, поседевший со времен забастовки парижских такси (роман «Базельские колокола»), еще крепко держит бразды правления. Его любимец Фред помогает дядюшке осуществлять контроль над инонациональным производством. Ромен Висконти и Гектор Мало бешено аплодируют в парламенте изгнанию депутатов-коммунистов... Идут на фронт «странной войны» металлист Рауль Бланшар и слесарь Гильом Валье. А в тылу продолжается ожесточенная война за правду — за родную «Юма». Ее тайком читают в казарме Устрик и Валье, над ней злобно хихикают, скрывая бессильную ярость, высокопоставленные гости Симона де Коттеля... Мучимый тревогой, зарывается

в пышную перину ювелир Робер Гайяр, и адвокат Ватрэн думает, думает без конца об истинном правосудии на земле. Ведомые мечтой любви, пробиваются к свету Жан Монсэ и Сесиль Виснер; склоняет голову под ударами жестокой судьбы полковник Авуан, и вместо него берут в свои руки оборону страны люди, подобные Арману Барбентану, возмужавшему Арману «Фешенебельных кварталов».

Многие герои «Коммунистов» начали свою жизнь в предыдущих романах серии: миллионер Виснер и журналист Барбентан, офицер Орельен и дочь Кенеля Бланшетта, солдат-скульптор Жан-Блэз и старый художник Блэз д'Амберье. Но не сюжетная, а проблемно-тематическая преемственность сообщает циклу единство. Антивоенный пафос и тяготение к историзму, эпический размах и внимание к процессу *становления* сознания — все это, начавшись запевом "piano" в 30-е годы, переходит в мощное "crescendo" «Коммунистов».

Редкое произведение может сравниться с «Коммунистами» по широте горизонтов и полноте открываемой картины. Творческая зрелость писателя ощутима уже в этом размахе, в умении нарисовать общество, как единый организм, все сферы которого связаны между собой множеством нитей, а все акты — причинно-обусловлены. «Чем шире социальный опыт литератора,— писал Горький,— тем выше его точка зрения, тем более широк его интеллектуальный кругозор, тем виднее ему, что с чем соприкасается на земле и каковы взаимодействия этих сближений, соприкосновений».

Роман Арагона, по доброй классической традиции, учит видеть то, что требует для своего выявления острого ланцета художника. А от этого ланцета часто отказывается абстрактно-пацифистская литература, предпочитая напоминать об ужасах войны, но не отыскивать ее истоки. Известный буржуазный романист Поль Виалар, автор нескольких прозаических циклов, в книге «Пять человек этого мира» точно передал смятение беженцев и растерянность рядового француза, вырванного взрывной волной из теплого семейного гнезда; Сартр в «Дорогах свободы» — вопль мятущегося, надругавшегося над собой и другими интеллигента, абсолютно деморализованного национальной трагедией; Пьер Муано в романе «Королевская охота» и сборнике новелл «Рана» — противоестественность человеческой жестокости и ненависти. Боль и отвращение к бессмысленной бойне могут вызвать эти книги. И все-таки они далеки от подлинного реализма, потому что остаются на поверхности явлений.

«Коммунисты» — сильнейший *антивоенный* роман: беспощадно обнажая кровавые раны войны, автор ставит диагноз, указывает средства лечения. Уже в «Огне» Барбюса намечены классовые барьеры, рубеж между теми, кто мерзнет в окопах, и теми, кто из крови и грязи чеканит деньги. В «Коммунистах» этот контраст лицевой и оборотной стороны медали еще чудовищнее, еще трагичнее: флегматичное затишье «странного» фронта — и вдруг первая «боевая» операция: вооруженная полицейская облава на Ферте-Гомбо, где расквартирован Территориальный рабочий полк; стремительное наступление немцев, а в прифронтовой полосе — аресты коммунистов, циркуляры о неблагонадежных, черные фургоны с пленными... французами...

Анализируя день за днем процесс «падения» и рождения «величия» французов, художник добивается не только исторической, но, главное, *психологической* достоверности. «Коммунисты» — роман *характеров*, роман о героях современной Франции. И здесь — в углубленности художественного познания характера не меньше, чем в размахе, широте, объемности повествования,— чувствуется окрепшее мастерство, наступившая творческая зрелость. Арагон распахивает целую область чувств, долго остававшуюся «белым пятном»: внутренний мир человека, взявшего на свои плечи ответственность за судьбы общества, человека, ставшего деятелем, творцом истории. Есть ли процессы, «более сложные и более тонкие,— писал Андре Стиль,— чем те, что происходят в сознании и сердце активиста, когда он должен в новой ответственной ситуации принять решение, чреватое последствиями не только для него самого, но часто и для многих других?»

Герои Арагона — Франсуа Лебек, Рауль и Полетта Бланшары, Арман Барбентан, Мишель Фельцер, Маргарита Корвизар — очень разные люди, действующие в соответствии с собственными побуждениями, по «велению сердца». И если веление сердца совпадает с волей партии, то только потому, что их партия, их «семья»— как любовно называли ФКП подпольщики — самая гуманная, самая справедливая из всех существующих.

Ведущие черты коммуниста как социального типа не возводятся в романе в некий абсолют, а преломляются по законам индивидуального человеческого характера.

Мишелю Фельцеру и Раулю Бланшару одинаково противны ходячие побасенки о «руке» или «измене» Москвы, но там, где взорвется неуравновешенный Фельцер, лишь гневно сузит глаза Бланшар. Рауля Бланшара автор изображает в таких ситуациях, которые полнее всего способны выявить не героизм или верность коммунисту вообще, но именно бланшаровские героизм и верность. Прощание с Антонио Гарсиа и неожиданная встреча с ним в Париже, фронтовая дружба с Жаном Монсэ и Декером, терпеливые беседы по душам с Сезаром Дансеттом и «анархистом» Тото — вот где начинают звенеть самые сокровенные струны сердца Рауля, вот где прорываются присущие ему тяга к людям и врожденный талант воспитателя.

То, чего не могла достигнуть французская литература 30-х годов, оказалось по плечу послевоенной литературе Франции, впитавшей опыт героических деяний Сопротивления.

Вслед за изменением эстетического содержания центрального образа прозы Арагона менялся и весь комплекс художественных средств. Если внутренний монолог мог удовлетворить художника при лепке характера созерцателя, то он же становится недостаточным для характера современника-деятеля, чьи мужественные акты решили исход Сопротивления и должны в наши дни решить судьбы мира и войны.

Живая, динамичная сцена, где герой действует, непосредственно сталкивается со своими противниками, где на глазах у читателя происходит сражение, от результата которого зависит какой-то этап общей борьбы,— такая сцена впервые выдвигается на первый план «Реального мира» только в «Коммунистах». Когда в парламенте перед рычащей сворой будущих коллаборационистов поднимается на трибуну член ЦК ФКП Этьен Фажон, член той «семьи», которую буржуазная демократия, пользуясь «свободой», загнала накануне своей позорной капитуляции в подполье, в «туман»,— крупным планом видишь две Франции, физически ощущаешь напряженность момента. Действие — вот что в первую очередь характерно для передового героя современности. Но на этом работа Арагона над образом не кончается.

Симптоматично, что многие наиболее объективные буржуазные писатели, признавая за коммунистом приоритет в свершении действий благородных и мужественных, часто не могут разгадать мотивов, движущих им, и невольно окружают его фигуру ореолом фанатического аскетизма, мученической жертвенности.

Раскрыть подлинный смысл героических свершений, радость бытия в деянии можно, лишь постигая сокровенный мир чувств, управляющих поступками. Размышляя над романами и новеллами А. Стиля, Арагон писал: «... теперь рабочий, строитель коммунизма, не может больше характеризоваться через внешний аспект труда, мы хотим знать его мысли, внутренний мир».

В соответствии с индивидуальными особенностями своей творческой манеры Арагон передает движения сердца не столько через внешние проявления (что тоже вполне возможно и чем блестяще пользуется, например, Рожс Вайян), сколько через внутренний монолог, стремясь к максимально *точному* анализу *каждого* поворота мысли. Непосредственное «подключение» читателя к току переживаний героя в различные моменты его жизни (мечты Рауля о будущем перед угрозой возможной смерти, радость Гильома, увидевшего номер подпольной «Юма», волнение Мишлины, идущей на первое конспиративное свидание, и т. д.) помогает автору открыть подлинное духовное богатство человека-деятеля. Все полнее осваивая «реальный мир» в необозримом богатстве его красок и форм, Арагон гораздо шире, чем ранее, распахивает двери для материальных примет — портрета, пейзажа, описаний вещей, домов, улиц. Вместе с тем он продолжает углублять способы психологического анализа, освоенные уже в предыдущий период творчества.

Свободно-косвенная речь все чаще передает теперь не только общее содержание мысли, но и форму ее выражения. В монологах Лебека, например, мы наблюдаем свойственные ему точность, логичность: ни одной мысли он не бросает на полпути, развивает ее детально, словно доказывает что-то собеседнику, всякие уклонения обычно сам обрывает. Воспоминания полковника Авуана написаны в *медленном темпе,* хорошо воссоздающем атмосферу серого, нудного ожидания, каким была вся жизнь престарелого полковника. Вихрь тревожных догадок, захлестнувший Сесиль в момент ареста Ивонны Гайяр, прорывается в коротких, нервных фразах: «Полиция у Гайяров? Почему же это?.. Что ей надо сделать?.. Разве это ее касается? Полиция... Боже мой, да ведь Ивонна — сестра Жана». Содержание письма Жоржетты Лертилуа к Сесиль выдержано в надоедливом ритме, достаточно говорящем об отношении к нему героини: «Из писем Жоржетты Сесиль знала, что Фред чувствует себя прекрасно Что он ест за четверых. Что он уже загорает на солнце. Что маленькая Мари Виктуар просто без ума от него. Что недавно он ездил с рыбаками в море ночью... что мигреней у него не бывает больше. И что, наконец, решительно все завидуют Сесиль, имеющей такого красавца-мужа».

Одной из характерных черт стилистической манеры Арагона является *взаимопроникновение* материального и психологического планов. Рассказ о внешнем облике, привычках, обстановке, в которой живет герой, ведется обычно от лица другого героя, в момент зрительного восприятия. Так, читатель знакомится с тесной комнатушкой Бланшаров одновременно с Антонио Гарсиа, обозревает тяжеловесную старомодную мебель родителей Мишлины — Робишонов, следуя за критическим оком их гостя Пелетье, смотрит первый раз на застенчивую, неловкую Маргариту Корвизар глазами Ватрэна и т. д. Поэтому «материальные приметы» в романе Арагона концентрируют в себе одновременно характеристику того лица, которому они принадлежат, и того, который наблюдает, оценивает.

С другой стороны, внутренний монолог, как правило, настолько тесно спаян с описанием обстановки, что достигается метафорический перенос эмоционального значения. Например, в главе XX первой книги есть поразительное по силе художественного воздействия описание тяжелого, каторжного труда на заводе Виснера: гигантские челюсти «изголодавше-

гося стана», чавкая, захватывают и мнут «судорожно извивающуюся багровую змею», «удушливая атмосфера, от которой сжимались легкие, слепли глаза, глохли уши.. внутренности, сожженные металлической пылью, ...полуголые люди, иссохшие чуть не до костей...» И когда на фоне этого огненно-железного ада разворачивается длинная цепь тягостных размышлений Тото, возникает дополнительный образ мысли Тото так же тяжелы, горьки, жгучи и нестерпимы, как этот труд, как раскаленный докрасна металл.

«В шесть собрание... Адская змея извивалась от стана к стану. Тото глядел ей вслед... В шесть часов. Очень трудно думать разом о многих вещах... Светящийся металл вошел в стан, и земля задрожала от мощных вздохов чудища. Ничего. Война... Разве для них, для виснеровских рабочих, не всегда война?.. Война, в которой люди теряют пальцы, руки, жизнь... Змея, как язык дьявола, выползла из черной пасти... В шесть... Теперь уже и собрания приходится проводить украдкой... Война... Это с нами они воюют».

Постепенно нарастает ощущение чего-то очень тяжкого, мучительного, трагического, очень важного для существования человека. Эмоциональное воздействие определяется не столько прямыми сопоставлениями (грудь, как прокатный стан, мысль, как раскаленный металл), сколько общим *настроением* тяжелого, изнуряющего труда. Так, описание обстановки, в которой находится герой, используется для предельно яркого воспроизведения его душевного состояния.

Психологическая глубина обеспечила автору успех в воплощении нового характера современника, и это было, конечно, *эстетическим завоеванием* нового метода, движением вперед в *эстетическом познании* действительности.

И разве не закономерно, что именно Луи Арагон, художник-реалист, имеющий за плечами многие годы плодотворных творческих исканий, познавший на собственном опыте радость деяний и гармонического воссоединения личного и гражданского, смог наиболее объемно и выпукло вылепить подлинных героев современности, зримо продемонстрировать возможности дальнейшего качественного обогащения реалистического метода?

Центральный герой «Коммунистов» — герой *положительный*, герой, *утверждаемый* художником. Писатель тяготеет к возможно более широкому толкованию этого понятия. Он умеет тепло, проникновенно рисовать не только железную энергию собрата нашего Павки — Жозефа Жигуа, но и смутные порывы избалованной Сесиль Виснер, не только целомудрие Рауля Бланшара, но и похождения «молодого звереныша» Жана Монсэ. Арагон любит человека, которому «ничто человеческое не чуждо». Он не наделяет своего героя коммуниста свойствами сверхчеловека, не противопоставляет его характер — характеру национальному, а видит в нем кристаллизацию лучших национальных качеств. Коммунист, как правило, сильнее своих беспартийных товарищей, сражающихся бок о бок с ним,— не знанием некоего магического слова «сезам», но *осмысленным жизненным опытом*.

Едины чаяния двух фронтовиков — Жана Монсэ и Рауля Бланшара. И если Бланшар лучше ориентируется в обстановке или быстрее принимает решения, то не потому ли, что он стоял у станка на заводе Виснера, вел изматывающую борьбу за право на сносное существование и сражался в Интернациональных бригадах на горящей земле республиканской Испании?

Мотив единства нации, отказавшейся считать своими тиранов из «богатых кварталов», не менее отчетлив в книге, чем мотив раскола Франции на два враждующих лагеря.

Художника интересует не просто политическое прозрение героя, но формирование новых черт характера. В романах 30-х годов его герой-интеллигент (за исключением, пожалуй, Пьера Меркадье), приобретая новые убеждения, оставался, по существу, неизменным как человеческая натура.

В «Коммунистах» «переход», коренной пересмотр взглядов сопровождается развитием характера в целом. Вот почему, например, тема любви Сесиль Виснер и Жана Монсэ—центральная сюжетная линия романа — решается принципиально иначе, чем тема любви Орельена Лертилуа и Беренис Морель в романе «Орельен». Вместо извечной трагедии несостоявшегося счастья перед читателем «Коммунистов» развертывается история живой человеческой любви, меняющей свое лицо по мере эволюции характеров персонажей драмы. Заключительная встреча Жана и Сесиль — не просто счастливая развязка, увенчавшая их муки, но воссоединение *новых* людей, более сильных и простых, больше дорожащих своим счастьем, иначе его понимающих.

Еще резче меняется в процессе «перехода» ювелир Робер Гайяр. Поначалу воинственные клики разбушевавшейся реакции не на шутку напугали, а голоса радио-клеветников почти убедили его. И вот он один в тесной холодной комнатушке, доставшейся ему на время прозябания на «странном фронте». Старинный дом, кровать в алькове за пыльными занавесями из зеленого бархата, крепко запертые ящики комода... Дряхлость вещей, старомодность мебели усиливают гнетущее состояние тоски и страха. В этом старинном доме, где так много призраков и человеку легко потерять власть над собой, разворачивается целая вереница ночных страхов. Гайяр боится постели, боится темноты, ему чудятся шаги на лестнице и листовки, подсунутые в карманы... Он перетряхивает все носовые платки и рубашки, выворачивает карманы пальто: «мало ли что бывает»; сжигает все письма: «нельзя все предусмотреть»; опасается попросить лишнюю охапку дров: «пойдут строить до-

гадки, зачем это лейтенанту Гайяру понадобилось столько дров». Чисто беликовское чувство «как бы чего не вышло» передано в романе с редкой художественной силой.

Но день ото дня, месяц от месяца Гайяр все больше убеждается, что был обманут, что настоящий враг не там, куда кивали «желтые» радиокомментаторы, и по мере того как пробивается правда, рассеивается страх... И, когда арестовали самого Гайяра, во время допроса просыпается новый человек, исподволь созревший в нем, и разбивает постыдную скорлупу трусливой осторожности. Он бросает в лицо судьям все, о чем думал долгими зимними ночами, все, что стало теперь его твердой верой. И происходит чудо — Гайяр, еще недавно робкий и слабый Гайяр подчиняет своей воле врагов. Следователь нервничает, секретарь открыл рот от изумления, бросил протокол, а потом, словно повинуясь приказу, поворачивает голову к окну, на которое указал подсудимый, и, взвинченный, наэлектризованный дерзкой отвагой Гайяра, душераздирающе кричит, приняв за собственную мать старуху крестьянку со страшным, окровавленным лицом...

Так рождался характер Робера Гайяра, так политическое прозрение раскрепостило героя нравственно.

Решение темы «перехода» как преображения, перестройки всей натуры человека — завоевание французской литературы 40-х годов. В предвоенную эпоху даже наиболее зрелые произведения (например, «Очарованная душа» Роллана) строили политическую эволюцию на основе стабильного личного характера, неизменного темперамента. Углубление психологической мотивировки приобщения рядового француза к действию стало возможным в результате художественного обобщения, переломных явлений лет Сопротивления.

Арагона, кроме объективных факторов, подводила к этому и внутренняя логика его творческого метода: стремление ко все большей материальности при дальнейшем развитии психологического анализа определило движение от несколько плоскостного рисунка образа интеллигента в 30-е годы к объемным, тонко индивидуализированным характерам «Коммунистов».

Правда, в романе около двухсот персонажей, и одно это уже исключает возможность одинаково внимательного раскрытия каждого. «Коммунисты» — произведение «многоплановое» не только с точки зрения предмета изображения, но и с точки зрения реализации художником своих собственных творческих возможностей. Здесь наряду с живыми, динамичными эпизодами встречаются сцены вялые, рядом с выразительными, запоминающимися характерами — образы — рупоры идей; рассказ об исторических событиях тех трагических дней то разворачивается в подлинно художественный, патетический авторский монолог, то сбивается на сухую скороговорку. Немало подводных камней, трудно преодолеваемых порогов таила и композиция романа, заслуживающая отдельного разбора.

Произведение Арагона знаменует именно *начало зрелости* в развитии нового метода французской литературы. Каждое эстетическое завоевание современного национального демократического искусства—шаг в этом направлении, так как метод социалистического реализма есть прежде всего *реалистический* метод в его наиболее полном и глубоком выражении. Говорить о новых путях французского национального искусства невозможно без учета творческого опыта Барбюса и Роллана, Вайяна-Кутюрье и Арагона, Стиля и Веркора, Роже Вайяна и Маньяна.

Именно этой литературе, устремленной к познанию и преобразованию мира, свойственно подлинное новаторство. А ведь о «новаторстве» страстно спорят сегодня во Франции. Истекший год был отмечен бурной дискуссией о путях развития французского романа. Основной тезис, провозглашенный буржуазными теоретиками литературы, таков: эпоха доброго классического реализма безвозвратно прошла, «в традиционном романе мы имели дело с *человеческими типами*, теперь же рисовать характеры и среду, социально определять героя есть бесполезное ретроградство: ведь никто больше этому не верит — ни писатель, ни читатель».

Известный литературовед Альберес, автор недавно вышедшего труда по истории литературы XX века, утверждает, например, что произведения Мопассана и Бальзака кажутся примитивными, школьническими, так как в XX веке «романический стиль потерял вкус к *объяснению*».

Демократические художники слова в самих поисках нового вдохновляются «светом Стендаля» и заповедью великого гуманиста Бальзака: «Ничто так не выдаёт беспомощность автора, как нагромождение фактов. Талант проявляется в описании *причин*, порождающих факты».

Новое в литературе, как и новое в действительности, неодолимо. «Напрасно кое-кто мечтает прервать, остановить эту песню и надеется, что достаточно для этого перерезать нам горло,— будущее, история ее подхватили. Народы ее поют. Это они окончат «Неоконченный роман» вместе со своей окончательной победой. Своей и нашей»,— так писал французский поэт Жан Марсенак о последнем поэтическом произведении Арагона. Так поэзия сливается с жизнью, преобразуемой руками героев «реального мира».

М. Мендельсон

Как доказывают недоказуемое

Каждый большой художник слова заставляет читателя в какой-то мере определять свое личное отношение к важным сторонам и вопросам жизни. Но есть прозаики и поэты, творчество которых просто невозможно обсуждать по-настоящему, не раскрывая при этом — вольно или невольно — глубин собственного «я». Если нужны примеры таких писателей, то сошлемся хотя бы на Гёте или Толстого. Я позволю себе назвать также американского поэта Уолта Уитмена.

Нет, речь вовсе не идет о том, чтобы поставить знак равенства между масштабами дарования Уитмена, с одной стороны, и таких универсальных гениев, как Толстой и Гёте,— с другой. К тому же творческая манера Уитмена в некоторых отношениях расходится с теми представлениями о прекрасном в поэзии, на которых воспитаны многие люди.

Любить поэзию Уитмена, разумеется, никто не обязан. Однако внимательный читатель, который даст себе труд прочесть и перечесть «Листья травы», не сможет пройти мимо такой существенной особенности творчества Уитмена, как неутолимая любовь поэта к жизни и трудящемуся человеку. Нельзя не видеть также, сколько вдохновенной мечты о равенстве людей и наций вложено в поэмы «Песня о себе», «Песня о топоре», «Salut au Monde» и т. д. Неудивительно поэтому, что в суждениях о поэзии Уитмена обязательно скажется — так или иначе — и собственное отношение читателя к гуманизму и демократии, к идее дружбы народов и т. д.

Все это нашло вполне очевидное подтверждение в самое последнее время. Столетний юбилей первого издания знаменитого сборника стихов Уитмена «Листья травы», отмечавшийся в 1955 году как в Америке, так и далеко за ее пределами, породил на родине поэта объемистую литературу, и в высказываниях разных критиков об Уитмене ясно отразилось их собственное мировоззрение.

В ряде книг, статей и газетных заметок проявилась искренняя симпатия рядовых американцев к творчеству Уитмена. Как правило, теплее всего писали о демократизме «доброго седого поэта», о его любви к народу и замечательном новаторстве активные защитники идей демократии и социализма, видящие в Уитмене подлинно народного, поистине национального поэта. Конечно, не только критики, стоящие на марксистских позициях, искренне дорожат гуманистическим началом в поэзии Уитмена. Имеются в США литературоведы, которые разделяют многие буржуазные предрассудки и вместе с тем охотно подчеркивают демократическую тональность стихов поэта. Сошлемся хотя бы на работы профессора Скэлли Брэдли.

Но вот перед нами одна из специальных книг об Уитмене, изданных к юбилею. Она носит многообещающее название — «Уитменовская концепция американского простого человека»*, и автор ее, Лиди М. Кларк, ставит перед собой чрезвычайно большие философские задачи. Автор стремится разрешить важнейшую проблему отношения Уитмена к демократии, по сути дела, хочет охарактеризовать самые первоосновы мировоззрения и творчества поэта.

В предисловии к своей книге Кларк пишет: «Уитмен называл себя поэтом демократии и поэтом простого человека; он считал себя типичным демократом». Достаточно прочитать первые же страницы работы, чтобы убедиться, что она посвящена *опровержению* этих взглядов.

Автор утверждает, что в действительности Уитмен демократом не был, простых людей не любил и вообще почти ничего общего с демократией не имел. Следует отдать Кларк должное — порою она умеет говорить прямо, без экивоков. Суммируя свои позиции в заключительной главе, автор декларирует: «Несмотря на то, что Уитмена все еще восхваляют в разных антологиях и сборниках статей как великого демократа, он не был типичным демократом, поэтом демократии или поэтом простого человека».

* Leadie M. Clark. Walt Whitman's Concept of the American Common Man. Philosophical Library, New York, 1955.

Но как же это увязывается с высказываниями Уитмена насчет его симпатий к демократии? Позиция Кларк совершенно ясна. Уитмен, по ее мысли, был позером, выдававшим себя не за того, кем он в действительности являлся.

Что и говорить, автор книги настроен достаточно решительно. И эта решительность сказывается не только в выводах, но и в методологии, которой пользуется Кларк.

Прежде всего она с презрительной усмешкой отворачивается от поэзии Уитмена. По ее мнению, стихи поэта просто ни о чем не говорят. Ведь в стихах Уитмена Кларк как раз и видит воплощение его позы. Автор противопоставляет Уитмена-поэта Уитмену-человеку. Она говорит, что, интерпретируя «Уитмена как демократа», мы делаем ошибку, ибо принимаем «Листья травы» «за чистую монету», полностью «подчиняя человека поэту». Между тем нужно за стихами увидеть «подлинного человека». А для этого, настаивает Кларк, надо прежде всего обратиться к биографии поэта и к его публицистике. Уитменовские представления о простом человеке, говорит автор книги, могут быть определены «только в результате внимательного изучения различных прозаических работ Уитмена».

Не станем сейчас останавливаться на глубокой ошибочности методологии Кларк, стремящейся определить мировоззрение поэта в обход его творчества, между тем как стихи Уитмена, естественно, раскрывают суть его отношения к жизни, к простому человеку более полно и с большей убедительностью, нежели что-либо иное. Главное в Уитмене, конечно, не его биография, а художественное творчество. Полюбопытствуем все же, как Кларк доказывает свой тезис о чуждости Уитмена демократии на основе статей писателя и биографических фактов.

В книге уделено весьма много внимания публицистической деятельности Уитмена в 40-х годах, т. е. в течение того важнейшего десятилетия его жизни, к концу которого он из журналиста стал превращаться в большого поэта. Если «Листья травы» для Кларк — «поза», то в газетных статьях Уитмена, его заметках и т. д., написанных как раз в этот период, она видит выражение истинных взглядов Уитмена-человека на действительность, на простых людей.

Что ж, обратимся к 40-м годам. Основные этапы жизни и идейного развития поэта в этом десятилетии могут быть кратко охарактеризованы следующим образом:

1841 г. Уитмен только что достиг совершеннолетия. Он — сторонник влиятельнейшей демократической партии, в которой наивно видит опору народа в борьбе против банкиров и фабрикантов, не понимая того, что эта партия сделалась главным оплотом рабовладельчества.

1842 г. Уитмен как редактор маленькой газеты «Аврора» осуждает главарей «демократов» за нарушение принципа отделения церкви от государства. За это его увольняют.

1845 г. Уитмен протестует против намерений развязать войну США с англичанами из-за территориальных претензий, но, как и раньше, проблеме рабства серьезного внимания не уделяет.

1846—47 гг. В начале захватнической войны США против Мексики Уитмен становится редактором «демократической» газеты «Бруклин дейли игл». Некоторое время он поддерживает войну, но затем выступает с призывом положить ей конец. Одновременно Уитмен начинает печатать статьи, в которых поддерживает требование рядовых американцев о предоставлении им земель на западе США и все более резко осуждает плантаторов-рабовладельцев.

1848 г. Уитмена прогоняют из газеты «Бруклин дейли игл». Он окончательно порывает с «демократами», присоединяется к новой, прогрессивной партии «фрисойлеров» и становится редактором «фрисойлерской» газеты, в которой клеймит южан-рабовладельцев и ратует за «свободную землю». Примерно тогда же Уитмен начинает заносить в свои записные книжки первые наброски стихов, впоследствии вошедших в «Листья травы».

1849 г. Когда вожаки «фрисойлеров» решают пойти на компромисс с «демократами» — сторонниками рабства, Уитмен в знак протеста уходит из газеты.

1850 г. Поэт публикует свои первые — новые по содержанию и по форме — стихотворения, в которых он бичует сторонников рабства и воспевает революционную борьбу против реакции.

Таковы реальные факты биографии Уитмена. Они свидетельствуют о том, что, хотя идейный путь поэта отнюдь не был безукоризненно прямым, хотя у него были противоречия и срывы, хотя отклики старых взглядов звучали порою и на новых этапах его идейного развития, все же в 40-х годах демократизм Уитмена значительно углубился, приобрел принципиально новые черты: от равнодушия к делу борьбы против рабства Уитмен пришел к активному участию (пером журналиста, а затем и поэта) в схватках с плантаторами и их северными сторонниками.

Кларк эти факты, разумеется, никак не устраивают. Ведь она отрицает близость Уитмена демократии. Автор книги даже хочет внушить читателю мысль, что Уитмен был... расистом. Нет, это не описка. В книге говорится: «Какие бы аргументы обратного характера ни выдвигались, Уитмен терпеть не мог негров, не хотел и не мог поверить в их способность к развитию, не видел места для них в современной Америке или Америке будущего». И дальше: «Ясно, что поэт, которого многие приветствовали как единственного поэта демократии, появившегося в Америке, на самом деле развивал теорию сверхрасы». Еще дальше: «Таким образом уитменовское представление о простом человеке имело в своей основе теорию расового превосходства».

Как же обосновать такой взгляд на великого поэта-демократа? Как придать этому тезису хотя бы видимость реальности? Как доказать недоказуемое?

В книге, выпущенной в США в 1955 году издательством, носящим наименование «Философская библиотека», мы обнаруживаем примитивнейшую попытку обмануть читателя путем извращения самых общеизвестных данных. Автору рассматриваемой работы ничего не стоит передвинуть какое-нибудь важное событие в жизни Уитмена на много лет вперед или назад по шкале времени. Так, на стр. 12 Кларк сообщает, что Уитмен принял участие в работе съезда партии «фрисойлеров» в 1841 году, хотя на самом деле это произошло на семь лет позднее. На стр. XI опубликование Уитменом тех самых «политических стихотворений», в которых он громит друзей невольничества, отнесено «к 1843 или 1844 году», а в действительности оно имело место в 1850 г. И это отнюдь не случайный ляпсус, ведь в справочной биографической таблице на стр. XII под датой 1850 г. никакие стихи вообще не упомянуты.

В результате всего этого, события, в которых воплощены кульминационные моменты идейного и творческого развития Уитмена в 40-х годах, отнесены с конца этого периода на его начало. И вот выходит, что Уитмен *сначала* был «фрисойлером», *сначала* печатал антирабовладельческие стихи, а *затем* проявлял равнодушие к вопросу о рабстве. Фактам вопреки Кларк создает впечатление, будто никакого поступательного развития в мировоззрении Уитмена в 40-х годах не было.

Автор книги, впрочем, не только жонглирует датами. Кларк вместе с тем так «переосмысливает» явления жизни и творчества поэта, что самым прогрессивным его действиям придается не свойственная им антидемократическая окраска. Приведем примеры этого.

Выше упоминалось, что в 1842 году Уитмен решительно выступил в защиту принципа отделения церкви от государства. Поводом для такого выступления была небезуспешная попытка католического епископа в Нью-Йорке Хьюза добиться у политиканов из демократической партии субсидии для церковных школ. 22-летний редактор газеты «Аврора» Уитмен в недвусмысленной форме выразил свое недовольство действиями Хьюза и даже приветствовал то обстоятельство, что «демократы», изменившие демократическим принципам, на очередных выборах потеряли немало голосов. Но Кларк видит во всем этом лишь выражение уитменовского «антидемократизма».

Демагогически используя наличие среди сторонников Хьюза католиков — выходцев из Ирландии, она бросает Уитмену обвинение в «борьбе против ирландцев», в желании «посеять семена дальнейших нападок на ирландцев» и т. д. Кларк не намерена считаться с тем, что как раз тогда Уитмен энергично обличал американских националистов, что в своих статьях в той же газете «Аврора» он не раз говорил о недопустимости враждебного отношения к иностранцам. «Наша любовь достаточно велика и наши объятия достаточно широки, чтобы включить всех людей, независимо от того, родились ли они в нашей славной республике, в монархических странах Европы или в жарких пустынях Африки,— нам все равно, каково их происхождение, откуда они родом». Так писал Уитмен в своих статьях. Но это нисколько не мешает Кларк повторять свои инсинуации.

Сколь беззастенчиво действует автор книги, видно также из того, как он интерпретирует одну заметку Уитмена на те же темы — об отношении к неграм и иностранцам. Эта заметка была подготовлена поэтом в 50-х годах для лекций, которые он собирался читать, и в ней выражена готовность оказывать содействие любым борцам за свободу. Цитируя заметку, Кларк подчеркивает в ней слова Уитмена о том, что пусть человек, жаждущий свободы, чернокожий, пусть он совершил какую-нибудь ошибку, все равно, «если он не повинен ни в каком ином преступлении, как только в стремлении добиться свободы и бороться за нее, то, клянусь богом, я готов буду оказать ему помощь и буду гордиться этим и буду защищать его, если смогу».

Так писал сто лет тому назад поэт большого сердца, светлой души, друг негритянского и других народов, стремившихся к свободе. Поглядим, однако, как комментирует все это Кларк.

«Хотел ли Уитмен сказать, что стремление к свободе со стороны негра является преступлением?» — с плохо разыгранной наивностью вопрошает она, делая вид, что не замечает саркастического тона слов Уитмена о «преступлениях», в которых повинны борцы за свободу. Дальше следует утверждение, весьма категорическое по форме, но столь же вздорное по существу: «Ясно, что Уитмен не был подлинным аболиционистом, ибо его позиция, выраженная во всем абзаце, воплощена в словах «если смогу».

В предисловии к первому же изданию своей книги Уитмен писал, что великие поэты всегда «вдохновляли рабов и наводили страх на деспотов», что для них радость ощущать себя частью масс. В поэме «У берегов голубого Онтарио» Уитмен восклицает:

> Рабство! Предательский, смертоносный заговор, чтобы утвердить рабство на развалинах всего остального.
>
> Вперед и вперед, на бой! Убийца, итак, это борьба не на жизнь, а на смерть, и пощады не будет!

Разумеется, «убийца» — это рабовладелец.

Творчество Уитмена насквозь пронизано гневным протестом против порабощения людей. Напомним, что в «Песне о себе» поэт воспел белого человека, который дает приют беглому рабу. В годы рабства Уитмен осмелился написать:

> Меня тянет к рабу на хлопковых полях
> и к тому, кто чистит отхожие места,
> Я целую его, как родного, в правую щеку,
> И в сердце своем я клянусь, что никогда
> не отрину его.

(Пер. К. Чуковского.)

В стихотворении «Говорит» поэт провозглашает:

Я говорю, что там, где свобода не обескровит рабство, там рабство обескровит свободу.

Поэт осуждал рабство также в «Песне большой дороги», «Песне о топоре», «О теле электрическом я пою» и десятках других поэм и стихотворений.

И в своей поэзии, и в своей публицистике Уитмен борется за демократию, и эта борьба часто носит ярко выраженный революционный характер.

Кларк противопоставляет стихам Уитмена его публицистику. Но примечательно, что о статьях поэта, в которых он выступает против рабства, критик по большей части предусмотрительно забывает. В книге почти ничего не найти об антирабовладельческой публицистике Уитмена периода его работы в газете «Бруклин дейли игл». Кларк вовсе не упоминает об аболиционистских выступлениях Уитмена в качестве редактора органа «фрисойлеров». Она, по сути дела, обошла молчанием и такой великолепный документ, как памфлет Уитмена «Восемнадцатые выборы президента», в котором говорится: «Разве не чувствуют рабовладельцы, как с каждым часом все туже сжимается вокруг них кольцо смерти?» В том же памфлете звучит и такое восклицание: «К вам мой призыв, молодые американцы! К вам, рабочие, фермеры, лодочники, ремесленники и весь трудовой люд Юга наравне с трудовым людом Севера! Либо вы уничтожите рабство, либо оно уничтожит вас».

Вот каково было подлинное отношение Уитмена-публициста к рабству. Кларк, однако, верна себе. С цинизмом, не часто встречающимся даже в реакционной американской критике, она походя бросает нелепейшие клеветнические обвинения. Автор книги не стесняется написать, например, что поэт «вероятно, передал бы беглого раба в руки соответствующих федеральных властей». Своего рода рекорд по части бесстыдства Кларк устанавливает поистине чудовищным сближением Уитмена с проповедниками «геноцида в Соединенных Штатах».

После этого уже не приходится поражаться тому, что Уитмен, воспевавший идеал равенства мужчин и женщин, призывавший женщин к активному участию в социальной борьбе, требовавший, чтобы «женщины, как мужчины», участвовали в «уличных шествиях», с гордостью писавший не только об ораторах-мужчинах, но и об ораторах-женщинах, не только о революционерах, но и о «революционерках», объявляется поэтом, «который главным образом был заинтересован в том, чтоб снабдить своего урожденного американца превосходной атлетической женой...»

Не удивляет и то, что поэта, который в своих стихах утверждал дух взаимопонимания между нациями, интернационализм, равенство народов больших и малых, белых и цветных, поэта, который восклицал, что важнейшая идея его творчества «задушевное содружество людей... всех народов земли», Кларк изображает «экспансионистом».

Рисуя великого поэта заведомым ретроградом, реакционером, Кларк не торопится раскрыть свои собственные взгляды на социальную действительность. Некоторые ее высказывания могут создать впечатление, будто она критикует Уитмена, так сказать, слева. Так, Кларк упрекает поэта за создание произведений, «имеющих ничтожную социологическую ценность», за то, что он недостаточно реалистично глядел на жизнь и не «предложил способа искоренения зла». Мысль о прискорбном отсутствии в облике Уитмена реалистического, или, как автор часто уточняет, «практического» начала повторяется снова и снова. Литературовед возмущенно вопрошает, например: «Хотя «Листья травы» часто называют библией демократии, какую четкую, осуществимую теорию политической или социальной демократии можно почерпнуть из этой книги?»

Чего же, собственно говоря, требует от поэта Кларк? Не потому ли она (подобно некоторым американским критикам 30-х годов с вульгарно-социологическими тенденциями) осуждает Уитмена, что тот не был последовательным социалистом? Но сама Кларк симпатий к социализму не высказывает.

Подлинная причина сердитого отношения автора книги к Уитмену выражена в заключительной части труда, где поэту предъявлено обвинение в том, что в «Листьях травы» не выдвинута «социальная или политическая философия, которая помогла бы читателю *приспособиться к существующему окружению*» (подчеркнуто мною.— *М. М.*) И это не случайная обмолвка. Кларк не раз и не два выражает недовольство тем, что Уитмен ставит перед своей родиной высокие гуманистические задачи, вместо того чтобы выдвинуть «осуществимый демократический план».

Нет никакого сомнения в том, что Кларк не по душе гуманистический пафос поэта. Уитменовский идеал братства и дружбы трудящихся людей ее раздражает. Всему этому она и противопоставляет свое требование, чтобы поэт выдвигал «осуществимые» задачи, «конструктивные идеи», чтобы он разрешал «практические проблемы». По существу, Кларк осуждает Уитмена за то, что этот создатель замечательных произведений гражданско-политической лирики не был певцом буржуазно-реформистских принципов, которые пользовались такой популярностью среди второстепенных американских поэтов прошлого века. Она недовольна автором «Листьев травы», ибо его одушевляли идеи, несравненно более глубокие и поэтому опасные, с точки зрения буржуазии.

Уитмен был поэтом американского народа. Но Кларк отказывается видеть что-либо общее между Уитменом и простыми людьми США. Она заявляет, что автор «Листьев травы» их даже не понимал (так у Кларк и сказано: «Но Уитмен не понимал рядового

человека своего времени»). И автор книги берет на себя смелость показать «истинные» устремления простых людей — в противовес всему тому, что о них писал Уитмен.

Кларк декларирует, что автор «Листьев травы» «не мог или не хотел видеть того, что в его время простой человек стремился не к духовному росту, а к материальному богатству». Какое презрение к простым людям, а заодно и к принципам гуманизма и демократии скрывается за всеми философствованиями Кларк на тему о простом человеке, можно видеть из ее замечания, что именно демократизм Уитмена делает его чуждым простым людям. Она пишет: «Настаивая на романтическом понимании Уитмена как демократа, литераторы ограничили влияние Уитмена кругами интеллигенции и отделили его от простого человека... Простого человека Америки никогда нельзя было назвать мыслителем».

Извилистыми путями идет Кларк к своей конечной цели. Но цель эта не вызывает никаких сомнений. Подводя в последнем абзаце работы итоги всему им сказанному, критик формулирует свою концепцию сущности уитменовской поэзии в следующих словах: «Его представление о функции американского поэта, его воспевание физического облика страны, его прославление тела и постоянное присутствие мужчины и женщины в его стихах — таков вклад Уитмена в американскую литературу».

Здесь нет ни слова о демократизме Уитмена, об его любви к трудящемуся человеку, об его идеале свободной жизни равноправных людей, спаянных узами братской дружбы. И все это, конечно, вполне закономерно. Ведь Кларк ставила перед собою задачу показать, что якобы «вклад Уитмена в американскую литературу» ничего общего с идеями демократии и гуманизма не имеет.

Итак, старательно опорочив демократизм Уитмена, Кларк вовсе выбрасывает его вон, как ненужную ветошь. Демократическое содержание творчества поэта выхолащивается. Поэт перестает быть демократом.

Так приходит автор к логическому финишу своей работы. Замысел книги как будто осуществлен. Но дело-то в том, что следовать за Кларк невозможно, ибо ее путь — это путь самого грубого насилия над истиной. А вывод, который она делает, вызывает лишь возмущение.

Читатели, согласившиеся проделать с нами все это путешествие по закоулкам нелепого мирка фальсификаций, воплощенного в книге «Уитменовская концепция американского простого человека», могут задать вопрос: а заслуживает ли эта работа пристального внимания? Уж слишком убога позиция ее автора, слишком размашисто и небрежно обращается Кларк с фактами.

Но книга в высшей степени симптоматична. Она интересна прежде всего как знамение времени, как сигнал о том, что творится в американском буржуазном литературоведении. Напомним также, что в «творческом методе» Кларк наряду с наглостью наличествует увертливость, а откровенное извращение правды сочетается с демагогией. Автор книги использует слабые стороны мировоззрения Уитмена, порою маскируется под мыслителя прогрессивного толка. Вот почему необходимо было столь подробно охарактеризовать ход мыслей Кларк и проанализировать ее аргументацию.

В одном месте она подчеркивает, что исходила из желания пересмотреть самые основы уитменовской славы. Пафосом радикального пересмотра старых представлений о сущности творчества Уитмена проникнуты и некоторые другие книги, появившиеся в США в юбилейном году. Одна из них (Р. Чейса) так и называется: «Пересмотренный взгляд на Уолта Уитмена». В нашей печати уже отмечалось, что авторы большинства статей, включенных в сборник «Листья травы» сто лет спустя», который был издан в 1955 г. Стэнфордским университетом (Калифорния), тоже были обуреваемы желанием ничего не оставить от былых воззрений на поэзию Уитмена.

Небезынтересно, что некоторые литературоведы, занятые ныне «переоценкой» Уитмена, склонны полагать, что они этим спасают поэта от угрозы забвения. Дело в том, что в Америке, как утверждает Чейс, например, в последние десятилетия «репутация Уитмена потерпела урон». По его мнению, «ныне, через сто лет после первого появления «Листьев травы», репутация Уитмена... на самом деле стоит не очень высоко...» Причиной же этого является-де изменение вкусов в области поэзии, происшедшее на родине Уитмена в последнее время. Теперь в США, поясняет Чейс, господствует влечение к произведениям консервативного характера: «идеалом является хорошо сделанное стихотворение (или пьеса в стихах, или роман), полное символов, которые поддаются интерпретации в религиозном духе».

Итак, Уитмену грозит опасность остаться, так сказать, за бортом поэзии. Как же уберечь творческое наследие Уитмена от страшной судьбы? Путем пересмотра суждений о том, в чем именно заключается ценность «Листьев травы».

Критики, подобные Кларк и Чейсу, крайне озабочены тем, что, как они сами пишут, еще недавно, и особенно в 30-х годах (когда под влиянием событий пролетарской борьбы в кругах литераторов нашли широкое распространение прогрессивные и даже социалистические взгляды), Уитмен пользовался в США репутацией боевого, демократического и даже революционного поэта. Такого Уитмена они принять не хотят и не могут. Фидлер, автор одной из статей в сборнике «Листья травы» сто лет спустя» открыто злобствует против критиков прогрессивного склада за их подчеркивание уитменовского демократизма. Чейс с неудовольствием отмечает тот «неприятный факт», что там, где «влияние Уитмена сказалось особенно ясно, оно проявило себя самым печальным образом». Он ссылается при этом на творчество поэтов К. Сэндберга и С. Бе-

нета, имея в виду, конечно, те их произведения, в которых слышится протест против власти реакции в США.

Уитмена-демократа не принимают ни поэты-декаденты Паунд и Элиот, ни реакционные «новые критики». А ведь именно они, по Чейсу, определяют теперь вкусы, господствующие в американской поэзии.

И вот Кларк, Чейс и их друзья стараются «спасти» Уитмена путем приспособления его облика к требованиям подобных «властителей дум», демонстрируя при этом общность позиций этих реакционеров и своих собственных.

Разумеется, основную роль играет во всем этом деле отнюдь не забота об Уитмене. Зная, какой отклик находили и продолжают находить в сердцах простых американцев демократические мотивы «Листьев травы», литературоведы ретроградного толка хотят нейтрализовать влияние Уитмена, оторвать поэта-демократа от народа.

В юбилейные дни большая группа американских «уитменоведов» выступила с единой, можно сказать, платформой, в основе которой лежит утверждение, что Уитмен отнюдь не был демократом, поклонником простых людей, революционером. По их мысли, в творчестве поэта социальная тематика вообще не играла сколько-нибудь значительной роли.

В работе Кларк данная платформа раскрыта, пожалуй, с наибольшей ясностью. Всю книгу пропитывает пафос очищения Уитмена от демократического «криминала».

Но авторы сборника «Листья травы» сто лет спустя» мало в чем уступают Кларк. Недаром же статья «Уитмен — пророк демократии» начинается с выпадов против советского государства, и автор ее, Мэрри, тщится убедить читателя в том, что уитменовская концепция демократии нашла свое воплощение именно в империалистической Америке наших дней. Недаром Фидлер, Хиндус и другие критики всячески пытаются доказать, что Уитмен был крайним... консерватором.

Впрочем, сами они не могут не чувствовать, что Уитмен весьма туго поддается подобной обработке, и их юбилейные выступления в честь Уитмена в значительной мере состоят из почти неприкрытой брани в адрес поэта. К примеру, Фидлер одобрительно цитирует некоего критика, заявившего, что Уитмен был «тонкий поэт и шарлатан», добавляя, что этого еще «недостаточно». Ведь исходя из подобных слов, можно сделать неверный вывод, будто уитменовская поэзия «была основана на чем-то другом, кроме его шарлатанства. Между тем обман,— беззастенчиво восклицает Фидлер,— органически присущ поэзии Уитмена и отнюдь не является для него случайностью...»

В своей книге «Пересмотренный взгляд на Уолта Уитмена» Чейс пытается сделать поэта приемлемым для реакции прежде всего путем вытеснения всего демократического в его творческом облике—психопатологией. Обращаясь к периоду жизни Уитмена, предшествовавшему появлению «Листьев травы», Чейс полностью зачеркивает связь поэта с демократическими, освободительными устремлениями народа. Уитмен боролся тогда против реакционеров, шел на жертвы во имя высоких идей. Чейс ограничивается голой декларацией, что поэт якобы всю жизнь избегал трудностей. «Листья травы» возникли в канун гражданской войны, в годы, когда в США все больше накалялась общественная атмосфера и поэт в самом глубоком смысле этих слов жил интересами и страстями своего народа. Чейс видит в жизни Уитмена этих лет лишь «болезненные неудачи», связанные с «сексуальными экспериментами», серию «неудачных попыток удержаться на работе» и т. п. А отсюда следует вывод: «Возникновение уитменовского гения можно объяснить, как результат его неудачных — в силу невротических расстройств — попыток примириться с окружающим миром».

* * *

Те взаимоисключающие оценки творчества Уитмена, которые появились в Америке в последние годы, не возникли, конечно, на голом месте. В них нашли развитие тенденции немалой давности.

Американская критическая литература об Уитмене родилась одновременно с первым изданием «Листьев травы» и, следовательно, существует уже целое столетие. Еще в середине прошлого века писательница Фенни Ферн отмечала незаурядное мужество поэта, который смело высказывал «свои сильные и честные мысли прямо в лицо раболепствующей республиканской аристократии». В начале XX века, когда в США развернулось демократическое движение против империализма, справедливо оценил некоторые стороны поэзии Уитмена крупный буржуазный историк литературы У. Трент. В двадцатых годах с искренней любовью писали об Уитмене многие видные представители демократической культуры Америки: поэт К. Сэндберг, литературовед В. Паррингтон и другие.

Но история американской критической «уитмениаиы» — это не только история растущих симпатий демократических кругов к творчеству народного поэта. Это также история самых необоснованных нападок на Уитмена и острейшей борьбы вокруг его творческого наследия. Большинство газет в США встретило уже первые издания «Листьев травы» с откровенной издевкой, а после смерти поэта многие историки литературы, хотя и называли Уитмена «бардом демократии», но стремились трактовать его демократизм в духе апологетики капиталистических порядков, рисовали поэта законченным индивидуалистом, певцом пассивности, равнодушия к добру и злу.

Наследниками подобных «традиций» и являются ныне Кларк, Чейс, Фидлер и т. д. Нельзя, впрочем, отрицать черт своего рода новаторства в их книгах и статьях. Никогда

еще, пожалуй, выступления против творчества Уитмена не носили столь отчетливо выраженного антидемократического характера, как ныне. Никогда еще им не придавалась с такой вызывающей прямотой реакционная политическая окраска.

Разумеется, то, что делают ныне в Америке иные исследователи творчества Уитмена, не является чем-то специфичным для сферы «уитменоведения». В этом легко убедиться, заглянув хотя бы в некоторые новейшие работы, посвященные Марку Твену. И этого писателя-демократа, великого обличителя ханжей, алчных скряг и поработителей чужих народов, пытаются сделать ручным или даже изобразить реакционером. Каким оглупленным выглядит Твен, например, на страницах опубликованной в начале 50-х годов обширной книги «Литература американского народа» под редакцией А. Куина, как обеднен его реализм и принижена его сатира.

И все же Уитмену и Твену в американском буржуазном литературоведении «повезло». Во всяком случае, они пользуются значительным вниманием в кругах современных историков литературы. О некоторых других американских классиках этого не скажешь. Из недавно опубликованного в США библиографического справочника Лири видно, что с 1900 по 1950 гг. в Америке было напечатано примерно столько же статей о юмористе прошлого столетия Холмсе, сколько о Купере, и больше, нежели о Бичер-Стоу.

Показательно, что буржуазные литературоведы США проявляют довольно мало интереса и к творчеству наиболее выдающихся американских критических реалистов XX столетия.

Справочник Лири показывает, что за первую половину этого века в США было напечатано больше статей, например, о стихах упомянутого выше Паунда, поклонника Муссолини, нежели о творчестве Джека Лондона. Что же касается другого поэта-декадента, Томаса Элиота, то, как выясняется, об его поэзии написано примерно столько же статей, сколько о Ф. Норрисе, Т. Драйзере, Д. Лондоне и С. Льюисе вместе взятых.

Как же охарактеризованы виднейшие американские реалисты XX века в наиболее распространенных в США историях литературы и справочных изданиях?

Обратимся хотя бы к творчеству Драйзера.

Ныне, когда американской молодежи еще настойчивее, чем прежде, внушается убеждение, что высшее благо — беззаботная жизнь, когда, как пишут Э. и С. Нирнги, авторы книги «США сегодня», юношей в восемнадцать лет передают в руки сержантов-руководителей, чтобы те превратили их в «умелых убийц», когда преступность, даже среди малолетних, достигла фантастического уровня, глубокий смысл «Американской трагедии» Драйзера как замечательного реалистического произведения стал особенно очевидным. Неудивительно, что реакционные американские литературоведы энергично пытаются опорочить этот роман.

В последнем издании «Оксфордского справочника по американской литературе» (Нью-Йорк, 1956) говорится, что будто бы в «Американской трагедии» Драйзер утверждал тот принцип, что вполне «нормально и правильно» таскать как можно больше из «мешка с наживой». Подобную же характеристику «Американской трагедии», как произведения, якобы созданного писателем, совершенно безразличным к моральным категориям, мы находим и в выпущенном в октябре 1956 года специальном номере «Книжного обозрения» газеты «Нью-Йорк таймс», посвященном шестидесятилетию этого издания. Критик Дж. Кратч пишет, что в «Американской трагедии» Драйзер «соединил «реализм» (кавычки Кратча.— *М. М.*) с моральным нигилизмом».

В «Кратком словаре американской литературы», изданном в 1955 году издательством «Философская библиотека», под маркой которого вышла и книга Кларк, «Американская трагедия» тоже получает отрицательную оценку, как роман... «лишенный силы».

Есть в современной Америке немало историков литературы, которые полагают, что неугодные им шедевры искусства можно уничтожить при помощи клеветы или даже просто замалчивания.

Автор «Листьев травы» при жизни подвергался подлинной травле; ныне Кларк и ее друзья всячески порочат его память. Но Уитмен остается величайшим гением американской поэзии, выразителем лучших демократических устремлений народных масс США XIX столетия.

За полвека творческой деятельности Драйзера ни одно его произведение не занимало первого места среди американских «бестселлеров». В годы, когда создавались ранние романы Драйзера, наибольшей популярностью на книжном рынке США пользовались книги В. Черчилля (однофамилец английского политического деятеля) и миссис Уорд. В 1925 году, когда вышла в свет «Американская трагедия», «бестселлером» № 1 был роман А. Гиббса. Но кто же сегодня всерьез поставит Черчилля, Уорд или Гиббса рядом с Драйзером?!

Большая художественная литература обладает той примечательной особенностью, что от брани она не тускнеет, что ее нельзя лишить жизненности ни замалчиванием, ни «пересмотром» с реакционных позиций ее сущности и значения.

А. Лебедев

Ненужное сердце

...Карликовые сосны, карликовые дубы. Затейливые изгибы стволов, ажурный переплет ветвей. Изящество искусной миниатюры или естественное величие природной красоты? В этом споре нет судьи и нет ответа. Может быть, и нет спора. В Японии любят выращивать карликовые растения.

Но причудливый излом стебля наводит на неожиданную мысль: тень искривленной души на зелени трав и деревьев...

Перед нами книга о незнакомом мире и незнакомых людях — произведение японского писателя.

Прихотливо извившийся бамбук, карликовые сосны, карликовые дубы — это и звучит несколько странно. «Человек — что бамбук: если не прямой, то ненадежный».

Но жизнь сложна, противоречива, изменчива. Да и недолгий путь от великого до смешного уже давно пройден Россинантом Дон-Кихота.

«Мальчуган» Нацумэ Сосэки — это рассказ о юноше-японце. Рассказ о наивном волчонке, попавшем в стаю людей и растерявшемся среди этого зверья. Он действительно напоминает гордых, немножко жалких и очень одиноких героев Джека Лондона; что-то есть в нем от *наивной человечности* Белого Клыка, от его тоски по людской дружбе и ласке, от его ужаса и злобы перед звериной жестокостью людей. И временами кажется, что он чем-то сродни горьковскому Челкашу, но в нем еще совсем нет цинизма, усталости сердца.

Прямота и непосредственность грубы и неизящны, они смешны в обществе, где «здравый смысл» — жаргонное словечко, а совесть — что-то вроде кори: переболел в детстве — и можешь быть спокоен, иммунитет сохраняется на всю жизнь. Мысль — продукт разума, продукт сердца — совесть. Но разум продается и покупается, когда совесть падает в цене.

«Розовые идеалы юности приходят в столкновение с грубой прозой суровой действительности» — это «общее место» множества книг, написанных в разных странах, рассказывающих о судьбе молодого человека, судьбе молодости в дряхлеющем мире социальных анахронизмов. Есть даже формула: второе рождение характера. Чернышевский говорил о «романтиках до 25 лет». Но старый мир старится, и романтики его молодеют.

Повесть Нацумэ Сосэки (1867—1916) написана в 1907 году, и герой ее почти еще мальчик. Он только что окончил среднюю школу и трехгодичное педагогическое училище. Автор так и назвал свою книгу — «Мальчуган».

Не случайна, конечно, та популярность, которой пользовался писатель в Японии. Автор очень многих произведений — как узнаем мы из предисловия к книге — Нацумэ, по существу, отразил в своем творчестве судьбу целого поколения японской интеллигенции, причем как раз в тот период, когда его страна только вступила на путь запоздалого, но зато исключительно быстрого капиталистического развития. Произведения Нацумэ как бы вновь возвращают нас к исторической трагедии столкновения человека с миром капитализма.

Его рассказ ровен и незатейлив, иногда даже кажется примитивным. Но надо внимательно вслушаться в то, что говорит автор, и тогда откроется не сказанное прямо, выраженное в каких-то едва заметных деталях, неуловимо передавших глубину мысли и чувства художника. Это искусство богато сложной игрой настроений — оно требует раздумий и большого внимания.

Мальчуган знает в жизни еще очень немногое, но уже многое в ней ему не нравится. Не нравится доморощенная экзотика: «...это сущая нелепость! Восхищаться тем, что травам и бамбуку придали такие неестественные изгибы, все равно что похваляться, например, горбатым любовником или хромым мужем». Не нравится изворотливая гибкость человеческих душ: «Жалкие людишки! С малых лет их так и воспитывают. А потом получаются вот такие ничтожества, вроде искривленного клена, выращенного в цветочном горшке».

Вышло как-то так, что уже с детства Мальчуган «примирился с мыслью», что у него «нет способности располагать к себе

людей». У других — у его брата, например, такая способность была.

Мальчугана недолюбливали в семье. И только старая служанка Киё все вздыхала и говорила: «Бедный ты мой, несчастный... сердце у тебя чистое...»

Когда родители умерли, «брат вызвал торговца подержанными вещами и сбыл за бесценок весь унаследованный хлам, оставшийся от предков». Потом брат уехал в какой-то город, где ему предлагали место в торговой фирме, а Мальчуган отправился в один заштатный городишко учительствовать.

И тут дела пошли совсем уже плохо.

Городишко — «с кошкин лоб», «час походишь — и уже смотреть не на что». Жара и пыль, сонная одурь...

Ученики в школе — сплошь головорезы, ума не приложишь, как с ними обращаться. Не получалось с этими ребятами дело у Мальчугана — и все тут. Ребята следят за каждым шагом нового учителя, и каждый его шаг кажется им смешным. Мальчуган не мог уступить этим маленьким злодеям. Он хорошо помнил, что он — житель Токио — эддоко (Эддо — так раньше назывался Токио). Ведь не каждый человек — эддоко. Настоящий эддоко — это кое-что значит. Только действительно настоящий.

И первая, еще неразумная обида сжимает сердце Мальчугана: «Дети, а уже такие злые!.. Вот негодяи! И я специально приехал из Токио, чтобы их учить!»

Есть тут у автора тонкое изящество сдержанной иронии. Задумчивая грусть смягчает горечь насмешки: «Настоящий эддоко»... Так ядовитая глупость предрассудка приносит первое одиночество.

Впрочем, Мальчуган понимает, что ему все-таки еще далеко до «настоящего эддоко». Но он хочет быть им. Хотя это очень трудно — поступать по совести и никогда, ни перед кем не ронять своего достоинства. Это, и вправду, трудно. А тут еще директор говорит, что «нужно быть идеалом для учеников... и пусть на тебя взирают с почтением, как на образец для всей школы... и педагогом может быть только тот, кто, помимо преподавания, оказывает еще и личное нравственное воздействие на учеников...» С таких слов хоть кого оторопь возьмет. «Что за нелепые и бессмысленные требования! Да будь я такой выдающейся личностью, чего ради я поехал бы в эту глушь... Если здесь такие сложные обязанности, то, перед тем, как нанимать человека, надо было сказать ему об этом». И Мальчуган решает, что «лучше уехать, чем вводить людей в заблуждение». Глаза у директора делаются совсем круглыми, потом он смеется: «Вам незачем беспокоиться. Я ведь сейчас говорю только о том, что вообще желательно, и прекрасно знаю, что этим положениям вы соответствовать не можете!»

Но и этот урок житейской мудрости ничему не научил Мальчугана. Дело совсем не в том, что он не благоговеет перед фразой. Да и вообще душа его не преисполнена «страхом божиим»: «Если деньги, власть и красноречие могли бы привлекать к себе сердца людей, тогда люди, наверно, больше всех любили бы ростовщиков, полицейских и университетских профессоров...» «Деньги, власть и красноречие» — эта извечная триада, эта сила сильных мира сего не властна больше над сердцами людей. Но все еще властвует над людьми. Такое противоречие — своего рода позорная болезнь буржуазного общества. Оно выдает его гнилую природу, его античеловечность. И общество прячет эту болезнь за всеобщей повинностью гражданского лицемерия.

Мальчуган никак не может взять в толк, что на свете есть масса вещей, которые «желательны», но «соответствовать не могут». Он видит то, что не принято видеть, говорит, о чем хорошо бы было помолчать, удивляется тому, что следует просто принять к сведению, и постоянно умудряется делать что-то до такой степени неловкое, неуместное и несвоевременное, от чего у других людей глаза становятся тоскливые, неуютные. На это у него просто талант.

Очень трудно разобраться в людях вот такому, как он, мальчугану. Нет еще опыта, есть только сердце. Вот, например, директор и его близкий приятель — вполне приличные люди, внимательные, даже ласковые — пригласили молодого учителя на рыбную ловлю. Было, действительно, очень красиво. Вечерняя акварель неба, море и легкие облака, тихо реющие в вышине, как тонкий дымок от курительных свеч... А вот директор и его подхалим никак ко всему этому не подходили. Просто не умещались они в сердце Мальчугана со всем этим вместе...

А потом оказалось, что директор — настоящий негодяй. Такой вежливый. И дурак: предложил ему, Мальчугану, незаконную прибавку жалования, захотел купить, заткнуть рот. Дурак. И подлец. А старушка, у которой живет Мальчуган на квартире, говорит: «Ну и пусть себе подлец, но если вам жалование прибавляют, значит нужно спокойно согласиться с этим. Вам же лучше. В молодости часто вот так сердятся, а как постарше станут да поразмыслят — и пожалеют, что в свое время не сдержались! И, конечно, потом плачутся: ах, мол, какой убыток потерпел из-за того, что вспылил!» До чего же подлая баба... Да, Киё — тоже ведь старая была, а никогда бы так не сказала! Она бы сказала: «Бедный ты, несчастный... сердце у тебя чистое...» Наверное, она все-таки любила Мальчугана.

Мальчуган пишет Киё письмо: ей там грустно, наверное, без него одной.

Жизнь все более настораживает. На первый взгляд — пустяки все: ну, подумаешь, поссорили тебя с другом — не навек же! Запутали в какую-то дрянную историю — сам виноват, в следующий раз будешь осторожнее.

Мелочи. Но бороться с мелочами трудно. Чтобы избавиться от комаров — надо осу-

шить болото. В сердце Мальчугана неслышным вором входит страх. «Раз мир так устроен, то пропаду я в конце концов со своей прямолинейностью, если не стану поступать, как все. Выходит, что с ворами и сам воруй, а не то будешь жить впроголодь. Ну, а если честно не проживешь, стоит ли тогда и жить-то?»

Видно, уж ничего не поделаешь — придется уходить из школы. Действительно, не может Мальчуган «соответствовать»... этой школе. Надо будет поискать что-нибудь другое. Что? Э, об этом еще рано... Главное — уйти отсюда, куда угодно. И опять жить со старой Киё.

Но на прощанье надо еще как следует набить морду всей этой сволочи. Надо устроить им такую выволочку, чтобы надолго запомнили, как изводить людей. Они тут уже извели одного, вконец — он тоже уехал. Уехал — и все. И слова не сказал. А ведь был честный, хороший человек. Сердце у него, наверное, было слабое. Вот так они и держат всех в руках. Кто послабее — запугают, кто поподлее — купят со всеми потрохами, а кто покрепче — со свету сживут. Известная механика... Мальчуган расквитается с ними за все — за других и за себя, и на будущее. Бить их надо! Но ведь это против закона! Ну и ладно — «незаконно, зато здорово!»

Да, это было здорово! Побить директора и его главного подхалима, побить в самом что ни есть буквальном смысле этого слова, слышать их вопли, видеть их ужас... А на другой день, обнаружив ссадины на своем кулаке, представить вздувшиеся рожи негодяев — и ждать, не придет ли полиция. Нет, что ни говорите, это здорово!

И все-таки эта драка, которая так приободрила Мальчугана, была не только ultimo ratio мальчишеской смелости. Она была и жестом отчаяния, первым признаком отчаяния.

Мальчуган не знал этого. Он спешил к своей Киё, неприятности были позади, а впереди — жизнь, не очень сладкая (он уже понял это), но страшно интересная. Будущее обещало борьбу, и сердце звало к ней.

Невидимое, как туча за горизонтом, вставало отчаяние.

Когда вспоминаешь прочитанное — память сохраняет не все, не все детали, она отбирает самое важное для тебя. Сквозь простенький рассказ о молодом учителе и «ежовых рукавицах» жизни начинает просвечивать нечто более существенное: трагедия человеческого сердца. И, видимо, именно потому, что так прост и бесхитростен рассказ — не сразу замечаешь тот тонкий рисунок, в котором неуловимо передает свою мысль и настроение автор. Его герой по-мальчишески обаятелен — в своем прямодушии, в своей душевности, но уже чуть-чуть жалок — в своем бессилии. Обаяние и жалость. Так вырисовывается контур авторского отношения к Мальчугану. Художник уже знает то, о чем еще не догадывается его герой,— знает его будущее, знает, что этого будущего нет. И оттого — едва уловимая жалость к нему — предчувствие грядущей катастрофы...

Наш Чехов, наверное, по-другому бы понял такого героя — в акварельной прозрачности нацумэвских красок чувствуется ясность хорошо осознанного и уже привычного чувства безысходности. Отсюда и тот оттенок пессимистического предчувствия, который незаметно вплетается в рассказ о диковатом бунтаре против этого уж слишком цивилизованного мира.

В 1935 году на русский язык была переведена другая книга Нацумэ. Автор назвал ее уже знакомым словом «Сердце».

Мальчуган стал взрослым человеком. Он так и не научился «располагать к себе людей». Он не захотел научиться этому. Он остался один. Он — и сердце, которое никому не было нужно. И этот взрослый человек не знал, что ему делать с сердцем. Мелочи состарили его, сердце осталось молодым. Отчаяние стало его жизнью. День за днем. Оно было вокруг него — как воздух, он им дышал. Оно было его снами, и у него умерли мечты. Оно было в нем самом. И взрослый человек убил сердце Мальчугана.

В «Капризах и раздумье» Герцен писал: «Плоская натура при первой встрече с действительностью, при первом жестком толчке, плюет на прежнюю святыню души своей, ругается над своими заблуждениями и по мере надобности берет взятки, женится из денег, строит дом, два... Благородная, но нереальная натура идет наперекор событиям, не стремится понять препятствий, а сломить их, лишь бы спасти свои юношеские мечты, и обыкновенно, видя, что нет успеха, останавливается и, остановившись, повторяет всю жизнь одну и ту же ноту...»

«Благородные, но нереальные натуры» существуют всегда. Но время каждый раз вкладывает свое содержание в эту фразу. И Нацумэ хорошо почувствовал трагический смысл своего времени — времени ненужных сердец.

А. Чаковский

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?..

(Польские литературные впечатления)

Мне трудно охарактеризовать чувства, которые я испытывал этим летом, когда ехал в Варшаву. Желание понять те сложные процессы, которые имели место в литературной Польше? Жажда спора, столкновения мнений? Нетерпеливое стремление сказать в личной беседе своим польским собратьям по перу все, что я думаю о высказанных ими взглядах? Мне трудно выделить из этих чувств какое-либо одно. Все они владели мной, когда наш самолет приближался к Варшаве.

Вряд ли это нуждается в объяснении. Из Польши, страны социалистического лагеря, раздавались в истекшем году громкие нападки на принципы социалистической идеологии. Деятели польской — братской славянской — литературы безудержно «ниспровергали» советскую литературу (не отдельные произведения — это могло бы быть вполне понятным, но всю литературу последних трех десятилетий!). Они не критиковали ее, нет. Они ее «отрицали».

В польской литературной среде разразилась магнитная буря. Казалось, стрелка компаса забыла, где Восток и где Запад. По взбаламученному морю польской литературно-общественной жизни носилось, потеряв управление и ориентировку, множество судов под различными флагами. Они били по социалистическому реализму из пушек отечественного и иностранного производства. Били почти не целясь, не думая, куда и во что еще может попасть шальное ядро. Смешались в кучу реализм, модернизм, народнические утопии, оскопленный, «интеллигентский» марксизм...

Все это как-то не умещалось в моем сознании. Я говорил себе: «Ведь до сих пор я только читал польские статьи. А теперь увижу и многих их авторов.

До сих пор лишь мутная пена с волн взбаламученного моря доходила до нас при посредстве многих польских газет и журналов.

Но теперь у меня будет возможность, по крайней мере, стоять непосредственно на берегу разбушевавшейся литературной стихии.

А вблизи легче все понять и оценить, чем издалека».

Я ехал в Варшаву, лишенный всяких предубеждений. Будучи решительно несогласным со всеми теми нападками на советскую литературу, на нашу общественную жизнь, начало которым положили Котт, Пшибось и примыкающий к так называемым «вщеклым»* Теплиц, я размышлял о той обстановке, в которой эти нападки прозвучали.

Известная французская поговорка «Все понять — значит все простить» кажется, на первый взгляд, очень гуманной. Но она неприемлема для тех, кто верит в принципы и идеи и борется за их торжество. В целом эта поговорка, так сказать, беспринципна. Я употребил слово «в целом», потому что первая часть поговорки «все понять» — является необходимым и законным требованием, обращенным к каждому мыслящему человеку, и в первую очередь, к коммунисту, если он не сектант и не начетчик.

Я думал о разных и противоречивых обстоятельствах, характерных для исторического пути Польши. Думал о тех антирусских настроениях, которые в свое время породил царизм своей колонизаторской и шовинистической политикой. О долгих, пережитых Польшей, годах санационного, фа-

* «Вщеклы» *(польск.)* — «бешеные», «неистовые», литературная группа крайне «нигилистического» направления.

шистского режима. О чудовищной гитлеровской оккупации, заразившей своей тлетворностью души многих людей. О тех не поддающихся описанию разрушениях, от которых Польша пострадала более, чем какая-либо другая страна в Европе, и тех огромных экономических трудностях, которые вследствие этого, естественно, сопутствовали строительству социализма в этой стране.

Я думал и о влиянии на литературные традиции Польши современной западной литературы, французской преимущественно, и о сильных, в этой связи, антиреалистических тенденциях. О тех серьезных ошибках, которые были допущены в строительстве социализма в Польше (О, если бы социализм строился в лабораториях!.. Впрочем, и там возможны ошибки!). О людях, невинно пострадавших, о несправедливых обвинениях, предъявленных два десятилетия назад польским коммунистам. О том, что все эти потрясения серьезны сами по себе, и о тех изощреннейших, спекулятивных попытках наших врагов заставить польский народ, и прежде всего интеллигенцию, забыть о великих и реальных достижениях в послевоенной Польше, заслонить их в сознании людей поражениями, похитить из сердец веру и гордость, заменив их горечью и сомнениями.

Но я знал и о другом.

О тех горячих проявлениях братского сочувствия к польскому народу, которыми была так богата прогрессивная русская мысль даже в самые темные времена царского гнета.

О тех русских и украинских демократах во главе с А. Потебней, которые рядом со своими польскими братьями участвовали в польском освободительном восстании против царизма в 1863—1864 годах, о Герцене, Чернышевском и Шевченко, горячо сочувствовавших борьбе поляков за независимость.

О двухстах тысячах советских солдат, отдавших свои жизни для того, чтобы жила и цвела Народная Польша.

О той огромной экономической помощи, которую оказывал и оказывает Польше советский народ, сам еще не достигший изобилия материальных благ.

О славных традициях польской литературы, которые рождались в борьбе передовых литераторов против угнетателей, против царизма, фашизма, в борьбе за строительство социализма.

И наконец, о том, что именно наш XX партийный съезд помог коммунистам всех стран — и польским в том числе — встать на путь решительного исправления тех серьезных ошибок, которые были допущены в новаторском, незнаемом доселе человечеством, гигантском деле строительства социализма.

Нам ли не знать об этих ошибках! И нам ли не знать о том, что причина оживления всех антисоциалистических элементов в мире заключается прежде всего в том, что реакция пытается наступать, что классовая борьба в мире обострилась.

Конечно, в своих попытках пробить брешь в социалистическом лагере империализм использует и наши ошибки — действительные и мнимые. Но главная причина нападок на нас — всегда классовая.

И если мне казались понятными те причины, которыми можно объяснить появление в Польше литературных фактов антисоциалистического характера, то оправдать их у меня не было никаких оснований. Я считал эти факты вредными, мешающими не только нашей дружбе, но, в первую очередь, делу строительства социализма в самой Польше. То, что субъективно казалось некоторым польским литераторам *их* победой, победой «демократии», «свободы мысли» и т. д., объективно было уступкой, пусть временной, но уступкой врагам социализма как в самой Польше, так и за ее пределами. Но в то же время история Польши и особенно годы строительства социализма в ней давали мне веру в то, что заблуждения польских литераторов не органичны, что, несмотря ни на что, я еду к друзьям и, хотя очень часто, к сожалению, терминология этих друзей совпадала с терминологией врагов, я не должен, не имею права их отождествлять.

И тем не менее, я не мог забыть, что эта терминология была чудовищной.

Меня могут спросить: с кем вы спорите? Назовите имена!

Есть ли смысл делать это? Если просмотреть подряд польские газеты за период, начиная с пресловутой речи Яна Котта на сессии Совета культуры и искусства в 1956 году и до июня 1957 года (когда состоялась моя поездка в Варшаву), если, повторяю, прочесть такие польские газеты и журналы, как «Нова культура», «Пшеглёнд культуральны», «По просту», «Жице Варшавы» и многие другие, то вряд ли можно ограничиться указанием *только* на несколько имен или несколько статей.

Но если угодно, я, конечно, могу назвать и фамилии.

Я спорю в этой статье против того отнюдь не захватывающего все стороны польской литературной жизни течения, которое характеризовалось проклятиями по адресу социалистического реализма, требованиями «отделения» литературы от партии, анархии в идеологии и т. д. и т. п.

Я решительно не согласен с утверждениями Теплица о том, что «социалистический реализм, провозглашаемый как монопольная программа и линия в искусстве... был практическим орудием, при помощи которого искусство должно было стать служанкой и опорой диктатуры».

Мне кажется, что решительно неправ А. Яцкевич, утверждавший, что «польское искусство ближайшего будущего должно быть искусством, взбунтовавшимся против вчерашнего образа мышления и чувств», и уж, конечно, чистой выдумкой является утверждение Ю. Пшибося о том, что искусство социалистического реализма потерпело полное банкротство в Польше и социалистический реализм якобы явился при-

чиной отставания польского искусства почти на сто лет.

Мне кажется, что А. Важик, заявляя, будто вопрос «о социалистическом реализме в Польше, поскольку речь идет о писателях, не существует», избирает позицию, столь излюбленную страусом.

Мне кажется, что В. Садковский, сравнивавший социалистический реализм с «какой-то жабой», пытающейся испортить всем литературный вкус, сам демонстрирует полное отсутствие этого вкуса.

Все эти выражения взяты из статей, написанных в разное время в течение последнего года.

Следует напомнить, что многие из авторов статей, исповедующих взгляды, подобные приведенным, — коммунисты. Каким же «пониманием» можно объяснить их поведение? Ведь коммунист *не может, не имеет права* не учитывать обстановки, в которой он живет и действует?

Как может коммунист *не сознавать*, что разоблачение культа личности при всех, связанных с этим разоблачением, потрясениях демонстрирует не слабость, но *силу* и еще раз *силу* Коммунистической партии Советского Союза и мирового коммунистического движения? Как может коммунист не видеть обострения классовой борьбы в мире и попыток реакции перейти в наступление? Как может писатель-гражданин и в первую очередь коммунист не сознавать, что происходит в мире, какие позитивные задачи стоят перед социалистическим лагерем, не сознавать, как выгодно было нашим врагам *затянуть* период горечи и сомнений, охвативших немалую часть зарубежной интеллигенции, и как может он и сегодня, и завтра, и послезавтра хныкать, рвать на себе волосы, создавая вместо культа личности культ самобичевания и самоуничижения?!.

Однако многие польские писатели, в том числе и коммунисты, стали поклонниками этого нового культа.

«Заголимся и обнажимся!» — призывал один из героев Достоевского. Этот патологический лозунг незримо присутствовал в виде эпиграфа к большинству польских статей минувшего года по вопросам литературы.

...Все это заставляло меня, в числе многих других товарищей, недоумевать.

Эти недоумения владели мною, когда я вышел из самолета на варшавском аэродроме.

* * *

...В редакции ежемесячного «толстого» литературного журнала собралось несколько человек*. Первый поставленный мною вопрос касался проблемы социалистического реализма, который, если верить некоторым статьям, кажется столь неприемлемым польским литераторам. Я спросил:

— Скажите пожалуйста, ведь вряд ли естественно и логически объяснимо, что призыв правдиво изображать жизнь во всех ее противоречиях и с учетом перспектив борьбы старого с новым вызывает такую ярость у людей, стоящих на позициях реализма вообще и на философских позициях марксизма?

Но ведь в этом требовании и заключена сущность социалистического реализма. Я могу понять ненависть к этому творческому методу со стороны наших врагов, исповедующих идеологию империализма. Думаю даже, что можно легко объяснить их ненависть к социалистическому реализму при помощи первого из этих двух слов.

Можно понять также отрицание этого метода сторонниками абстрактного или сюрреалистического искусства, — для них неприемлемо само требование реалистического, объективного отражения жизненного процесса.

Но как объяснить филиппики по адресу социалистического реализма со стороны людей, заявляющих о своем коммунистическом мировоззрении, о своей приверженности к литературе «жизненной правды»?

Мне отвечали на это, что метод социалистического реализма скомпрометирован в польской литературе, поскольку под его флагом в послевоенной Польше появилось много плохих, схематических произведений.

Что часто эти произведения являлись лишь беллетризованным изложением политических формул.

Что осуществление этого метода в Польше совпало по времени с теми извращениями в общественной и политической жизни страны, которые ныне осуждены.

Что требования социалистического реализма, как правило, понимались писателями прямолинейно и односторонне.

Вот, по существу, и все возражения.

Признаюсь, они мне показались неубедительными и, я бы сказал, наивными. Как можно отрицать сам принцип, если все возражения сводятся к критике его осуществления? Как можно забывать о тех ценностях, которые были созданы в социалистической литературе и в польской, в том числе?

Хочу сказать, поскольку речь идет о творческом методе социалистического реализма, что я далек от мысли отрицать наличие схематических и прямолинейных толкований этого поистине новаторского метода не только в Польше, но и в нашей советской литературе.

И напрасно наши польские критики приписывают себе «приоритет» в открытии этих схоластических наслоений.

Еще задолго до того, как они попытались произвести эту странную подмену, выдавая недостатки претворения в жизнь социалистического реализма за пороки самого метода, мы сами на многих наших дискуссиях говорили об этих недо-

* Во время пребывания в Варшаве мне удалось посетить редакции «Пшеглёнда культурального», «Твурчости», «Новой культуры», встретиться с писателями Ивашкевичем, Чешко, Слонимским, Ворошильским, Кручковским, Неверли, Брошкевичем, Важиком, Коттом и другими.

статках. Мы не раз справедливо упрекали критиков наших книг за то, что они нередко сводили требование правдивого показа жизни к желанию видеть в каждом отдельном произведении отражение всего многообразия нашей жизни. Не дух многообразия, а именно само конкретное многообразие, подробное изображение всех общественных сил.

Мы часто критиковали наших критиков за схематизм требований и оценок. Лично я, например, могу повторить, в порядке развития творческой дискуссии, свою высказанную в Варшаве точку зрения по затронутому вопросу.

Мне кажется, что отнюдь не каждое произведение, правдиво отражающее жизнь, должно, как это может показаться схематику, быть каплей воды, в точности отражающей *все* многообразие реальной жизни.

Если речь идет, скажем, о заводе, то на реальном заводе есть рабочий коллектив, парторганизация, дирекция... Если вы задумали произведение эпического плана, то оно не может, конечно, обойтись без широкого показа главных действующих на заводе сил.

Но допустим, что, садясь за работу, вы поставили перед собой иные жанровые цели, решили написать, скажем, вещь лирическую. Действие может происходить на заводе. Однако реализация вашего замысла не требует изображения, допустим, рабочего коллектива и партийного комитета.

Можете ли вы при этом быть уверены, что критик будет разбирать вашу работу с точки зрения правомерности или неправомерности вашего замысла, с точки зрения его удачи или неудачи, а не с точки зрения того, в достаточной ли мере показан у вас рабочий коллектив или отражена роль партийной организации? Не можете, по крайней мере не могли.

Следует ли считать правдой жизни, а значит, социалистическим реализмом только те произведения, в которых полно представлена вся расстановка сил, существующая в реальной жизни?

Или правдивость произведения в конечном итоге определяет наличие в нем духа времени, пафоса торжества прогрессивных идей, соответствие образов действительности и т. д.?

Нет сомнений, что правдивым произведением будет и то, которое отражает всю реальную расстановку сил в обществе, и другое, рассматривающее лишь ограниченную часть его, но, как и первое, проникнутое пафосом утверждения и движения к коммунизму, характерным для всей нашей жизни.

Как же все-таки добиться такого положения в литературе, чтобы, не ущемляя творческой индивидуальности писателя, рассматривая и оценивая каждое произведение с учетом замысла автора, с точки зрения того, удалось ли ему в избранном им жанре и при помощи избранных художественных средств передать торжество нового, советского, над старым, враждебным, — как же все-таки добиться, чтобы при этом условии основной поток нашей литературы отражал бы советскую жизнь в ее главных, генеральных свершениях?

И здесь я неизбежно должен перейти к вопросу, столь нелюбимому нашими польскими оппонентами.

Речь идет о роли, о влиянии партии на формирование писательского сознания, на общий литературный процесс.

Наши польские критики пытаются оправдать свое нигилистическое отношение к направляющей роли партии ссылкой на примеры административных и всяких иных извращений.

Но ведь так же нельзя спорить, коллеги! Отрицать социалистический реализм, подменяя *понятие* метода ссылками на практические недостатки его осуществления, отрицать роль партии в деле формирования литературного процесса тенденциозным подбором примеров тех или иных недостатков в практической деятельности партийных органов — это же несерьезно по меньшей мере!

Я был готов спорить по этим вопросам в Варшаве.

Но никто не хотел спорить о роли партии, как никто не хотел спорить и о социалистическом реализме. Его лишь отвергали. Отвергали, не рассуждая, как монах, сотворяющий крестное знамение и повторяющий: «сгинь, сгинь, рассыпься!»

Я продолжал попытки развить дискуссию:

— Вы утверждаете, что с методом социалистического реализма в польской литературе связано много схематических и антихудожественных явлений. Но, критикуя недостатки в строительстве социализма, вы же не отказываетесь от его строительства; критикуя недостатки внутри партии, продолжаете признавать ее роль и, я полагаю, видя те или иные упущения в экономической области, не покушаетесь на основы социалистической экономики. Почему же вы отвергаете социалистический реализм, так сказать, «начисто»?

Вы говорите, что термин «социалистический реализм» должен быть отброшен и, если уж так необходимо искать термины, заменен словами «революционное искусство».

Мне не хотелось бы играть в дефиниции. Словотворчество в области формулировок кажется мне досужим занятием, если под изменившейся формулировкой не скрывается изменившееся понятие. Истина не всегда приходит с возрастом, хотя более зрелый возраст, при всех своих очевидных недостатках, дает неоспоримое преимущество личного опыта.

Поэтому, когда очень молодой литературный критик Теплиц в свое время заявил, что социалистический реализм выдуман Ждановым и Горьким, то, честно говоря, его вряд ли следовало опровергать всерьез. Готовность вести полемику на любой платформе, предложенной оппонентом, может быть и является признаком вежливости, однако я все же не взялся бы всерьез спорить с человеком, утверждающим, что

ему доподлинно известно, кто первый «выдумал» огонь. Это сравнение, которое кое-кому из моих оппонентов, конечно, покажется спекулятивным, остается все же верным при всех издержках, обычных при любой гиперболизации.

Ведь для человека, стоящего на позициях марксизма, не может быть неясным, что с тех пор как пролетариат осознал себя как класс, с тех пор как сформировались партии коммунистов, у рабочего класса появилось естественное и исторически закономерное стремление *осознать* не только экономические, но и идеологические процессы, происходящие в реальной жизни.

И с тех пор как сознательный рабочий стал ощущать литературу частью «общепролетарского дела», у него родилось естественное и исторически закономерное желание осмыслить те условия, в которых литература может развиваться именно как часть общепролетарской идеологии.

Коммунисты никогда не скрывали своей заинтересованности в том, чтобы литературный процесс развивался в социалистическом направлении, чтобы он включал в себя то единственно правильное видение жизни, при котором в поле зрения литератора находились бы не только сегодняшняя жизнь во всех ее реальных противоречиях, но и тенденции, из которых рождается день завтрашний. А то, что завтрашний день принадлежит коммунизму, — ей же богу, не просто «выдумано». Таким образом, «доказуя», что социалистический реализм не «выдуман», мы одерживаем очень легкую и само собой разумеющуюся победу. В этой связи хочется заметить: часто встречающееся в польской прессе утверждение, что до первого съезда советских писателей *термин* «социалистический реализм» не был в употреблении, является аргументом чисто школярской логики. Чтобы из вежливости оставаться на этом же уровне, можно ответить оппонентам хрестоматийным примером об ализарине, который «бесспорно» существовал в каменном угле еще «до того», пока был открыт и «окрещен». Впрочем, не «придумал» ли Энгельс все это?..

Но может быть, возразят наши критики, социалистический реализм, несмотря на свою историческую «закономерность», не является все же тем главным инструментом, владея которым, можно (при наличии таланта, конечно!) создавать совершенные и нужные народу произведения искусства?

В этой связи я позволю себе задать несколько вопросов моим польским коллегам.

1. Согласны ли вы с тем, что в результате Октябрьской революции в СССР, в результате победы народа в Китае, в странах народных демократий появился новый тип взаимоотношений в обществе?

Речь идет сейчас не о том, в какой степени эти отношения осложнялись объективными факторами борьбы старого с новым и нашими ошибками. Речь — о главном. Признаете ли вы *принципиальную* разницу между отношениями людей в обществе, основанном на частной собственности, и следовательно, на эксплуатации человека человеком, и отношениями, создавшимися в странах социализма?

И если вы признаете это, то:

2. Согласны ли вы с тем, — я снова обращаюсь к авторам упомянутых ранее взглядов, — что отношения между интеллигенцией и народом, что место интеллигента вообще и художника в частности становятся *иными* в социалистическом обществе по сравнению с капиталистическим?

Речь идет о месте художника в окружающем его мире, о его самопознании и самоопределении. Ведь не может же, наконец, быть, чтобы марксист, нет, просто материалист стал отстаивать тезис независимости художника от окружающего его мира и объяснять позицию этого художника только имманентным ему ощущением своего «я»?

3. Согласны ли вы, что острота постановки вопроса неизмеримо возрастает, когда речь идет о художнике-новаторе, новаторе в истинном, а не в штукарском значении этого слова, и особенно о художнике-борце, о коммунисте?

Признаете ли вы естественным и закономерным, что в условиях нового общества такой художник не может не искать точки зрения и изобразительных средств, *помогающих* ему не только занять подобающее место в борьбе за коммунизм, но и правильно осмыслить и изобразить эту борьбу?

Поймите, я говорю сейчас не о сумме догм и приемов, которые иному приспособленцу или бездарности заменяют необходимость постоянных и мучительных творческих поисков, но о настоящем художнике-борце!

Я задаю вам эти вопросы с единственной практической целью — уяснить ваши исходные, ваши принципиальные идейно-творческие позиции.

И если ваши ответы будут положительными, я задам вам новый и последний вопрос:

— Как же можете вы отрицать органическую необходимость метода социалистического реализма, идейно-творческого принципа познания и отображения не только уже сложившихся в прошлом, но и *новых* человеческих отношений, *новых* социальных тенденций, метода, единственным *«нормативом»* которого является познание жизни в ее новых противоречиях и с учетом тенденций их диалектического поступательного развития!

Подумайте, какой наивной схоластикой покажутся на этом фоне ваши рассуждения о том, что в таких-то и таких-то книгах отразились схематические и бюрократические упрощения. Что имели место попытки подменить *творческую* методологию суммой нехитрых литературных приемов и что на этом, дескать, основании надо разбить литературно-политический компас и утвердить технику кораблевождения без руля и без ветрил!

Я пытался уяснить себе ваши исходные позиции во время наших варшавских споров. Естественно, что они имели отношение к тому, как вы понимаете проблемы строительства социализма в вашей стране.

Некоторые польские товарищи говорили мне в Варшаве: мы хотим социализм, который мы сможем любить. Что это значит? — спрашивал я. — Фабрики и заводы должны принадлежать народу? — Конечно, — отвечали мои собеседники. — А земля — крестьянам? — Без сомнения. Причем, мы не хотим повторения ошибок, имевших место в прошлом, не хотим нарушения законности, бюрократизма и т. д.— Это естественно. И ваша цель — построить коммунизм? — Конечно! — А что должно происходить в области литературы и искусства? — О, здесь должны существовать и развиваться реалисты и модернисты, абстракционисты, экзистенциалисты, марксисты...

Словом, ноев ковчег, плавающий по волнам житейского моря... Не скрою, мне это показалось химерой, политической абстракцией, пародией на Телемское аббатство в XX веке! Значит, все, что утверждает марксизм, забыто; значит, нет никакой классовости искусства; значит, и реализм и модернизм — понятия, лишенные социального содержания; значит, все это лишь проявления индивидуальных воль, вкусов — не больше!

Слов нет, у коммунистов разных стран, на разных этапах развития этих стран может быть разная политика по отношению к проявлению разных идеологий. Когда в нашей стране существовали антагонистические классы, когда партия допустила существование новой буржуазии, чтобы подготовить новое наступление на капиталистические классы, когда крестьянство представляло собою мелкобуржуазную стихию, появилось известное решение ЦК от 1925 года, в котором было подтверждено, что партия не отдает предпочтения какому-либо *одному* направлению в литературе.

Но разве для коммуниста и в то время были одинаково ценными и близкими писатели — выразители идеологии нэпа или представители растущей пролетарской литературы? Смешно подумать об этом.

И как можно «любить», как нечто естественное, достойное подражания во всех остальных социалистических странах, некий отвлеченный «христианский социализм», называя себя при этом марксистами, — такую «любовь» понять невозможно! Мне очень, очень хотелось, чтобы мои собеседники дали бы теоретическое, а не только эмоциональное объяснение этой «любви». По тем или иным причинам они не сделали этого. Некоторые из вас цитировали мне то место из статьи товарища Тольятти, опубликованной в итальянском журнале «Ринашита» и перепечатанной польской газетой «Политика», где автор говорит о линии, которую должна занять партия по отношению к творческой интеллигенции, о вреде администрирования, прямых вмешательств, в творческий процесс и т. д. Но, странное дело, никто из вас не процитировал мне другой статьи. Тольяттти, тоже из журнала «Ринашита», где он характеризует обстановку, сложившуюся летом и осенью 1956 года в будапештской писательской организации. Напомнить это место? Вот что писал Тольятти о тех, кому «присущ тон постоянного порицания, сатиры, беспощадного сарказма»: «Этот тон делается еще резче, когда писатель, впадая в состояние одержимости, начинает воображать себя воплощением божества и вместо того, чтобы спокойно поразмыслить, мечет громы и молнии и считает себя Кассандрой, которую никто не слушает. Ко всему этому примешивается известная доза провинциализма».

Однако вернусь к нашей дискуссии в редакции польского журнала. Мы продолжали обсуждать проблему социалистического реализма в том же духе, в каком и началась наша дискуссия.

Наконец один из присутствующих, товарищ, как мне сказали, профессионально занимающийся философией, сказал:

— Я против социалистического реализма потому, что он требует от писателя рассмотрения всех проблем только в политическом аспекте. В то же время есть вопросы, не имеющие к политике никакого отношения.

— Например? — спросил я.

— Ну, скажем, проблема смерти.

Признаюсь, это заявление немного озадачило меня. Я сказал:

— Правильно ли я понял вас? Имеете ли вы в виду смерть как чисто биологическую проблему? Хотите ли вы сказать, что смерть человека от заворота кишок или от более почтенной болезни никак не связана с политическими проблемами? Вполне согласен. Но при этом вряд ли вы уверены, что подобного рода факты сами по себе могут быть предметом подлинных произведений искусства. Если же говорить о проблеме смерти во всех ее опосредствованиях, то вряд ли вы, будучи марксистом, сможете уйти от политики. В начале века «смертяшкины» всех мастей и оттенков наводнили русскую литературу. Талантливый Леонид Андреев исследовал костлявую, так сказать, вдоль и поперек. Вам кажется это случайным? Без всякой связи с политикой? С поражением революции 1905 года? С проблемами политического отступничества?

Эта тема не получила дальнейшего развития в нашей беседе.

Стремление не продолжать разговоров на теоретической основе показалось мне весьма симптоматичным. Я сталкивался с ним и во многих других случаях. «Мы хотим», «мы считаем», еще чаще «мы не хотим», «мы не считаем» — вот слова, которые аккомпанируют почти любому разговору на общественно-политические темы, подобно тамтаму в африканских плясках.

Почему это так происходит? Конечно, не из-за недостатка образования в рядах тех польских товарищей, которые примыкают к «вщеклым».

Причины глубже. Ту эклектическую смесь

псевдореволюционной романтики с типичным буржуазным оппортунизмом, бесконечную декламацию на темы подлинной демократии, с одной стороны, и объективное низкопоклонство перед буржуазным парламентаризмом, подчеркивание своей коммунистической принадлежности и проповедь политики невмешательства в идеологические, по крайней мере, в литературные процессы,— эту, повторяю, эклектическую смесь радикализма с непротивленчеством вообще невозможно успешно теоретически обосновать.

Но раз так, то тем хуже для теории. «Мы не хотим схематизма!» «Мы не хотим бюрократизма!» «Мы не хотим догматизма!» «Мы не хотим!» «Мы не хотим!..» «Мы не...»

Если говорить о политической стороне вопроса, то мне показалось, что для некоторых из моих собеседников лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» как-то не существует, он уступил место лозунгу «Свобода, равенство и братство». В реальной истории, как известно, процесс был обратным. Девиз французской буржуазной революции после победы буржуазии превратился в прикрытие, в маску для капиталистического рабства — свобода и равенство для богатых и нищенское братство для угнетенных. Чтобы добиться истинных, а не мнимых свобод и подлинного равенства, пролетариям надо было объединиться, а партии пролетариата сформулировать программу достижения царства свободы и равенства, которое на научном языке называется коммунизмом.

Всего этого как будто не существовало для моих оппонентов. Это удручало меня в тем большей степени, что ряд из них были людьми острого ума и солидных знаний.

Известно, что волюнтаризм прекрасно расцветает на зыбкой почве эмоциональных ассоциаций. Исповедовать религию можно и без той логической последовательности, какая требуется при занятиях наукой. Мои собеседники часто казались мне проповедниками, точнее пророками, единственно реальной почвой которых являлась, в лучшем случае, лишь их собственная вера в свою правоту. Подобная вера иногда бывает фанатичной, иногда спекулятивной. Она не терпит сомнений, не терпит критики. Пророки, фанатически исповедующие свободу, терпимость и т. п., как правило, оказываются самыми жестокими тиранами по отношению ко всем несогласным с ними. Они отвергают всякую критику. Они готовы объяснить происхождение этой критики чем угодно: злонамеренностью, неосведомленностью, легкомыслием критика, но только не собственной неправотой.

Сидя в редакции одного польского журнала, особенно отличающегося на ниве волюнтаристских, а иногда и просто антисоветских пророчеств, я позволил себе спросить редактора, как он относится к той критике в его адрес, которая прозвучала сравнительно недавно в речи одного из руководителей ПОРП.

На несколько секунд воцарилось молчание, затем один из присутствовавших членов редколлегии сказал:

— Поскольку самому товарищу имя рек, наверное, не хочется говорить о себе, я позволю себе выразить наше общее (то есть редколлегии) мнение по этому вопросу. Мы думаем, что товарищ, критиковавший нашего редактора, неправ. Во-первых, он уделил критике очень мало места и не развил ее, а во-вторых, его, очевидно, неправильно информировали...

Меня удивил этот ответ. Кто, как информировал? Ведь редактора обвиняли не в каком-то, где-то в кулуарах сказанном слове, которое можно исказить, тенденциозно передать и т. д. Его обвиняли в ревизионизме, естественно, на основе той публичной, политической линии, которую этот редактор ведет. Или мои собеседники хотели сказать, что руководители партии не читают сами газет и пользуются тенденциозным пересказом каких-то третьих лиц?

Это предположение показалось мне до того нелепым, что я обратился снова к редактору и спросил его:

— Вы согласны с тем, что сейчас было сказано вашим коллегой?

— Да, — тихо ответил редактор. Это была та самая смиренность, которая «паче гордости».

Я не понимал: как может коммунист уклониться от обвинения в ревизионизме одной лишь эфемерной ссылкой на «неосведомленность» критика! Странно... В чем же тут дело?

А дело в том, что после всего того, что написал этот редактор, просто *невозможно* опровергать обвинение в ревизионизме, от кого бы оно ни исходило. *Невозможно* совместить свою линию с позицией научного коммунизма, то есть марксизма. Поэтому и приходится прибегать к ссылкам на «неосведомленность».

Нет,— все яснее становилось мне,— не потому мои оппоненты против социалистического реализма, что этот метод якобы адекватен тем искажениям, которые ему сопутствовали. Мои собеседники не могут не понимать шаткость своей аргументации. Но для того, чтобы обрести логику и последовательность, им следовало бы поставить точку над «и». А это значит признать, что сама мысль о воспитательной, направляющей роли сохраняющего всю свою специфику искусства, ленинская мысль о «литературной части общепролетарского дела», о влиянии партии на развитие литературного процесса в интересах народа — неприемлема для них. Это значит, что они уже не разделяют ленинскую точку зрения на литературу и искусство.

Признав это, можно было бы всерьез объяснить свое неприятие социалистического реализма, но при этом было бы уже совершенно невозможно называть себя марксистами.

* * *

Что же дальше? — спрашивал я себя «Пророки» потерпели «крушение», об этом уже давно громогласно заявил Теплиц.

Какие пророки? Ну конечно же, проповедники социалистического реализма, партийности литературы, неизбежности идеологической борьбы в условиях существования двух миров и т. д.

Но «природа не терпит пустоты». На место «сокрушенных» пришли новые пророки. Они проповедуют совместимость социализма в экономике и буржуазной демократии в идеологии. Только что заклеймив старых «пророков» как схематиков, нетерпимых догматиков, они начали травлю против всех инакомыслящих в таких масштабах и с такой яростью, которые показывают, что́ несет с собой та «свобода», которая ими противопоставляется догматизму.

Негативная программа новых пророков ясна. Ну, а позитивная? Кое-кому, возможно, кажется, что любая программа отрицания является в то же время и программой утверждения. Но это лишь игра в понятия.

У «вщеклых» есть два пути. Можно попытаться разрешить квадратуру круга и теоретически совместить ревизионизм с марксизмом, — думаю, что они не встали на этот путь не из-за недостатка энергии. Это — путь «вправо», дальнейший путь в болото, в компанию всевозможных Силоне и прочих ренегатов, которые своими разглагольствованиями о свободе, демократии и «сектантах-большевиках» выполняют роль той самой дрессированной утки, которую империалистический охотник использует в определенных целях.

Есть второй путь: пересмотреть свои позиции, объяснить их, ну скажем, хотя бы эмоциональными потрясениями, которые пришлось пережить.

Но может быть, кое-кому кажется, что есть и третий путь — оставить все «как есть», задержаться на сегодняшнем периоде «сотрясения воздухов»?

Но этот путь нереален. В условиях классовой, идеологической борьбы нельзя долго оставаться «во взвешенном состоянии». Надо куда-то идти...

Но может быть, они уже пришли? Может быть, на базе борьбы с социалистическим реализмом и идейностью в литературе появилась какая-то новая, важная для народа литература, открылись новые творческие горизонты?

Пусть ответит на этот вопрос польский писатель Анджей Браун.

Я не встречался с ним в Польше. Мы познакомились много раньше, в осажденном с воздуха Пхеньяне, где он, так же как и я, был корреспондентом. Браун вел себя в окровавленной Корее смело и честно. Позже он написал интересный роман о кораблестроителях. Еще позже он написал статейку о вреде «жертвенности», в которой нападал на право литературы утверждать величие героизма и самопожертвования, статейку, недостойную, по-моему, человека, видавшего, как и за что жертвуют собой люди. Он оказался очень близок к «вщеклым» и к идейным, точнее безыдейным позициям этой группы.

Ныне Анджей Браун пишет:

«Вычеркивая годы социалистического реализма из нашей действительности, мы отбрасываем одновременно или устраняем также и те элементы художественного мышления, без усвоения которых дальнейшее развитие нашей культурной жизни пойдет по линии постепенного измельчания и снижения творческих стремлений». Хорошо сказано и, главное, правильно!

С горечью говорит Браун о тех плачевных результатах, к которым привела «полная свобода» (а на самом деле, добавим от себя, «свобода» мелкобуржуазной анархии).

Ожидаемые результаты не достигнуты, констатирует не без горечи Браун. Появилось много халтуры. Ориентация на рентабельность, прежде всего, стимулировала рост низкопробной литературы. Даже Антони Слонимский*, которого вряд ли даже самый неистовый из «вщеклых» смог бы заподозрить в симпатиях к социалистическому реализму, в недавно появившейся статье выступает против «новаторства» некоторых молодых поэтов, которое он характеризует как повторение задов итальянского футуризма полувековой давности.

Если спросить в Варшаве, кто самый «модный» современный писатель в Польше, вам назовут имя Хласко, очень молодого и очень талантливого человека, чей образ жизни во многом совпадает с тем, о котором в свое время так гневно писал Горький в «Литературных забавах». А его произведения? Его рассказы, населенные людьми с ущербной психикой, проститутками, пьяницами, всякими усталыми, опустившимися и не видящими просвета людьми? Горько видеть, на что растрачивает свой талант и свою молодость этот столь одаренный писатель! Куда же пришли новые пророки?

Литератор Мационг уверен, что в никуда. Он пишет ныне: «Мы наконец-то независимы, сами выбираем героя, проблематику, определяем стилистическую традицию. Мы очутились перед распахнутыми дверями, которые долго сопротивлялись нашему нажиму и вдруг раскрылись сами. Мы полетели в пустоту».

О нет, вопреки автору только что цитированных строк, я далек от мысли утверждать, что *все* писатели Польши «полетели в пустоту». Среди тех, кого не оглу-

---

* Любопытная, хотя и не имеющая, на первый взгляд, отношения к предмету данного спора деталь.

В беседе со мной А. Слонимский утверждал, без каких-либо, впрочем, доказательств, что в прошлые годы в СССР отбор польских книг для переводов не обеспечивал всестороннего знакомства читателей с современной польской литературой. Литературу надо представлять объективно и всесторонне, говорил А. Слонимский.

Передо мной лежит первый номер нового польского журнала «Опиние» («Мнения»), посвященный нашей литературе. Русская литература представлена в нем более чем десятком имен: Б. Пастернак, О. Мандельштам, А. Яшин (рассказ «Рычаги»), М. Цветаева, И. Бабель, Н. Заболоцкий, Л. Мартынов, Б. Слуцкий...

Посчитает ли А. Слонимский этот факт из «новейшей» истории переводной литературы в Польше свидетельством объективного и *всестороннего* знакомства польских читателей с современной советской литературой?

шила анархическая трескотня, кто понимает, что борьба против бюрократических извращений, за подлинную пролетарскую демократизацию неразрывна с идейной борьбой против буржуазных шатаний, за партийность и подлинное литературное новаторство, то есть с целями позитивными,— я вспоминаю сейчас одного немолодого уже и талантливого польского писателя, автора многих книг и статей. Я провел немало часов, беседуя с ним о современном состоянии польской литературы. Он был проникнут верой в ее светлое будущее. Он называл мне несколько книг тех польских писателей, которые вопреки моде стараются глубоко и правдиво, с идейных позиций социализма осмыслить все происходящее в Польше. Эти книги — тема уже другой статьи. Он говорил о мероприятиях ЦК ПОРП, о речах товарища Гомулки, осуждающих ревизионизм во всех его проявлениях и показывающих, куда он ведет на практике. И еще говорил он о том, что настроения «вщеклых» мало что имеют общего с настроением польского рабочего класса, проникнутого верой в будущее, занятого активным, созидательным трудом.

У меня были и другие встречи такого же рода. Именно они, эти полные веры в социалистический путь литературы взгляды вселили в меня уверенность в победу здоровых сил Польши. И я думал: поймут ли «вщеклы» и сочувствующие им литераторы идейный смысл той роли, которую они объективно играют?

В мире идет борьба. Эта борьба многогранна, и нет области духа, в которой бы она не происходила.

В этой борьбе нет, не может быть места наивности и мелкобуржуазному романтизму. Нет места не потому, что этого не хотят те или другие, а потому, что такова логика борьбы в нашем сложном современном мире.

Мы, советские литераторы, тоже, как и все советские люди, как и вся наша Коммунистическая партия, ненавидим бюрократизм, сектантство, лицемерие, чиновничий снобизм. Но мы спорили и будем спорить с теми, чьей программой является одна только эта ненависть. Ибо без признания исторического значения наших общих побед, без стремления отстаивать незыблемые принципы нашей социалистической идейной жизни, без понимания, что враг не дремлет, эта борьба бесплодна. И более, она искажает зрение, она ведет к тому, что жизнь начинает отражаться в кривом зеркале, она дезориентирует массы.

Известный польский писатель Леон Кручковский всего лишь месяц тому назад писал, касаясь интерпретации на страницах польской печати китайской формулы «пусть расцветают сто цветов», следующее: «На родине этой красочной формулы, в Китайской Народной Республике, она читается так, как пишется: пусть расцветают *различные* цветы. Нашу польскую версию формулы некоторые читают немного иначе: различные — *за исключением одного.* Этим одним является, очевидно, социалистический реализм». О самом социалистическом реализме Кручковский пишет: «Для людей здравомыслящих это одна из самых перспективных (если не самая перспективная) попыток самоопределения литературы и ее создателей, одна из самых перспективных (если не самая перспективная) художественных идеологий. Она предъявляет творческим работникам очень высокие (если не высшие) требования». Далее Л. Кручковский говорит о своей статье по вопросам политики в области культуры, напечатанной в июне этого года в газете «Трибуна люду»: «Я выдвинул на первый план то явление, которое, по моему мнению, должно вызывать наибольшее беспокойство: опасность культа безыдейности, углубления морального и идеологического кризиса, который уже более года, по известным причинам, охватывает некоторые слои нашего общества, — опасность его углубления и расширения путем создания «философских» подпорок или надстроек, а также убедительных художественных обобщений».

Так писал совсем недавно один из крупнейших польских писателей, и будучи в Польше я убедился в том, что он прав.

Серьезное, тревожное беспокойство в связи с создавшейся ситуацией выражает отнюдь не только Л. Кручковский. Я позволю себе процитировать несколько высказываний.

Первое принадлежит Я. Ивашкевичу. Он утверждает: «мания современности» — этим термином обозначается в настоящее время все то, что не подходит под понятия «схематизм», социалистический реализм и просто реализм,— одна из тех опасных болезней, которые периодически поражают нашу творческую жизнь» («Твурчость», № 3, 1957 г.).

Видимо, сложившаяся ситуация вызывает по крайней мере в чем-то тревогу и у А. Слонимского, который в беседе с корреспондентом журнала «Столица» сказал, что «отсутствие формальных критериев в современной поэзии открыло простор для весьма сомнительной ценности выступлений всякого рода графоманов, а отход от здравого смысла является полным поражением, так как приводит к гибели человека в этой «ультрасовременной поэзии» («Столица», № 7, 1957 г.).

Анджей Киёвский критически пишет о тех, кто философствует «с полной уверенностью, что пустота это и есть глубина, что балаган это и есть отчаяние, а отрицание — трагизм» («Пшеглёнд культуральны», № 24, 1957г.). «Пустота это не мировоззрение...— замечает Я. Кайтох. — Этот внезапный переход от принципиальности к пустоте — шокирует». («Жице литерацке», 21 июля 1957 г.)

Все эти слова принадлежат разным по творческим биографиям писателям. Но каждый непредубежденный человек, читая приведенные выше высказывания, не может

не почувствовать в них тревоги. Тревоги за будущее польской литературы.

Что же дальше?

Дойдя до констатации «пустоты», «сменившей» «социалистический реализм», не естественно ли будет сделать еще шаг и признать свою неправоту в главном?

К сожалению, многие польские литераторы предпочитают позицию эквилибриста: продолжают «клясть» социалистический реализм и сетовать на результаты своих же собственных усилий.

Они продолжают «ревизовать», забывая, что «все ревизионистские теории похожи друг на друга, так как они ведут начало от одного корня — от буржуазной идеологии, под влиянием которой формировалась также идеология социал-демократическая». (В. Гомулка).

Когда я слышу призывы: «Долой социалистический реализм, долой партийность, долой политику в литературе, мы создадим социалистическую литературу и без них, пусть все эти понятия заменит *нечто*, выражающее субъективную волю писателей всех идеологий», — мне вспоминается известная притча:

Одного спросили: что важнее — луна или солнце? Луна,— был ответ.— Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, луна же...

Отрицая принцип идейности литературы, творческий метод правдивого и социально-осмысленного отражения жизни, нельзя создавать социалистическую литературу. И наши польские оппоненты, хотят они того или нет, способствуют распространению атмосферы отступничества, безыдейности и упадочничества.

А те, кто хочет погасить солнце, напрасно будут надеяться на луну.

Заметки о советском искусстве

Читатели журнала «Иностранная литература» помнят, что в ноябрьской и декабрьской книжках нашего журнала за 1956 год уже печатались заметки о советском искусстве, принадлежащие перу зарубежных писателей и деятелей культуры. Это были статьи, поступившие в редакцию из различных стран мира. Их авторы рассказывали о том глубоком впечатлении, которое осталось у них от знакомства с творчеством ряда крупнейших мастеров советского искусства, о той роли, которую играет советское искусство в их странах.

Сейчас, в канун сороковой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, мы продолжаем публикацию высказываний иностранных авторов о советском искусстве.

Хироси Нома

Книга, которая помогает нам в борьбе

В этой короткой статье невозможно коснуться всех произведений А. Фадеева, осветить все многообразие его творчества. Поэтому мне представляется более уместным поговорить здесь об одном из его романов, и на этой основе сказать несколько слов о всем творчестве Фадеева в целом.

Когда я думаю о Фадееве, в моем сознании, как вспышки пламени, мгновенно возникают образы героев романа «Разгром» — Левинсон, Морозка, Гончаренко, Варя. Я вижу их яркие, как бы излучающие пламя, фигуры. Стоит мне услышать имя «Фадеев», как передо мной сразу же встают героические образы этих людей, напрягавших все силы, чтобы вырваться из кольца контрреволюционного окружения, и я снова думаю об идеях революции, так глубоко проникших в самую плоть и кровь этих людей. В этой статье я хотел бы разобраться в сущности творчества Фадеева, положив в основу своего анализа именно его «Разгром».

Невозможно осмыслить и понять выдающиеся произведения советской литературы в отрыве от пламенной силы, рожденной в огне Октябрьской революции, той силы, которая, уничтожая все отжившее, старое, ведет человечество к ослепительно прекрасному будущему. Все произведения Фадеева, и в первую очередь его «Разгром», насыщены пафосом революции, направлены против всего отмирающего, старого. Именно в «Разгроме» с огромной силой показано, что представляли собой на деле великие идеи Октябрьской революции,— пламя этой революции горело в груди каждого отдельного человека, будь то такая героическая личность, как Левинсон, или такой грубоватый, простой парень, как Морозка.

«Разгром» глубоко вошел в мое сердце. Я много раз перечитывал эту книгу, а перечитав еще раз на этих днях, вновь ощутил то же волнение, которое испытал, познакомившись с нею впервые. Революция зажгла великий огонь в сердцах Морозки и Гончаренко, отблески этого огня вспыхивают также и в моем сердце, сердце молодого японского писателя. Я люблю героев «Разгрома» — мне дорог Левинсон и Морозка, Гончаренко и Варя. Это — люди, живущие в жестокой борьбе. Огромные страдания выпадают на их долю, такие огромные, что кажется — еще немного, и они не выдержат. И все-таки,

напрягая все силы, они борются и живут. Страдания обостряют в Морозке инстинкт самосохранения, он целиком во власти этого чувства, но, тем не менее, он преодолевает его и обретает новую жизнь — жизнь одного из бойцов авангарда революции. Так он живет и так умирает.

В «Разгроме» показана борьба партизанских отрядов на Дальнем Востоке против контрреволюционных войск и японских интервентов. Силы контрреволюции, основным ядром которых являются казаки, получают поддержку наступающих частей японских интервентов и временно занимают ряд важных пунктов. В этой обстановке партизанский отряд Левинсона, сражаясь с захватчиками, до конца сохраняет революционную стойкость и боевой дух. Стараясь нащупать опорные пункты противника, отряд совершает тяжелый поход и в пути наносит врагу сильный урон. Но в конце концов численно превосходящее соединение противника атакует партизан, и к тому моменту, когда партизанам удается прорваться и ускользнуть от наседающего врага, в отряде остается всего девятнадцать бойцов во главе с Левинсоном.

Без продовольствия, измученные усталостью, теряя одного за другим лучших своих людей, партизаны продолжают бороться; и образы их рождают в моем сознании представление о могучих силах революции, о новом мире.

Правда, понять и уловить, что эта сила незримо живет и движет отрядом, не так уж легко. Такие люди, как например Мечик, не в состоянии почувствовать ее, хотя он тоже сражается в этом отряде, хотя он тоже пришел в отряд в поисках нового, в поисках какой-то иной жизни. Но он забывает в общении с простыми людьми отряда, которые отталкивают его своей внешней грубостью, что именно здесь находится то, что он так ищет в жизни. Нельзя сказать, чтобы Мечик вовсе не обладал способностью правильно судить о людях. Командир отряда Левинсон невольно притягивает его к себе — он чувствует, что в Левинсоне есть нечто такое, что неизвестно ему, Мечику. Но Мечик не способен понять, что те же качества, которые есть в Левинсоне, также характерны для Бакланова, Гончаренко, Метелицы и Морозки. Это «нечто» — огонь революции, который ни в коем случае не является достоянием только «избранных». Огонь революции живет в сердцах всего отряда, во всем этом борющемся, действующем коллективе. Но чтобы понять это, нужно было жить общей жизнью с отрядом. А Мечик не сделал этого. Не сумев подняться выше своего личного «достоинства», не поняв, что революция тесно связывает людей и развивается как общее движение масс, Мечик в конце концов становится предателем.

Шахтер Морозка — образ, контрастно противостоящий такому неустойчивому интеллигенту, как Мечик. Он не получил ни образования, ни воспитания, он груб, весь во власти пережитков старого, не умеет легко и просто выразить живущие в его душе чувства — любовь и ненависть. Но несмотря на все это, Морозка неотделимо связан с силами революции, сплачивающими в одно целое весь отряд. Вся его прошлая жизнь шахтера, борьба, которую ведет партизанский отряд, приводят Морозку к пониманию того, где его настоящее место в жизни,—он ощущает это всей своей плотью и кровью. В наказание за кражу дынь его чуть было не изгоняют из отряда но в то же время каждый партизан знает, что Морозка — свой, что он не зря делил вместе со всеми горе и беду на Уссурийском фронте. И партизаны единодушно высказываются, что предателем Морозка быть не может. «Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..», — говорит Морозка на собрании, где судят его за кражу дынь. И эти слова вечно сохранятся в моем сердце. Они вышли из самых недр Октябрьской революции, социалистической революции. Она, эта революция, растет и ширится, овладевая сознанием шахтера Морозки, она собирает воедино души множества таких же вот шахтеров, связывает их нерасторжимыми узами и идет дальше вперед.

Уходя в бой, на смерть, Морозка до конца чувствует свою неразрывную связь с отрядом и свой долг — долг разведчика. Чтобы сообщить партизанам о том, что противник находится совсем рядом, Морозка должен выстрелить из пистолета. Однако этот выстрел привлечет внимание врага и к Морозке, и на него обрушится огонь. Вот как описывает Фадеев переживания Морозки в эти предсмертные минуты: «...Он ясно понял, что никогда не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что ехали позади него. Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилось мысли о какой-то иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности...»

Морозка и Мечик — эти образы противостоят друг другу. Между ними находятся командир отряда Левинсон и командир взвода Дубов, Гончаренко и Метелица. Все они — люди, стоящие в центре организации. Начав с того же, с чего начал Морозка, они выросли и полностью овладели той силой, которая дает им возможность руководить отрядом.

Самое важное для Левинсона после разгрома отряда — поскорее вновь сделать его боевой единицей, восстановить дисциплину. А для этого все бойцы должны ясно понимать стоящие перед ними цели; и тогда, он знает, из недр отряда вырастет огромная боевая сила. И действительно, когда отряд обретает эту силу вновь, то недостатки и слабые стороны каждого отдельного человека хотя, разумеется, и не исчезают, но преодолеваются, зато способности и возможности каждого становятся достоянием всего отряда в целом.

Вот как описывает это Фадеев, и это очень важная мысль:

«Левинсон глубоко верил в то, что движет этими людьми не только чувство самосохранения, но и другой, не менее важный инстинкт, скрытый от поверхностного глаза, не осознанный даже большинством из них, по которому все, что приходится им переносить, даже смерть, оправдано своей конечной целью, и без которого никто из них не пошел бы добровольно умирать в улахинской тайге. Но он знал также, что этот глубокий инстинкт живет в людях под спудом бесконечно маленьких, каждодневных, насущных потребностей и забот о своей — такой же маленькой, но живой — личности, потому что каждый человек хочет есть и спать, потому что каждый человек слаб».

Эти строчки помогают мне понять, что Октябрьская революция сумела победить благодаря тому, что организовала этих людей, вызвала в них силы, способные преодолеть инстинкт самосохранения. Вот в чем одна из причин этой великой блистательной победы. Октябрьская революция открыла новую эру в истории человечества благодаря тому, что ясно видела живого, реально существующего человека, что выдвинула цели и средства, способные сплотить этих реальных, живых людей. В образе Левинсона я вижу одного из тех, кто конкретно осуществлял эту революцию. В образах Гончаренко и Метелицы я тоже вижу людей, совершавших эту революцию.

Я, японский писатель, многому научился у Фадеева. В особенности многому научил меня «Разгром». Творчество Фадеева придает нам сегодня силы и помогает в борьбе, которую ведут писатели Японии. С помощью своего пера они сражаются за мир и независимость своей страны.

Токио

Дзюнити Иваками

Писатель-революционер

1

Роман Николая Островского «Как закалялась сталь» был переведен в Японии уже через год после опубликования его в Советском Союзе, то есть в 1935 году. Этот первый перевод осуществил один из членов Союза японских пролетарских писателей. Империалистические правители Японии, готовившие в те годы агрессивную войну против Китая, немедленно наложили запрет на книгу — было слишком очевидно, что роман Островского послужит вдохновляющим примером для передовых рабочих, крестьян и студенческой молодежи Японии.

Несмотря на запрет, романом «Как закалялась сталь» зачитывались, правда тайно, прогрессивно настроенные японские читатели. Один только факт хранения этой книги служил достаточным основанием для ареста и заключения в тюрьму. Несмотря на это, популярность романа в Японии росла из года в год. С 1935 до 1945 года, в самый мрачный период господства японского милитаризма, роман Островского оставался одним из самых любимых произведений нелегальной литературы, которую читала рабочая молодежь и студенчество Японии.

Один молодой японский философ, занимавшийся в те годы проблемами эстетики, рассказывает о глубоком впечатлении, которое произвел на него роман Николая Островского.

«После войны я прочел «Молодую гвардию» Фадеева, «Непокоренные» Горбатова, «Далеко от Москвы» Ажаева, «Кавалера Золотой Звезды» Бабаевского. Я давно уже увлекаюсь советской литературой. Все эти произведения взволновали меня значительностью тематики, активным характером героев. И все-таки ни одна из этих книг не потрясла меня так глубоко, как роман Островского «Как закалялась сталь», который я тайно прочитал во время войны. Когда я впервые десять лет назад познакомился с этой книгой, то сразу понял, что передо мной одно из наиболее выдающихся произведений советской литературы. Недавно я перечитал эту книгу, и она снова произвела на меня такое же глубокое впечатление. Обстановка революции передана во всей своей типической характерности; образ героя, вырастающего в несгибаемого коммуниста, показан с исчерпывающей художественной полнотой. Я считаю роман «Как закалялась сталь» одним из лучших произведений современной мировой реалистической литературы».

В 1950 году роман «Как закалялась сталь» был издан вторично, и круг его читателей еще больше расширился. Вслед за тем в 1951 году появился перевод второго романа Островского «Рожденные бурей». С тех пор роман «Как закалялась сталь» был издан тремя крупнейшими издательствами Японии в трех различных переводах, и число читателей этой замечательной книги продолжает расти.

2

Считается, что роман «Как закалялась сталь» — это биографический роман, действие которого развертывается на фоне событий Октябрьской революции. Несомненно, что в основу повествования положены факты и события, лично пережитые Николаем Островским, как он писал об этом в письме издательству «Молодая гвардия» в 1932 году. Но, вместе с тем, во многих образах романа отражены факты и события, которые нельзя считать результатом личного опыта автора.

Есть в романе много эпизодов, которые никак не могли явиться итогом пережитого самим писателем, которому в описываемую пору было не более тринадцати-четырнадцати лет. Но писатель Островский ввел их в свой роман, нарисовав яркую картину революции на Украине, и создал целую галерею запоминающихся образов партизанских руководителей, например матроса Жухрая, оказавшего впоследствии большое влияние на Корчагина.

Одного творческого воображения писателя, конечно, еще недостаточно, чтобы создать такое впечатляющее произведение. Но Островский сам был комсомольцем, воевал у Котовского и Буденного, хорошо знал жизнь Красной Армии в годы гражданской войны. Впоследствии, уже заболев, он стал слушателем заочной партийной школы, много читал, изучал историю партии, теорию марксизма-ленинизма. Все это помогло ему создать свою замечательную книгу.

3

Роман «Рожденные бурей» знаменует собой дальнейшую ступень в развитии творческого дарования Островского.

Образы врагов, группирующихся вокруг белофицерской семьи Могельницких, отличаются большей глубиной и продуманностью, чем образы Петлюры или атамана Павлюка из романа «Как закалялась сталь». Во втором своем романе Островский показывает классовых врагов более убедительно, разоблачая всю их жестокость, варварство, цинизм.

Творческий рост Островского проявляется не только в удавшихся ему образах классовых врагов. Молодые герои романа «Рожденные бурей» — Раймонд, Андрий и другие — также изображены с удивительной свежестью и глубиной. Сцена, в которой показано, как Андрий включает сирену в машинном отделении сахарного завода, надолго остается в памяти читателя и производит такое же сильное впечатление, как эпизод в тюрьме, куда бросают Павку Корчагина, героя романа «Как закалялась сталь».

В романе «Рожденные бурей» с большой впечатляющей силой показана непрерывная связь горящей отвагой, беззаветно храброй молодежи со старшим поколением большевиков. В запоминающихся образах Данило Чобота и других несгибаемых большевиков символизирована великая роль партии, направляющей молодую энергию Раймонда, Андрия и других юношей в русло революционного движения.

Творческий метод Островского, благодаря которому он сумел объективно, правильно показать классовые силы, боровшиеся в период Октябрьской революции, в их историческом развитии, несомненно окажет благотворное влияние на японскую литературу. Островский помогает японским писателям преодолеть узость натурализма и развивать литературу в реалистическом направлении.

4

В романе «Как закалялась сталь» Островский показал, как герои этого произведения — Павел Корчагин, Сережа, Валя, Клим и другие молодые рабочие и крестьяне-бедняки — в трудных условиях гражданской войны преодолевают многие свои недостатки и становятся коммунистами. Но в то же время Островский глубоко объективен. Он смело бичует комсомольцев, которые не смогли преодолеть пагубного влияния индивидуализма и в конце концов, оторвавшись от народа, окончательно деградировали. Даже среди людей, которые в прошлом были активными участниками гражданской войны, встречаются зараженные эгоизмом карьеристы, что и приводит их сначала в ряды троцкистской оппозиции, а затем — к исключению из комсомола. Островский не рисует всех своих героев в идеальном аспекте. Его герои в борьбе шаг за шагом вырабатывают в себе качества коммуниста.

Павел Корчагин закаляется вместе с развитием революции. В душе его живет страх и отвращение к смерти, боязнь физических страданий, но осознанная необходимость защиты социалистического отечества, классовое сознание помогают ему преодолеть свою слабость. В трудных условиях, когда почти исчезает надежда, его поддерживает стремление завершить начатое дело. Это возможно и жизненно потому, что Корчагин постоянно связан с народом, исходит из его чаяний и помыслов. Парализованный, слепой, он решает остаться в боевом строю как писатель — эта решимость могла возникнуть лишь в результате горячего стремления отдать все свои силы делу революции. И конечно, в Павле Корчагине виден прообраз самого автора — Николая Островского.

5

Рисуя процесс духовного формирования молодых героев романа «Как закалялась сталь», показывая, как в огне гражданской войны они становятся коммунистами, Островский раскрывает их тесную связь со старыми большевиками, воспитателями молодого поколения.

Жухрай, Федор, Игнатьев, Токарев, Аким любили молодежь, доверяли ей, делились с ней своей житейской мудростью, руководили ею. Павел Корчагин вступил на путь классовой борьбы после знакомства с Жухраем. Попав в тюрьму, он сохранил мужество благодаря Долиннику. На трудных работах по прокладке узкоколейной железной дороги в Боярке Корчагин сумел выдержать все испытания благодаря моральной поддержке Токарева. Эти опытные, закаленные коммунисты сыграли огромную роль в жизни Павла. Сближение Павки с Жухраем ни в коем случае не является случайностью. Оно определяется закономерностью, основу которой следует искать во всей жизни как Павла, так и Жухрая. Тесная связь между двумя поколениями революционеров, как она обрисована в романе Н. А. Островского, раскрывает нам одну из характернейших сторон эпохи Октябрьской революции. Образы большевиков надолго останутся в памяти читателей, ибо в них с предельной исторической правдивостью запечатлены характеры эпохи — эпохи Великой Октябрьской революции.

Токио

Карло Лидзани, Массимо Мида

Чему учит Довженко

Влияние, которое советская кинематография оказала на развитие итальянского кино, бесспорно весьма значительно. Она не только способствовала зарождению неореализма, но и помогла его развитию, определив самую его сущность и подсказав характер его идеологического содержания.

С искренним огорчением встретила лучшая и наиболее многочисленная часть итальянских кинематографистов весть о кончине Александра Довженко, который лишь на немного пережил своих великих товарищей Сергея Эйзенштейна и Всеволода Пудовкина.

Десятилетие от 1925 до 1935 года имело самое существенное значение в истории кинематографии. Именно в этот период тематических и технических исканий наступает решительное качественное улучшение этого нового средства художественного выражения. В эти годы расцветает возвышенная и художественно мощная советская кинематография, которая создает произведения, полные небывалого драматизма и очарования. В эти годы зреет французская кинематография, в авангарде которой со своими исканиями идет Рене Клер, и появляются такие режиссеры, как Ренуар, Карне, Дювивье, создающие свои наиболее значительные произведения. Наконец, это годы, когда американское кино, прочно утвердив свое коммерческое превосходство, предоставляет возможность своим самым одаренным режиссерам, таким, как Видор, Капра, Форд, говорить о социальных противоречиях, а не только рассказывать оптимистические сказки о передовом капитализме. Как раз в эти годы, в период фашистской диктатуры, когда итальянская кинематография почти угасает, в Италии появляются и формируются новые деятели кино. Как только в благоприятных условиях послевоенного периода им удается приступить к производству фильмов, рождается течение неореализма.

Неореализм не смог бы стать тем, что он сейчас представляет, без уроков великой советской кинематографической школы. Произведения Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко и других кинорежиссеров доказывали прежде всего, что новое средство художественного выражения представляет собой несравненно больше, чем зрелище,—это народное искусство, искусство масс, обладающее большой мощью культурного и воспитательного воздействия. Сила его выразительности, правдивость образов изменяют и обогащают сознание людей и расшатывают изнутри самые основы старого общественного порядка.

Первое и основное, чему учило советское кино,— это требование реализма. Для нас любовь к реализму была реакцией на абстрактное и формалистическое искусство; реализм был для нас правдой, открытием неведомого и доселе запретного мира. Все это находилось в тесной связи с нашими взглядами по социальным вопросам. Из непримиримой оппозиции фашизму родился активный антифашизм, который повел борьбу против вся-

кой демагогии и уродования жизни. И когда началась война, для нас было совершенно закономерным примкнуть к движению Сопротивления. Активное участие в борьбе против фашизма было естественным завершением и выводом из занятой нами идейной позиции. Одновременно мы определили свое отношение и к вопросам культуры.

* * *

Первым произведением Довженко, которое стало известно в Италии, была «Земля», рассматриваемая теперь наряду с «Мичуриным» как его шедевр. «Земля» демонстрировалась в 1932 году на фестивале в Венеции, где так же, как и другой советский фильм «Путевка в жизнь» Николая Экка, имела очень большой успех. Когда мы несколькими годами позднее увидели этот фильм, тогдашняя неясность наших идеологических позиций не помешала нам, однако, понять и ощутить всю его силу. Несмотря на то, что воздействие этого фильма проявлялось скрытно (хочется даже сказать тайно), оно все же чувствовалось всеми, у кого были глаза, чтобы видеть, и разум, чтобы понимать. Этот фильм приковывал к себе внимание своеобразным построением сюжета, чистой лирикой, глубиной содержания и душевных переживаний его героев.

Несколько лет спустя Александр Блазетти поставил фильм «1860»; это был первый итальянский фильм, свидетельствовавший о том, как творчески восприняты идеи и художественные методы советских фильмов. Таким образом, даже в то время, когда фашизм окончательно закрыл границы, не допуская проникновения в Италию прогрессивной культуры и искусства, связь между итальянской и советской кинематографией хоть и стала менее заметной, но отнюдь не менее активной.

Молодежь, начинавшая заниматься новым искусством, интересовалась творчеством Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко. Экспериментальный киноцентр, журналы «Белое и черное» и «Кино» следили за новыми работами и теоретическими высказываниями этих классиков современной кинематографии и внимательно их изучали.

Довженко вложил в свои фильмы «Земля» и «Иван» глубокую любовь к родной Украине, к скромным крестьянам, живущим на этой земле. Тему фильма «Земля» сам Довженко определял как жизненную, универсальную: «Сюжет — земля; на этой земле — изба; в этой избе — жизнь людей».

«Эту тему, — писал Луиджи Кьярини в «Чинема нуово» 15 декабря 1956 года, — Довженко развернул в серии изумительных кадров фильма, который далеко выходит за пределы дидактического конфликта между Василием, олицетворяющим идеалы социализма, и его соперником — ретроградом. Подняв эту тему до высот поэтической свободы, фильм достигает тем самым и большой политической силы в том высшем смысле, которого требует искусство: он выражает определенное миропонимание».

Теперь уже установлено, что в наиболее значительных и волнующих произведениях итальянского неореализма, прежде всего в работах Росселлини и других, глубоко отразились хорошо усвоенные уроки Довженко. Довженко указал на многие оригинальные технические приемы: свободный ритм повествования, творческий монтаж, привлечение к съемкам непрофессионалов, — но решающее значение, особенно в «Земле», имел внутренний замысел художника, его увлеченный и правдивый рассказ о новом, о трудных человеческих судьбах, его изображение природы, его проникновение в психику людей, освободившихся от феодального угнетения и рабства. В этом смысле фильм Росселлини «Паиза», и в особенности последний эпизод, лучше, чем какое-либо другое произведение итальянской кинематографии, отражает влияние Довженко, хотя оно никогда не было механическим и формальным.

Подобно тому как советский режиссер был одним из виднейших мастеров в начале творческого расцвета кинематографии своей страны, так и Росселлини между 1944 и 1947 годами был не щедрым, но ярким представителем самого плодотворного и высокого киноискусства Италии. Другие итальянские киноработники могут считаться более близкими к Эйзенштейну и Пудовкину, хотя эта связь кажется нам менее непосредственной; здесь можно назвать имена Блазетти и Де Сантиса, Дзаваттини и Де Сика. В лучших же произведениях Росселлини лиризм всегда сочетается с гражданским и духовным пафосом и стиль его приобретает эпический характер; образы раскрываются в той же лирико-эпической (а не только лирической, как пытаются утверждать некоторые критики) манере, что и у Довженко.

* * *

Художественная концепция Александра Довженко, бесспорно, наиболее ясно и наглядно была выражена в его последнем произведении «Мичурин», которое членам итальянской киноделегации удалось увидеть в Московском Доме кино. В этом фильме, кажущемся программным, Довженко остается верным тому подлинному вдохновению, которое помогало ему во всех произведениях и никогда не позволяло снижать фильмы до уровня риторики. Научная борьба, начатая Мичуриным, стремившимся поставить силы природы на службу человеку, создать более счастливый и богатый мир, изображена Довженко

в точном соответствии с самыми глубокими принципами его искусства. В этом фильме ему удалось, кроме того, выразить при помощи цвета смысл великолепной борьбы ученого-новатора. В самом деле, цвет своими хроматическими контрастами, чередованием темного и яркого выражает в фильме усилия Мичурина, этапы его открытий и победу его учения. Здесь борьба художника, напрягающего все силы для того, чтобы выразить борьбу ученого, привела к некоему единству между ними.

* * *

Как теоретик, Довженко оставил нам всегда живое и драгоценное наследие, показывающее, что этот режиссер-мыслитель стремился связывать свою творческую практику с техническими и художественными проблемами нового искусства. Примером являются его статьи о проблемах кинематографии, в которых, с одной стороны, Довженко хотел показать важную роль сценария, являющегося существенной фазой работы над фильмом («Чтобы написать сценарий, нужно не меньше вдохновения, труда и дарования, чем для того, чтобы написать роман, поэму или драму»), и поэтому все время подчеркивал, что сценарист не может работать без вдохновения и обязан наравне с режиссером принимать участие во всем производстве фильма. С другой стороны, он настаивает на том, чтобы использовать все средства для достижения художественной выразительности, не только непрестанно обновляя и развивая их, но и прибегая к тем из них, которые скоро были забыты и рассматриваются, как вышедшие из употребления. В связи с этим следует вспомнить его замечания о роли внутреннего монолога, о том, что дидактический комментарий от автора может придать глубину и убедительность кадру или лучше выявить значимость и идею произведения, его напоминания о применении паузы в повествовании и многое другое. Помимо этого, Довженко все время делится опытом своих собственных работ, приводит отрывки из сценариев к своим фильмам, предоставляя, таким образом, читателю возможность, сопоставляя теорию и практику, оценить правильность своих принципиальных положений. Нам думается, что не может быть лучшего способа для обогащения литературы о творческом наследии кинематографии и ее выдающихся деятелей.

* * *

Александр Довженко, которого североамериканские критики называют «первым поэтом кино», вместе с Эйзенштейном и Пудовкиным, принадлежит к тем режиссерам, которые ярче всего представляют один из наиболее благородных и счастливых периодов в истории киноискусства — советский период.

Довженко больше чем кто-либо другой всегда оставался верным себе и в своем творчестве все внимание уделял человеку, его горестям и радостям, его страданиям и нравственным победам. Точно так же и представители итальянского неореализма, пока они оставались верными своим целям и держались на высоте своих принципов, всегда изображали человека в его взаимоотношениях с обществом, были настроены критически, были носителями прогрессивного искусства.

Александр Довженко, выходец из крестьян, тесно связанный с народом, во всех своих произведениях показал, как он верен народным традициям русского искусства и как высоко оценивает роль крестьянства в жизни страны. Его любовь к земле, любовь к природе была так же сильна, как сильна она у Толстого и других великих русских художников.

Фильмы Довженко имеют большое положительное значение для советского кино (мы имеем в виду, в частности, влияние Довженко на документальные фильмы). Они послужат ферментом для новых произведений, которые создаст передовая советская кинематография и кинематография всего мира. Уроки Довженко сейчас важнее, чем когда бы то ни было прежде, потому что простой человек, который играет все большую роль в судьбах общества, неизбежно должен будет стоять в центре произведений кинематографии.

Рим

Гэ Бао-цюань

Поэт, которого хорошо знают в Китае

Будучи в Москве, я часто встречался с Тихоновым. В 1951 году на юбилейном собрании, организованном Союзом советских писателей по случаю пятнадцатой годовщины со дня смерти великого китайского писателя Лу Синя, мы находились вместе с Тихоновым в президиуме. Во время каждой нашей беседы Тихонов неизменно говорил о своем влечении к Китаю, о своей горячей любви к китайскому народу.

Однажды Тихонов рассказал мне, что на его письменном столе находится необычный предмет — вырезанный из куска дерева выкрашенный кулак. Эта странная, диковинная вещь была найдена советским офицером в помещении германского генштаба во время взятия Берлина героической Советской Армией в 1945 году, а затем подарена им одному молодому московскому поэту. Ни офицер, ни поэт так и не могли объяснить происхождения этой вещи. Тайна раскрылась лишь тогда, когда молодой поэт сообщил Тихонову об этом необычном сувенире. Тихонов сделал правильную догадку — это эмблема китайских повстанцев «ихэтуаней» («боксеров»), украшавшая древки их знамен. Она была захвачена и вывезена в Германию в качестве трофея во время подавления в 1900 году Германией и другими империалистическими агрессорами китайских повстанцев-патриотов. Молодой московский поэт подарил Тихонову эту вещь в день его пятидесятилетия. С тех пор этот символ героической борьбы китайских патриотов постоянно находится на его письменном столе. Когда Народно-освободительная армия Китая вела последние решительные бои с внутренними реакционерами и иностранными интервентами, рассказывал Тихонов, он часто смотрел на этот кулак и думал о том, с каким огромным героизмом и силой нынешнее поколение китайских патриотов и борцов за освобождение наносило врагам удары миллионами своих железных кулаков и сметало их со своей земли.

Николай Тихонов также рассказал мне, как в дни незабываемого 1919 года он добровольцем вступил в Красную Армию и участвовал в боях под Ленинградом. Однажды на фронте он увидел отряд бойцов, состоявший из китайцев. Хотя они очень плохо говорили по-русски, ему удалось выяснить, что некоторые из бойцов были из Харбина, другие — из Мукдена, а кое-кто даже из Тяньцзиня. Во время первой мировой войны царское правительство завербовало этих китайцев в качестве рабочих и отправило на фронт для рытья окопов. Впоследствии они взялись за оружие и стали бороться бок о бок с бойцами молодой тогда Красной Армии, защищая завоевания Великой Октябрьской социалистической революции. Эта фронтовая встреча напомнила Николаю Тихонову, насколько глубоки корни дружбы великих народов Китая и Советского Союза, дружбы, закаленной в огне революции, сцементированной трудностями общей борьбы, спаянной пролитой совместно кровью.

Следует сказать, что симпатии и дружественные чувства Николая Тихонова к китайскому народу не случайны. Они нераздельно связаны с такими же симпатиями и чувствами, питаемыми им ко всем народам Востока. «Когда мне было лет двенадцать-тринадцать,— пишет Тихонов, — я начал увлекаться Востоком...»

«Книга заставила меня думать о том, каким надо быть в жизни... — рассказывает о себе поэт.— Я любил книги, где были герои, умеющие все делать хорошо, герои, приходившие на помощь людям, боровшимся за правду, побеждавшие все злое. Под влиянием книг начал с детства сам сочинять романы, где мои герои много путешествовали сражались за свободу угнетенных народов, были красивые, храбрые, умные...

Любил географию и историю. Поэтому в моих книгах, которые сам иллюстрировал и переплетал, действие переносилось из страны в страну. Я освобождал малайцев из-под ига голландцев, китайцев — от чужеземцев, индусов — от англичан».

Так, Тихонов уже в четырнадцать-пятнадцать лет написал несколько рассказов, действие которых происходило в странах Востока. В одном из них рассказывается о том, как китайский народ освобождается от всех своих угнетателей. В 1926 году, то есть тридцать лет назад, когда китайский народ вел свою первую гражданскую революционную войну, Николай Тихонов написал рассказ «Друг народа», темой которого является эпизод из революционной деятельности великого китайского демократа Сунь Ят-сена. Сюжет этого рассказа вымышленный, но в каждой его строчке выражено беспредельное сочувствие к китайскому народу, к его революции.

Живейший интерес и глубокая любовь Николая Тихонова к народам Востока — как советского, так и зарубежного — общеизвестны.

В 1924 году он посетил Грузию и Армению, в 1926 году путешествовал по Туркестану, в 1939 году вновь побывал в Грузии. После этих поездок он написал циклы стихотворений «Юрга», «Стихи о Кахетии», «Грузинская весна» и очерки «Кочевники». Он также переводил стихи грузинских, армянских и дагестанских поэтов. В своих произведениях Николай Тихонов не только изобразил замечательную природу увиденных им мест, обычаи и нравы народов — он рассказал о том, как озаренные светом советской власти люди строят социализм.

После второй мировой войны Николай Тихонов как литератор и борец за мир побывал во многих странах Европы и Азии. Он пересек Гиндукуш и посетил Пакистан и Индию; побывал в Афганистане. После возвращения из этих путешествий он написал цикл стихотворений «Два потока», «Рассказы о Пакистане» и повесть «Белое чудо». В этих произведениях видна характерная особенность творчества Тихонова: он отправился в далекие страны не в поисках экзотики, а движимый чувством искренней дружбы к их народам. Все его произведения, как прозаические, так и поэтические, проникнуты духом пролетарского интернационализма.

В ноябре 1952 года Николай Тихонов во главе делегации советских деятелей культуры посетил Китай и участвовал в месячнике китайско-советской дружбы. Эта поездка дала ему возможность впервые увидеть страну, которая уже давно привлекала его; поезд-

ка позволила ему с еще большей глубиной почувствовать сердечную и искреннюю дружбу китайского народа к советскому народу. Вот что писал он об этой поездке:

«Я увидел удивительную, могучую, древнюю и снова молодую страну — Народный Китай...

Побывав во многих китайских городах, я своими глазами увидел там огромные достижения во всех областях народной жизни. Любовь, которую проявляет китайский народ к советским людям, мы испытали на себе. Пребывание среди китайских трудящихся, интеллигенции, ученых дает так много нового, что вы начинаете ощущать себя помолодевшим и заново видящим мир, о котором никакие книги не могут дать полного представления.

Я уезжал из Китая, полный огромных впечатлений, чувства благодарности и пожеланий счастья великому китайскому народу».

Имя Николая Тихонова хорошо известно широким кругам китайских читателей. Впервые с его творчеством в Китае познакомились в 1936 году, когда известный китайский писатель Мао Дунь перевел с английского на китайский язык его роман «Война», впоследствии неоднократно переиздававшийся. Это произведение, в котором разоблачается подлинная сущность первой мировой войны и замыслы империалистов, впервые дало нам возможность познакомиться с талантом Николая Тихонова.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Китайский народ, ведший кровопролитную войну с японскими империалистами, с огромным вниманием следил за героической борьбой советского народа и черпал в ней воодушевление и силы. В этот период был переведен на китайский язык ряд рассказов Тихонова, в которых раскрываются черты советского народа,— «Люди на плоту», «Поединок», «Новый человек», «Мать», «Старый военный», «Девушка», «Встреча», «Львиная лапа», «Семья» и «Яблоня». Они были опубликованы в первом номере журнала «Литература и искусство СССР» за 1942 год.

Из таких произведений, как «Ленинград в дни блокады» А. А. Фадеева, «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма» Ольги Берггольц и «Ленинградцы, дети мои!» акына казахских степей Джамбула, мы узнали о том, с каким мужеством ленинградцы, несмотря на все трудности, невзирая на голод и холод, бесстрашно защищали свой славный город. В это же время на китайский язык была переведена поэма Николая Тихонова «Киров с нами». Да, она вдохновляла на борьбу не только ленинградцев, поэма служила источником воодушевления для китайского народа, ведшего на далеком Востоке войну против японских захватчиков. Вслед за этим на китайский язык были переведены его «Ленинградские рассказы», «Ленинград».

На китайском языке издано также немало произведений Тихонова, посвященных другим странам Востока. Так, в 1952 году в Китае были опубликованы его «Рассказы о Пакистане». В том же году был переведен цикл стихов «Два потока».

К приезду Тихонова в Китай на месячник китайско-советской дружбы у нас был издан сборник его избранных стихов. В этот сборник, выпущенный тиражом свыше пятидесяти тысяч экземпляров, вошли циклы стихотворений «Грузинская весна», «Два потока», «На Втором Всемирном конгрессе мира» и поэма «Киров с нами». Чтобы выразить уважение, питаемое китайским народом к Николаю Тихонову, издательство «Народная литература» передало ему в подарок несколько экземпляров этой книги, оформленных в духе традиционных китайских изданий — в парчовом футляре и в шелковом переплете. В начале сборника помещено факсимиле автора: «Для меня является большой радостью, что мои стихи прочтет китайский читатель на своем родном языке, тот читатель, который сегодня является строителем могучего нового, демократического государства — Народного Китая».

Мы хорошо помним теплую улыбку Николая Тихонова, его энергичное рукопожатие, его проникновенные слова: «Во время войны нас связывала боевая дружба, в дни мира нас связывает дружба, основанная на общей борьбе за мир и счастье. Как в годы трудностей, так и в годы счастья наша прочная дружба выдержит все испытания. Китайский и советский народы — это два надежных старых союзника, два боевых друга!»

Для китайского народа Николай Тихонов не только писатель и поэт, не только общественный деятель и борец за социализм и мир, он — наш старый искренний друг!

Пекин

Орлин Василев

Корнейчук и болгарский зритель

Мы в Болгарии воспринимаем советскую литературу не как переводную литературу другой, чужой страны, а как родную, кровную сестру болгарской литературы. Это обусловлено всей историей Болгарии, это вытекает из глубокой братской любви нашего народа к Советскому Союзу.

Герои советской литературы — от Давыдова, Левинсона, Павки Корчагина, Платона Кречета до Мересьева, Груни, Авдотьи и краснодонцев — живут в сознании болгарского читателя рядом с самыми близкими образами из галереи героев нашей национальной литературы.

И все же далеко недостаточно сказать о советских мастерах художественного слова только то, что они известны в Болгарии. Нет, они считаются нашими народными писателями. Тихонов, Погодин, Леонов, Симонов, Фадеев, Эренбург, Шолохов, Тычина и десятки их коллег, побывавших в Болгарии, могли бы подтвердить, что они чувствовали себя у нас, как на своей родной земле, среди своих единокровных братьев, сердечно ценящих их большое искусство.

Это же чувство, несомненно, охватило бы нашего украинского друга Александра Корнейчука, если бы он посетил нашу родину.

Всюду: и в солнечных городах Фракии, и в шахтерских поселках, в университетах, театрах, на машинно-тракторных станциях, в домах наших кооператоров — повсюду его ожидает братская встреча. Корнейчука знают и любят везде, где только известны его пришедшие к нам из степей хлебородной Украины драмы и комедии, с ее добрыми, мужественными, умными, честными, азартными в труде, горячими в любви и неудержимыми в веселье героями.

Александр Корнейчук стал нашим народным писателем как-то сразу, он вошел в нашу литературу прочно и на долгое время. Случилось это в нависшую над нашей страной фашистскую ночь, во времена всенародной борьбы против кровавого террора гитлеровских завоевателей и их болгарских наймитов. Каким-то чудом, по счастливой для нас случайности, цензура разрешила к постановке «Платона Кречета». Взвились занавесы, сначала Софийского национального театра, а затем и всех театров страны, — и мы впервые встретились с пленяющими, очаровательными Берестом, Платоном Кречетом, Лидой и Майей...

Для тысяч болгар первая встреча с оптимистическим, жизнеутверждающим искусством украинского драматурга была большой радостью. У человечества похищены миллионы солнечных дней, но смерть вынуждена отступать. Отвоевать у нее время, вернуть будущим поколениям радость солнечного света — все это мы восприняли как призыв к скорейшему свержению фашистского режима. Постановка «Платона Кречета» была настоящим взрывом во мраке. Его сияние осветило новые дали для полета мечты, подкрепило наши надежды на избавление от гнета.

В эти годы на болгарской сцене из пьесы в пьесу скиталась мечущаяся в лапах «извечного» зла, надломленная и раздвоенная человеческая душа, единственной и давно предопределенной земной участью которой было страдание.

И вот на этой сцене, в первой увиденной нами драме Корнейчука возник новый, советский человек — не надломленный одиночка и безнадежная жертва, а повелитель своей судьбы, строитель жизни, ответственный не только за себя, но за все и вся на земле, за настоящее и будущее мира. Появился герой — простой сын народа, воспитанный ленинской партией, который знает, куда и зачем он идет. Носитель великой коммунистической правды, этот герой черпал свои силы в единении с коллективом, а смысл своей жизни видел в борьбе за счастье своего освобожденного народа.

Новый герой обладал целостным, сильным характером, он был уверен в правоте своего жизненного дела. И от этого сила драматического конфликта только увеличивалась. Не через любование страданием, не через смакование мучений, а через их мужественное преодоление раскрывались новые глубины чувств.

Советский драматург не боялся показывать зло — вне зависимости от того, исходило ли оно от врагов или разъедало сознание друзей. Но он делал это для того, чтобы вызвать его на поединок и доказать, что зло победимо даже тогда, когда убивает, что победа над ним обусловлена сущностью нового социалистического общества. Смерть есть смерть, и она, разумеется, неизбежна, но ей не бывать властелином человека. И если ее нельзя окончательно победить, то следует отодвинуть к самым дальним биологическим границам. Пусть же до последнего часа торжествует молодость, здоровье и радость творческого созидательного труда,— утверждает своей пьесой советский драматург.

Так Александр Корнейчук вошел на сцену театров Болгарии. После освобождения от фашизма мы получили возможность познакомиться со всем творчеством украинского драматурга, автора пьес «Гибель эскадры», «Богдан Хмельницкий», «В степях Украины», «Фронт», «Макар Дубрава», «Калиновая роща», «Крылья». Многие из них были поставлены в наших театрах, и каждая несла свое духовное богатство, раскрывала перед нами новые стороны советской жизни, а также таланта и творчества самого писателя.

На новом этапе исторического развития у нас в Болгарии возникает ряд ситуаций, сходных с тем, что происходит в советском социалистическом обществе. В противоречиях ломается старый духовный мир, в сложном процессе крепнет новое сознание. Вот почему мы особенно ценим творчество художников-первооткрывателей этого нового духовного мира. Наши читатели и зрители живейшим образом откликаются на те художественные произведения, которые творчески разрешают проблемы их сегодняшней жизни.

Драмы и комедии Александра Корнейчука не только современны, они — своевременны, ибо появляются в самый необходимый момент. Талантливый советский драматург не ожидает, когда время отнесет события в сторону и течение потока жизни станет спокойнее. Он не хочет быть комментатором вчерашнего дня; сын класса-победителя, писатель, он всегда идет в первых рядах — сражается и наблюдает, пишет и тотчас же передает написанное, как новое оружие в руки бойца. Для него, как художника, нет большей радости, чем радость понять общественные конфликты в момент их рождения, решить их самому, прежде чем действительность успела подтвердить правильность этих его решений. Более того, для него недостаточно установить, подобно разведчику-наблюдателю, новые явления коммунистического бытия, он их защищает, укрепляет и очищает от плевел, помогает им укорениться, чтобы они стали примером, нормой поведения для миллионов людей.

Вековое рабство и годы революционных сражений научили болгар связывать и свою личную судьбу и всякую общественную деятельность с политикой. Вот почему мы считаем важным качеством и мировоззрения, и художественного мастерства украинского драматурга его умение путем правдивого раскрытия художественного материала подвести читателя к ясному политическому выводу, рассмотренному во всей его широте. Корнейчук выбирает из сложного многообразия жизни именно тот наиболее важный драматический узел, рассечение которого освобождает народную энергию, укрепляет веру миллионов борцов и строителей, делает путь каждой отдельной личности легче и светлее.

Каким бы ограниченным ни был, в силу самого характера драматического творчества, кусок общественной жизни, который писатель избрал для своего произведения, он никогда не показывает его изолированным от целого. Даже в неповторимом, исключительном жизненном случае всегда ощущается дыхание эпохи. Это нас окрыляет, заставляет забыть узкие рамки сцены, понять и почувствовать, что писатель, раскрывая лишь частицу могучего брожения освобождающегося человеческого духа, дает типичный пример его неукротимого стремления к совершенству.

И это не просто оголенное, словесно красивое, идеалистическое устремление, а искусство реальное, земное, коммунистическое, всегда связанное с трудом: фабричным, научным, организационным, военным, сельскохозяйственным, учебным — всем тем, что является единственной реальной основой осуществления благородных человеческих мечтаний.

Этого не могут понять враги коммунизма и прекраснодушные эстеты капиталистического общества, которые не вникают в новую материальную и духовную сущность нашего строя. Но для людей, претворяющих в жизнь мечты о свободном и радостном мире, новое искусство, наряду с другими факторами культуры, способствует установлению новых, коммунистических отношений между людьми.

Мы ценим творчество Корнейчука, как и других мастеров советской литературы, ибо оно непосредственно воздействует на наше мышление и чувства, влияет на нормы нашего общественного поведения. Каковы бы ни были его герои, в каких бы жизненных ситуациях они ни представали перед нами, они не только носители художественной информации, воспринимаемые нами как явление эстетического порядка, а друзья или враги, которые нас волнуют, от победы или поражения которых зависит все наше гражданское существование.

Мы разрешаем гигантскую общественно-историческую задачу. Как для писателя, так и для нас — читателей и зрителей — далеко не безразлично, кто герой нашего времени, где он — в первых рядах борцов и строителей или плетется в хвосте, учится он и растет, как все мы, или, оторвавшись от народа, гибнет. Победа не может быть достигнута блуждающими одиночками, бездеятельными ленивцами, полуграмотными обывателями и сверхграмотными болтунами. Нужна высокая идейность, живое чувство единства, горячая ненависть ко всему, что угнетает и унижает человека, нужен вдохновенный труд и готовность на самые большие жертвы.

В творчестве Корнейчука нас привлекает еще одна важная особенность. Сохраняя все своеобразие и национальный характер своих героев, всю атмосферу и колорит украинской жизни, мягкую песенность его родного языка, оно выходит из рамок бытового, национально-ограниченного и становится носителем духовного содержания социалистической эпохи.

Клеветникам советской литературы искусство Корнейчука должно запомниться как пример того, насколько беспощадны могут быть писатели в своей критике недостатков социалистической действительности, всего того, что тормозит развитие и совершенствование человеческой натуры. И чем больше прошлые заслуги, положительные качества его героев, тем беспощаднее драматург к их ошибкам, ко всему гнилому, что в них сохранилось и проявляется в их поведении. Писатель не дает нам возможности пожалеть «хорошего человека», если он неуч, если он отстает, если у него притуплено чувство ответственности перед народом. Наряду с этим, Корнейчук умеет показать, что последнее

состояние его героя — будь это результат поражения или победы — никогда не является конечным, а лишь исходной позицией для следующего сражения и нового продвижения вперед. Вот почему даже из самых трагических столкновений зритель не выносит чувства подавленности. Самое тяжкое поражение не заслоняет перед ним перспективу завтрашней победы.

Наделенный острым чувством театра, Корнейчук неизменно овладевает многообразным материалом жизни и оригинально воссоздает его в своих произведениях, находя новаторские решения, обогащающие драматургическое искусство. Он старается достичь такого атакующего драматического напряжения, когда в действие включаются все качества героя, даже те, которые он хотел бы скрыть или не подозревал в себе.

...Вместе с лучшими произведениями многонациональной советской литературы пришло в Болгарию и искусство Александра Корнейчука. Оно обогащает наш духовный мир и входит в нашу социалистическую культуру.

Болгарские читатели и зрители с нетерпением ожидают новых произведений писателя.

София

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Стефан Цвейг

ФРАНС МАЗЕРЕЕЛЬ

Ф. Мазереель (автопортрет).

Крупнейший бельгийский художник Франс Мазереель, о творчестве которого рассказывает в публикуемом ниже очерке С. Цвейг, родился в 1889 году во Фландрии. Годы учения он провел в Генте, старинном университетском городе с узкими кривыми улицами и стремящимися ввысь готическими соборами.

Мазереель рано начинает путешествовать. Он едет в Англию, потом в Тунис, поселяется в Париже. В это же время он пробует свои силы как художник.

В годы первой мировой войны Мазереель находится среди тех, кто активно борется против кровавой бойни. Он едет в Женеву и вместе с Р. Ролланом и другими французскими писателями участвует в работе Красного Креста; он выступает как художник-публицист, его работы того периода — яркий антивоенный документ, призывающий людей бросить оружие.

После окончания войны Мазереель снова поселяется в Париже. Романы в гравюрах появляются один за другим. Книги рассказывают о жизни капиталистического города, о борьбе человека за существование. Одна из лучших книг, посвященных этой теме,— «Картины большого города» (1920—1925 годы). Ромен Роллан в предисловии к этой книге сравнивает Мазереель по остроте, силе выразительности его образов и фантазии с Гойей и Домье.

Художник-публицист создает серии рисунков и гравюр, в которых разоблачает фашистские зверства, клеймит позором насилие и угнетение.

В 1935—1936 годах Мазереель посетил Советский Союз. Он много путешествовал по нашей стране, с большим вниманием присматривался к жизни людей. В Советском Союзе он пишет несколько картин маслом: романтическим и немного суровым выглядит Мавзолей, широкой и бесконечной кажется «Волга у Астрахани». Эпическим спокойствием полны на полотнах Мазереель пейзажи советской страны.

В СССР Мазереель иллюстрирует книгу И. Бехера «Возвращение неизвестного солдата» (Мазереель не раз выступал в качестве иллюстратора. Широко известны его иллюстрации к произведениям Эмиля Верхарна, Ромена Роллана, Оскара Уайльда, Шарля де Костера и многих других писателей).

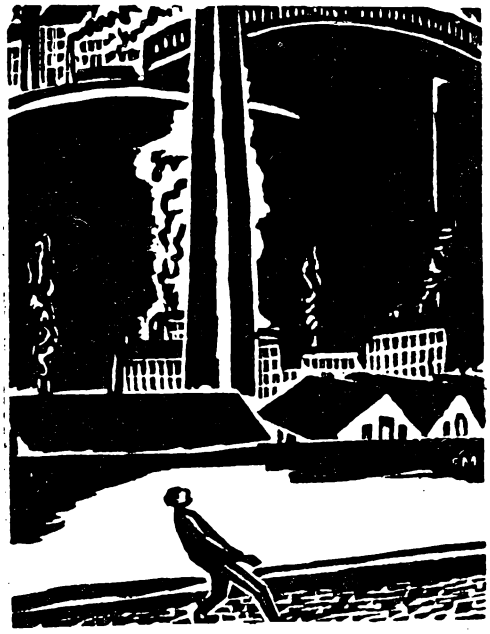
Но вот новая война. Мазереель создает серии рисунков, которые учат ненавидеть тех, кто ее развязал.

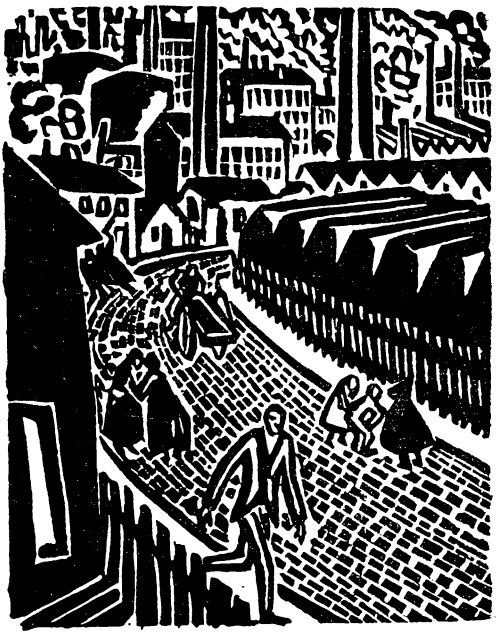
Теме второй мировой войны посвящена и серия рисунков «Помни!», созданная в 1945 году. Она призывает людей не забывать груды тел, пытки, казни, матерей, стенающих над трупами своих детей.

Но мрачная фантастика военных лет сменяется надеждой на будущее. «Юность» — так называет Мазереель новую серию рисунков, предисловие к которой написал Томас Манн. В этих рисунках Мазереель воспевает красоту, юность, счастье. Молодежь вспахивает землю и строит новые дома, стоит у станка, изучает науки, ходит в музеи, отдыхает и вновь работает.

«Место художника — в первой шеренге борцов за новую систему, исключающую эксплуатацию человека человеком и войны», — говорил Мазереель, и эти слова могут служить девизом его творчества.

Предисловие и подбор иллюстраций — П. Волковой. Сокращенный перевод статьи С. Цвейга с немецкого языка — Н. Бунина.

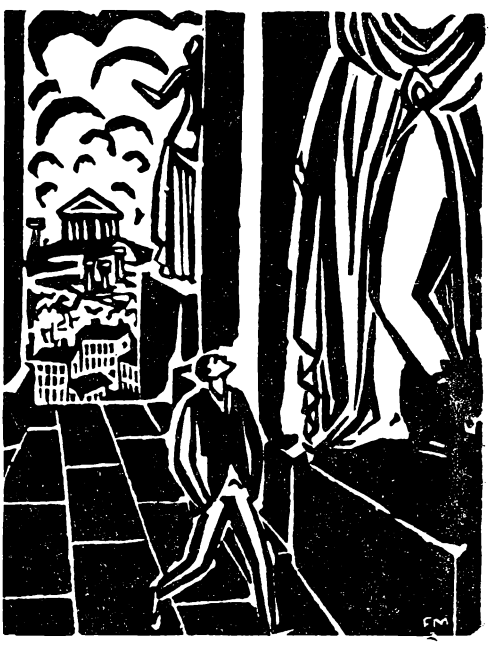


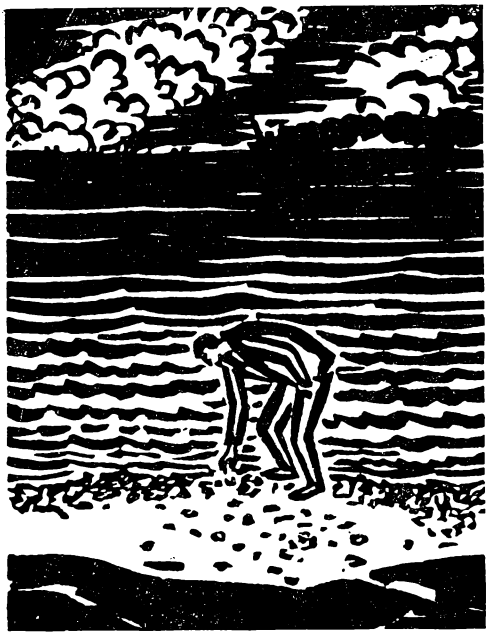


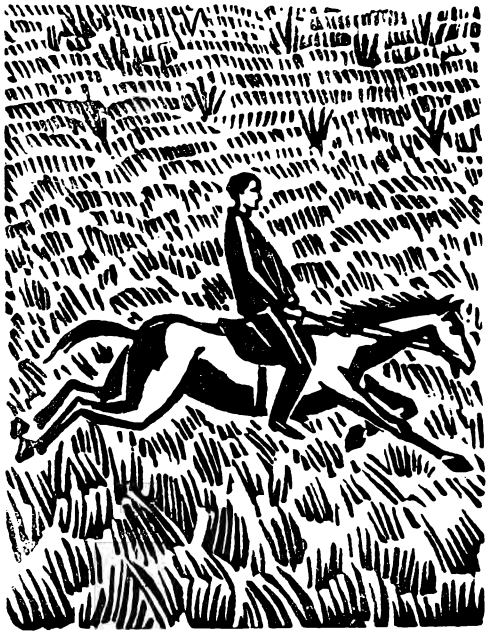
Из цикла „Часослов“

...Один из величайших умельцев нашей эпохи Мазереель является истинным ее сыном: в его личности, в его творчестве нет ничего демонического. Он принадлежит к тому высшему типу художника, чей гений порождается гармонией могущественных сил; я не думаю, чтобы Гендель, Рубенс, Уитмен, Толстой и Бальзак производили при жизни иное впечатление, нежели то, которое производит на нас стихийное явление природы. Таким совершенным людям дано творить неустанно, изо дня в день. Им неведомы скованность и застой, внезапные взлеты и падения творческой мысли, которые свойственны художникам, творящим лишь по настроению; их созидательная энергия подобна энергии родника, бьющего непрерывной и равномерной струей. Лишь только это естественное, непринужденное творчество

Из цикла „Часослов“







Из цикла „Часослов“

позволяет передать огромную полноту и многообразие мира, которые мы видим на полотнах Рубенса, слышим в музыке Генделя, в стихах Уитмена, а ныне наблюдаем в тысячах гравюр, созданных ярким и свежим талантом Франса Мазереэля. Колоссальная творческая продуктивность для таких людей — не чудо, а органическое свойство их натуры; чудом же является необъятный размах творения, его непостижимое совершенство, необозримость его горизонта.

Такие характеры, и, пожалуй, лишь они одни, обладают истинным даром универсальности. Только те, чьи сердца открыты для всего, что есть на свете, способны непредвзято воспринимать мир в его предметной образности; только их рукам послушны светлые и темные

з цикла „Часослов“

Америка.

Америка.

Из цикла „Картины большого города“

клавиши бесконечной клавиатуры жизни. Гендель создавал и веселые оперы с затейливыми ариями, и трагические мессы, Уитмен воспевал одновременно и тело женщины и небоскребы Бродвея, Бальзак мог описать и битву на Березине, и судьбу стареющей провинциальной барышни, и биржевые операции торговца парфюмерными товарами. Только они, владеющие гармонией материи и духа, обладающие спокойной, ничем не стесненной и не нуждающейся в подстегивании творческой энергией, только они способны создать orbis pictus — универсальный, космический образ мира. В подобной полноте мироощущения Мазереелю нет равных среди современных рисовальщиков и граверов. Темы его рисунков — весь современный мир

Из цикла „Картины большого города“

Новый бог.

Старый бог.

Урок танцев.

Нищий.

Из цикла „Картины большого города“

во всех его проявлениях и формах. Уже сейчас этот Неутомимый создал столько, что по его гравюрам можно получить полное представление о внешности нашей планеты. Если бы вдруг на Земле погибли все книги, памятники, фотографии и документы и уцелели лишь гравюры, которые Мазереель вырезал за десять лет, то по ним одним можно было бы восстановить весь облик современного мира; по его рисункам можно было бы узнать, как в наше время жили люди, как они одевались, представить себе чудовищную картину современной войны — фронт с его дья-

Из цикла „Картины большого города“

Америка.

На фабрику

Из цикла „Пляска смерти“

вольскими машинами истребления и тыл, гротескно изображенный, биржи и фабрики, вокзалы и корабли, тюрьмы, моды, людей — даже их типы, и сверх того почувствовать темп жизни нашего века, его опасный дух и гений. Кто еще, спрашиваю я, какой другой мастер рисунка может сравниться с ним — этим великаном графики — как по количеству, так и по документальной ценности созданного (я не говорю пока о качестве)? У кого среди современников вы найдете такое разнообразие тематики? Одного лишь прилежания и техники для этого недостаточно; здесь требуется нечто более высокое — способность связывать и обобщать, удивительная внутренняя восприимчивость ко всей совокупности жизненных явлений и одновременно — фанатичная любовь к детали.

Мазереель — полная противоположность экспансивным, порывистым натурам; его ум, его гений, как у Бальзака и Уитмена, устремлен к всеобъемлющему. Он любит все нации, все наре-

Из цикла „Пляска смерти“

Из цикла „Помни!“

чия, все эпохи, старое и новое, романтику и индустрию, и я не знаю ничего другого, что бы этот страстный друг мира ненавидел на нашей планете столь сильно, как те институты, смысл и назначение которых — охладить, заглушить, притупить горячую, полнокровную радость бытия, ограничить искусственными рамками живую жизнь. Он враг того государства, которое насаждает насилие и несправедливость, враг того «общества», которое рассматривает себя как «высшую» касту и во что бы то ни стало хочет сохранить свою власть; не будучи политиком, он тем не менее всегда борется на стороне слабых и угнетенных. В своих «гравюро-романах» — «Страдания человека», «Идея», «Солнце»,— в своей вымышленной автобиографии он пригвоздил к позорному столбу всех врагов свободы — поджигателей войны, спекулянтов, жрецов правосудия, полицейских — всех представителей эгоистической морали, защитников корыстных целей. Его мироощущение не выносит того,

Из цикла „Помни!“

Из цикла „Помни!“

что насилует мир, что нарушает священное единство вселенной. Его гений всегда устремлен к целому; подобно Уитмену, он хочет разложить мир на тысячи картин, изобразить его в бесконечном сплетении тысяч деталей, не утрачивая, однако, при этом идеи его единства.

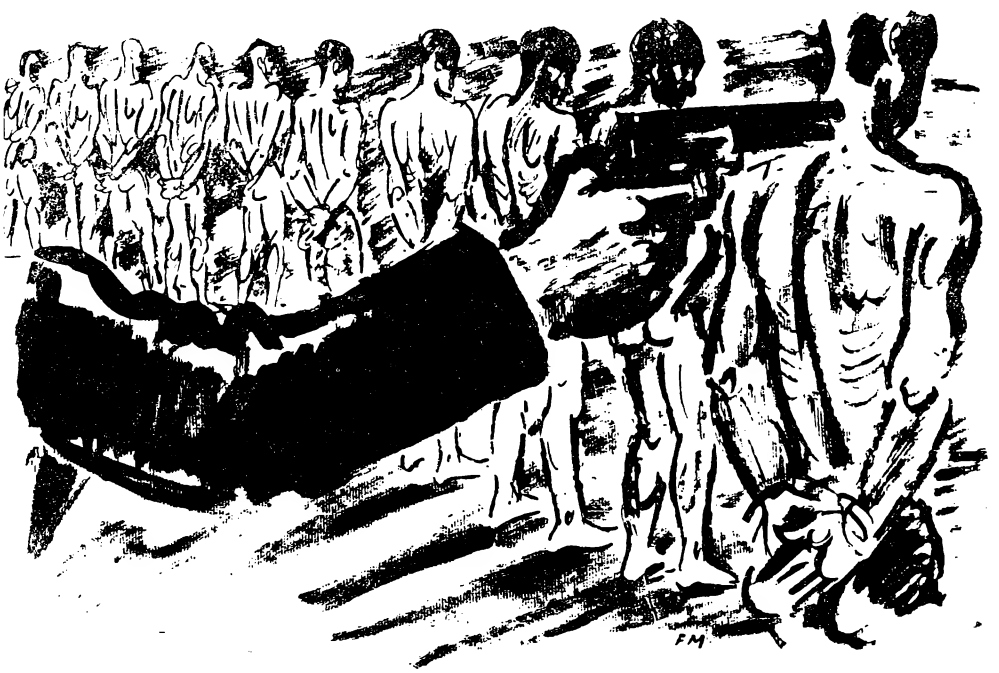
Он сделал уже десять тысяч рисунков и гравюр на дереве, и тем не менее, несмотря на эту беспримерную продуктивность, можно не опасаться, что его творческая энергия когда-либо иссякнет. Ибо запас его зрительных впечатлений неисчерпаем, как и сам мир. Его мозг подобен гигантскому иллюстрированному каталогу земного шара. Все, что он когда-либо видел хотя бы мельком, он запоминает навсегда. Он никогда не пользуется моделью, не делает

Из цикла „Помни!“

Из цикла „Помни!“

зарисовок с натуры, никогда не заглядывает в журнал мод, чтобы «правильно» воспроизвести какую-нибудь деталь одежды. Его память так же безошибочна, как и его рука; он помнит наизусть (и это производит потрясающее впечатление на всех, кто его знает) каждую вещь на Земле, во всех ее деталях, и в любой момент готов оживить ее прикосновением своего резца. Он может по памяти нарисовать любую мачту парусника, поршень локомотива, петлю рыбацкой сети. Он одинаково хорошо помнит, как выглядит чалма паломника, татуировка краснокожего и парадная форма прусских фузильеров. Он, не задумываясь, изобразит любое движение — прыжок хищника, вставшую на дыбы лошадь, изгиб поезда на повороте, взметнувшуюся рыбу, выражение радости и боли на человеческом лице. Нередко я сам бывал оче-

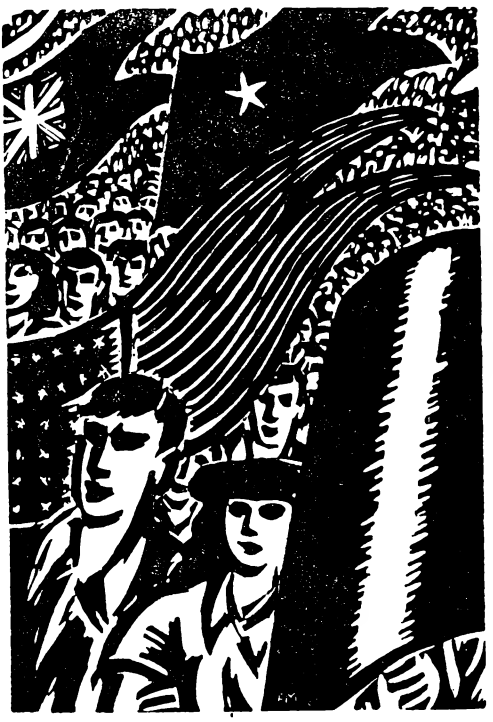
Из цикла „Помни!“



Из цикла „Юность“

видцем непостижимого: идешь с ним по улице незнакомого города, оживленно беседуешь, кажется, что он целиком погружен в разговор. И спустя год с изумлением обнаруживаешь на какой-либо его гравюре дверной молоток одного из домов той улицы, где мы с ним бродили, воспроизведенный во всех деталях с такой точ-

Из цикла „Юность“



Из цикла „Ночь“

ностью, будто он тайком его сфотографировал, или же — морду собаки, перебежавшей нам тогда дорогу. Ему достаточно лишь бросить мимолетный взгляд на любой предмет, любое движение, как они мгновенно фиксируются на светочувствительнейшем материале его зрительной памяти; они хранятся в ее гигантской кладовой, где ничто не ветшает и не блекнет, хранятся до тех пор, пока творческая воля художника не вызовет их из этого клокочущего океана форм и образов, и они не выльются послушно из-под его резца.

В этой беспримерной зрительной памяти, впитавшей в себя миллионы вечно меняющихся форм жизни, и в умении подчинить каждую из этих форм своему резцу и заключается гений Мазе-

Из цикла „Гнев“

Из цикла „Во имя чего?“

Церковь.

Из цикла политических рисунков

рееля. Сила воздействия его рисунков кроется не в особенностях его манеры, а в необычайной широте видения, составляющей главную черту его таланта. И она удивительно сочетается у него с самой обыкновенной житейской простотой — терпеливым, упорным трудолюбием мастерового человека. Как я уже говорил, в личности Мазерееля нет ничего демонического; его несколько тяжеловатая, спокойная медлительность напоминает твердую, мерную поступь крестьянина, шагающего по полю во время сева или жатвы. В искусстве же это постоянное стремление к бесконечно далекой цели выражается у Мазерееля в титаническом трудолюбии, в фанатической преданности делу, в том Nulla dies sine linea*, которое было присуще старым немецким мастерам. Окруженный рабочим инвентарем — резцом и дощечками,— Мазереель изо дня в день часами сидит за своим рабочим столом, подобно ювелиру, часовщику или граверу; и, как все эти труженики здорового, праведного ремесла, он любит свою работу, в которой есть что-то древнее, средневековое. В залитом электрическим светом, изрытом тоннелями метро, пронизанном потоками радиоволн современном Париже он работает точно таким же простым способом, каким задолго до него некий его предшественник вырезал в тесной монастырской келье свои деревянные гравюры,— таким же ножом, на таком же дереве, с тем же неисчерпаемым терпением. Ему дорога эта простая техника. Остановись все химические фабрики, производящие краски, сломайся все станки, ткущие холст, он спокойно продолжал бы работать. Ибо для того, чтобы изобразить мир, ему необходимы лишь нож и кусок дерева. Не гонясь за вдохновением, не нуждаясь ни в моделях, ни в темах, он мог бы творить так десятилетиями, не поднимая головы от своей работы,— настолько богат его внутренний мир и безгранично терпение. Он уже вызвал к жизни тысячи и тысячи образов, и я иногда шучу, что он мог бы построить себе дом или яхту из тех деревянных чурок, которые он перевоплотил в картины.

Особая привлекательность мазереелевского искусства заключается, на мой взгляд, именно в сочетании этой старинной техники гравюры, столь же примитивной, как и в эпоху ксилографий и семейных библий, с необычайно актуальной тематикой, насыщенной духом и ритмом современности. Это сочетание старого и нового запечатлел сам художник в автопортрете, помещенном в начале его книги «Воспоминания о моей родине»: он стоит посередине, между двумя мирами, между обеими Фландриями — сегодняшней, живой, с пролетариатом, машинами и огромными городами, и вчерашней — набожной, с колокольным звоном церквей и монастырей, где монахиня, потупив очи, мечтает о вечности...

На те же маленькие дощечки, на то же восьмисантиметровое пространство, пользуясь той же техникой, что и старые мастера, рисовавшие застывшие сцены из житий святых, Мазереель перенес новую стихию — кино. Его рисункам присуща быстрота, пульсирующая, взрывчатая сила кинофильмов (которые он очень любит, и даже написал сценарий одного из них); и стоит только собрать воедино эти застывшие кадры графического фильма, как они оживают, словно на экране, и проносятся перед нами стремительно, напряженно и захватывающе. В простом черно-белом созвучии этих ри-

* Ни одного дня без работы.

Из цикла „Земля под знаком Сатурна“

Рабство отменено...

Из цикла „Столица“

сунков ощущается нервозное, лихорадочное биение пульса нашего нетерпеливого двадцатого века. Художник стремится воплотить в жесткой и лишенной красок форме гравюры на дереве подвижность событий, вплоть до малейших подробностей, передать в предельно концентрированных образах квинтэссенцию действительности. Вот почему все его гравюры заполнены множеством деталей и вызывающих различные ассоциации символов. При первом взгляде улавливается только главная тема, и лишь потом, постепенно, вы с изумлением открываете поразительное богатство ее разработки...

В последние годы Мазереель в своих работах значительно перерос рамки искусства иллюстратора и создал новый, единственный в своем роде стиль «изоповествования» — роман, новеллу, рассказ в картинках...

Искусство Мазереля при всей его оригинальности необычайно демократично; он создает действительно «хорошие картины», удовлетворяющие тому требованию, которое Толстой предъявлял к «хорошим книгам», а именно — чтобы они были понятны всем: прислуге и художнику, студенту и профессору. И в самом деле, рисунки Мазереля, как и стихи Уолта Уитмена, принадлежат грядущей демократии. Они доступны и понятны каждому. Я уверен, что покажи я их рабочим и ремесленникам через проекционный фонарь, мне не пришлось бы давать дополнительных разъяснений; в то же время я знаю, что крупнейшие художники восхищаются его глубокой выразительностью.

Стремление к космическому неудержимо растет в его творениях вместе с мастерством. Если его первые книги были значительны, то последняя из них — «Город» — монументальна, как вечный памятник современному большому городу, этому пандемониуму всех страстей — с миллионами человеческих судеб, широчайшим потоком людских масс, трагическими контрастами нужды и пресыщенной роскоши, лишений и распутства. Здесь художник как бы созершил шаг от сонаты к симфонии...

Мазереель является для меня олицетворением ни с чем не сравнимой силы — силы самой Вселенной в ее бесконечной жизни — и зрелой, стойкой мужественности. В его гравюрах чувствуется дыхание космоса; созерцая их, вы, словно стоя на форштевне корабля, ощущаете и бескрайний простор воздушного океана, и стремительное движение судна, и бодрящее действие ветра и волн, этих свободнейших стихий мира. Он доброжелателен, как все естественное, возвышен, как истинный художник, как человек, которому дано одарять, вдохновлять и радовать других людей. И никогда я не сознавал так глубоко, как в его присутствии, правду эмерсоновских слов: «Большая сила дарует нам счастье».

1923 г.

ИНТЕРЕСНАЯ ПЬЕСА

□

Peter Hacks. Eröffnung des indischen Zeitalters. Schauspiel. Berlin, Henschelverlag, 1956.

□

Пьеса Петера Хакса «Начало индийского века» безусловно принадлежит к радостным явлениям в современной немецкой драматургии. Можно возражать против своеобразной интерпретации образов Колумба и королевы Изабеллы, которую дает в своей пьесе П. Хакс, можно даже оспаривать драматургическую концепцию автора, но одно остается несомненным: перед нами талантлизая пьеса. Может быть, следует прибавить к этому — своеобразная пьеса, необычная для нашего зрителя.

Драматургия Петера Хакса имеет многое, что роднит ее с драматургией Бертольта Брехта. Сам Хакс — автор молодой и многообещающий — не раз говорил, что считает себя его учеником.

Разумеется, «Начало индийского века» не ученическая копия, она возникла как результат творческого восприятия драматургической концепции Бертольта Брехта. Пьеса показывает нам Христофора Колумба в период с октября 1491 по октябрь 1492 года, то есть в заключительной стадии его «хождений по мукам» и в начале его путешествия. Потерпев полный крах при дворах Англии, Франции и Португалии, Колумб ищет поддержку при испанском дворе королевы Изабеллы. Столкнувшись с высокомерием дворянства, невежеством придворных ученых и кровожадностью инквизиции, Колумб готов в отчаянии отказаться от своих планов. Но неожиданная поддержка простых людей (хотя далеко не бескорыстная) придает ему новые силы, а счастливый случай позволяет получить помощь королевского двора. Корабль уходит в плавание.

Пересказывать содержание этой пьесы — задача столь же неблагодарная, как, скажем, пересказывать брехтовского «Галилея». Центр тяжести лежит не на фабульном развитии событий, исход которых и без того известен зрителю, не на исторически точном воспроизведении эпохи и ее героев. Центр тяжести пьесы перенесен драматургом на борьбу идей. Начало индийского века — это конец эпохи мракобесия. Это период, когда на смену вере пришло знание, на смену схоластике — наука. Королевский секретарь Патилас, в образе которого получили свое выражение силы средневековой реакции, яростно сопротивляющейся натиску возрождающегося человеческого духа, в своем запоминающемся монологе говорит: «Я знаю, что есть ученые, которые, так же как и вы, считают, что Земля — это шар. Этому обстоятельству мы не придаем ровным счетом никакого значения. Но вы хотите научить матросов, простой народ, плавать по морям вокруг света, как будто это их обычное ремесло. Если бы дело дошло до этого, то только тогда Земля стала бы круглой. Но, господа, шар не может быть устойчивым. Он приходит в движение, катится в пространство, разбивает небосвод и сотрясает вселенную».

Пьеса П. Хакса — это гимн беспокойной человеческой мысли, стремящейся вырваться на просторы знания. При этом П. Хакс несколько «модернизирует» образ Колумба. Автор в своем послесловии сам указывает на это обстоятельство и отстаивает свое право не только изображать действительность такой, какой она должна стать, но и показывать прошлое таким, каким ему следовало бы быть, потому что, глядя на сцену, «зритель часто воспринимает прошлое как настоящее». Эта концепция П. Хакса, сама по себе весьма спорная, в данном конкретном случае — в пьесе «Начало индийского века» — себя вполне оправдывает. В восьмой картине мы видим «сон Колумба», сон, в котором показывается оборотная сторона медали географических открытий и исследований. Колониализм, отвратительный уже в своей ранней стадии, начинает свое кровавое шествие. Автор нарушил хронологические рамки, показав зрителю последствия до достижения цели. Поэтому концовка пьесы заражает своим оптимизмом: подул благоприятный ветер,

и корабль Колумба несется вперед. Нет, конечно, не корабль! Это надежда человека, его беспокойная творческая мысль мчится на всех парусах навстречу новому веку.

Поставить пьесу Хакса не просто. Здесь требуется глаз и опыт умного и тонкого режиссера. Так же как и в пьесах Брехта, здесь требуется решение спектакля в условной манере. Но не в сухо-рационалистической, как, скажем, решен «Берлинским ансамблем» спектакль о Галилее, а скорее в атмосфере сказочной, романтической приподнятости. Усилия театрального коллектива будут вполне вознаграждены.

В. Девекин

КНИГА МАРИАН АНДЕРСОН

□

Marian Anderson. My Lord, what a Morning. New York, The Viking Press, 1956.

□

«My Lord, what a morning» — «Мой бог, какое утро» — эта первая строфа негритянского народного гимна стала названием биографической повести всемирно известной певицы Мариан Андерсон. Горячей любовью и уважением к своему народу, к его искусству, к его песне проникнута эта книга, написанная очень просто, скромно и правдиво.

...Детство в Филадельфии, полная лишений жизнь бедной негритянской семьи. После смерти отца-рабочего единственным источником существования семьи стала стирка белья. Мать стирает, а сестры — Мариан, Алиса и Этель — разносят выстиранное белье заказчикам.

Но вот Мариан, которая уже с раннего детства полюбила песню, легко и безошибочно подхватывая звучащие вокруг мелодии, к тринадцати годам приобретает популярность в своем квартале, становится незаменимой участницей церковного хора. Девочку начинают приглашать петь и в другие приходские церкви. Все свои скромные гонорары она отдает семье. «...Все это время я пела, не думая о том, *как* надо петь. Мое сердце было переполнено, и я хотела поделиться с людьми тем, что я чувствовала...»

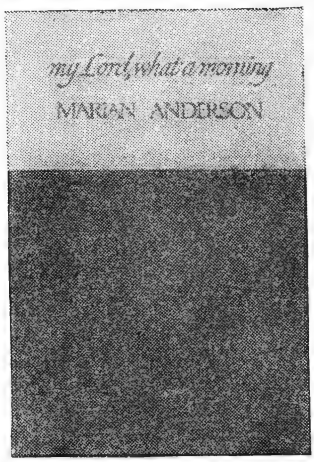
Благодаря материальной поддержке негритянского населения Филадельфии, Мариан получает возможность учиться пению у известного педагога Джузеппе Богетти. Но до того ей пришлось пережить жестокий удар: ей было отказано в приеме в Филадельфийскую музыкальную школу. «Цветных мы не принимаем», — сказала М. Андерсон молоденькая секретарша школьной канцелярии.

«...Я не могла произнести ни слова. Я только смотрела на эту девушку, взволнованная тем, что эта фраза была произнесена столь юным существом... Не знаю почему, но ее молодость потрясла меня не менее ее слов...»

Впоследствии певице еще не раз пришлось столкнуться с расовой дискриминацией. Но Мариан Андерсон не хочет много говорить об этом. Общий тон ее высказываний отнюдь не протестующий. Она глубоко проникнута духом всепрощения и любит свою родину такой, какая она есть. И все же душевная боль за унижения и страдания своего народа проходит красной нитью через всю книгу. Сколько печальных страниц Мариан Андерсон вынуждена посвящать рассказам об оскорблениях, которым она подвергалась будучи уже всемирно прославленной артисткой!

В главе «Пасхальное воскресенье» М. Андерсон подробно рассказывает о своем выступлении 9 апреля 1939 года в Вашингтоне. Профашистская организация «Дочери Американской Революции», в распоряжении которой находится лучший концертный зал города «Конститьюшнел-холл», категорически отказалась допустить негритянскую артистку выступить в стенах зала. И вот свыше семидесяти тысяч человек собрались на площади у подножья памятника Аврааму Линкольну, чтобы услышать пение М. Андерсон, чтобы продемонстрировать ей свои симпатии и сочувствие.

Даже в заключительной



главе книги, в которой М. Андерсон стремится всячески подчеркнуть свою веру в американский общественный уклад, она не может не сказать о преследованиях американских негров. С горечью она пишет:

«Несколько лет тому назад меня пригласили в Атлантик-сити и мэр города преподнес мне большой ключ в бархатной шкатулке, произнеся при этом длинную речь. У меня был ключ от ворот города, но я не могла получить места в гостинице поблизости от концертного зала...»

Наряду с главами, рассказывающими об этапах жизненного и творческого пути, о концертных поездках в Европу, о встречах с крупными музыкальными деятелями, Мариан Андерсон посвящает много страниц проблемам вокального искусства, вопросам постановки голоса, работе над репертуаром, грамзаписи, выступлениям перед микрофоном. Эти страницы представляют очень большой профессиональный интерес. Здесь содержится множество тонких наблюдений и глубоких суждений о при-

роде певческого звука, о развитии голосовых данных, о режиме певца.

Тепло написана глава «Россия», рассказывающая о двух концертных поездках в Советский Союз, совершенных Мариан Андерсон со своим аккомпаниатором Кости Веханеном зимой 1936 и летом 1937 гг. Артистка встретила в нашей стране исключительно теплый, сердечный прием. Вот как она описывает свой первый концерт в Ленинграде: «...После исполнения "spirituals" концерт должен был окончиться. От рояля до кулис было довольно далеко, и пока мы с Кости шли не оборачиваясь, позади нас усиливался шум. Он все рос и ширился и, когда мы пришли в артистическую комнату, этот шум вырос до грохота. Нам казалось, что сотрясается все здание.

— Что случилось?—спросила я.

— Не знаю,— отвечал Кости, смущенный не меньше меня.

Молодая женщина вошла в комнату и попросила нас выйти на сцену. Мы вышли, и то, что предстало перед нашими глазами, поразило нас. Половина публики — та половина, которая сидела в задних рядах,— ринулась в проходы и плотным кольцом окружила сцену. Те, которые сидели у самой сцены, стучали по ней кулаками. Низкие голоса гремели с русским акцентом "Deep River", "Heaven, Heaven". Мы исполнили несколько номеров на бис...»

Во время второго приезда в СССР М. Андерсон встретилась с К. С. Станиславским. Станиславский предложил М. Андерсон поработать под его руководством над партией Кармен. Это предложение глубоко тронуло и взволновало артистку. Однако обширный план гастрольных выступлений в Европе и Америке, а затем смерть Станиславского помешали осуществлению этого проекта.

Вспоминает М. Андерсон и о встрече с композитором М. М. Ипполитовым-Ивановым, в доме которого она познакомилась со многими деятелями советского искусства, и о посещении советского «короля джаза» Леонида Утесова.

Богатая фактическим материалом, проникнутая сознанием высокой ответственности перед искусством и перед своим обездоленным народом, книга Мариан Андерсон читается с живым интересом. Читатель проникается доверием и уважением к автору, глубоким сочувствием к судьбе талантливой негритянской артистки, к ее трудной, полной суровых испытаний борьбе за права человека, за права художника.

Г. Шнеерсон.

„СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" ЖЮЛЯ РОМЕНА

□

Jules Romain. Une femme singulière. Paris, Flammarion, 1957.

□

Последний роман Жюля Ромена «Странная женщина» несомненно нашел во Франции читателей. Вероятно, круг их узок, но есть все основания полагать, что состоит он из особ блистательных и влиятельных. Книга Ромена — упоенный рассказ о жизни и приключениях представителей «высшего света», весьма поучительное чтение для господина префекта парижской полиции, господина министра национальной обороны и даже для самого председателя совета министров. Надо отдать справедливость Жюлю Ромену: его роман — не просто светская сплетня. Писатель всерьез озабочен судьбами Должностей и Должностных лиц. Он руководствуется, по-видимому, прежде всего государственными интересами. И вся история, которую мы сейчас перескажем, есть не что иное, как назоучение для взрослых, басня с моралью.

Молодой парижанин, студент юридического факультета Анри Шоврель хочет жениться на своей однокурснице Женевьеве. Казалось бы, ничто не мешает их союзу. И все-таки перед влюбленными возникает препятствие. Виной всему—роковая мысль, которая приходит в голову будущему молодожену. Это злосчастная мысль имеет, с точки зрения автора, глубокую социальную основу.

Анри Шоврель — единственный сын умершего богача, профессора-юриста; мать Анри — блестящая светская дама, хозяйка изысканного парижского салона. Дипломаты, министры и знаменитые банкиры пьют в ее доме коктейли и обсуждают последние новости. А родители Женевьевы — люди среднего достатка, добропорядочные и респектабельные буржуа. Анри, вынужденный вести в доме матери великосветский образ жизни, осуждает своих знакомых за суетность, «дурной запашок». С его точки зрения, круг Женевьевы куда более «нравственно элегантен». Противопоставление богатых буржуа—буржуа очень богатым составляет одну из центральных «проблем» книги и приводит к «острому конфликту». Конфликт этот оказывается в конце концов неразрешимым. Средняя буржуазия честнее и нравственно устойчивее крупной, но зато вульгарнее и пошлее; этически превосходит ее, но с эстетической точки зрения невыносима.

Попивая кофе в обществе своей невесты, Анри вдруг задумывается: откуда же, собственно, его мать добывает деньги? Как она ни богата, размышляет Анри, но все-таки живет не по средствам. Что если мать, женщина еще не старая и привлекательная, находится на содержании у кого-нибудь из завсегдатаев

своего салона — скажем, посла одной из стран Латинской Америки или французского военного министра? Имеет ли он право ввести свою чистую молодую жену в дом, где живет продажная женщина?

Правда, сама Женевьева придерживается несколько другого мнения на этот счет. Она порывается сказать, что люди, «трагически воспринимающие» подобные ситуации, уже давно вышли из моды; однако тут же спохватывается: такие мысли нельзя высказывать перед Анри — юношей «высокой нравственной честности», достойным членом общества «Все или ничего».

«Все или ничего» — современная капиталистическая утопия, сочиненная Жюлем Роменом, очевидно, для того, чтобы заменить устаревший для буржуазии гуманизм Телемской обители Рабле. Жюль Ромен трогательно и возвышенно пишет о союзе молодых капиталистов, объединившихся на основе стремления к нравственному очищению: «Моральное разложение молодежи, к которой мы принадлежим, внушает нам отвращение... Мы хорошо знаем, что будем совершать ошибки, что и у нас будут недостатки. Однако мы не станем искать ни оправданий, ни смягчающих обстоятельств. Мы постараемся давать беспощадную оценку». Чтобы предохранить свой класс от морального разложения, «все-или-ничегошники» занимаются на своих собраниях яростным саморазоблачением или разоблачением своих близких. При этом они старательно оговариваются, что их деятельность не имеет ничего общего с «коммунистической самокритикой». Еще бы!

Руководимый высокими моральными соображениями, Анри начинает тайком разведывать источник доходов своей матери. Он отправляется к поверенному в денежных делах семьи. Из разговора с нотариусом становится ясно — увы, слишком ясно! — что дело нечисто. Так начинается детективная линия книги Жюля Ромена, которая ставит ее ниже даже «полицейских романов», где авторы как-никак стремятся сохранить естественность в «разматывании клубка».

С помощью нотариуса и профессора Клавье (старого друга отца) Анри выясняет, во-первых, что мать его действительно живет не по средствам, во-вторых, что она ему вовсе не мать, а мачеха, и, наконец, что она не просто странная женщина, а женщина странная во всех отношениях.

Нравственный ригорист Анри не очень-то стеснялся шпионить за госпожой Шоврель и тогда, когда считал ее своей родной матерью. Теперь же, когда госпожа Шоврель оказывается лишь женой его покойного отца, женщиной, заменившей ему мать, он не знает никакого удержу. Если он соблюдает известную осторожность, то только потому, что нотариус посоветовал ему сперва уговорить тайно преследуемую женщину произвести раздел имущества и лишь после этого нанести ей смертельный удар. Благодаря стараниям Анри стремительно возрастает число доносов, помогающих раскрыть подлинное лицо госпожи Шоврель. Прелестная аристократка оказывается опасной политической авантюристкой. Господин префект парижской полиции вынужден лично заняться изучением ее досье: дело в том, что префект, представленный Жюлем Роменом как «самый человечный человек на свете», очень беспокоится за своего приятеля министра национальной обороны, который собирается сделать «странную женщину» своей законной женой. На страже интересов наивного министра-холостяка стоит не только префект, но и сам председатель совета министров, который, потягивая коктейли в доме госпожи Шоврель, мучается сомнениями насчет ее добропорядочности.

Выше мы отметили существенную черту романа. Ни префект, ни министр национальной обороны, ни председатель совета министров не имеют имен, и роман этот представляется притчей о государственных мужах, к которым втерлась в доверие опасная интриганка, призывом к «чистоте рядов» высшей капиталистической бюрократии.

Остается упомянуть еще об одной характерной стороне последнего романа Жюля Ромена.

Кем же в конце концов оказывается загадочная женщина, волнующая умы и чувства столь влиятельных должностных лиц? Ну конечно же, советской шпионкой!

История не доведена в книге до конца. Совместные усилия Анри, префекта и полицейских инспекторов приводят к тому, что кольцо вокруг «странной женщины» смыкается. И вдруг эта изобретательная, так и не пойманная с поличным женщина в один прекрасный день удаляется в монастырь. Автор обещает нам продолжение, в котором он прольет свет на все белые пятна в биографии героини. Каких только чудес не станешь ожидать от автора, столь озабоченного правдой жизни! Читатель «Странной женщины» не очень удивится, если госпожа Шоврель окажется переодетым мужчиной, русской княгиней или папой римским. В мире безвкусной выдумки возможно решительно все.

Элементы пошловатой светскости и дешевого детектива были присущи романам Жюля Ромена даже в лучшую пору его писательской деятельности. Надо ли доказывать, что его «Странная женщина» свидетельствует о полной деградации писателя.

В последних книгах Жюля Ромена мы явственно видим апологию капитализма, лакейскую заботу об его «оздоровлении», полное игнорирование интересов французского народа. Тем самым Жюль Ромен поставил себя вне пределов большой литературы. Литературные качества «Странной женщины» это вполне подтверждают.

И. Шкунаева

СПРАВОЧНИК ПО АМЕРИКАНСКОМУ ТЕАТРУ

□

The Best Plays of 1955-56. New York, Dodd, Mead & Co, 1956.

□

Вышел в свет очередной, тридцать девятый выпуск «Ежегодника Бернса Мэнтла» (The Burns Mantle Yearbook), самого, может быть, известного в США театрального справочника — «Лучшие пьесы 1955—1956 года».

Название книги не соответствует содержанию, ибо текстов пьес в ней нет. Они присутствуют номинально, в виде подробного пересказа с включением небольших наиболее эффектных сцен и диалогов. Конечно, такое изложение всего лишь дает приблизительное представление о пьесе, может только заинтересовать или оставить равнодушным.

Приведем — в пересказе — несколько высказываний из статей, составивших первый раздел сборника.

...В США в отличие от предыдущего сезона в 1955—1956 году комедия обогнала драму, причем жанровое разнообразие комедийных спектаклей простиралось от «высокой» философской комедии до фарсов. Комедия совершенно вытеснила трагедию; чем беднее становятся театры, тем чаще приходится им ставить легковесные спектакли, чтобы возместить расходы. Плохо обстояло дело с музыкальной комедией. Блеск, яркость, пышность постановки, то есть те самые качества, которые делают музыкальную комедию оригинальным достижением американского театра, сейчас, по-видимому, ведут ее к упадку...

...Значительную часть американской публики отталкивают от профессионального театра смакование фривольностей и высокая стоимость билетов. Поэтому зрители охотнее посещают более целеустремленные и уютные «маленькие театры» штатов. Заслуживает упоминания труппа Экторс Уоркшоп в Сан-Франциско, которая с успехом поставила в прошлом сезоне «Матушку Кураж» Брехта, «Суровое испытание» Миллера, «Камино Реаль» Вильямса и несколько других спектаклей...

...Нью-Йорк может гордиться рядом спектаклей классической драматургии. Вместе с тем, все резче и резче обозначается линия, разделяющая Оф-Бродвей (так называются театры, в большинстве своем не коммерческие, находящиеся вне Бродвея) с его любовным отношением к классикам и Бродвей с его кассовой логикой. В сезоне 1955—1956 года вне Бродвея было поставлено свыше сорока пьес выдающихся драматургов прошлого. Оф-Бродвей сейчас становится чуть ли не единственным местом в Нью-Йорке, где можно посмотреть Шекспира, Чехова, Мольера. Многие выдающиеся пьесы сезона принадлежат перу иностранных авторов...

Эти высказывания извлечены из статей в ежегоднике, посвященных театральному сезону на Бродвее, вне Бродвея, в Чикаго и в Калифорнии. В этом же разделе, которым открывается сборник, помещены обзоры театральной жизни Лондона и Парижа.

Как бы ни ценны были суждения американских критиков, все же они страдают известной односторонностью. Свидетельством тому — пьесы, включенные в ежегодник.

По издавна установившейся традиции книга содержит десять лучших, по мнению составителя Луиса Кроненберга, пьес, шедших в театрах США в прошлогоднем сезоне. Можно спорить по поводу той или иной пьесы, но все же взятые в целом они отражают перемены, совершающиеся в театральной жизни Соединенных Штатов. Наиболее важный и общий признак включенных в ежегодник пьес — это заметный отход от декадентской драмы, стремление сблизить американский театр с действительностью. Большинство пьес в той или иной степени затрагивает существенные вопросы международной и американской жизни. Такова антифашистская пьеса «Дневник Анны Франк» Ф. Гудрич и А. Хэкетта; такова и известная советскому читателю пьеса А. Миллера «Вид с моста», обличающая доносчика-отщепенца. Симптоматично появление на нью-йоркской сцене пьесы Жана Жироду двадцатилетней давности «Троянской войны не будет» (на Бродвее пьеса идет под названием «Тигр у ворот»), в которой драматург, пародируя сюжеты древнегреческой мифологии, разрабатывает антивоенную тему: троянский Гектор находит союзника в лице Улисса, и они вместе пытаются предотвратить войну.

Весьма примечательна историческая драма Жана Ануйля «Жаворонок» в обработке Лилиан Хеллман. В центре драмы — героический образ Жанны д'Арк, утверждающий человеческое мужество. Теологическим ухищрениям судей и осторожным рассуждениям Варвика Жанна противопоставляет свою веру — веру в человека. «В самые горькие минуты отчаяния человек остается воплощением силы, мужества и величия... Человек — вот настоящее чудо», — говорит Жанна перед казнью. Гуманистические мотивы сближают драму со «Святой Иоанной» Бернарда Шоу.

Если включение в ежегодник невыразительных комедий Торнтона Уайлдера и англичанки Энид Бэгнолд можно объяснить особым пристрастием нью-йоркских театралов к легкому жанру, то пьесу Айры Левина «Не время для сержантов» вряд ли можно назвать «простодушным развлечением», как определяет ее издатель. Это скорее ремесленная пропагандистская поделка. Улыбающийся новобранец Вилли Стокдейл — герой пьесы — как будто сошел с плаката «Вступай в армию Соединенных Штатов».

Так же сомнительны восторги издателя по поводу музыкальной комедии «Моя прекрасная леди», которая

является свободной переработкой «Пигмалиона» Шоу, разбавленной опереточными куплетами.

Кроме обзорных статей и пересказов пьес, ежегодник содержит еще множество справочного материала и статистических данных.

Значительный интерес представляет большой справочный раздел «Пьесы, поставленные в Нью-Йорке с 1 июня 1955 по 31 мая 1956 гг.». Здесь приведены сведения о том, где и сколько раз была поставлена та или иная пьеса, указаны имена режиссеров, постановщиков, актеров и т. п. Внимательно просматривая этот раздел, поражаешься, как много пьес сходит со сцены после пяти или десяти представлений. Более трети всех театральных коллективов поставили в сезоне только по одной пьесе.

О том, какие финансовые затруднения испытывают постановщики «серьезных» пьес, свидетельствует специальная таблица. Среди «финансовых неудач» обнаруживаешь «Тамерлана Великого» Кристофера Марло, «Красные розы для меня» Шона О'Кейси и даже пьесу, включенную составителем ежегодника в число десяти «лучших»,— «Вид с моста» Артура Миллера.

В ежегоднике есть список литературы по театру, изданной в текущем году, и перечень пьес, удостоенных в разное время премиями Пулитцера и нью-йоркского Общества театральных критиков, и различные указатели имен, и много других порой ценных, порой бесполезных сведений.

Г. Злобин.

„КРАСНЫЙ СВЯЩЕННИК"

□

Wyndham Lewis. The Red Priest. London, Methuen and Co Ltd., 1956.

□

Английская публика устала от развлекательных пьес, приключенческих фильмов и детективных романов. Читатели тянутся к серьезным книгам, в которых ставятся острые проблемы современности. На этой тяге читателя к серьезной литературе и пытался сыграть известный своими декадентскими вкусами и реакционными взглядами английский писатель Уиндхэм Льюис.

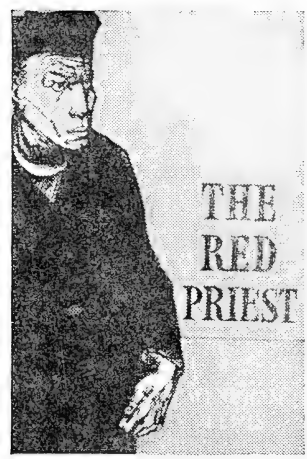
Впрочем, книга эта рассчитана не только на тех, кто ищет интеллектуального чтения. Льюис не пожалел ни труда, ни писательской сноровки, которой, надо сказать, он не лишен, чтобы привлечь самых различных читателей. В романе можно найти и острую интригу и весьма популярный «взрослый» подход к проблемам пола — словом, приманки на все вкусы.

«Красный священник» — этот заголовок на ярко-красной полосе пересекает белое поле обложки. С левой стороны — фигура в одеянии священника. Сразу же поражает несоответствие костюма и лица человека, изображенного художником: с обложки смотрит неандерталец — тяжелая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза, выдающиеся скулы. Это и есть герой книги, приходский священник Кард. Заинтригованный контрастом между обликом героя и его саном, читатель открывает книгу.

У. Льюис рисует человека сильного и деятельного, живущего в гуще современных событий и отнюдь не чуждого мирским треволнениям. Преподобный Кард — убежденный борец за правду. Он мечтает вернуть своей пастве утерянные идеалы, проповедует с кафедры эгалитаризм раннего христианства. За все это газеты и называют Карда «Красным священником».

Льюис, казалось бы, выступает как объективный биограф своего героя. Он не спешит поддержать или опровергнуть мнение газет и предоставляет читателю самому познакомиться с Кардом и составить о нем мнение в ходе повествования. Этой авторской задаче подчинена и своеобразная композиция книги. Целые главы ее посвящены изложению проповедей Карда, его лекций, книг, которые читает он или другие персонажи.

Из этих проповедей и лекций читатель узнает главную идею, лежащую в основе «нового мировоззрения» Карда. «Красный священник» считает, что христианство очень близко к коммунизму «в его чистом виде», что «программа спасителя мало отличается от программы большевиков», что Англии суждено вскоре стать «методистским вариантом России» и поэтому надо сблизиться с русскими, чтобы понять Россию и найти путь к сосуществованию с ней. Автор ни прямо, ни устами других персонажей не комментирует эти заявления Карда. Но «объективность» Льюиса всего лишь композиционный прием. По мере изложения событий читателю становится очевидно, что перед ним именно неандерталец — человек с духовным обликом и умственным кругозором дикаря, убийца (Кард убивает в драке своего помощника —



викария), полузверь, умеющий доказывать свою правоту лишь кулаками. На всем протяжении книги образ Карда не претерпевает никаких изменений, хотя автор сталкивает его с различными людьми, показывает в любви и в гневе. Как в заправском детективе, Льюис сначала просто умалчивает о том, каков в действительности его герой.

Кард — персонаж отрицательный, способный вызвать у читателя лишь отвращение и презрение. В то же время это образ дидактический, своего рода жупел, долженствующий оттолкнуть читателя от идеи, которую сам автор начисто отвергает. Эта идея — возможность сосуществования различных социальных систем. Ради ее развенчания и написана книга.

Льюис не случайно назвал свой роман «Красный священник». Он хотел вызвать у читателя определенные ассоциации. В Англии, да и за ее пределами, «Красным священником» называют настоятеля Кентерберийского собора д-ра Джонсона. Друзья произносят этот своеобразный титул с уважением, враги — с ненавистью. Разумеется, речь идет не о внешнем сходстве, не о схожести ситуаций и поступков. Название книги по замыслу Льюиса должно натолкнуть читателя на аналогию: «Красный священник» тоже проповедует сосуществование и духовную общность народов. Эти идеи близки Карду, следовательно...

Но, быть может, Льюис с бо́льшим успехом утверждает какие-нибудь свои идеи? Тщетно перелистываешь книгу в поисках положительного идеала, мыслей, наталкивающих на раздумье, персонажей, достойных подражания. Когда закрываешь роман, остается ощущение, что рукой автора водили чувство безысходности и страх перед будущим.

И. Кулаковская.

„ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ"

□

William Heinesen. Det fortryllede Lys København, Gyldendal, 1957.

□

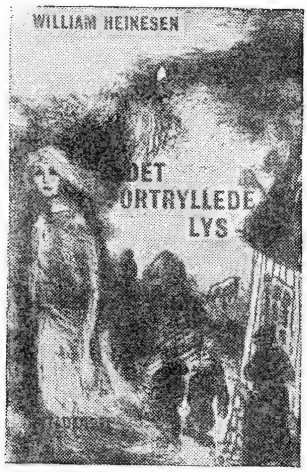
Одной из интересных книжных новинок Дании, появившихся в текущем году, является сборник рассказов Вильяма Хейнесена «Волшебный свет». Вильям Хейнесен — видный представитель не только литературы своей родины — Фарерских островов, одной из самых молодых литератур, но и датской литературы в целом. Его произведения переведены на многие языки мира, в том числе на английский, немецкий, исландский, чешский.

Как и предыдущие книги, новый сборник произведений Хейнесена посвящен его родине — группе островков, омываемых суровым морем,— и упорной борьбе фарерцев со стихией. В рассказах выпукло и сочно нарисованы образы людей, несущих груз вековых предрассудков, и тех, кто смело порывает с ними.

Со страниц книги зримо встает «старая, смешная столица Торсхавн, которая, как это ни странно, не сумела выбрать себе разумного места у какого-нибудь удобного фиорда, а вросла в открытый скалистый берег, изъеденный морем, с бесчисленным множеством мысов и шхер. В зимнее время прибой разгуливает между домами, заливая узкие и крутые улочки соленой пеной».

Несколько рассказов посвящены древним фарерским поверьям. «В тысячелетней истории Фарерских островов тролли, черти и призраки играли исключительную роль. Можно сказать, что каждый герой, каждый выдающийся человек, которым может похвастаться наш народ, одной ногой всегда стоял в мире сказок...» — пишет Хейнесен.

Иногда этот мир раскрывается писателем как мир губительный; человек, подчинившийся таинственным злым силам, лишается воли и способности бороться. Но чаще Хейнесен видит в нем здоровую народную фантазию. В одном из рассказов злые силы доводят до гибели двух старых супругов; приметы убеждают их в том, что они обречены, никто и ничто не может их спасти. А в другом—сказочное существо, полуживотное-получеловек, предстает добрым помощником людей,



символом жизни и любви ко всему живому.

В рассказе «Крылатый мрак» маленькие сестра и брат идут ночью со срочным поручением из одного поселка в другой. Фантазия девочки неистощима, она населяет все вокруг страшными и чудесными существами. Ее младший братишка — маленький и бесстрашный мужчина — никак не может понять ее страхи. Он видит только то, что существует на самом деле — кусты, кошку, простого живого человека.

В «Улыбке неба» подростки находят запрещенную

книгу о строении вселенной. Один из них тайком уносит книгу и, спрятавшись в пещере у моря, наслаждается открывающимся перед ним миром. Книгу приходится бросить в море. Но она уже заронила семена знания в душе мальчика. «Мне трудно было представить, что она исчезла навсегда, поглощенная сырым и равнодушным мраком. Она все еще горела сладким и тревожным огнем в моей душе, тихим пламенем благоговейного страха, жажды познания и глубокой влюбленности».

Хейнесен — многогранный писатель большого диапазона. Ему принадлежат пять сборников стихов и пять романов. Роман «Черный котел» (1949 г.) по праву считается в Дании одним из значительнейших произведений о лихорадке наживы и спекуляции во время второй мировой войны.

В 1950 году вышел в свет роман «Потерянные музыканты», написанный в манере древних саг и напоминающий некоторые романы Халлдора Лакснесса. Книга эта — и разящая сатира на тупость и ограниченность мелкой буржуазии, и поэтический гимн музыкантам, видящим смысл жизни не в деньгах и власти.

Вильям Хейнесен — большой и умный писатель, волшебным светом своего таланта он озаряет новый, неизвестный мир.

Н. Крымова.

ВЬЕТНАМСКИЕ КА ЗАО

□

Nguyễn Đăng Châu
Ca dao cũ và mới
Hà-Nội, 1955

□

«Ка зао» означает по-вьетнамски «народная песня». Обычно это двух- или четверостишия, иногда шестистишия, реже — трех-, восьми- и многостишия. По своему характеру ка зао напоминает персидскую рубаю или нашу частушку. Во вьетнамском литературоведении установилось традиционное деление ка зао на три основных разряда: «фу» — стихотворения-описания; «ти»—стихотворение, построенное на сравнении или противопоставлении; «хынг» — «вдохновения», то есть стихотворения, написанные в приподнятой интонации. Кроме того, различают и смешанные виды — сочетания «фу» и «ти», «фу» и «хынг», «хынг» и «ти» и т. д.

Однако ритмическая организация ка зао почти всегда одна и та же — это чередование шестисложного и восьмисложного стиха. Поскольку во вьетнамском языке нет силового ударения и каждый слог характеризуется одним из шести музыкальных тонов, то особую роль приобретает рифма, которая, как правило, очень богатая и точная.

В последнее время вьетнамские литературоведы, обращая большое внимание на изучение своего классического наследия, много занимаются исследованием ка зао. В конце 1955 года в Ханое вышла большая работа преподавателя Ханойского педагогического института Нгуен Данг Тяу «Старые и новые ка зао».

Книга представляет собой первый большой свод ка зао (несколько сот стихотворений) с подробными комментариями составителя. В вводной главе автор объясняет характер старых ка зао, рассматривает их происхождение и процесс создания. Истоки ка зао автор выводит из устного народного творчества и подчеркивает их необычайную популярность. Затем автор приводит ка зао, возникновение которых относится к периоду феодализма. Среди стихов, отображающих жизнь крестьян, приводятся ка зао бытовые, любовные и шуточные, философские и исторические. Полны социального звучания ка зао, относящиеся ко времени французского и японского колониального владычества. Третья часть книги носит название «Ка зао периода войны Сопротивления». Сюда включены стихи, созданные народом в последнее десятилетие, и ка зао, написанные современными поэтами То Хыу, Ту Мо, Чан Хыу Тхунгом, Вьет Зунгом и другими.

Автор отмечает, что во Вьетнаме трудно найти деревню, в которой не было бы своих создателей и хранителей народных песен. Всю жизнь вьетнамец не расстается с ка зао. Она его спутник в дороге, помощник в труде, наставник в трудную минуту жизни, советчик в любовных делах, гость на празднике. Пройдя через века, ка зао вобрала в себя мудрость народа, отразила его историю, труд, борьбу, стремление к свободе и счастью.

Вот как незатейлива, но колоритна ка зао, показывающая труд крестьян:

Послушай, буйвол дорогой,
Пахать со мной ты будешь вместе поле.
Труд тяжкий — наша доля.
Работай — не ленись.
Когда зазеленеет рис,
Я угощу тебя тогда травою.

Клеймя угнетателей народа, ка зао наделяет простых людей лучшими человеческими качествами. Простой труженик предстает в них человеком скромным, но полным чувства собственного достоинства.

Мы режем траву и плетем,
Бамбук дерем и кроем нашу крышу.
С тобой мы весело живем,
В домах богатых жизнь скучней, я слышал!

Процесс создания ка зао продолжается и сегодня. Но теперь это песни о борьбе, о завоеванной свободе, о новой жизни. В годы войны и Сопротивления ка зао сопровождала партизан и бойцов народной армии в их трудных боевых рейдах, веселила на привале. Профессионалы-поэты прибегали к ней, создавая боевые стихи, про-

славляющие смелость и героизм, стремление бороться до победного конца.

Интересная книга Нгуен Данг Тяу «Старые и новые ка зао» положительно оценена вьетнамской критикой как первый шаг на пути собирания и научного изучения классического наследия древней страны.

В. Карпов

КНИГИ О ДЕТСТВЕ

□

ابراهيم عبد الحليم
ايام الطفولة
القاهرة، دار الفكر، ١٩٥٥
انيس فريحة
اسمع يا رضا!
بيروت، مكتبة خياط، ١٩٥٦

□

В Каире и в Бейруте почти одновременно появились две новые книги о детстве, две автобиографические хроники. Этот жанр зародился в литературе арабских стран лет двадцать — двадцать пять тому назад, когда появились повести Таха Хусейна «Дни» и Тауфика аль-Хакима «Возвращение духа» — книги, известные советскому читателю.

Египетский писатель Ибрагим Абд аль-Халим в повести «Дни детства» описывает жизнь провинциального городка в тридцатые годы. Он вспоминает о школе, в которой учился из милости, так как родители не могли внести плату за обучение, о жестоких учителях и надменных товарищах, сынках богатых родителей. Вспоминает о своей семье — больном отце, вечной труженице матери, старшей сестре, которая с раннего утра до позднего вечера шила, чтобы дать возможность учиться братьям. Мальчик не мирится с несправедливостью, тяжело переживает обиду. В 1933 году он вместе со взрослыми участвует в демонстрациях, требуя улучшения условий жизни и ухода из Египта англичан.

«Дни детства»—не первая книга Ибрагима Абд аль-Халима. В своих ранних произведениях он, по выражению одного египетского критика, «видел беды жизни, но не показывал дороги к будущему». В этом смысле повесть «Дни детства» — шаг вперед в творчестве писателя. «Я узнал людей, сблизился с ними и полюбил их,— говорит Абд аль-Халим в предисловии к повести.— Я узнал, что жизнь — это нужда, голод, гонения и лишения. Я узнал, что миллионы детей так же страдают, как страдал я... И я написал эту книгу воспоминаний».

Анис Фрейха, автор сборника рассказов «Слушай, Рида!» — не писатель профессионал. Он преподаватель. Анис Фрейха любит свою родину — маленькую ливанскую деревушку — и рассказывает своему сыну Рида о годах своего детства, о суровой, но поэтичной деревенской жизни. Он хочет, чтобы изнеженный городской жизнью Рида тоже полюбил ливанскую деревню, полюбил здоровый физический труд.

Рассказы Аниса Фрейха просты, безыскусственны, как и сама жизнь, о которой он повествует. Красочен язык рассказов, написанных на сирийско-ливанском диалекте, любовь к которому он стремится привить своему сыну. Удались автору портреты жителей старой ливанской деревни: старика-труженика, для которого земля — самая чистая вещь на свете; юноши, который в погоне за счастьем едет в Америку и гибнет там. Трогательны образы женщин, безгласных, угнетаемых, но бесконечно преданных своей семье. Анис Фрейха описывает не только суровые будни, но и веселые праздники, забавы и игры ребят, обряды и обычаи ливанской деревни.

«Слушай, Рида!»—первая книга Аниса Фрейха. В ней можно отметить ряд недостатков в композиции, отборе материала (некоторые рассказы — не для детей), известную сентиментальность. Но ей присущи оптимизм, простота и ясность формы, активное отношение к изображаемому—качества, которые становятся все более и более характерными для развивающейся реалистической литературы арабских стран.

В. Борисов

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ПАРИЖСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

□

André Billy. L'époque contemporaine. Paris, Tallandier, 1956.

□

Книга Андре Бийи «Современная эпоха» — не история литературы, а, как скромно признает сам автор, история «парижской литературной среды»: журналов и издательств, групп и направлений, литературных премий и академий, кафе и кабачков Монмартра и Монпарнаса, где собирались писатели и художники, гостиниц средней руки, где многие из них жили, работали, а порой и умирали от голода.

Новая работа Бийи — продолжение ранее изданной в той же серии «Истории литературной жизни» (издательство Талландье) «Эпохи 1900». Она охватывает период с 1905 по 1930 год. Автор, истый парижанин, часто довольствуется анекдотом, живописной зарисовкой, газетным фактом, хронологической справкой. Вот некоторые заголовки его книги: «У Пеги», «За и против Бергсона», «Французская Академия», «Морис Баррес», «Последние годы Анатоля Франса», «Дело неизданного дневника Гонкуров», «Премия

«Фемина», «Дада», «Сюрреализм», «Популизм», «Скандал вокруг «Холостячки»... Не все, что описывает Бийи, одинаково ценно, однако сама манера его как бы представляет литературную эпоху. Андре Бийи набрасывает ряд мимолетних образов писателей тех лет. Автор хорошо знал многих из них, посещал их рабочие кабинеты и мансарды, где они жили.

Вот зябко кутается в морское офицерское пальто с пелериной одинокий Пьер Лоти, окруженный экзотическими сувенирами, окутанный облаками восточных курений. Вот Леон Дебель, поэт, труп которого в 1913 году был выловлен из Марны. В кармане самоубийцы было всего 30 сантимов. Самоубийство Дебеля вызвало большой шум, но участи парижских поэтов не облегчило. Вот Гийом Аполлинер, сначала в скромном отеле на улице Амстердам, когда стихи еще не кормили поэта и ему приходилось писать книжечки того рода, что продаются в Париже из-под полы. А потом на бульваре Сен-Жермен, среди своих безделушек и картин, или в центре всеобщего внимания в кафе «Флор».

Много места отведено журналу «Нувель ревю франсез»; Бийи вспоминает монмартрский кабачок «Лапен ажиль», связанный с именами Ренуара и Тулуз-Лотрека, а позднее Пикассо, Карко, Доржелеса, Мак Орлана.

Вторая часть книги посвящена периоду первой мировой войны. Бийи рассказывает о вспышке национализма, о писателях, погибших и раненных на фронтах; о Ромене Роллане и его попытках объединить интеллигенцию для протеста против войны; о Барбюсе, о широком отклике на его «Огонь».

Послевоенный период. В 1922 году умирает Марсель Пруст, оставив после себя «прустизм». Умирают Лоти и Баррес. Не стало Анатоля Франса. Однако жизнь литературных кафе с их спорами в облаках табачного дыма идет своим чередом. В баре «Бык на крыше» собираются дадаисты и сюрреалисты. В 1927 году Андре Терив и Леон Лемонье провозглашают создание новой школы — популизма, — опирающейся на некоторые принципы натурализма и отталкивающейся от утонченности, снобизма, интеллектуализма послевоенной литературы.

Бийи бегло касается кризиса сюрреализма и политического размежевания литераторов, входивших в эту группу. 1930 год открывает новую эпоху.

Только так отрывочно и можно рассказать содержание этой книги, которая пестрит именами, подчас забытыми, ежегодными присуждениями премий, названиями журналов, издательств. Книга Андре Бийи довольно поверхностна и подчас уделяет место событиям и именам третьестепенным, забывая куда более важные; так, в ней нет ни слова о манифестах группы «Кларте», лишь бегло упомянут Роже Мартен дю Гар. Однако она все же небезынтересна для исследователя французской литературы. Читая «Современную эпоху», убеждаешься лишний раз, что из множества даже талантливых книг остаются незабытыми лишь те, которые были связаны с поступательным движением истории.

Ант. Ладинский

„ЗВЕРОБОИ ИЗ БУХТЫ МЕЛВИЛЛ"

□

Peter Freuchen. Fangstmænd i Melwillebugten. København, Gyldendal, 1956.

□

В 1956 году в датском издательстве «Гюльдендаль» вышла новая книга датского писателя, известного полярного исследователя Петера Фрейхена «Зверобои из бухты Мелвилл». Это сборник рассказов о Гренландии и гренландцах, а также об американцах и европейцах, посещающих этот северный остров в составе научных экспедиций или в качестве охотников-зверобоев. События, о которых повествует автор, развертываются главным образом в северной Гренландии, в районе Туле, там, где сейчас расположена крупнейшая американская военно-воздушная база. Гренландское население этого северного стойбища было по требованию американского командования переселено в 1953 году на 160 километров к северу от Туле.

Человеку, незнакомому с положением и условиями Гренландии, могут показаться чудовищными трудности и лишения, которые переживают герои книги. Основная фабула книги, связывающая воедино рассказы сборника, — история спасения группой эскимосов пяти моряков английского китобойного судна «Хортикула», которые на своем боте отбились от судна-базы. Петер Фрейхен, описывая эту спасательную

экспедицию, в которой он сам принимал участие, а также рассказывая о пребывании моряков в Туле, дает подробную картину быта и

нравов эскимосов. Самое сильное впечатление производят те места книги, где разоблачается алчность, жестокость, аморальность большинства американцев, посещающих Гренландию. Особенно ярко это проявляется в рассказе «Водяной пламень», повествующем о том, какие трагические события развернулись, когда участники американской экспедиции обнаружили золото, или «водяной пламень», как его называют гренландцы, так как этот «мягкий камень» не тускнеет в воде. «Квадлунаки» (то есть белые) убили несколько эскимосов, но в конце концов сами погибли в погоне за золотом.

Другой не менее характерный случай произошел в одной из вспомогательных партий экспедиции адмирала Пири, которой руководил профессор Росс Марвин. Когда эта партия возвращалась на остров после того, как она в условленном месте во льдах устроила склад продовольствия, один из эскимосов заболел. Марвин приказал оставить его на произвол судьбы. Когда остальные эскимосы убедились, что американский профессор готов выполнить свою угрозу, они застрелили его.

«Зверобои из бухты Мелвилл» читаются с неослабным интересом с первой до последней страницы. Петер Фрейхен — блестящий рассказчик, умеющий просто и увлекательно изложить невероятные на первый взгляд события и составить из множества отдельных разнородных рассказов органически цельное произведение. Книга «Зверобои из бухты Мелвилл» представляет собой гимн мужественному гренландскому народу, живущему в неимоверно тяжелых условиях, но всегда готовому помочь тем, кто находится в беде, не требуя за это ничего в благодарность. Петер Фрейхен противопоставляет представителей «цивилизованного мира», попадающих в Гренландию — в большинстве своем мелких дельцов, людей жестоких и жадных, — цельным фигурам гренландцев, обладающих своей, хотя и примитивной, но самобытной культурой.

М. Косов.

АЛБАНИЯ

КНИГА СЛЕПОГО ПОЭТА

Тиранское издательство выпустило сборник стихов народного поэта Идриса Башё Металийи, живущего в одном из горных районов на севере страны. Поэт в дни войны принимал участие в партизанском движении, попал в плен к гитлеровцам и был заключен в концлагерь Маутхаузен. Там от пыток электричеством молодой патриот потерял зрение.

В сборник стихов включены произведения, в которых Металийя воспевает героизм албанского народа в дни освободительной войны. Таковы поэмы «Смерть партизана» и «Горы стоят за родину». В одном из стихотворений поэт пишет, что сейчас в свободной Албании дружба и товарищество, единение всех албанцев «заменили ему глаза». В другом он напоминает об ужасах прошедшей войны и призывает бороться за мир, «чтобы не было слез в глазах матерей».

В последнем разделе книги помещены стихи, ставшие популярными народными песнями на севере страны. В них поэт рассказывает о счастье, пришедшем в Албанию после освобождения страны.

В рецензии, помещенной в газете «Зери и ринисё», говорится: «Все творчество поэта отражает энтузиазм нашего народа, его победы, его путь к светлому будущему. Стихи отличаются внутренней теплотой, искренностью, в них заложены большое поэтическое обаяние и большие воспитательные идеи...»

АЛЖИР

ЗАЯВЛЕНИЕ ДРИССА ШРАИБИ

Внимание алжирских и французских литературных кругов было привлечено недавно заявлением, сделанным писателем Дриссом Шраиби.

Дрисс Шраиби — известный алжирский писатель, живущий во Франции. Его первая книга, вышедшая в 1953 году, вызвала резкий протест алжирской и марокканской общественности, упрекавшей писателя в отступничестве и измене национальным интересам, в том, что он отказался от идеалов национального движения и национальных традиций своего народа, объявил себя сторонником слияния арабской интеллигенции с интеллигенцией Франции. «Убийца национальных надежд» — так назвала в свое время Шраиби марокканская газета «Демократия».

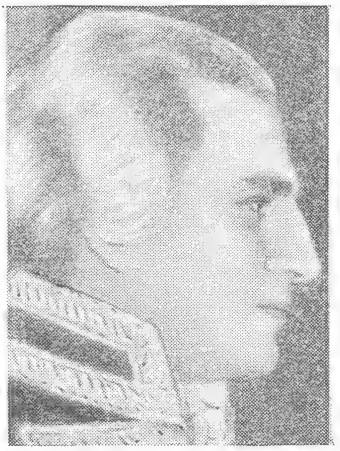
Дрисс Шраиби признал в настоящее время эту суровую критику справедливой и заявил, что отказывается от своей книги. «Я начал свой писательский труд,— пишет он в своем заявлении,— с неверия в силы моей страны... Мысль, что мои соотечественники подозревают, будто я продал себя и Франция оплачивает мое предательство, невыносима для меня». Писатель рассказывает об этапах своего творческого пути и о своей идейной эволюции. В начале литературной деятельности Шраиби считал, что ассимиляция — единственный путь для алжирского интеллигента. Перелом в его взглядах совпал с переездом в Европу: «Едва я прибыл во Францию, я убедился, что... алжирцы остаются в здешнем обществе такими же париями, какими они были и раньше». Свобода и расцвет личности, возможности, якобы открывающиеся для алжирцев с приобщением к европейской культуре,— все это, по словам писателя, иллюзии, рассеивающиеся при столкновении с действительностью.

АНГЛИЯ

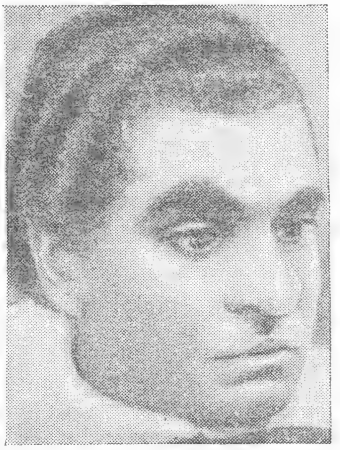
ДЖЕК ЛИНДСЕЙ — ПОЭТ

Творческий диапазон Джека Линдсея чрезвычайно широк. Романист, критик и переводчик, он выступает также и как поэт. Последняя из опубликованных им книг под названием «Три элегии» включает три поэмы.

Гамлет

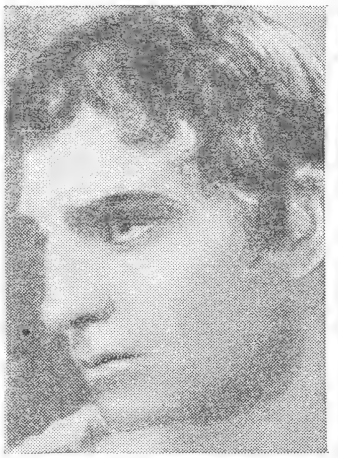


Нельсон



Мальволио

Пуговичник («Пер Гюнт»)



Эдип

Король Лир

Ричард III

Генрих V

Крупнейший из драматических актеров современной Англии Лоуренс Оливье на протяжении двадцати лет сыграл много различных ролей.

Помещаемые нами снимки Лоуренса Оливье в различных ролях раскрывают многогранность и разносторонность таланта актера и искусство его перевоплощения.

(Газета «Санди таймс»).

В рецензии на сборник «Три элегии», помещенной в «Дейли уоркер», литературовед Джон Бергер дает высокую оценку поэзии Линдсея и замечает, что «политическое самосознание Линдсея окрыляет его воображение, в то время как мелкий эгоцентризм большинства современных английских поэтов притупляет их талант».

Недавно Джек Линдсей выпустил также сборник переводов русской поэзии за тридцать восемь лет. Том этот называется «Русская поэзия 1917—1955». Журнал «Уорлд ньюс», отмечая высокое мастерство стихотворного перевода, пишет о выразительности и идейной насыщенности многих вошедших в сборник произведений Маяковского, Есенина, Тихонова и Симонова.

«Эта книга, — сообщает журнал,— доставит много удовольствия всем любителям прекрасного».

КНИГА ДОРИС ЛЕССИНГ

Во время своего пребывания в Центральной Африке, пишет «Дейли уоркер», Дорис Лессинг увидела горе негритянского народа, лишенного земли и загнанного в трущобы, обреченного на непосильный труд; она увидела жизнелюбивых и талантливых людей, рвущихся к знанию, которые томятся в кабале у шахтовладельцев и политиканов.

Все это писательница отобразила в своей новой книге «Возвращение домой», в которой она «подобно врачу исследует раны» народов Центральной Африки. По словам обозревателя газеты, распространение этой книги натолкнется на всяческие препятствия со стороны официальных органов. Однако «они не сумеют скрыть правду, опубликованную на страницах этого смелого произведения, которое опровергает предсказания критиков, надеявшихся, что, став знаменитой, писательница перестанет говорить о горькой правде жизни».

ОПЕРЕТТА ВМЕСТО ПЬЕСЫ

В Лондоне недавно была поставлена оперетта... по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Для того чтобы новый спектакль мог делать большие сборы, в столице Англии были немедленно сняты все другие постановки «Пигмалиона». Это мероприятие вызвало широкий протест лондонской общественности.

Первой выступила газета «Ивнинг стандард», отметив в передовой статье, что такая бесцеремонная цензура на английской сцене наносит ущерб интересам зрителей. Если организации, ответственные за это, решили защитить новый спектакль — музыкальную комедию — от конкуренции, пишет газета, то это скорее следовало бы сделать по отношению к оригинальной пьесе Шоу, а не к «второсортной переделке».

Среди выступивших с протестом против отмены спектаклей — известный английский писатель Грэхем Грин, который прислал в газету «Таймс» письмо, адресованное «Обществу писателей», санкционировавшему постановку оперетты. Грэхем Грин пишет: «Я хотел бы обратиться к тем членам «Общества писателей», которые расценивают как прискорбный факт снятие со сцены произведения умершего автора, всю свою жизнь посвятившего театру. Я призываю их выразить свои чувства в действии и выйти из состава «Общества писателей». В противном случае мы становимся соучастниками в этом деле».

АРГЕНТИНА

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Журнал «Куадернос де культура» поместил статью Роберто Саламы о новом романе молодого писателя Хуана Хосе Манауты «Бесплодные земли». Этот роман, по мнению рецензента, является «убедительным примером достоинств творческого метода социалистического реализма».

«Может ли писатель в капиталистической стране, где господствуют тресты и монополии, создавать произведения социалистического реализма?» — ставит вопрос Роберто Салама и дает положительный ответ, указывая, что «первым произведением в истории литературы, написанным на основе этого нового творческого метода, была «Мать» Горького, опубликованная за 11 лет до победы Октябрьской революции... Определяющим фактором является не то, где, в какой стране живет писатель, а его мировоззрение, его образ мыслей».

«Социалистический реализм возник на базе русского революционного движения, — продолжает автор статьи. — Мы же, опираясь на революционное аргентинское движение, на рабочее и народное движение, создадим нашу собственную аргентинскую литературу социалистического реализма».

Среди предшественников Манауты, поэтов и писателей, применявших этот творческий метод или, во всяком случае, признававших его благотворное влияние на их творчество, Р. Салама называет Рауля Гонсалеса Туньона, Педрони, Карлоса Руиса Доде, Рауля Ларру и других.

В чем же достоинство романа «Бесплодные земли»?

Автор статьи говорит, что Манаута в своем произведении затрагивает самый наболевший вопрос аргентинской действительности — положение крестьянства. Сам писатель в письме к

издателю так определяет характер своего творчества: «Начиная с повести «Отвеянные», постоянной темой моих произведений является судьба крестьян, притесняемых латифундиями и задавленных нищетой, судьба тружеников, вынужденных покидать свои земли».

В центре нового романа Манауты — семья бедных крестьян: отец, мать и ребенок, изгнанные со своей земли. Получить работу, даже на самых кабальных условиях, — счастье. «Кто осмелится сказать, что все это не характерно для нашей Аргентины?» — спрашивает автор статьи. Однако если раньше, продолжает Р. Салама, «в нашей прогрессивной литературе изображали трудовой народ, крестьянство, лишь как жестоко эксплуатируемые массы, то Манаута показывает, как народ Аргентины начинает осознавать свое положение, свои интересы, место, которое ему надлежит занять в обществе».

БОЛГАРИЯ

КНИГА О СТРОИТЕЛЯХ СОЦИАЛИЗМА

Имя писателя — лауреата Димитровской премии Ивана Мартинова известно советскому читателю по рассказам из жизни трудящихся социалистической Болгарии. Результатом непосредственного участия писателя в социалистическом преобразовании страны явилась его последняя книга — «Новый город», отражающая факты и события, связанные со строительством молодежного города Димитровграда. В книге Мартинова показано, как вдохновенный творческий труд молодежи на благо родины увлекает за собой и старшие поколения. На стройку цементного комбината приходят представители рабочего класса, закаленного в борьбе и умудренного жизненным опытом, чтобы принять участие в строительстве, передать молодежи свой опыт. Перед читателем предстает целая галерея образов людей — творцов новой истории Болгарии.

В ЧЕСТЬ СОРОКАЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В честь сорокалетия Великой Октябрьской социалистической революции Народная опера в Софии готовит постановку оперы С. Прокофьева «Война и мир».

БОЛГАРСКАЯ ПОЭЗИЯ ЗА РУБЕЖОМ

По сообщению газеты «Литературен фронт», в Польше до последнего времени были почти совсем неизвестны болгарские народные песни.

Государственное издательство в Варшаве выпустило недавно антологию болгарских народных песен «Ой горо, горо зелена». Подбор песен и их перевод на польский язык сделаны Анной Каменской и Яном Спеваком.

В сборнике представлены 133 произведения, относящиеся к различным жанрам песенного творчества.

* * *

В Румынии вышла из печати «Антология болгарской поэзии». Книга открывается предисловием поэта Чичероне Теодореску. Виднейшие румынские поэты перевели поэмы и стихи Христо Ботева, Ивана Вазова, Пенчо Славейкова и других поэтов.

«Антология болгарской поэзии»,—пишет газета «Литературен фронт», — впервые во всей полноте представила румынскому читателю достижения нашего поэтического слова, мечты, заботы и радости нашего народа».

ВЕНГРИЯ

НОВЫЕ КНИГИ И ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПИСАТЕЛЕЙ

Венгерская печать публикует многочисленные рецензии на вышедшие в этом году книги венгерских писателей. Газета «Элет эш иродалом» большой статьей откликнулась на впервые изданную в Венгрии книгу Йожефа Ленделе «Вышеградская улица» (1932 г.), воскрешающую дни венгерской пролетарской революции 1919 года. Книга вышла с предисловием, написанным в свое время Бела Куном. Издательство «Сепиродалми кёньвкиадо» продолжает в этом году выпуск собрания сочинений поэта и публициста Андора Габора.

«Элет эш иродалом» сообщает о выходе в свет «Избранных писем» поэта Эндре Ади (1877—1919), романа «Роза в росе» представителя венгерского критического реализма Жигмонда Морица (1879—1942), а также романов Лайоша Мештерхази об освобождении Венгрии от фашистов — «Свидетельство» и «Во имя человека» и Белы Иллеша «Тисса горит». Недавно опубликован также сборник рассказов Петера Вереша — «Под небом».

«Элет эш иродалом» рассказывает о творческих планах некоторых писателей. Калман Шандор выпускает сборник новых рассказов и продолжает работать над романом «Коричневый рай», действие которого развертывается в гитлеровском лагере смерти Дахау. Шандор Надь пишет роман под названием «Пламя и пепел» о венгерских рабочих и интеллигенции. Эмиль Мадарас работает над циклом стихов о разгроме контрреволюционного мятежа осенью прошлого года.

ЮБИЛЕЙ ВЕНГЕРСКИХ КЛАССИКОВ

В Венгрии широко отмечено двадцатилетие со дня смерти крупного венгерского поэта Дьюлы Юхаса (1883—1937). Газета «Непсабадшаг» посвятила большую статью творчеству поэта, проникнутому идеями гуманизма, верой в великое предназначение человеческого труда. Газета «Элет эш иродалом» напечатала в связи с этой годовщиной два не публиковавшихся до сих пор стихотворения Юхаса.

* * *

Литературная общественность Венгрии готовится

отметить 75-летие со дня смерти выдающегося венгерского поэта-классика Яноша Араня, которое исполнится 22 октября 1957 года. В связи с этой датой Венгерская академия наук и Институт истории литературы предполагают организовать выставки, издать произведения поэта.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РОМАН ЭДУАРДА КЛАУДИУСА

В 1951 году за книгу «Люди на нашей стороне», посвященную жизни рабочего класса новой, демократической Германии, Эдуард Клаудиус был удостоен Национальной литературной премии.

Недавно немецкий читатель получил новое крупное произведение писателя—роман «О любви нужно не только говорить». В этом романе Э. Клаудиус продолжает разрабатывать тематику, положенную в основу его предыдущих произведений. Он дает психологический анализ переживаний простых людей, которые вступают в новую жизнь, не изжив еще всего того, что осталось от старого, показывает победу нового в развитии художественных образов.

«Вполне понятно, — пишет «Националь-цейтунг», — что постепенный переход от старого уклада жизни к новому — процесс трудный и сложный, во многих случаях связанный с личными драмами, является злободневной темой, обеспечивающей живой интерес читателя».

Писатель показывает, как простая немецкая женщина, находившаяся к концу войны в состоянии полнейшей растерянности и безнадежности, приходит к самостоятельному политическому мышлению, находит, по словам «Националь-цейтунг», «дорогу к активной, полноценной жизни, подобно сотням тысяч других женщин в нашей стране».

РОМАН О СОЛИДАРНОСТИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ МИРА

Книги немецкого писателя Яна Петерсена «Наша улица», «Дело Баумана и других» о роли немецких антифашистов в борьбе за свободную Германию широко известны за пределами страны. Роман «Наша улица» издавался на русском, английском, китайском, польском, чешском, венгерском языках. Газета «Берлинер цейтунг», сообщая о том, что на ее страницах начинается публикование нового романа Я. Петерсена «Поездка в Париж», пишет: «К сожалению, среди наших писателей немного таких, кто столь же последовательно использовал бы свой опыт для того, чтобы с помощью литературных средств оживлять прошлое». Роман «Поездка в Париж» Я. Петерсена посвящен борьбе немецких и французских антифашистов. Читатель увидит, пишет «Берлинер цейтунг», «насколько близки друг другу цели и интересы простых людей всех народов».

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ЭРНСТ РОВОЛЬТ ПЕРЕИЗДАЕТ БРЕХТА

Гамбургский издатель Эрнст Ровольт в интервью, данном представителю Берлинского пресс-бюро, заявил, что, несмотря на препятствия, чинимые властями распространению произведений Брехта в ФРГ, он выпустит новым тиражом изданный им ранее том стихотворений Брехта.

НОВАЯ ПОВЕСТЬ ГЕНРИХА БЁЛЯ

По сообщению западногерманского журнала «Дас шёнсте», Генрих Бёль, которому в декабре этого года исполняется 40 лет, недавно завершил свою новую повесть — «В долине грохочущих копыт», опубликованную издательством «Инзель-ферлаг».

Журнал «Вельт унд ворт», выходящий в Тюбингене, отмечает, что в повести «языком твердым и прозрачным описывается день жизни двух подростков — от полудня до вечера — в одном заурядном городке». Журнал называет повесть Бёля образцом «безукоризненной прозы, насыщенной образами, цветами и дыханием жизни».

«ХОВАНЩИНА» НА СЦЕНЕ МЮНХЕНСКОЙ ОПЕРЫ

Большим успехом у зрителей, по словам журнала «Дас шёнсте», пользуется новый спектакль Мюнхенской государственной оперы — музыкальная драма Мусоргского «Хованщина», до сих пор мало известная в Западной Германии. Оперой дирижирует Ференц Фриксай. Основные роли исполняют ведущие артисты театра—Готтлоб Фрик, Герта Тёппер, Р. Хольм, Кит Энген, Л. Фельзер, Х. Хопф и другие.

На воспроизводимой нами фотографии—западногерманский писатель Генрих Бёль. Снимок относится к тому времени, когда Бёль, в первые годы после второй мировой войны, прежде чем стать писателем, был подмастерьем столяра.

(Журнал «Дас шёнсте»).

Сцена из оперы Мусоргского «Хованщина», поставленной Мюнхенским государственным оперным театром.
(Журнал «Дас шёнсте»).

ГРЕЦИЯ

«ПИСАТЕЛЬ — ЭТО БОРЕЦ»

Парижский еженедельник «Ар» опубликовал беседу своего корреспондента с греческим писателем, живущим во Франции, Никосом Казандзакисом, лауреатом Международной премии мира.

«В наше время, — сказал Казандзакис, — писатель, если он действительно живет интересами своего времени, это человек, страдающий и обеспокоенный тем, что происходит вокруг него... Писатель сегодня, если он остается верен своей миссии, это борец».

На вопрос корреспондента о том, как относятся к его произведениям в Греции, Казандзакис ответил, что отсутствие черт приспособленчества в его произведениях приводит к тому, что они встречаются кое-кем враждебно. Пока он писал стихи, это никого не настораживало, ибо, как отметил Казандзакис, его поэзия не доходила до народа и, стало быть, не была опасной. «Когда же несколько лет назад я стал писать романы, доступные широким массам, тогда на меня обрушились преследования и клевета... В то же время это возбудило интерес широкой публики, и мои произведения начали читать. Народ понял, что я борюсь против тех сил, которые несут ему нищету, невежество, что я восстаю против несправедливости...»

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

СОЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ВЬЕТНАМА

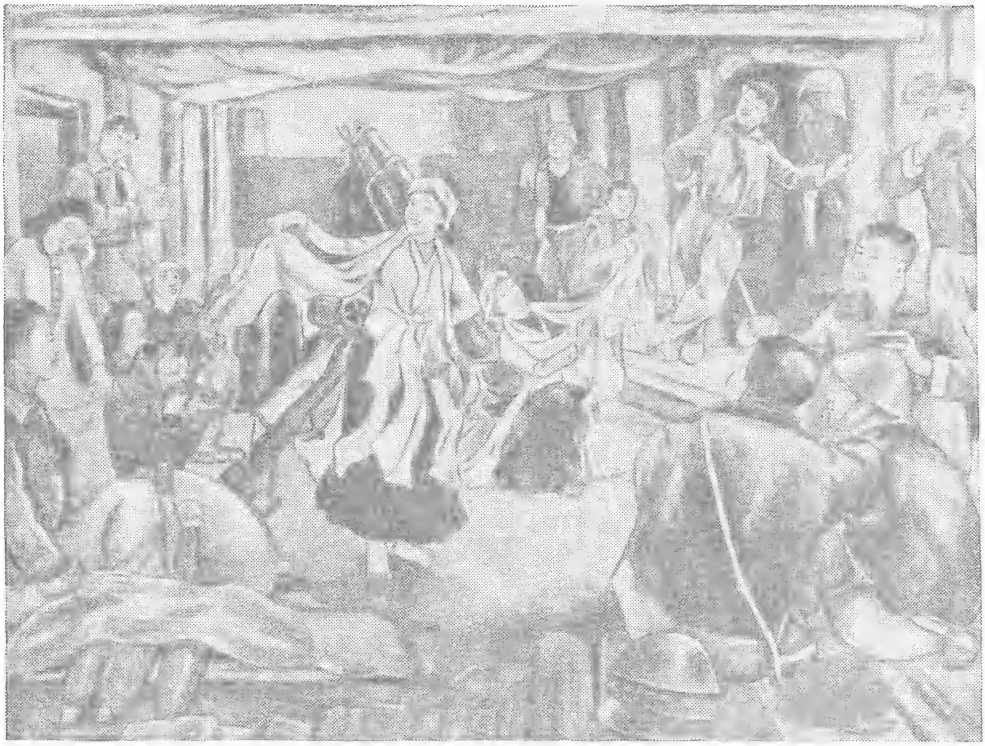
Недавно, после II Всевьетнамского съезда культуры, на собрании писателей и деятелей литературы был создан Союз писателей Вьетнама. На собрании был принят также трехлетний план деятельности Союза и избран Исполнительный комитет в составе 25 человек, который будет руководить работой Союза. В числе членов Исполнительного комитета — писатели Нгуен Конг Хоан, То Хыу, Те Хань, Суан Зьеу, То Хоай, Ань Тхо и писатель из Южного Вьетнама Доан Зиой.

Внутри Исполнительного комитета образованы 4 комиссии: комиссия по приему новых членов, комиссия по творчеству, комиссия по критике и иностранная комиссия.

Иностранная комиссия уже начала налаживать систематическую связь с писательскими организациями стран социалистического лагеря, Азии и Африки, Франции. Комиссия приняла решение организовать всестороннее изучение и обсуждение литератур Советского Союза, Китая, Польши и Германской Демократической Республики, а также — лучших произведений литературы Франции, Англии, США, Латинской Америки, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки.

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ

В Ханое состоялась выставка живописи 1957 года, на которой было экспонировано свыше 50 произведений 21 художника ДРВ. Известный вьетнамский художник Ши Нгаук в статье о выставке подчеркивает, что на ней представлены все виды живописи (масло, акварель, гуашь и т. д.) и что тематика картин правдиво отражает жизнь и труд народа. Все авторы, представленные на выставке, моло-



Картина вьетнамского художника Фам Тхань Тама «Весна в Диен-Биен-Фу».
(Газета «Кыу куок»).

дые художники, творческая деятельность которых началась в годы Сопротивления.

Высокой оценки зрителей и критиков, по свидетельству газет «Ван нге» и «Кыу куок», удостоены две картины художника Нго Минь Кау, с большой теплотой и лиризмом воссоздавшего на полотне образы женщин Вьетнама. Картины художника Данг Дыка «Шахтер» и «Рабочая семья» написаны в подлинно реалистической манере и выделяются четкостью рисунка.

Большой интерес, как отмечает пресса, представляют также картины Фам Тхань Тама «Весна в Диен-Биен-Фу», «Взгляд на ребенка» Ле Лама, «Девушка национальности муонг» Линь Ти, «На стройку» Лыу Конг Няна и другие.

Одновременно в Ханое была открыта выставка произведений художников и скульпторов Южного Вьетнама.

ЕГИПЕТ

ПОДГОТОВКА К ТРЕТЬЕМУ СЪЕЗДУ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Литературная общественность Египта готовится к Третьему съезду арабских писателей, который должен состояться в Каире в декабре этого года. Орган египетских писателей журнал «Ар-Рисаля аль-Джадида» проводит анкету среди литераторов и деятелей культуры арабских стран по вопросу о работе съезда.

УСПЕХИ ЕГИПЕТСКОГО ТЕАТРА

В последнее время египетский театр добился значительных успехов. О подъеме драматургии свидетельствует тот факт, что писатели, работавшие ранее только в области рассказа и литературной критики, начали писать для театра. Так, недавно были поставлены две пьесы новеллиста Юсуфа Идриса «Республика Фархата» и «Король хлопка». Первая из них является инсценировкой одноименного рассказа Ю. Идриса, вторую он написал специально для театра. По отзыву критика Ахмада Аббаса Салеха, «впервые на египетской сцене появились правдивые образы египетских феллахов». С двумя пьесами выступил также писатель Нуаман Ашур — «Люди, которые внизу» и «Люди, которые наверху».

В настоящее время в Египте создан ряд молодых театральных коллективов: «Современная египетская труппа», «Театр народного искусства», «Труппа ар-Рейхани», «Труппа Исмаила Ясина» и «Народный театр». Недавно созданный «Театр народного искусства» ставит пьесы на сюжеты из египетского фольклора. Легенда «О Лейл, о Айн» была первой попыткой инсцени-

ровки произведения народного искусства и, по сообщению «Ас-Сакафа аль-Ватания», имела большой успех у зрителей. Несколько новых пьес подготовил театр «Современная египетская труппа». Среди них «Сделка» Тауфика аль-Хакима, «Падение фараона» Альфреда Фарага, «Пленник» Абд ар-Рахмана аш-Шаркави, «Враги» Юсуфа Идриса.

ИНДИЯ

КНИГА САДЖАДА ЗАХИРА

«Рошнаи» («Чернила») — так назвал индийский писатель Саджад Захир свое новое произведение, которое вышло в издательстве «Мактаба-и-урду» в Лахоре.

Автор рассказывает о возникновении и деятельности Ассоциации прогрессивных писателей Индии, организованной в Дели в 1936 году. Среди ее основателей известные представители индийской литературы: Джоти Гхош, Мулк Радж Ананд, Промод Сен Гупта, Мохаммед Дин Тасир и автор книги Саджад Захир.

«Начало XX века в Индии,— пишет Захир,— ознаменовалось выступлениями индийской интеллигенции, стремившейся сбросить британское иго и добиться освобождения. Интеллигенция пыталась разобраться в причинах упадка национальной культуры. Одни считали, что это результат забвения древних идеалов — справедливости, истины и милосердия, которым следовали предки, но которыми пренебрегали последующие поколения. Сторонники этой точки зрения призывали возвратиться к древней религии и культуре. Вторая группа стояла за сохранение культурного наследия, но понимала, что историю нельзя повернуть вспять». В 1935 году индийские студенты подняли вопрос об объединении прогрессивных писателей Индии, которые и создали позже свою Ассоциацию. Члены Ассоциации выступили за восстановление национальной культуры, за свободу для простого человека.

В своей книге Захир дает портреты известных индийских писателей, с которыми ему приходилось встречаться. Здесь и классики — Икбал, Тагор, Прем Чанд,— и современные литераторы— Маулеви Абдул Хак, Фаиз Ахмад Фаиз, Фирак Горакпури, Ходжа Ахмад Аббас.

«Очень немногие знают о деятельности этой Ассоциации, о трудностях, встречавшихся на пути развития этого прогрессивного движения в индийской литературе,— пишет рецензент газеты «Пакистан таймс»,— и книга Саджада Захира проливает свет на этот исторический этап литературы Индии».

РУССКИЕ КЛАССИКИ НА ЯЗЫКЕ БЕНГАЛИ

Сообщая о выходе в переводе на бенгали романа Тургенева «Рудин», газета «Ананда базар патрика» пишет: «Имя Тургенева принадлежит не только русской литературе, оно — достояние мировой литературы. «Рудин» — один из лучших романов Тургенева».

* * *

Калькуттское издательство «Истерн трэйдинг компани» выпустило сборник рассказов Л. Толстого в переводе на бенгали. В сборник вошли девять рассказов для детей. Газета «Ананда базар патрика» пишет: «Следует надеяться, что намерение перевести еще ряд рассказов Л. Толстого для детей на язык бенгали, о чем говорится в предисловии к сборнику, будет выполнено».

ИРАН

НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И КИНОИСКУССТВУ

По сообщению журнала «Китабха-йи мах», в недалеком будущем в Тегеране начнет выходить новый, литературно - критический журнал. Такого журнала в Иране до сих пор не было. К участию в нем решено привлечь наиболее видных критиков и литературоведов страны.

* * *

В газете «Эттелаат» опубликовано сообщение о выходе первых номеров кинематографического журнала. «Новый журнал,— пишет газета,— призван сыграть важную роль в деле руководства иранскими киноработниками и в пропаганде кино как искусства, а не одного из видов дешевого развлечения».

«НАЗОВИТЕ ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

Выходящий в Тегеране литературный журнал «Сохан» («Речь») обратился к своим читателям с просьбой назвать десять лучших, с их точки зрения, произведений мировой художественной литературы. Подавляющее большинство голосов получили стихи Хафиза, на втором месте стоит «Шах-Наме» Фирдоуси, на третьем — «Месневи» Джалал ад-Дина Руми, затем сочинения Саади и рассказы умершего несколько лет назад известного писателя Садека Хедаята. Пять человек включили в число лучших книг Коран.

Из иностранных писателей большинство читателей назвало Шекспира, Достоевского, Гомера и Виктора Гюго.

ИТАЛИЯ

УСИЛЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

За последние месяцы во всех областях культурной жизни Италии заметно активизировалась деятельность клерикалов. После того как папа Пий XII в речи, обращенной к приходским священникам Рима, обрушился на «безнравственность» в кинематографии и телевидении, католическое духовенство начало использовать все возможности, которые дает конкордат, для борьбы против «инакомыслящих» в литературе и искусстве.

Сцена из комедии Эдуардо Де Филиппо «Винченцо Де Преторе». Крайний справа— Де Филиппо.

(Еженедельник «Контемпоранео»).

Недавно, как сообщает «Мондо», по всей стране прошла широкая кампания популяризации книги. Устраивались встречи читателей с писателями и критиками, книжные выставки и т. д. В Неаполе на торжественную «встречу с книгой» был приглашен неаполитанский кардинал Мимми, потребовавший, чтобы ему предварительно был представлен список всех писателей, которые должны присутствовать на «встрече». Узнав, что в число этих писателей входит, например, Итало Кальвино, кардинал предъявил ультиматум: или не пригласят Кальвино, или он, кардинал Мимми, не явится на торжество. «Ультиматум» кардинала не подействовал на устроителей праздника: Итало Кальвино присутствовал на «встрече с книгой», кардинал же так и не явился. Эта история вызвала оживленные комментарии прессы; о ней с большим сарказмом пишет еженедельник «Мондо».

В Италии католики в соответствии с конкордатом контролируют всю кинопродукцию, выпускаемую на экран. «К. К. К.» — Католический комитет кинематографии, во главе которого стоит монсеньер Галетто, делит все итальянские и заграничные фильмы на пять категорий: рекомендованные для приходов, годные для всеобщего просмотра, годные только для взрослых, допускаемые, но не рекомендуемые и, наконец, запрещенные. Эта католическая цензура отнюдь не является проформой, она весьма активно влияет на судьбы итальянской кинематографии.

Недавно большой шум вызвало такое событие: кинорежиссер Феллини, постановщик «Дороги» и ряда других картин, перед тем как везти свой новый фильм «Ночи Кабирии» на фестиваль в Канне, опасаясь, по-видимому, за судьбу своего произведения, дал его на апробацию генуэзскому кардиналу Сири. Получив санкцию кардинала, Феллини повез фильм в Канн. Как ни расценивать мотивы, обусловившие этот шаг Феллини, ясно, что он хотел обезопасить себя от возможных нареканий и осложнений. Вся эта история, о которой пишут многие газеты и журналы, в частности, еженедельник «Вие нуове», свидетельствует о значительном влиянии католических кругов на некоторые слои деятелей культуры Италии.

Не менее характерна история с внезапным запрещением постановки пьесы известного драматурга Эдуардо Де Филиппо «Винченцо Де Преторе» в одном из римских театров. Эта пьеса едва успела выдержать несколько представлений, как в театр явилась полиция и потребовала, чтобы артисты прекратили игру, а публика — очистила зрительный зал. Пьеса была обвинена в «безнравственности» и снята с репертуара, хотя до постановки она благополучно прошла цензуру.

Многие передовые писатели, художники и другие деятели искусства выступают с требованиями демократизации культурной жизни. В частности, с таким требованием выступил в журнале «Драмма» известный драматург и прозаик Джан Паоло Каллегари, один из зачинателей итальянского неореалистического театра.

СМЕРТЬ КУРЦИО МАЛАПАРТЕ

После долгой болезни в клинике «Санатрикс» скончался Курцио Малапарте. В тот же день семья покойного получила телеграмму Пальмиро Тольятти: «Глубоко потрясен, скорблю вместе с вами по случаю смерти писателя, художника, друга, в конце своей жизни пришедшего к народу, к тем, кто борется за освобождение труда».

Писатель, поэт, драматург, редактор — Курцио Малапарте прошел сложный жизненный путь. Немало было на этом пути противоречий, ошибок, заблуждений, поисков. В годы юности Малапарте подражает Д'Аннунцио и в то же время близко стоит к французской группе литераторов, объединенных вокруг Барбюса. В годы фашизма Малапарте пишет статьи для официальной прессы и в то же время сотрудничает в журнале Гобетти, известного своей антифашистской позицией, публикует книгу «Техника государственного переворота», которую в 1933 году на площадях Лейпцига сжигают на костре гитлеровские обскурантисты. Вскоре после начала войны Малапарте отправляется в качестве корреспондента «Корьере делла сера» на советско-германский фронт. Статьи, присылаемые Малапарте из России, пришлись не по вкусу редакции этой газеты. Писателя отзывают с фронта, а в 1943 году появляется его книга военных очерков под названием «Волга начинается в Европе», сви-

детельствующая о начале того большого поворота в сознании писателя, который происходит после окончания войны. Первые послевоенные романы Малапарте «Капут!» и «Шкура» — жестокая и беспощадная хроника разгрома фашистских армий.

Поздней осенью 1956 года Малапарте приехал в Москву, по приглашению Союза писателей. Он был в СССР всего несколько дней и вылетел в Китай, чтобы принять участие в юбилейных торжествах, посвященных Лу Синю. На обратном пути из Китая Малапарте намеревался совершить большую поездку по нашей стране; он хотел посетить целинные земли и написать книгу о том, «как социализм пришел в пустыню». Но в Китае Малапарте тяжело заболел и прибыл в Москву лишь в марте этого года, возвращаясь на родину в сопровождении итальянских и китайских врачей, которые возражали против остановки в Москве. Но Малапарте сказал: «Найдутся люди, которые заявят, что я не пожелал встретиться со своими друзьями — советскими писателями»,— и он посетил Москву.

Друг писателя Давид Лойоло после смерти Малапарте пишет в газете «Унита»: «Когда неистовые вопли, вызванные событиями в Венгрии, раздавались в мире с целью поколебать веру в социализм, до нас дошли полные мудрости и спокойствия слова Малапарте, сказанные им в Москве. В трудную минуту писатель нашел в себе мужество, чтобы сказать о том, как следует отнестись к этим событиям, чтобы сказать — на чьей стороне правда».

Вернувшись на родину, Малапарте написал ряд очерков о Китае (см. «Иностранную литературу» № 9, 1957 г.).

Еще в 1945 году Малапарте решил стать коммунистом. В последние месяцы своей жизни он вновь обратился с просьбой о приеме в Коммунистическую партию Италии. Просьба писателя была удовлетворена.

СКОЛЬКО В ИТАЛИИ ПИСАТЕЛЕЙ?

Туринская газета «Стампа» опубликовала статью, посвященную результатам статистического обследования населения Италии по профессиям. По этим данным, в Италии имеется 605 писателей и критиков, 222 скульптора, 5771 художник, 2030 драматических артистов.

Комментируя эти данные, еженедельник «Контемпоранео» пишет: «Конечно, Мандзони или Верга не рождаются в каждом поколении, но все же, допуская, что не все из упомянутых 605 литераторов поэты или романисты и что среди них есть и писатели других жанров или просто добросовестные популяризаторы, нам это число кажется для сорокавосьмимиллионного народа маловатым. Однако причина пессимизма кроется даже не в их малочисленности. Нас беспокоит скорее другое — сколько писателей, трудясь только своим пером, могут заработать на хлеб и на квартирную плату».

КИТАЙ

ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ»

Вышедший недавно первый номер журнала «Вопросы литературы» включает богатый и разнообразный литературоведческий материал.

В статье «Относительно реализма» критик Цай И дает оценку различным мнениям, существующим по этому вопросу в настоящее время в Китае. «Основываясь на высказываниях классиков марксизма о литературе и искусстве,— пишет Цай И,— можно сказать, в качестве обобщения, что правдивое описание действительности и является сутью и основным принципом реализма».

Статья Лу Кань-жу и Фын Юань-цзюня посвящена вопросу об основных критериях периодизации истории китайской литературы. По мнению авторов, такими критериями «должны быть изменения в самой литературе». Вместе с тем они подчеркивают значение исторических критериев, ибо «в любой стране развитие литературы всегда тесно связано с жизнью народа». В заключение авторы предлагают свою систему периодизации истории китайской литературы.

В первом номере напечатана также статья Хэ Ци-фана «По поводу оценки пьесы «История лютни». В ней автор стремится обобщить высказывания об этой пьесе, сделанные в ходе посвященной ей дискуссии.

Журнал публикует статью Ся Чэн-тао с анализом стихов Цзян Куя. Критик Цянь Чжун-шу пишет о десяти поэтах сунской эпохи. В журнале помещены также статьи о творчестве поэта Сун Лу-ю, о взглядах древнего философа Чжуан-цзы и другие материалы.

Гравюра Гу Юаня «Плоты». *(Журнал «Шикань»).*

ПОЛЬША

КНИГИ 1957 ГОДА

Под таким заголовком еженедельник «Нова культура» поместил информацию о новых произведениях польских писателей, опубликованных в текущем году.

В июньской книжке польского ежемесячного журнала «Твурчость» помещена новая повесть Казимежа Брандыса «Мать Крулей», над которой автор работал с марта 1956 по март 1957 года.

«Случай в Краснымставе» — сборник рассказов Ежи Путрамента вышел в этом году в издательстве «Чительник». «Нова культура» отмечает разносторонность писательского таланта Ежи Путрамента. «Читатели уже имели возможность узнать его как поэта, прозаика, новеллиста и публициста»,— отмечает еженедельник.

Книгой «Хорошая новость», изданной в начале 1957 года, писатель Тадеуш Голуй закончил четырехтомную эпопею «Королевство без земли».

«Нова культура» сообщает также о выходе целого ряда других произведений, рассказывающих о жизни современного польского общества, в частности, трилогии Романа Братного «Колумбы, год рождения 20», Станислава Лема — «Звездные дневники» и «Диалоги», Антони Слонимского «Варшавские воспоминания», Александра Сцибора-Рыльского «Саргассово море», Витольда Залевского «Земля без неба».

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧА

Государственный издательский институт опубликовал «Избранные произведения» Серафимовича в двух томах. «Избранные произведения» включают около 50 рассказов и ряд повестей писателя, среди которых «Море студеное», «Город в степи», «Галина» и «Железный поток»—произведение, которое было издано в Польше еще в 1948 году.

В послесловии к двухтомнику Леон Гомолицкий рассказывает о жизни Серафимовича, его взглядах и творческом пути, который привел писателя в 1918 году в ряды Коммунистической партии.

Польская художница Тшчиньская-Видера преподает в одной из варшавских школ. Она создала обширную серию детских портретов. На снимке: акварель «Маленький Вальдек».

(Газета «Трибуна люду»).

РУМЫНИЯ

ПРЕМИИ ИМЕНИ ВАСИЛИЕ АЛЕКСАНДРИ

Министерство образования и культуры учредило ежегодную премию имени румынского классика Василие Александри, которая присуждается авторам лучших одноактных пьес.

В этом году в адрес жюри поступило 170 пьес, из них 150 — на румынском языке, 16 — на венгерском (написанных венграми, живущими на территории РНР), остальные — на языках других национальных меньшинств Румынии.

Жюри присудило премии за 1956 год следующим писателям: Тиберию Ворнику за пьесу «Ярмарка сердец», Штефану Тите за пьесу «Пещера», Михаилу Давидоглу за пьесу «Невиданная буря», Шюто Андрашу за пьесу «Фанфара», Ференцу Ласло за пьесу «Тень».

Жюри присудило также почетные грамоты драматургам Валериу Луке за «Свадьбу Ионны», Сильвии Андрееску и Теодору Мэнеску за спектакль «Баловни».

Большинство пьес, полученных жюри, написаны о современной Румынии.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1907 ГОДА В РУМЫНСКОЙ ЖИВОПИСИ

В этом году в Бухаресте была открыта художественная выставка, посвященная 50-летию крестьянского восстания 1907 года.

Историческое выступление румынского крестьянства нашло отражение в глубоко реалистических произведениях Лукьяна и Бэнчиле.

На выставке представлены работы Тоницы, сатирические рисунки Изера, картины Ширато и Рессу.

Кровавые события 1907 года до сих пор привлекают многих современных художников. Так, художник Чукуренку написал полную драматизма картину «Конец восстания». Той же теме посвящена и картина талантливого румынского живописца Корнелиу Бабы «Отдых в поле», первая из задуманной художником серии картин, посвященной 1907 году.

США

ДЕЯТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ ОТВЕЧАЮТ ГОВАРДУ ФАСТУ

Заявление Говарда Фаста о выходе из Коммунистической партии США и его клеветнические нападки на советскую действительность вызвали многочисленные осуждающие отклики со стороны прогрессивной литературной общественности.

«Где же нашивки, которые вы получили за ранения в бою? Где ваша изорванная, видавшая виды военная форма? Где знаки отли-

чия, полученные вами в борьбе за новый, чистый мир?..—с возмущением спрашивает Фаста в письме американский поэт Уолтер Лоуэнфелс.— Меня лично беспокоит не тот факт, что заявление о вашем выходе из партии появилось в газете «Нью-Йорк таймс», а то, что вы, быть может, начали придерживаться критериев этой газеты в вопросе о том, какое именно сообщение следует считать интересным. Действительно ли так интересно сообщать, что кто-то вышел из Коммунистической партии США?..»

Лоуэнфелс, обращаясь к Фасту, говорит, что сегодня недостаточно только числиться противником капиталистической системы, так как капиталистическая система лишает человека индивидуальности и гуманности, так как развитие капиталистической культуры венчает не мир, а война. «Я подчеркиваю эту преобладающую тенденцию капиталистического мира,— говорит поэт,— который для разрешения всех своих трудностей предлагает одно страшное средство — опустошительную атомную войну...

Разве мы не можем трудиться сообща, чтобы построить общество, где число самоубийств в весенние дни, в дни, когда распускаются деревья, будет сокращаться, а не увеличиваться, как сейчас?»

В журнале «Мейнстрим» с большой статьей выступил, отвечая Фасту, английский писатель Джек Линдсей, который заявил: «Какое бы личное потрясение я ни испытал, я не могу отделить свою жизнь, свою личность от жизни коммунистических партий, от марксизма в его национальном и интернациональном аспекте... Хотя по временам нас ошеломляет огромный объем задач по переделке мира и самих себя, мы знаем, что задачи эти могут быть решены. Будем же помнить о том, как зародился марксизм, какое значение он имеет для свободы человечества и какие исторические формы он неизбежно должен пройти в своем развитии. Я остаюсь коммунистом».

Кадр из фильма «Окраина города». Слева — Аксель Нордман (артист Джон Кассаветес), справа — Томми Тайлор (артист Сидней Пуатье).

(Журнал «Нью-Йорк таймс мэгэзин»).

Недавно в газете «Пиплз уорлд» с гневной отповедью Фасту выступил Майкл Голд.

«...Фаст заявил,— сказал он,— что в Америке он был свободен подобно вольной птице. Да, Фаст сказал это, хотя каждый знает, что ни один писатель не подвергался в течение многих лет такому последовательному замалчиванию, как он. Ни один американский издатель не соглашался выпустить в свет книгу этого автора, произведения которого в прошлом широко читались. Когда Фаст пытался издавать свои книги сам, то ни в одном американском журнале не появлялось на них ни одной рецензии.

Нашей страной правит монополистический капитал. Его законы охраняют не свободу, а прибыли. Дух демократизма ему чужд. Не угоди этому огромному чудовищу — и твои книги не будут напечатаны, и о них не будет ни одной рецензии в «свободной прессе». Фаст это знал и говорил об этом. Теперь он вдруг начал говорить обратное. Почему?

Сейчас никто не может действовать или мыслить, находясь как бы в политическом вакууме. Фаст оказался попутчиком Гарри Шварца и газеты «Нью-Йорк таймс», которые помогли гитлеровцу Шпейделю стать командующим объединенными антисоветскими армиями в Европе».

«Прошлое позади,— заканчивает Голд свою статью,—давайте смотреть вперед. Постараемся сделать все для того, чтобы сохранить человеческому роду его будущее. Солидаризация же с правящим классом в Америке ведет к термоядерной войне».

«ОКРАИНА ГОРОДА»

На экраны Соединенных Штатов вышел фильм, резко отличающийся от обычной продукции Голливуда и вызвавший большой интерес зрителей и кинокритиков. Речь идет о кинокартине «Окраина города», сценарий которой написан драматургом Робертом Аланом Орсером.

Фильм посвящен дружбе двух нью-йоркских грузчиков — Нордмана, роль которого исполняет Джон Кассаветес, и Тайлора, в роли которого выступает известный негритянский актер Сидней Пуатье.

Все рецензенты отмечают

чрезвычайную реалистичность фильма. Этому способствовала, с одной стороны, игра талантливых актеров, а с другой — то, что фильм снимался непосредственно в нью-йоркских доках. Большинство критиков сходится в своей оценке кинофильма. «До сих пор, — пишет обозреватель журнала «Нейшн», — негры выступали в американских фильмах только в качестве слуг, либо их показывали как «негров»; насколько я помню, никогда раньше их не показывали просто как людей». Журнал «Рипортер» назвал «Окраину города» «превосходной кинокартиной». Газета «Дейли уоркер» писала: «Не будет преувеличением сказать, что фильм «Окраина города» с его гуманизмом и чуткостью стоит выше любого другого произведения искусства, посвященного взаимоотношению людей различных рас в нашей стране. Стоит подчеркнуть, что в картине именно негр берет на себя труд помочь белому человеку встать на ноги и учит его настоящему пониманию дружбы».

Именно это-то и выводит из себя некоторых кинокритиков. «Ньюс уик» на этом основании назвал картину «более чем посредственной»; журнал «Тайм» негодует: как это могло получиться, что в фильме «негр является не только начальником над белым, но становится его лучшим другом и проявляет больший ум, смелость и теплоту».

Прогрессивная печать отмечает и ряд недостатков фильма, но они не заслоняют его основных достоинств. Об этом свидетельствует также отрицательная реакция буржуазной критики.

ФИЛЬМ ПО РОМАНУ ХЕМИНГУЭЯ

Кинопродюссер Даррил Занук закончил съемки фильма по роману Эрнеста Хемингуэя «Фиеста». В фильме снимались известные американские и французские актеры Мел Феррер, Ава Гарднер, Тайрон Пауэр, Жюльетт Греко и Даник Патиссон. Съемки производились в Париже, Биаррице, Мексике и Испании.

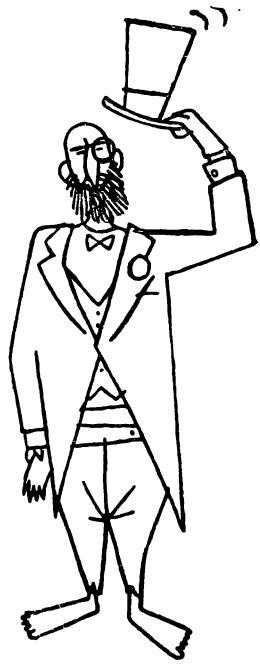
ТУРЦИЯ

«МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ДЕРЕВНЯ»

Под таким названием стамбульский журнал «Енилик» выпустил альбом карикатур молодого художника Ферруха Догана. Автор предпослал своим рисункам следующее вступление: «Темой для этих рисунков послужила жизнь нашей деревни, которая не изменилась под влиянием городских мод и современной техники». В карикатурах Ф. Догана комический эффект создается путем противопоставления реального быта турецкой деревни тем «новшествам», которые внесли в него американцы. Известно, например, что по «плану Маршалла» в Турцию было завезено некоторое количество тракторов, в результате чего помещики согнали с земли тысячи издольщиков и испольщиков. Однако эти тракторы самых различных марок были доставлены без запасных частей и большинство из них вскоре очутилось на кладбище машин. На одной из карикатур Ф. Догана изображен трактор на деревянных колесах, тащимый парой волов; на другой — крестьяне, под зурну и барабан пляшущие «рок-н-ролл». Третий рисунок изображает холодильник, в котором лежит черствая крестьянская лепешка, на четвертом рисунке запечатлена обычная в турецкой деревне сцена: драка из-за межи. Для разрешения спора крестьяне применяют новейшее американское оружие — автоматы, танки, парашюты.

Альбом открывается портретом босого крестьянина в рваных шароварах, но при цилиндре и монокле. Турецкий критик Омер Атилла писал, что этот рисунок как бы иллюстрирует известное сатирическое стихотворение Мелиха Джевдета Андая «Цивилизация» (см. «Иностранную литературу» № 10 1956 г.)

По сообщениям турецких газет, власти распорядились изъять из продажи альбом карикатур Ф. Догана. Однако при обыске, произведенном в книжных лавках, полиция обнаружила лишь несколько экземпляров книги. Весь тираж разошелся за несколько дней.



Карикатура турецкого художника Догана (см. заметку «Модернизированная деревня»).

ПРЕМИЯ САИДА ФАИКА ЗА 1956 ГОД

Недавно в Анкаре были подведены итоги конкурса на лучший рассказ 1956 года и присуждена ежегодная премия имени известного турецкого новеллиста Саида Фаика, учрежденная издательством «Варлык». На конкурс было представлено 9 сборников рассказов различных турецких писателей, в том числе новая книга рассказов Орхана Кемаля. Неожиданно победителем конкурса оказался молодой писатель Неджати Джумалы, получивший за свою книгу «Другими глазами» шесть голосов, в то время как Орхан Кемаль получил три голоса.

Критика отмечает, что «так же как и в первом сборнике Джумалы «Одинокая женщина» (1955 г.) основной темой этих рассказов

является взаимоотношение полов».

Решение жюри вызвало в литературных кругах Турции немалое удивление. Журнал «Едитепе» поместил письмо одного из турецких издателей Селима Шенгиля. В письме содержится протест против присуждения премии Саида Фаика писателю Неджати Джумалы. По мнению автора письма, жюри не стремилось отобрать действительно лучшие произведения, а оказало предпочтение писателям, группирующимся вокруг журнала «Варлык». В этих условиях, заявляет Шенгиль, проведение конкурса «означает проявление неуважения к памяти большого новеллиста».

ФИНЛЯНДИЯ

«ТАНЕЦ С МЕЧОМ» МАТТИ КУРЬЕНСААРИ

В начале этого года издательство «Тамми» выпустило в свет произведение финского писателя Матти Курьенсаари «Танец с мечом. Афоризмы, догадки, возражения».

Незадолго до этого, в конце прошлого года Курьенсаари издал «Финский дневник», содержащий ряд высказываний писателя о злободневных общественно-политических проблемах страны, о всеобщей забастовке в Финляндии в марте 1956 года, о месте писателя в повседневной жизни народа, о развитии культуры и литературы других стран. Говоря о всеобщей забастовке, писатель становится на сторону борющихся рабочих и осуждает судебное преследование забастовщиков. Курьенсаари заявляет, что главное для него — человек, защита прав человека. Однако подчас автор «Финского дневника» говорит и о том, что писатель вправе занимать нейтральную позицию, оставаться в стороне от событий. Это стремление остаться «над схваткой» приводит к ряду ошибочных рассуждений, свидетельствует о пассивности автора-гуманиста, об отсутствии у него твердых позиций.

Новый шаг в творческом развитии Курьенсаари представляет собой сборник афоризмов «Танец с мечом». Сборник состоит из пяти разделов, в которых писатель высказывает мысли о политических и исторических событиях, об общественном устройстве, классовой борьбе и отдельных социальных вопросах, о различных житейских проблемах и т. п. Многие афоризмы касаются вопросов развития эстетики, литературы и культуры вообще. В этом произведении Курьенсаари уже отходит от защищавшегося им ранее нейтралитета писателя. В одном из своих высказываний он, например, заявляет: «Нашей литературе недостает в данный момент ведущего направления... Литературные темы производят впечатление случайных, преходящих. Необходимо требовать произведений с четким мировоззрением, требовать разграничения направлений».

В рецензии на сборник «Танец с мечом», опубликованной в журнале «Коммунисти», Армас Эйкия отмечает, что мировоззрение Курьенсаари и его подход к разным объектам размышлений часто еще противоречивы. Однако сборник обладает одной несомненной ценностью, продолжает рецензент, в одном Курьенсаари всегда последователен: «Меч ударяет обычно по старому и отмирающему, защищает развивающееся и новое... Коммунист может найти в этой книге с десяток афоризмов, основная мысль которых вызовет в нем желание поспорить, но даже самый «свободомыслящий» буржуа чувствует себя под ударом почти на каждой странице, а буржуа-реакционер — всегда!» Не случайны поэтому нападки на писателя со стороны правой прессы. В рецензии отмечаются также высокие художественные качества, лаконизм и меткость афоризмов Курьенсаари.

ФРАНЦИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

В 1955 году «Союз борьбы против расизма и антисемитизма, борьбы за мир» учредил ежегодную премию «Фратерните» («Братство»).

В положении о премиях «Фратерните» говорится, что они присуждаются за

Жан-Поль Ле Шануа (постановщик фильмов «Адрес неизвестен», «Папа, мама, служанка и я», «Беглецы») впервые в истории французского кино экранизировал роман Виктора Гюго «Отверженные». На снимке кадр из этого фильма. *(Журнал «Синемонд»).*

произведения литературы и искусства или же «за научные труды, которые наилучшим образом выразят идеи равенства и братства между людьми независимо от их происхождения, расы и религии». Премия прошлого года была присуждена Кристиану-Жаку — за фильм «Если парни всего мира», демонстрировавшийся на советских экранах.

В этом году премия «Фратерните», как сообщает «Леттр франсез», разделена между двумя писательницами — Эльзой Триоле за роман «Свидание чужестранцев» (см. «Иностранную литературу», № 6, 1957 год) и Габриэль Жильда-Андриевски за роман «Нет лошади для Хамиды», посвященный Алжиру.

* * *

Литературная премия писательской организации Национальный комитет писателей присуждена французской поэтессе Мари Ноэль.

Мари Ноэль — старейшая французская писательница, автор многочисленных стихов и поэм, отличающихся своей народностью, простотой и непосредственностью.

ИЗБРАНИЕ НОВОГО РУКОВОДСТВА НКП

Состоявшаяся ежегодная генеральная ассамблея Национального комитета писателей (НКП) избрала правление на 1957—1958 г.г. Председателем правления вместо Франсиса Журдена, который стал почетным председателем, избран Луи Арагон, вице-председателями — Рене Жугле и Пьер де Лескюр. В числе членов правления НКП—Жорж Садуль, Жан-Поль Сартр и другие.

СУД НАД КЛАССИКАМИ

Французские литературные журналы отмечают своеобразную годовщину. Сто лет назад, в 1857 году, в парижском суде было возбуждено «дело» против двух классических произведений французской литературы — «Мадам Бовари» Флобера и «Цветов зла» Бодлера. В еженедельнике «Нувель литерер» приводятся новые документы — воспоминания участников суда, характеризующие обстановку, в которой проходили эти процессы. Обвинение, предъявленное «Мадам Бовари», основывалось на том, что это — «безнравственное произведение». Государственный обвинитель Пинар, выступавший по этому делу, отметил в своем дневнике, что «роман «Мадам Бовари» талантливая книга, но некоторые сцены совершенно недопустимы. Нельзя потворствовать распространению этой книги, иначе она найдет многочисленных последователей».

Суд над «Мадам Бовари» окончился, однако, «оправданием» произведения. Иначе обернулось дело в отношении «Цветов зла». Книга стихов Бодлера вышла в свет 25 июня 1857 года, а уже 20 августа ее автор был вызван в суд, который в своем при-

Французский кинорежиссер Жюльен Дювивье, поставивший известный советскому зрителю фильм «Большой вальс», снимает картину по роману Эмиля Золя «Накипь». На снимке — Даниель Даррье и Жерар Филип на репетиции одной из сцен фильма. Справа от них Жюльен Дювивье.

(Журнал «Синемонд»).

говоре указал на якобы «разлагающее действие, оказываемое на читателя этими стихами, их грубый реалистический характер» и постановил изъять шесть поэм, приговорив автора к денежному штрафу.

Интересно отметить, что 92 года спустя, в мае 1949 года, кассационный суд «пересмотрел» этот приговор и вынес следующее определение: «Принимая во внимание, что поэмы, подвергшиеся ранее запрещению, не содержат ничего непристойного, что судебное решение не учитывало символического характера этих произведений и что автор вдохновлялся чистыми побуждениями (!) и т. д... суд постановил отменить первоначальный приговор».

Цитируя это судебное определение, относящееся уже к нашему времени, «Нувель литерер» с возмущением спрашивает: у кого сейчас могло хватить самонадеянности заниматься «отпущением грехов Бодлеру»?

«ЛЕТТР ФРАНСЕЗ» О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Парижский литературный еженедельник «Леттр франсез» систематически знакомит своих читателей с произведениями советской литературы. Недавно на страницах «Леттр франсез» была опубликована повесть В. Пановой «Сережа» и отрывок из романа Ю. Яновского «Всадники». Почти в каждом номере помещаются литературно-критические статьи, посвященные книгам советских писателей. В одном из недавних номеров еженедельника напечатана статья Арагона о социалистическом реализме. В статье говорится о реакционной критике, искажающей или замалчивающей достижения советской литературы. «Невзирая на это, советские книги,— пишет Арагон,— пользуются все возрастающим успехом и признанием во Франции». «Попытки замалчивать советскую литературу,— говорится в заключение статьи,— не помешали тому, что имена Павла Корчагина и Мересьева заставляют биться большее число сердец во всем мире, нежели в свое время «Новая Элоиза».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПОЭМА О МАРИИ КЮРИ

Поэма, или, как говорят чешские критики, поэтический эпос М. Пуймановой, вышедший под названием «Госпожа Кюри», по словам газеты «Литерарни новины», возрождает почти забытый в чешской поэзии эпический жанр.

«Я не знаю,— пишет критик в «Литерарних новинах»,— в какой мере поэтесса использовала записки госпожи Кюри и литературу о ней и сколько дат она пропустила. Да это и неважно, ведь она писала не монографию. Гораздо важнее, что она не проглядела живого человека, что при чтении перед нами проходит человеческая судьба, хотя мы знаем, что вся биография героини ограничена несколькими сценами. Это свойство, характерное для эпоса М. Пуймановой, да и для всякого хорошего эпоса вообще, я назвал бы искусством концентрации, искусством поэтической сжатости».

«Все подчинено в этой поэме основной цели,— продолжает критик,— максимально сжато изобразить героизм и простоту жизни госпожи Кюри. Действие поэмы развертывается одновременно в нескольких планах: мы знакомимся с научной работой героини... мы видим ее в кругу семьи — простую и любящую жену и мать, мы присутствуем при ее семейном счастье и при трагедии, когда она теряет мужа. Поэтесса, изображая свою героиню, нигде не опускается до штампа. Она непрерывно стремится держать в напряжении внимание читателя к проходящей перед ним человеческой драме. Этой цели подчинены язык поэмы, постоянная смена монологов, диалогов и авторской речи, обращений автора к читателю и к самому себе».

Двенадцать песен поэмы Пуймановой являются, как пишет «Руде право», «не просто лавровыми ветвями, положенными к пьедесталу памятника великого человека. Это открытие человека, его благородного характера, его умения переживать трагедии и радости, изображение праздничных и будничных дней, из которых складывается наша жизнь».

ШВЕЙЦАРИЯ

НОВЫЙ КИНОСЦЕНАРИЙ ЧАРЛЬЗА ЧАПЛИНА

Как сообщает газета «Националь-цейтунг», в настоящее время Чарльз Чаплин, отметивший недавно свое 68-летие, работает над сценарием нового фильма. Этот художественный фильм Чаплина будет — пока условно — называться «Смех».

Недавно Чарльз Чаплин дал интервью корреспондентам в Лозанне. На вопрос о характере его фильма «Король в Нью-Йорке», который «очень волнует американцев», Чаплин ответил, по сообщению газеты «Юманите», что он, разумеется, нападает на маккартизм, но не на американцев. «Я убежден,— добавил он,— что большинство американцев одобрят мой подход к сюжету фильма».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Христо Радевский — Христо Радевски (род. в 1903 г.) — болгарский поэт, секретарь Союза болгарских писателей. Печатаемая нами статья получена от автора в рукописи.

Саджад Захир — سجاد ظہیر (род. в 1905 г.) — крупный общественный и политический деятель, известный писатель и критик, один из основателей Ассоциации прогрессивных писателей Индии. Автор романа «Лондонская ночь», большого труда «История прогрессивного движения в Индии» и целого ряда рассказов и критических статей. Печатаемая статья написана по просьбе редакции.

Сибилла Алерамо — Sibilla Aleramo (род. в 1876 г.) — старейшая итальянская писательница. Печатаемая статья написана по просьбе редакции.

Хан Сер Я — 한 설 야 (род. в 1900 г.) — корейский писатель и общественный деятель, председатель Союза корейских писателей. Автор многих романов и рассказов. Печатаемая статья получена редакцией в рукописи.

Дашцэвгийн Сэнгээ (род. в 1916 г.) — монгольский писатель, секретарь Союза монгольских писателей. Печатаемая статья написана по просьбе редакции.

Ян Костра — Ян Kostra (род. в 1910 г.) — словацкий поэт. Печатаемое стихотворение взято из словацкой газеты «Правда» от 9 мая 1957 г.

Грэхем Грин — Graham Greene (род. в 1904 г.) — английский писатель. О нем см. «Иностранную литературу» № 6, 1956 г. Печатаемые нами рассказы взяты из сборника рассказов Г. Грина «Twenty-one Stories», 1955 г.

Айронбак (Расс Синглтон) — Ironbark (Russ Singleton) — австралийский поэт. Печатаемое стихотворение взято из книги «Церемониальный марш» («The March Past», 1957).

Эйвин Болстад — Øivind Bolstad (род. в 1905 г.) — норвежский писатель. О его книге «Насмешник с острова Тоска» (1955 г.) см. «Иностранную литературу» № 7, 1956 г., стр. 256. Печатаемый нами рассказ взят из этого сборника.

Эрскин Колдуэлл — Erskine Caldwell (род. в 1903 г.) — американский писатель. См. «Иностранную литературу» № 1, 1955 г. Печатаемые нами рассказы взяты из последнего сборника Колдуэлла «Gulf Coast Stories», вышедшего в 1957 г.

Отто Гельстед — Otto Gelsted (род. в 1888 г.) — датский поэт. Начал печататься в 20-х годах. Печатаемое стихотворение взято из сборника «Песни времен холодной войны» («Sango under den Kolde krig», 1952).

Хироси Нома — 野間宏 (род. в 1915 г.) — японский писатель, автор антивоенного романа «Мертвая зона». Печатаемая статья написана по просьбе редакции.

Дзюнити Иваками — 岩上順一 — японский литературный критик и публицист. См. «Иностранную литературу» № 1, 1955 г. Печатаемая нами статья получена от автора в рукописи.

Карло Лидзани — Carlo Lizzani (род. в 1923 г.) — итальянский режиссер и сценарист. См. «Иностранную литературу» № 4, 1955 г. Печатаемая статья получена редакцией в рукописи.

Массимо Мида — Massimo Mida — известный итальянский журналист и искусствовед.

Гэ Бао-цюань — 戈宝權 (род. в 1913 г.), — китайский литературовед, исследователь и переводчик русской и советской литературы. Автор нескольких книг о Советском Союзе. Печатаемая статья получена от автора в рукописи.

Орлин Василев (род. в 1904 г.) — болгарский писатель и драматург. Автор ряда романов, рассказов и драматических произведений. Публикуемая статья получена от автора в рукописи.

Стефан Цвейг — Stefan Zweig (1881 — 1942) — австрийский писатель, хорошо известный советскому читателю. Печатаемый нами очерк о Франсе Мазерееле взят из книги «Begegnungen mit Menschen, Büchern, Städten», 1937 г.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, Н. И. Родионов** (зам. главного редактора), **С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».
Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 06982. Сдано в производство 20/VIII 1957 г. Подписано к печати 24/IX 1957 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9,0 бум. л.+1 вкл. П. л. 24,66+1 вкл.
Зак. 1975 Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.

Издательство „Известия Советов депутатов трудящихся СССР" Москва, Центр, Пушкинская пл., 5.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на 1958 год

на литературно-художественный и общественно-политический журнал

„ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА"

орган Союза писателей СССР

Журнал „Иностранная литература" публикует художественные произведения — романы, повести, рассказы, стихи — современных иностранных писателей и поэтов. В журнале участвуют выдающиеся литераторы зарубежных стран.

Журнал печатает литературные обзоры, критические статьи, высказывания советских и иностранных писателей, критиков и литературоведов.

Журнал освещает проблемы кинематографии, изобразительного и театрального искусства различных стран, привлекая к сотрудничеству видных советских и зарубежных художников, режиссеров, актеров, искусствоведов.

Журнал уделяет большое внимание освещению культурно-общественной жизни за рубежом, систематически предоставляя свои страницы известным деятелям культуры Советского Союза и зарубежных стран.

Журнал иллюстрирован.

По желанию читателей часть тиража журнала будет выпускаться в 1958 году в переплете.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 1958 ГОД:

без переплета — 96 руб., в переплете — 120 руб.